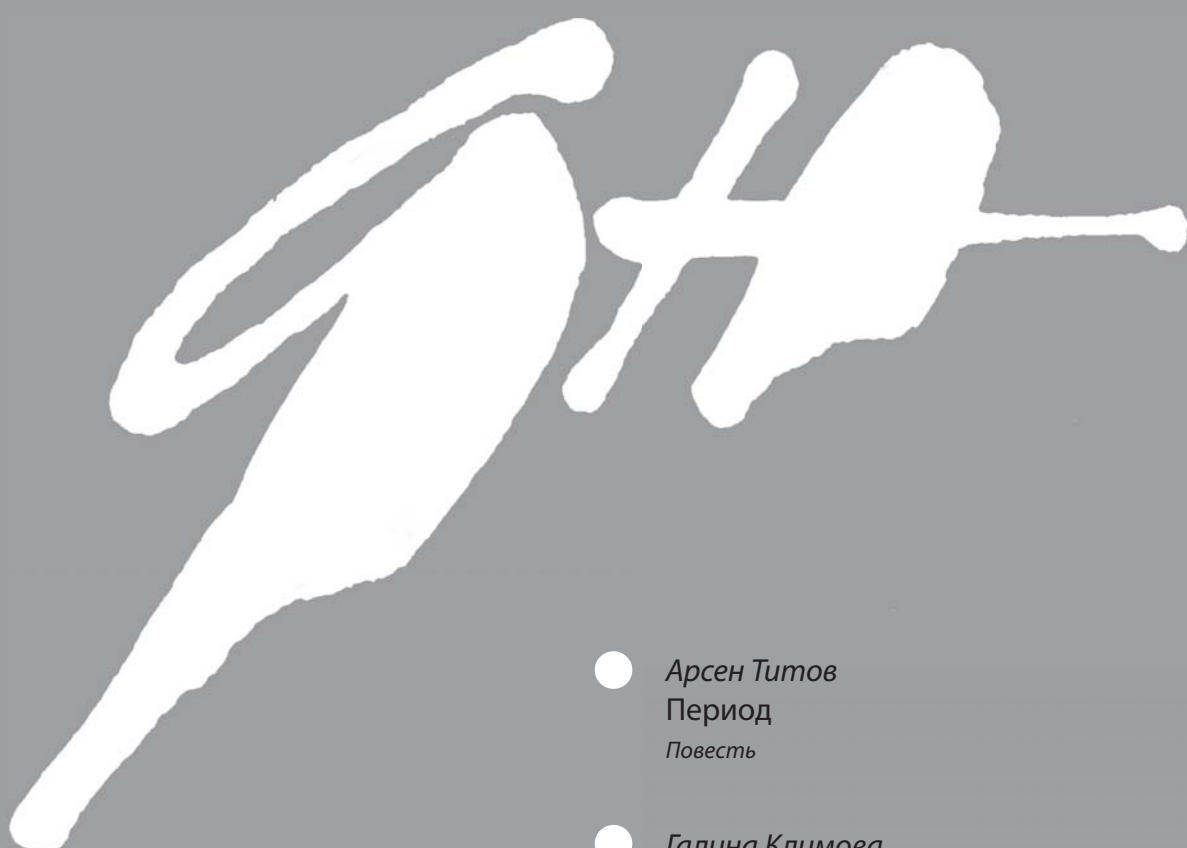


ДРУЖБА НАРОДОВ



- *Арсен Титов*
Период
Повесть
- *Галина Климова*
С оглядкой на атлантов
Стихи и переводы поэтов Армении
- *Фарид Нагим*
Нам двадцать лет
Две короткометражные повести
- *Илья Фаликов*
Твоя неласковая ласточка
Главы из книги о Марине Цветаевой
- *Андрей Турков*
«В списке славы золотой»
Разговор с Натальей Игруновой



6'2016

**Независимый
литературно-
художественный
и общественно-
политический
журнал**

**Основан
в марте 1939 года**

Адрес редакции:
117218, Москва,
ул. Кржижановского, дом 13 стр. 2,
журнал «Дружба народов».
Телефон (многоканальный):
8-499-519-02-12.

**E-mail: dn52@mail.ru,
http://magazines.russ.ru/
druzha/
LIVEJOURNAL: http://druzba-
narodov.livejournal.com/**

Юридическая поддержка:
Congress Consulting.
Свидетельство о регистрации
№ 73 от 14.09.1990 г.
в Министерстве печати
и массовой информации РСФСР.
Свидетельство о регистрации
товарного знака № 288681.
Зарегистрировано в
Государственном реестре
товарных знаков и знаков
обслуживания РФ
12 мая 2005 г.



Отпечатано в ОАО «Можайский
полиграфический комбинат»,
143200, г. Можайск, ул. Мира, 93;
www.oaompk.pf тел.: (495)745-84-28;
(49638)20-685

**Редакция не имеет возможности
рецензировать и возвращать
рукописи.**

**Во всех случаях полиграфического
брака в экземплярах журнала
обращаться в типографию, указанную
в выходных сведениях.**

**При перепечатке наших материалов
ссылка на журнал «Дружба народов»
обязательна.**

Сдано в набор 20.04.2016.
Подписано в печать 30.05.2016.
Формат бумаги 70 x 108 ¹/₁₆
Печать офсетная.
Усл.-печ. л. 22,4. Усл. кр.-отт. 23,1.
Уч.-изд. л. 21. Тираж 1200 экз.
Заказ 2861. Цена свободная.

Дружба народов 6'2016

Редакционная коллегия

Главный редактор Александр
ЭБАНОИДЗЕ

Лев
АННИНСКИЙ

Леонид
БАХНОВ

Ирина
ДОРОНИНА

Зам. главного редактора Наталья
ИГРУНОВА

Галина
КЛИМОВА

Владимир
МЕДВЕДЕВ

Ответственный секретарь Сергей
НАДЕЕВ

Зам. главного редактора Александр
СНЕГИРЕВ

Редакционный совет

Рамазан
АБДУЛАТИПОВ

Сухбат
АФЛАТУНИ

Муса
АХМАДОВ

Ольга
БАЛЛА

Алла
ГЕРБЕР

Денис
ГУЦКО

Иван
ДЗЮБА

Александр
КЛЯЧИН

Валентин
КУРБАТОВ

Ольга
ЛЕБЕДУШКИНА

Захар
ПРИЛЕПИН

Кнут
СКУЕНИЕКС

Сергей
ФИЛАТОВ

Ренат
ХАРИС

Вячеслав
ШАПОВАЛОВ

ЭЛЬЧИН

Леонид
ЮЗЕФОВИЧ

СОДЕРЖАНИЕ

Проза и поэзия

Станислав ЛИВИНСКИЙ. Терпи, терпи, моя страница. Стихи	3
Арсен ТИТОВ. Период. Повесть	6
ДВОЙНОЙ ПОРТРЕТ	
Галина КЛИМОВА. С оглядкой на атлантов. Стихи	42
Хачик МАНУКЯН; Светлана АКОПЯН. Стихи. Сармянского. Перевод Галины Климовой ..	45
Заир АСИМ. Книга дней. Повесть	48
Айгерим ТАЖИ. На пути к горнилу. Стихи	80
Александр СНЕГИРЁВ. Божественный вензель. Рассказ	82
Виктор ЕСИПОВ. Рассказы	87
Дарья СЕЛЮКОВА. Бардо железной дороги. Рассказ	97
Мир не привязан к людям. Янис РАЙНИС; АСПАЗИЯ. Стихи. С латышского. Перевод Ольги Петерсон	108
ГОД КИНО	
Фарид НАГИМ. Нам двадцать лет. Две короткометражные повести	113

Проза.doc

Илья ФАЛИКОВ. Марина Цветаева. Твоя неласковая ласточка	153
---	-----

Нация и мир

Сейдахмет КУТТЫКАДАМ. Хаос в умах и ответственность за культуру	194
---	-----

Публицистика

Алексей БУРОВ, Геннадий ПРАШКЕВИЧ. О молчании. Три письма на одну тему	208
--	-----

Критика

Андрей ТУРКОВ. «В списке славы золотой». Разговор ведет Наталья Игрунова	216
---	-----

ЛИТЕРАТУРНЫЙ БАРОМЕТР

Евгений АБДУЛЛАЕВ. Классики и(ли) современники	229
--	-----

ПОДРОБНОЕ ЧТЕНИЕ

Виктор КОРКИЯ. Неисчезающее время	233
---	-----

Книжный развал

Владимир ШПАКОВ. Пёстрая книга	236
Елена ЕЛАГИНА. Подвиг—Бессмертие—Жертва—Забвение	238
Светлана ШИШКОВА-ШИПУНОВА. Фейсбучный дом Сергея Чупринина	242
Ольга БАЛЛА. Опыт прозрачности	244

Культурная хроника

Екатерина РЕЗНИКОВА. Зыбкая связь времен	249
--	-----

Эхо

Романтический хоррор. Рубрику ведет Лев АННИНСКИЙ	252
---	-----

Станислав Ливинский

Терпи, терпи, моя страница

* * *

И хитрый воробей, и ласточка чумная,
и липа за окном, и солнце-размазня,
и небо, и земля — они хоть и седьмая
вода на киселе, но всё ж таки родня.

А мы с тобой живём и делаем закладки,
перебирая всё в уме наискосок:
и запах кислых щей на лестничной площадке,
и жвачкой до сих пор залепленный глазок.

А яркий свет в конце?! А сдавленные звуки?!
Мотай скорей на ус, заучивай урок.
Всё, как задумал Бог. Он, поплевав на руки,
не спал шесть долгих дней, Он сделал всё, что мог.

Чего ж ты хочешь знать?! Откуда эта сила,
что прибывает пыль и нас срывает с мест?!
Не думай ни о чём, пусть будет всё, как было.
Пиши свои стихи, пусть будет всё, как есть.

* * *

Платформа, бабка с козами, локомотива выкрики.
Вокзалы низкорослые провинциальной выправки.

Уже не люди — граждане: спешат гуськом по мостику.
Тюки многоэтажные и сумки на колёсиках.

Весь день с утра до вечера — носильщики да ящики.
И строгая диспетчерша, гнусаво говорящая.

Их жизнь вне расписания. Торговцы, как подпольщики.
Внимание! Внимание! — звучит по колокольчику.

Соседний поезд тронулся и загремел доспехами,
а нам в окошко кажется, что это мы поехали.

* * *

Как будто чёрно-белый сон:
мать ставит выварку на печку,
выносит банки на балкон,
потом перебирает гречку.
Квартиру заполняет пар.
По телевизору помехи.
А во дворе на тротуар
со стуком падают орехи.

И всё в какой-то странной дымке:
дома, фонтаны-невидимки,
и старый ЗАГС, и дверь с кольцом.
Там разводились мать с отцом.
Меня, заплаканного внука,
держала бабушка за руку.

Была хорошая погода,
а мне всего четыре года.

Но это, кажется, не я.
Местами память, как обуза.
У самого давно семья
и собутыльники-друзья.
Пойдёшь курить — захватишь мусор.

Захватишь всё. Начнёшь с конца.
Обнимешь друга без ответа.
Помянем бабушку, отца...
Лицом к лицу, но нет лица.,
и мне привиделось всё это.

* * *

Когда идёт последний снег и кругом голова,
и выдыхает человек горячие слова.

Из дыма, пепла и огня сплетая речь свою,
он говорит: — Прости меня, я так тебя люблю!

Он долго смотрит из окна и говорит опять —
Что стоит ей?! Ведь и она могла бы так сказать?!

Он опускает вдруг глаза и поднимает вдруг.
И у него блестит слеза и замирает дух.

Он что-то знает о судьбе, латая в ней дыру.
— Я буду помнить о тебе, пока я не умру!

Пока ещё не кончен век, не всё предрешено!
Но это слышит только снег, и снегу — всё равно.

* * *

На дереве кормушка из фанеры.
Скамейка — ей к лицу пенсионеры.
И номера домов, как имена.
Как написал бы сказочник, к примеру, —
жила-была песочница одна.

Песочница, а в ней возились дети.
Моя халупа с окнами во двор.
Всю ночь подвальной дверью хлопал ветер,
и я подслушал этот разговор

без умысла, скорее, по привычке.
А может быть, я просто делал вид,
что это мне ночная электричка
о чём-то важном издали кричит;

что знаю, для чего растёт на крыше
сарая одинокая трава.
Но главного я так и не расслышал,
не разобрал последние слова.

* * *

Художник от мазка и до мазка
придумал солнце, твердь и облака,
и старый дом, и стол, и табуретки.
С ним между делом треплется река,
и полуобнажённая ольха
позирует, скрестив стыдливо ветки.

При деле все — земля, воздушный змей
и жидкий лес, и всплески чистотела.
Лишь бестолковый рыжий муравей
до кончика травинки, до предела
добрался и не знает, хоть убей,
куда ползти и что же дальше делать.

* * *

Из ничего, из тьмы и праха —
луна и зной, мороз и солнце.
Земля замрёт и черепаха
под ней устало повернётся.

Держись, дружок. Такие страсти.
Там по тебе подруга сохнет.
Чуть обновить, слегка подкрасив,
закат и ждать пока подсохнет.

И ждать, когда навалит снега.
Потом — весна: за всё расплата.
И плот мазаева ковчега
выносит зайцев к Арарату.

Чирик-чик-чик. Грачи. Саврасов.
Ты помнишь это сочиненье?!

Учительница младших классов,
букет классической сирени.

Повсюду радостные лица
и указательные стрелки.
Когда-то снова повторится
жизнь между соскою и грелкой.

Она когда-то повторится,
мелькнувши рифмою глагольной.
Терпи, терпи, моя страница,
я знаю — это очень больно.

Земля то тронется, то станет
в межгалактическом заторе.
Кого-то, видно, пропускает
на светофоре.

Арсен Титов

Период

Повесть

1

Природа окрестности стряпала кое-как, думая в это время совсем о другом. Вышло у нее ни степь, ни болото, ни тайга, ни горы. Как бы все это есть, и как бы всего этого нет. Тоскливая, с постоянной хлябцою равнина неба. Под ней солодельный каравай полей с горелой коркой далеких лесов, непропекшиеся трещины дорог — вот и вся ривьера. И погода — весна не весна, будто не май на дворе, а Октябрьская. Так и садят холода. Трава до июня не пробьется. Все показатели насмарку. И разукрашивайся — не разукрашивайся агитацией, солнышко от того не выглянет, кормов не прибавит. Однако же Алексей Петрович, парторг, решил сделать к Победе стенд про погибших фронтовиков.

2

Старшеклассники село взбулгачили, но фотографий не принесли. Старухи, последние из тех, кто провожал, заревели, представив, что их солдатам из дому уходить опять. Вроде бы уж не насквозь темные — поняли, что с них требуется и куда предназначается. Но всю жизнь у них только брали. Они только отдавали. Ни разу не случилось наоборот. И осталось уж такое, без чего — никуда. Сказать бы: без чего хоть в могилу, — а как раз туда-то без этих фотографий старухи не хотели. Глядя на них, заупрямились и бабы помоложе. Погибшие отцы не очень-то у них интерьеры украшают, все больше лежат по комодам и вынимаются оттуда нечасто. Уж сколько лет тому. Непривычно. Однако вот заупрямились, запоперешничали. Алексей Петрович пошел по народу сам.

Первой была старуха Будякова.

— Лексей Петрович! — пустилась она в слезы. — Колянко-то мой ведь как погиб! — и прежде, чем доверить свое дите, поведала Алексею Петровичу, что ее

Арсен Борисович Титов (род. 14 октября 1948 года в селе Старо-Базаново Бирского района Башкирии) — российский живописец и писатель. Окончил исторический факультет Уральского государственного университета, двенадцать лет работал в живописи. Первая публикация (повесть «Старший сержант дед Михаил») состоялась в 1986 году в журнале «Урал». Публиковался в журналах «Дружба народов», «Наш современник», «Роман-журнал XX век» и многих других. Автор одиннадцати отдельных изданий. Переведен на грузинский и английский языки. Лауреат премии «Ясная Поляна» (2014). С 1998 года возглавляет Екатеринбургское отделение Союза российских писателей, с 2009 года — сопредседатель Союза российских писателей.

сын Колянко выходил самым горьким человеком. — Малехонькой-то он был вот такой. Жить-то нам было немоготно. Конюшна падат, вышка падат, голбес падат. А где кого взять? При скотинешке-то пока жили — ничего, а потом всю свели на колхозный двор. Пойди, говорю, Колянко, робить, пойді в бригаду. А какой с его работник — досытичку разу не едал!

Алексей Петрович слушал терпеливо — уважительный был человек. Слушал он, как Колянко, Николай то есть, тринадцатилетний заморыш, пошел работать, как в шестнадцать женился на вдове с тремя детьми, старший из которых был ему едва не ровней. Своего ребеночка завести не случилось. Жена супротивничала, хватит-де и этой нищеты. И вообще он был у нее под пяткой. Придет, бывало, домой к матери, сядет на порожек и всплачет:

— Живу-то я как худо!

Обижает его жена. Да и сын ее старший, вылитый варнак, тоже замахивается. Куда бы от такой жизни. И на войну он пошел вроде даже с радостью, отдохну-де хоть сердцем. А там и попал в плен да по лагерям едва не до самой Победы мыкался, а перед Победой освободился и письмо прислал: я-де, матушка, у командования напросился прямо в бой, и вот как воевал, что наградили меня орденом. А головушку он сложил восьмого мая в Праге. Затвердила город старуха. Помрет — так прямо и полетит.

— Вот он какой, мой Коляношко-то. Помести уж, Лексей Петрович, его получше. Пусть хоть на доске твоей счастье-талан ему будет!

Собрал Алексей Петрович с двух деревень сорок девять мужиков, по сельсоветскому списку вроде бы всех. Да и где с двух деревень — с одной, так как другая и ранее-то в двадцать дворов жила, а ныне и совсем пропала. Лишь старик Кучин со старухой там обитает. Постановлением партии и правительства об увеличении производства сельхозпродукции намечено все неудобь, в том числе и такие вот деревеньки, убрать и распахать — все, глядишь, у трудящегося человека на столе прибавится.

3

За стенд взялся Алексей Петрович вечером восьмого. Повозился изрядно, но вышло ничуть не хуже, чем если бы заказать. Планшет оклеил ватманом, написал заголовок: «Они погибли за Родину». Фотографии расположил в пять рядов по десять человек и с сержантами на правом фланге. В пятом ряду одного не хватило. Но Алексей Петрович обрадовался — ведь этот мужик, значит, живым остался! Еще приклеил на планшет Родину-мать из плаката да Золотую Звезду с лавровой ветвью. Провозился едва не до утра, а когда закончил, еще долго сидел просто так, всматриваясь в лица и без подписей узнавая, кто чей, так как ежедневно сталкивался с их родственниками, очень на них, оказывается, похожими. Он высчитывал годы отведенной им жизни и видел, что многие были ему сверстниками, а еще больше — против него молодыми. Вот мальчишка: двадцать четвертый — сорок второй. Родился в конце двадцать четвертого да погиб в начале сорок второго — восемнадцати нет. Они смотрели на него и как бы спрашивали, как живется, какая вообще после них жизнь. Алексей Петрович чувствовал огромную ответственность перед ними.

— Вот оно, патриотическое воспитание! — отмечал Алексей Петрович.

Утро разгорелось по-особенному. Обычно не сразу и разберешь, где небо, где земля. Оба темные и клочковатые. А ныне небо синело свежей рубахой и новым орденом сияло солнце.

Алексей Петрович спозаранку привязал стенд к оградке у обелиска.

Народ для шествия собирался около конторы. Начальство стояло на крыльце. Учителя равняли школьников в колонну. Особняком стояли ветераны Кучин, Розвалов и Светков. Около них, за спинами, туда-сюда серьезно выхаживал Паша Андреич. Учительница истории уговаривала их всех встать во главу колонны, а они отказывались, с народом-де им сподручнее.

— Вот же зануда, — тихо говорил про Розвалова председатель сельсовета. — Накатал телегу в райком, что мы о ветеранах не заботимся, дров, видите ли, ему за этот год еще не подвезли. А я зашел к нему — во дворе на пятилетку вперед поленниц наставлено. Неужели, говорю, не можешь подождать. Нету сейчас транспорта — посевная на носу. А мне, говорит, какое дело, сел на власть — отвечай. Фронтовик называется. Пойди теперь разберись, как ему три пальчика оборвало в сорок-то первом.

— Теперь что разбираться, — возразил Алексей Петрович. — Трое их всего у нас осталось.

Заиграла песня «Вставай, страна огромная!» — и все, вытягиваясь в колонну, тронулись.

Ветераны шли за старшеклассниками. Кучин говорил с учительницей истории. Он оборонял Кавказ, Кучин. По окрестности, а может и шире, это было делом редкостным. Все местные мужики в начале войны призывались на Западный, а он — Кавказ. Медалей на кителе у него только три, фронтовые: «За отвагу», «За оборону», «За победу». Послевоенные юбилейные не носит. Китель черный, суконный, под Сталина или кого там из его молодости. Выкинет клюкой вперед — и айда на центральную усадьбу за хлебом. Шагает круто. Медали позванивают, бодрости придают.

Алексей Петрович подошел к нему.

— Ну как вы с переездом?

— А? — якобы не понял Кучин.

— После праздника думаем вас переселить. Земля у вас там зря пропадает. Соберитесь. Транспорт выделим. Ордер давно готов.

— Может, до смерти моей подождете? — бодро спросил Кучин.

— Ну, вам еще жить да жить! — душевно улыбнулся Алексей Петрович.

Розвалов громко рассказывал, как они дали прикурить фрицу. Везде все сплошь драпали, а они прибыли — полк тяжелой артиллерии, кадровый состав — и ударили.

— Ни шагу я не отступал! — громко говорил Розвалов. — В сорок первом, а ни шагу!

— Ну да. Никто не драпал, все сплошь геройски наступали на Москву! — сказал один старшеклассник.

— Ох ты, поросенок! — ответил ему Розвалов.

Старшеклассник не обернулся. Свой рассказ начал Паша Андреич:

— Под городом Львовом было!

— Город Львов в полосе Первого Украинского фронта, а ты воевал на Пятом Украинском! — уточнил Светков.

— Такого фронта не было, — уточнил старшеклассник.

— Был! — не сдался Светков. — Пятый Украинский — Ташкент.

5

Стенд сработал точно по расчету. Такого еще не видели, чтобы погибшие присутствовали у своего памятника. Застав их, вместе собранных, будто перед отправкой, бабья половина колонны захлипала. И остальные посерьезнели. То были кругом тары-бары, а тут зашушукались все об одном — сильно задело, что столько их много. Народ заповорачивал к стенду, стал толкаться, давить, напирать. Смешался народ и забыл привычный порядок. С венками перепутались и не знали, куда их возлагать — к обелиску или к стенду. И учителя побежали друг к другу за советом: куда почетный караул, туда или сюда, а может, и туда и сюда?

— Смотрите-ка! — между тем пояснял народу первый обвыкнувший в новой ситуации Светков. — Поотделенно построены, с сержантами на правом фланге. Хоть сейчас к присяге!

— На первый-второй — и в рай! — вспомнил давешний старшеклассник песню Высоцкого.

— А? — спросил Кучин.

Слышал он туго. Контузия сказывалась. Раньше вообще был — все в нем жило само по себе. Одна нога туда, другая сюда. Руки — куда хотят. Сейчас же только слух подводил.

— А? — спросил он.

— Как в строю ребятки! — крикнул Светков. — Вот он, мой дружок Паша, братан твой! Вместе мы уходили. Смотри, старший сержант и два ордена. А я вот, видишь, Паша, какой кобель старый стал!

— Во, всех помню! — гордился Розвалов, закрывая собой больше половины стенда. — Всех до единого помню.

— Ну-ка ты, ветелиран! — стала его толкать невидная старушка. — На тебя насмотрелись. Дай на людей посмотреть. А почему тех, кто после войны умер, не поместили?

— Тогда бы какую длинную доску надо было делать? — откликнулись ей.

Возникли по этому поводу споры. И победило мнение — хоть через всю деревню, а мужики того заслужили.

— Как не надо, всех надо! — руководил мнением Розвалов. — Власть надо обязать. Она только заседать любит. А как фронтовиков что коснись — тря-я-я-нспорту нету!

— У тебя он больно был, транспорт-от! — напомнили старушки его бухгалтерские годы.

— Я колхозную собственность берег!

— Устарелся беречь! Бывало, придешь к конторе за какой нуждой, а оттуда в дверь пузо покажется. Вот выходит оно из конторы, вот выходит Бабоньки, скличешь, да чо-й-то тако? Ну-ка гляньте в окошко! Которая посмелее заглянет: а-а-а, дак это наш бухгалтер Розвалов до ветру собрался!

— Оскорбление личности!

- Так ведь и личность так же разворотило!
- Товарищи! — призвал всех к вниманию Алексей Петрович.

6

И после митинга долго никто не уходил от стенда. Уж и за полдень перевалило. Уж и напились мужики.

— Было у нас под городом Львовом, — приступил к мемуарам Паша Андреич.

Слушали Пашу. Знали, что не был он под городом Львовом. Был он рождения того года, который на фронт уже не брали.

— Разницы нет, — говорил Паша Андреич. — Я не виноват! — и его слушали.

Кучин сидел около обелиска, кропил вином вокруг:

— Мясорубка, вот так вот все! — крутил он руками. — Как даст шестиствольный, так от взвода одному червяку нечем прокормиться. А мы трехлинейку штыком вперед — и как в империалистическую: уря-я-я!

— Ты не брызгай тут! Не могила же! — уговаривал его Светков.

— Куда же мне им направить? — спрашивал Кучин и искал Розвалова.

— Да дома он пьет, антиалкогольный указ соблюдает! — сердился на Кучина Светков. — Вон Паша Андреич вместо него!

— Брешет он много! — клеймил Пашу Кучин, но тут же осаждал себя. — Оттого он и брешет, что был рядом с нами, но нашего не пережил. Годом запоздал, а уже не тот.

— Счастье ихнее, все живы! — возражал Светков.

— Не верно! На что такое счастье! — упорствовал Кучин. — Мы-то все калечные. Нам любая жизнь в подарок. А им? В войну доброй жизни не видели, после войны — совсем. Германия в добре купается, а мы — в дерьме. Это через сорок-то лет после победы! Пиррова, что ли, победа? — Кучин отмахнул рукой, и медали на кителе вскрикнули: эка завольнодумствовал.

7

Около фермы в горбах перепрелого навоза засела с банкой браги пара старшекласников.

— Заколебали уже со своей войной, — шла между ними беседа. — Сорок лет одно и то же. А все не так было.

— Все врут.

— Хоть бы в армию скорей.

— Чего хорошего?

— И здесь ничего хорошего.

— У тебя дед на фронте погиб, а отец — от водки.

— Батю не тронь.

— Я не про то. Он, может, от нашего вранья и спился.

— Твой чего же не спился?

— Мой-то и врет. Ему как парторгу первому положено. Честно, Максимка, ты советской власти веришь?

— Вот чему я верю! — ножик-самоделка на миг вырвался из кармана.

- А я никому не верю! Для чего же революция была?
- Давай про девок!
- Смотри, в войну призывали — попробуй не пойдешь. А в революцию сознательно шли, хоть в красные, хоть в белые.
- Давай про девок!

8

Гуляли деревеньки, плыли торжества по городам. Старухи и старики, их детки, давно уже немолодые, и их детки, студенты, рабочие, служащие, учащиеся, члены партии, беспартийные, комсомольцы и несоюзная молодежь, солдаты бывшие, настоящие, будущие, воевавшие, трудившиеся в тылу, отсидившиеся и отсидевшие, выросшие в войну и после войны — весь народ праздновал Победу.

Сорок девять мужиков, не ломая строя, смотрели на обелиск в свою честь. Сорок девять пехотинцев, артиллеристов, саперов, танкистов, рядовых, сержантов, в буденовках, пилотках, кепках, в гражданских пиджаках, парадных и полевых мундирах, с петлицами, погонами — сорок девять разных, юных, молодых, матерых, пожилых, заметно отличающихся от нынешних предвоенной и военной жильностью, сорок девять мужиков несли около себя почетный караул.

9

- Иван, Ваня, где ты?
- Кто зовет?
- Да я, я, Павел Кучин, старший сержант Кучин!
- Кучин? Откуда такой?
- Сам-то откуда?
- Стой, стрелять буду!
- Заткнись! Иван, где ты?
- Что значит, заткнись? Стой!
- Иван!
- Не Иван, а сержант Михеев! Стреляю!
- Михеев? Какой Михеев? Бригадир тракторной бригады Иван Ефимыч, что ли?
- Он самый!
- Ложись на землю! Стреляю!
- Смолкнешь ты или нет? Разорался!
- Я на посту!
- Ну и стой, а не ори! Дай с земляком встретиться!
- Дядь Вань, ты, что ли?
- Сержант Михеев, а не дядь Вань, раз ты на посту! Кто такой, доложишь по форме!
- Сапер отдельного саперного батальона красноармеец Будяков!
- Это еще откуда?
- Что за шум, славяне?
- Прекратить разговорчики! Где комполка?

— Иван, где все наши?
— А мы чьи?
— Кто тут черепановские?
— Мужики, а кучинские есть, из деревни Кучиной?
— Смирно! Давайте, мужики, по порядку!
— Братцы, да где мы?
— Прекратить панику! Мы в окружении! Пока нету комполка, принимаю командование на себя!

— Иван Ефимыч, вы не того, не заложили наркомовских лишнего?
— Прекратить базар! Товарищи! Я принимаю командование на себя! Я сержант Михеев. Кто не знает, сообщаю: я помощник командира танкового взвода, временно исполняю обязанности заместителя командира полка и всякие шуточки насчет каких-то наркомовских буду пресекать беспощадно! Тут есть наши черепановские мужики. Они меня знают!

— Да какое окружение, братцы! Вы посмотрите, какое число!
— Пятое августа!
— Шестнадцатое октября!
— Июня второе!
— Тридцатое января сорок третьего года!
— Да хватит заливать! Сегодня девятое сентября сорок четвертого года. Софию наши освободили!

Такая переключка продолжалась значительное время, причем странным было то, что давали о себе знать только мужики черепановские и кучинские, все же остальные молчали, будто нигде их не было, будто только кучинским да черепановским выпала доля оборонить страну.

10

— Мммать, орда какая-то, а не армия! — вконец рассердился сержант Михеев Иван Ефимович. — Рав-няйсь! Смирно! Я сержант Михеев. И пока не выйдем к своим, пока нет командира полка майора Ивашко, я ваш командир, бог и временно товарищ Сталин. Сегодня двадцатое октября одна тысяча девятьсот сорок первого года. Все!

— Двадцатого октября сорок первого года я еще дома на полотах лежал.
— Смирно!
— А что смирно! Ты не кричи, Иван Ефимыч, а толком скажи, с чего тебе приспичило именно двадцатое октября какого там года объявлять?
— Откуда двадцатое-то, когда ровно шестнадцатое!
— Да говорю, мужики, девятое сентября сегодня. Софию освободили. Москва передала!

— Москва? Есть связь?
— Да вы что, чудики!
— Стойте, без шума, по-человечески прошу! Сколько нас здесь? Построиться. И каждый пусть назовет себя. А то ничего не видать. Кто на правом фланге?
— Где правый-то?
— Относительно моего голоса!
— Кажись, я, старший сержант Кучин.
— Я, красноармеец Будяков!

- Красноармеец Лобанов Константин Кузьмич.
- Еще красноармеец Будяков.
- Ну чисто все черепановские. А кто-нибудь есть из сводного полка майора Ивашко?
- Где такой полк?
- Из-под Смоленска пробиваемся с товарищем Ивашко на Можайск.
- Как это из Смоленска на Можайск?
- С боями. С боями, мил друг, так что майор Ивашко — командир, а я по причине убыли комсостава его заместитель. Вот так. А писарь Хомченко за начштаба.
- Иван Ефимыч, ни черта не понять. Если ты с майором Ивашко и писарем Хомченко на Можайск собрался, то по каку кобылью дыру ты в Абганерово прохлаждаешься? Это ведь Сталинград.
- При чем какая-то Абга... как?
- А при том, что приказано взять.
- Ребята, спектаклю вы, что ли, играете? Не пойму я. Ведь победа!
- Над баушкой? Неуж сдалась?
- Над Германией и ее сателлитами победа! Ведь Берлину каюк, и мы в Прагу вошли!
- В какую еще Прагу? Ага, как это в песне: «Конница Буденного врывается в Париж!»
- Отставить разговорчики! А ну по одному докладывай, кто когда призывался!
- На фронт? Мы осенью сорок первого.
- А нас в прошлом году перед Октябрьской, в сорок втором.
- Мужики! Только без паники. Ребята, а ведь мы все тут, это, кхм, убитые! Мужики, смирно! Стоять!

11

Рассвело столь рано, что все увидели — на дворе именно май. И увидели — стоят в своей Черепановой. То есть не увидели, а почуяли. Перед глазами же их лежало несуразное сельбище, прилипшее к их деревне, окопавшееся траншеями и рвами, вздыбившееся горами оплывшей глины, строительного мусора, нечистот и серыми фортами кирпичных построек. Черепановой им в этом хаосе нипочем бы не признать, если бы не екнуло каждому домашним. Не через сорок лет они вернулись, а много — через год-два, кто так и того раньше, и домашнее тепло из них еще не выветрилось. О сорока годах никто не догадывался. Всякий вел свой счет до того мига, как его не стало. И так как с того мига и до сего мига ничего не было, то и явился он в их сознании мигом теперешнего возвращения. Их деревня, та Черепанова, которую они оставили много год-два назад, а кто так и раньше, припав к земле, стояла в сторонке. Она сильно сдала без них — постарела и осунулась. Но они ее узнали сразу. И нездоровья ее не заметили. Слишком мало оно было по сравнению с теми разрушениями, которые они видели мгновение назад, и слишком желанна была им она, чтобы хладнокровно разбираться в ее переменах. Никто из них не проронил ни слова. Все только обернулись на деревню, и всяк рвался взглядом к своей избе.

12

— Кто сказал, что сегодня восьмое мая? — спросил наконец сержант Михеев Иван Ефимович.

— Я, красноармеец Будяков, — отозвался маленький, обескровленный даже против остальных мужиков.

Все на него оглянулись. И каждый увидел всех. И все увидели каждого. Кинулись друг к другу пожать руку, хлопнуть по плечу — не стесняясь, обрадоваться. Охватились все разговором, и разговор полыхал меж ними ночным боем — слепым, яростным, не поддающимся управлению. Никто нисколько не обратил внимания на раны других и не чувствовал свои. Видели эти раны, но в то же время видели друг друга целыми и невредимыми, как если бы каждого из них было по двое. Вообще-то их действительно было по двое — до смерти и после нее, то есть в ее момент. Но все-таки каждый из них был один, один-единственный на всей земле и вокруг нее.

Они бы так бурлили неизвестно сколько, если бы не пошли мимо две молодаяйки, сонные и недовольные.

— Всем праздник, а тут, как проклятушшим, на дойку! — сказали они.

Все сорок девять мужицких голосов дрогнули и смолкли, потому что оказались перекрытыми этим единственным, недовольным, но живым и теплым голосом.

Молодаек проводили глазами, пока было можно.

— Кто это? — спросил один.

— О чем они? — спросил другой.

Ни на тот, ни на этот вопросы отвечать никто не решился. Молодайки были невиданными: яркими и страшно чужими.

— Эвакуированные? — предположил Иван Ефимович.

— Эвакуированные! — передразнил Павел Кучин. — Небось, уж десять лет, как война...

А что как — не договорил. В этот момент до всех дошло, что они на самом деле есть убитые.

13

Смерть переживали сильно. И никуда с места не отлучались. Стояли всем гамазом, словно бы заняли круговую оборону, смотрели на жизнь и насмотреться не могли. От переживаний даже созрел скандал.

— Как же теперь нам быть? — спросил Павел Кучин.

— В разведку сходить, — отозвался через долгое молчание кто-то.

— Куда же в разведку-то? — спросил Иван Ефимович.

— В деревню, известно.

— А нужны мы им?

Вопрос был метким. Если и в бою Иван Ефимович так же разил врага — не обидно сейчас было пребывать в объявленном состоянии. Одна сильная мысль засела в Иване Ефимовиче, и он пока боялся ее сказать, потому что не обдумал со всех сторон. Если Колянко Будяков утверждает, что была победа и якобы вышла она не ранее как в мае сорок пятого года, то есть в такое время, до которого ему, Ивану Ефимовичу, из своего двадцатого октября сорок первого

надо было жить еще не менее трех с половиной лет, если все вокруг столь необычно, то сколько же времени прошло с того, как он расстался с Анной, и какую он ее увидит, вернувшись? Вот такая мысль посеялась в голове Ивана Ефимовича, дала всход и теперь споро зрела, не требуя ни полива, ни удобрения, ни прополки.

— Почему это не нужны? — с обидой опросили его, не заметив меткости и не дождавшись развития мысли.

— У них, видать, жизнь отладилась. Как бы помехой не стать, — не сразу, но сказал Иван Ефимович.

— Как это?

— Просто. К вам мертвяк поведется — приятно?

— Да мы его!

— Себя, то есть.

Стало ни присесть, ни охнуть.

— Все это поповские штучки! — опаматовался Павел Кучин. — Раз мы стоим тут и все видим, и меж собой говорим — значит, мы живые! А ты, Иван Ефимыч, родился до нашей эры и...

И опять загудели-забурлили во все сорок девять глоток. Понятно, кому же охота числиться в нетопырях или какой другой нечисти из бабкиных сказок. Исторический материализм на дворе, «Курс истории ВКП(б)» не по одному разу прочитан. А тут к своей избе подойти нельзя. Завтра, может, опять в бой, и неизвестно, выйдут ли из него.

— Кто комсомольцы, на собрание! — позвал Павел. — Повестка: «Разлагающее влияние религиозных предрассудков». Сорок четвертый год на дворе, середина двадцатого века, а все еще отыскиваются некоторые.

— Что значит, некоторые? — спросил Иван Ефимович.

— А то, — не отступил Павел,

— Сопляк еще!

— А ну смирно! — сорвал голос Павел. — Привыкли в своих окружениях!

— К чему?

— Батьку Махно разыгрывать! «Я вам временно товарищ Сталин!» Да за такие слова!

— Я Махно?

— Ты!

— Я?

— Ты!

И едва не вышел встречный бой. Сцепиться, конечно, не дали. Похватали обоих под белые руки, развели поодаль, стали стыдить.

— Сдурел, что ли, Иван? — говорил Ивану Ефимовичу Константин Кузьмич. — Чего на молодого полез?

— А он чего?

— А чего он? Ты же ведь раскомандовался: мертвяки, мертвяки! Пусть сходят. Домой ведь. Я вот сам жару в ногах потушить не могу, так и взвевал бы пятками.

— Да не положено мертвому домой, понял ты, нет? Не к добру это!

— Мертвому не положено, а нам надо. Лютей будем.

— На кой оно, лютей-то?

— Для боя.

— С Кашеем Бессмертным?

— С Кашеем не Кашеем, а поди-ка не одни мы в тресподне обитаем. Ихние тоже, небось, есть тут, не только нас били. Кое-кого ведь и мы.

После этих слов никаких разногласий более не проявлялось. Смитинговали, выговорили себе право на час слетать по домам и постановили, что пугать их не следует, приказ они знают и без пугалки, кто не вернется — тот дезертир, а если будет и дальше продолжаться этакое непонятное состояние, то, конечно, командиром будет Иван Ефимыч, а если он сам домой пойти не хочет, то пусть обдумает положение, чтобы по возвращении ни секунды не терялось и не было бы такой бестолковщины, что все они тут, но в то же время якобы один на Можайск потянулся, другой в Софии прохлаждается, третий через Берлин на Прагу путешествует — Радищев нашелся.

Все торкнулись разойтись, но никто не отделился от планшета и на вершок. Неслышная, но тяжелая сила уцаписто держала каждого. Рванулся один. Дернулся другой. Натужился третий. Взухнули и качнулись всей артелью, полком ли, сказать. Арттягач, в распутицу на оси севший, от такой страсти пробкой бы выскочил, а планшетка даже не покосилась. Трое только — Иван Ефимович, Павел Кучин да Колянко — мягонько отлипли и неслышно, навроде осенней паутины, перелетели через штакетник. Перелетели, опустили на землю, но тут же вскочили помочь товарищам. С час возились и так, и этак, но весь час безрезультатно оставались втроем.

— Айдайте-пойдите! — погнали их остальные. — Народ окликните или чо!

— К мертвым-то как раз сбегутся! — опять за старое взялся Иван Ефимович.

— Не каркай, а беги! — укоротили его.

Все втроем насторожились, будто перед темной водой, зябко передернулись и шажок к шажку, с оглядкой — это сначала-то, а потом полусажениями пометали всяк к своему двору.

14

С рассветом Кучину примнилось, что кто-то, осторожно ступая по заросшему остатку улицы, остановился против его окон. Пока Кучин вставал, поддерживал подштанники и шлепал к окну босой, с улицы уже ушли, и он вроде бы даже видел куда. Вроде бы прошлогодние репы за забором всколыхнулись, показав, что кто-то прошел на зады.

Кучин в четверть голоса ругнулся, взял батог, накинудся телогрейкой и шапкой, всунулся в сапоги и вышел.

— Вот язви вас! — вскричал он на округу.

С показною бодростью из сараюшки выкатилась толстая низкая Лапка и строго залаяла на ворота.

— Диогену была цена самой плохой собаки — два обола! — выговорил Лапке за халатность Кучин. — А ведь это несправедливо.

Чуя нарекания, Лапка обежала двор, нырнула в ворота, прочесала владения и ничего, кроме рассветного ветерка, не обнаружила. Да и тот с меньшим успехом мог бы овеивать какие-нибудь эллинские красоты, чреватые несправедливостями в отношении своих лучших людей, а не будить прохладную кровь старого учителя и его собаки.

- Диоген, Диоген, сравнил тоже! — проворчала Лапка.
— Чего? — спросил Кучин.

15

Ложиться он больше не стал, а разжег плиту и поставил чайник. У огня было уютно. Кучин сел перед топкой и стал думать о брате Павле. Сейчас Кучину до небытия было столько же, сколько в пору жизни с братом было от небытия. Круг замыкался. По брату тосковалось. Уж совсем дружно они в детстве не жили. И в юности дорожки тоже разошлись. Павел еще подростком был, когда сам Кучин уехал на учебу. И вспоминать вроде было нечего, кроме обрывочных фактов, как, например, про нечаянно погибшего отца, про голую избу с ворохом тряпья на печке, про худой надел земли, от которого он и подался на учебу. Нет, учеба, конечно, тянула его к себе. Он в школе выделялся и за две зимы окончил четыре класса. Его за этот успех определили писарем в сельсовет, а оттуда дали направление в институт. А Павел с матерью остались. Перед войной Кучин с женой вернулся в деревню, но наладиться с жизнью не успел. Призвали в лагерь, а из лагерей — прямым на фронт.

Такие тезисы воспоминаний Кучина не устраивали. Он покряхтел, собрался сходить за книгой, чтобы не все тратит время. Расшарашился, вставая, и очень отчетливо увидел брата совсем маленьким, нарашарагу топчущимся в луже.

Они с братом были дома одни, когда случилась гроза, обратившая в единый миг белый день в темную ночь. Сверху так трещало и метало огнем, так лило дождем, что вот-вот должно было смыть их избенку. Они схоронились на печке. Кучин, боясь, что голос притянет молнию, шепотом успокаивал брата, говорил ему про отца, который-де придет и с грозой расправится. Он тосковал по отцу, а для брата за малостью его лет тот был понятием отвлеченным. В этот страшный миг они приблизились друг к другу. Обоим стало хорошо, и с желанием, чтобы гроза скорее проходила, соседствовало желание задержать ее дольше. Была черная изба с облупленной печкой, была тьма, утопившая избу в грохоте дождя и грома. И были они двое, никогда дотол не умевшие сказать друг другу хорошее слово. Между ними всегда жили только обиды. А хороших слов они не слышали ни от матери, захлебнувшейся в бесплодной работе, ни от кого-либо другого. Не слышали и не могли найти их в себе. Только этот большой страх перед грозой толкнул их одного к другому. Больше-то, может быть, старшего к младшему — потому-то Кучин и вспоминал отца, что хотел брату его на время заменить.

Гроза скатилась, и они выскочили во двор бегать по лужам. Брат нараскаряку стоял посреди двора, а сам Кучин месил грязь у крыльца, когда рванула запоздалая молния, и так плотно треснуло громом, будто оборвалось небо. Брат метнулся к нему, Кучину, и тот схватил его, прижал, навис над ним, подставляя под падающие небеса свои хилые позвонки.

Вчера Кучину очень хотелось протолкнуться к стенду и поглядеть на ребят, не только на брата, а на всех ребят вместе. Но извечная педагогическая привычка сдерживаться сказала и тут. Да захотелось Кучину побыть с ними наедине. И он только позавидовал тому, кто стенд делал.

Анна Егоровна ночью увидела очень радостное. Приснилось тихое, все в яблонево, редком по здешним местам, цвету лето, начало июня. Она не усидела дома. Да и как усидишь, когда бабы на телегах мимо по два раза на дню — туда и обратно — катят. Старшего оставила на соседку, а меньшего прихватила с собой.

Он лежал в тенечке под платком, растянутом на колышках, сучил ручками. Она окапывала раскидистые смородины, выдирала осот с мокрицей и поглядывала на него. Сновали пчелы. И одна, озорница, привадила к мальчонке. Нашла цветок! Анне Егоровне было тревожно — не шачкнула бы. Осердится, что сучит ручонками, и шачкнет.

Морило солнышко. Ник сад. И Ваня должен вот-вот заглянуть. Работают невдалеке и за водой для тракторов приедут в сад. Саду уже семь лет. Она, Анна Егоровна, его и сажала. Константин Кузьмич пустил агитацию, а они, комсомолки, откликнулись.

Вот такой сон — сильный и яркий — получился сегодня. Не сон, а явь. Без конца бы только. Потому что вместо Вани — бумажка в комод: пропал без вести. Вместо младшенького — оградка на кладбище: разбился на машине. Вместо сада — неприбранное корчевье: сломали бульдозерами. На Ваню нашлась война. На младшенького — водочка. На сад — постановление обкома.

Из двери тянуло холодком, как если бы дверь была незаперта.

— Разве кошка спакостничала, — предположила Анна Егоровна и встала закрыть дверь.

Встала и вспомнила нехорошую примету: дверь сама по себе открывается — к покойнику.

— Тьфу, холера! — отмахнулась от приметы Анна Егоровна.

Но от сна и от приметы стало печально. Ванину фотографию зря отдала. Уж не надо было. Никогда не расставалась. Переснять даже не решилась. Надо везти в район да оставлять в быткомбинате. А на грех-то потеряют. Нет уж, на ее век хватит одной. Так все думала. А тут Алексей Петрович одолел. На агитацию, говорит, молодое поколение воспитывать, пусть видят свои корни. Запотемило — отдала.

Она подошла к двери, потянулась к скобе, а от двери там, в сенцах, словно бы кто испуганно отпрянул.

— Кто тут? — тревожно спросила Анна Егоровна, отдергивая руку.

Но никто не подал ей о себе знать.

— Блазнит, — успокаиваясь, догадалась Анна Егоровна. — Или трубу не закрыла с вечера — сквозит.

Но все же включила в сенцах свет, выглянула и удостоверилась — конечно, блазнит. Нет, без Вани, как без хозяина. Надо фотографию забрать.

Анна Егоровна села к столу, положила на него руки и вспомнила, как было неизъяснимо сильно — то ли радостно, то ли горько — сильно было в душе в тот момент, когда увидела Ваню на планшете. Будто ахнула она на дно своей жизни, в свою молодость, в тот июнь, который только что приснился, и, кажется, даже груди дрогнули капелькою молока, почуяв прикосновение детских губешек.

— С Ваней, наверно, сейчас, — подумала Анна Егоровна про младшенького.

Колянко Будяков избы своей не нашел. Мыкала она долю с краю деревни. А теперь на ее месте огородилась нефтебаза. Колянко прошелся туда и сюда, стараясь учуять домашний свой запах. Но крепко шибало горячим. Походило на танковое подразделение — на Прагу ведь сплошняком шли на броне.

От обиды Колянко махнул рукой и пошел обратно. Именно ему выпало иметь вместо своего домишки мазутную вонь. Хотя по справедливости ему больше всех надо было сейчас попасть домой. Пусть бы маманя посмотрела на него, на героя с орденом. Да его чешская девушка поцеловала, ничуть никого не стеснясь! И что с того, что на нем все бесстыдно болтается, мотня путается в коленях, рукава неоднократно подогнуты и ремнем он опоясан дважды. Это у него после лагеря. Со временем наест. Вот возьмет отыщет ту девушку да и оженится на ней. Пусть-ка Маруся со своими варнаками тогда поскачет!

Он так думал, а глаза жадно метались по улице, цепляясь за все, что попадалось, небывалым теплом грея Колянку, выстуженного лагерем. «Здесь-то бы живенько оклемался, — думал Колянко, накладывая эту мысль на красивую, но все же чужую мечту о ласковой чешской девушке. — Здесь чо, недельку бы посидел на крылечке...» — и представлялось ему чисто выскобленное материнское крылечко, а срам смотреть какое прирубье к избе Марульки. И сама Маруся становилась с каждым шагом все нужнее и притягательней.

— Ну как? — единым разом выдохнули мужики.

А что было сказать на этот жадный выдох Ивану Ефимовичу?

Сел он как после большой работы, и мужики вокруг него кадушечным ободом стянулись:

— Ну?

Была у них прорва вопросов, да полезли они без порядка и застряли. Мужики суетились, пытались враз вытолкнуть из себя скопившееся за недужно длинный час ожидания. Но вместо вопросов перлю из них только это никчемное, но многождущее:

— Ну?

Иван Ефимович был до того разбит, что случись сейчас команда, не подумает ее исполнить. Уже такое было на одной речке. Перешли ее — и сел он за прибрежным бугром, удобно пристроив «Дегтярева» мушкой на речку Все. Шабаш. Отстрелялся — и ноги в квашню. Отсюда больше ни шагу. Люди шли от берега, а он разулся, расстелил под солнышком волглые и вонькие обмотки, окунул жаркие ноги в озноб осенней травы. Майор Ивашко вернулся за ним сам.

— И не подумаю, — сказал ему Иван Ефимович. — Застрелить ты меня не посмеешь, потому что нанесешь Красной Армии урон. Я сейчас ее самый первый боец. Не сдохну, пока не положу вон на том песочке пяток-другой.

— Встанешь и пойдешь, — сказал майор Ивашко.

— И не подумаю, — усмехнулся Иван Ефимович.

— Ты — невелик урон, — сказал майор Ивашко. — Шлепну тебя — и родная баба не заметит, был ты или нет. Красная Армия еще не такие уроны стерпела. Я отчего за два года с младших лейтенантов в майоры выскочил? От гениально-

стей моих, думаешь? Я еще перед взводом трясся, как девка первый раз в постели, а меня уже на батальон поставили, а через полгода — на полк. И таких нас, гениальных, в Красной Армии — как поганокросло. Комвзводы полками командуют, комбаты — армиями.

— А где же?.. — хотел спросить Иван Ефимович про прославленных наших красных генералов.

— Где? — перебил майор Ивашко. — Дать адресок для вопросов?

В бога, в душу, во всякую, какую только вспомнил, мать заорал Иван Ефимович на майора Ивашко, на уставленного мушкой в сторону речки «Дегтярева», на сгнившие обмотки и разбитые сапоги, на противоположный берег, на сведенное брюхо, на уходящих людей, на товарища Ст... Стоп, кажись, на него не кричал. Но на все остальное вывернулся таким матом, что, наверно, передовые немецкие подразделения принялись окапываться, а майор Ивашко сел рядом, вынул пустой портсигар и долго вертел его, зря выискивая крохи табака.

— Да как же так выходит! — кричал Иван Ефимович. — Маршалы есть, Буденный, Ворошилов, Тимошенко есть, солдаты есть, а тех, кто стратегическую линию товарищей Буденного, Ворошилова, Тимошенко солдатам донесет, нет!

— Я подозреваю, и стратегической линии нет, — сказал майор Ивашко. — Есть одни дутости, мундиры с орденами да фуражки с кокардами. Ну, шпоры еще.

Сейчас так же сидел Иван Ефимович и был готов от внутренней пустоты на что угодно, в это же время, однако, не был он готов ни на что. Он не заметил, как дометал до своих ворот, как сквозь задвижки и запоры оказался в сенях и даже взялся за скобу открыть дверь в избу, как вдруг во всем теле почувствовал горячую тяжесть. Его качнуло, и в висках быстро-быстро, и в груди гулко-гулко, что тебе в моторе, застучали клапаны.

— Что это со мной? — успел спросить он, еще совсем не осознавая, что и тяжесть, и жар, и стук в висках и груди — все это от той жизни, от живой.

— Кто там? — услышал он знакомый, но треснутый голос.

Дверь чуть приоткрылась. Иван Ефимович увидел бабку, кое-как запахнутую в широкую серую рубаху Быстрее, чем понял, что это есть его Анна, он отпрянул от двери, и сильнееющая сила ужаса вынесла его во двор. Он хлебнул прохлады, чуть опаматовался и немощно прижался к стене, слыша, как в сенях ходит его страшная Анна.

— Ну как, а, Иван? — облепили его мужики. — Что молчишь?

А он уткнулся в пилотку и, трясясь плечами, взлаял.

19

Следом явился Павел Кучин. Пришел, остановился невдалеке, оглянулся на пройденное, посмотрел на разомкнувшийся от Ивана Ефимовича обод, вытянул по-волчьей шею и сказал, ни к кому не обращаясь:

— Куда деревня-то наша подевалась, мужики? Братан один всего живет, но такой старый — не признать.

— А наши? — в один голос спросили кучинские.

— Только братан.

— Брешешь! — закричали кучинские. — Куда бы им подеваться — двадцать дворов!

Павел привычным движением скинул с плеча обгорелый «пэпэша» и сел рядом с Иваном Ефимовичем:

— И куда нам теперь?

Кто-то несдержанно сморкнулся, и одужья глаз у всех покраснели. Чужа ненужный момент, Павел резко заметил:

— Все равно должны соблюдать уставы!

— И на значок ГТО сдавать? — спросили.

— Между прочим, ничего взгального нет! — прекратил смешки Иван Ефимович. — Как жили, так и жить будем, хоть и с другой стороны.

— Газету бы.

— Смотри кругом — вот тебе и газета.

— Это голый базис. Нужна надстройка в виде разъяснения.

— Но что же нам делать-то?

— Предлагаю общее собрание.

— У нас есть приказ, — упрямо напомнил Павел.

— Больно много приказов. Одному на Можайск, другому на Прагу.

— Смерть фашистским оккупантам! — вот всем приказ.

Но подверглась обсуждению и такая постановка вопроса. А после того, как Иван Ефимович и Павел с пятого на десятое все же рассказали увиденное, и всяк убедился в том, что жизнь без них на месте не топталась, а далеко ушла, оставив их в том состоянии, о каком первым догадался Иван Ефимович, после такого политдонесения во всякого проникло томительное вольнодумие. Поверить в свое состояние было никак невозможно, потому что никто никогда, кроме, естественно, как только в религиозно-предрассудочных байках, не встречался с таким явлением. По марксистскому учению, да и по житейской сметке, — а в неверности того и другого убеждаться не было примера — мертвый есть мертвый, то есть никакой, и, снесенный на кладбище, исчезает там навсегда без каких-либо претензий на жизнь, хоть на его могиле молись, хоть мочись.

Если был бы тот свет, то есть мир мертвых, то справедливо предполагать в нем наличие всех других умерших. Но кругом была их живая деревня. И как тут принять догадку Ивана Ефимовича, шибящую безысходностью оппортунизма столь же сильно, как, скажем, та же неприбранная мертвечина вонью? Кстати, даже и это, принюхаться, от кого несет? Ну? От кого? Вот и ткнул вместо носа пальцем в зад их командир и довоенный бригадир Иван Ефимович. Произошла какая-то фантазия или что там. Может быть, из дурдома сбежали они. У каждого тяжелая контузия. Пролежали несколько лет, организм стал поправляться. Сбежали. Очухались. На родной земле. Родная земля еще не то сделает. Что, не правда?

20

Фитиля в лампе тем временем прикрутили щедро, и огонь вывалился на небесную столешницу. Слабо вскрикнул он, протискиваясь сквозь окаменелую грязь на окнах, и разбудил Пашу Андреича.

— Вот же, елки! — весело встряхнул он головой. — Второй день Победы, а

ты спишь, будто на переформировке. А, привет! — он увидел у стола незнакомого мужичонку в довольно кислой солдатской обмундировке.

— Здравсте! — ответил мужичок, оборачиваясь.

Паша взором просек на нем погоны.

— Партизан, что ли? — спросил с прежней приветливостью.

— Нет, почто, кадровая, — резонно ответил мужичонка.

— А-а-а, — будто понял Паша. — Я думал, на переподготовку забрали. Шоферюг через военкомат заберут — живут они там в палатках, дисциплины никакой, такие же, как ты, обормоты ходят. Партизанами называются. Ну что, Победу отметим? Есть у меня маленько. Вчера со Светковым не смогли допить. А что мне, живу один. А сам-то ты кто?

— Да тут Мария Будякова проживает.

— Мать, что ли, моя? Мы, видишь, на одной фамилии, а она на другой, — взялся и за эту тему Паша. — Сам я в танковых войсках воевал. У нас чо было под городом...

— Жена моя, — нескладно перебил кислый служивый.

— А-а-а, не-е-ет, напутал ты! Тут всегда мы жили. Я тут родился. Брат Генко тоже тут родился. Так он чо, он все подряд примал — и бензин, и клей. А Витька еще раньше туда сгремел. Тоже по пьяни.

— Ты, небось, Пашка? — спросил мужичонка.

— Павел Андреевич Михеев, танковые войска.

— Ну а я Николай Будяков! Не узнаешь?

— Узнаю, едрена мать! — весело ответил Паша Андреевич, но на самом деле ничуть служивого гостя не признал.

— Жил я тут с мамкой твоей! — уточнил тот

— Те чо надо? — уловил в адрес матери оскорбление Паша.

— Эх, Пашанька, да Николай я! До войны я тут с вами жил! — отчаянно вскричал кислый гость.

Паша Андреевич скребнул ворсистый подбородок. Сглотнул, чего-то угадывая. Помолчал с минутку. Потом, не отпускаясь от догадки, недоверчиво спросил:

— Дак пришел, значит?

— Ну да! — осыпался яблоневым цветом служивый.

— Николай?

— Он самый!

— А до этого где был?

— Пришел, главно дело!

— Дак ведь похоронка была!

— Жизнь такая, Паша!

— Дак за встречу!

— А Маруся?

— Пятый год нету. А ты, вроде, не состарился!

И более не отвлекаясь и не давая гостю от недужной вести скиснуть совсем, Паша Андреич снырял в укромное место, достал, и вскорости они являли собой вполне российскую картину: старый и малый сидели за неприбранным столом и горячо величались друг перед другом всяк своими превосходными качествами.

— Ну, как там у вас на том свете? — спрашивал Паша Андреич и

превосходно смотрел на молодого отчима, имея в активе все последние достижения жизни.

У Колянки внутри горело горячее горе, но он жихарем выгибал грудь и стучал ладонью о столешницу, как небо звездами, усеянную крошками:

— А совсем не хреново!

— У нас видишь чо! — гордо чертил по-за окнами Паша Андреич.

— А в городе Праге! — имел чем крыть Колянко.

— Дак ведь Прага — соцстрана!

— А для чего тогда воевать?

— Ну так соцстрана, значит, на этом свете-то!

При этих словах Колянко вдруг подхватился и стреканул из избы, на ходу называя себя дезертиром.

Паше стало скучно. Он крикнул вслед отчиму:

— Ты чо, как тот японец, который в джунглях до сих пор сидит! — никакой реакции не дождался и пояснил самому себе: — Тот дурак ждет приказа императора, чтобы войну прекратить, и этот не лучше. Ты ему доказываешь домой вернуться, а он свое: в Праге да в Праге!

Потом Паша пошел сообщить о новоприбывших в сельсовет.

21

Отойдя от дома, Паша Андреич вспомнил про второй праздничный день, отчего, естественно, сельсовет находился под замком, и повернулся к коттеджу Алексея Петровича — сподручнее, чем к сельсоветскому председателю.

— Знаешь, нет! — сказал он на пороге. — Фронтовики прибыли!

— Кто? — не понял Алексей Петрович.

— Фронтовики. Николай, отчим мой, заходил. Я ему говорю — оставайся, у нас лучше, а он свое: Прага лучше, да Прага лучше.

Алексей Петрович в сокрушении вздохнул:

— От меня-то что надо?

— Дак встретить по-людски!

— Секунду, Павел Андреич, — со значением сказал Алексей Петрович и ушел в другую комнату.

Вышел оттуда с хорошей рюмкой коньяку:

— С Победой, товарищ Михеев!

Паша коньяк одобрил, но продолжал нести свое, отчего Алексей Петрович шумно вздохнул и опять сходил в другую комнату. Паша Андреич на такое восприятие его известия попытался оскорбиться, но проглотил чувство со вторым подношением. Он вспомнил при этом, как в детстве каждое Рождество мать вытаскивала их на улицу. Они споро бежали по деревне из избы в избу, славили, собирали котому кусков и потом дрались.

— Дак как насчет встречи? — спросил он.

— Иди, я следом, — надежно сказал Алексей Петрович.

22

Паша Андреич во весь путь к конторе оглядывался, но увидел лишь Анну Егоровну. Он подождал ее и сказал то же, что и Алексею Петровичу. В ответ

Анне Егоровне захотелось поведать о своем давешнем ощущении. Она даже подивилась, как в одночасье им обоим одинаково поблазнило. Но после гибели младшенького Анна Егоровна на дух не стала принимать пьяных, потому сейчас промолчала, сказав только:

— Какой же ты, Паша, обатурный. Все пьешь и пьешь. Гляди уж, до какого морока допился. Так ведь они тебя задавят, мертвяки-то твои!

— Да какие мертвяки! — не обиделся на осуд Паша. — Я проснулся, а он стоит посередь избы, осматривается. Видно, что давно не был. Мы с ним выпили. Мертвяк же не станет пить. А этот даже закосел. Я ему говорю: айда домой, места хватит. А он говорит: в Праге лучше. Известно дело — лучше. У них чо — культура и пиво чешское везде, никто не матерится. А у нас хрена ли, пиво и то запретили, да во! — Паша пнул загустевший вывороток тракторного следа. — У нас грязь да вонь силосная.

— Наша ведь земля-то! — укоротила Анна Егоровна.

— И я говорю. А он: там лучше! Хотел я его к матери сводить. Он чо, он ведь не знат, где теперь она живет.

— Сходите и к матери, — успокоила Анна Егоровна, да в тот же миг спохватилась, опять вспомнив, как младшенький пил и в пьяном виде поехал.

Вспомнив, она вновь переменялась и, больше поправляя себя, чем Пашу, твердо сказала:

— Нет уж, не вернутся наши мужики.

Она подошла к обелиску, приклонилась низенько на две стороны — камню и фотографиям.

— Добро ночевали, ребятушки, — поздоровалась она, глядя только на своего Ваню.

Она глядела ему прямо в глаза, прикасалась к нему посеребренной от возраста рукой, говорила много ласкового.

Он же не слышал ее, а только неотрывно отвечал ей странным взглядом со многими, быстро меняющимися оттенками, среди которых, кажется, самым сильным был стыд перед другими своими товарищами за ее старость и его молодость.

— Мать я тебе уж, Ваня, — говорила Анна Егоровна и даже не розовела от своих слов и от того, что за словами скрылись некстати выплывшие молодые совместные с Ваней ночи.

Не порозовела. Не всколыхнулось сердце, больше-то заполненное тоской, чем кровью. Тоска ее грела и подвигала к жизни, мудро нашептывая одно — пока она жива, бьется и Ванина жилочка. Но тоска была старой. От нее ничего родиться не могло. Сил ее хватало только греть старость.

23

Паше Андреичу стало скучно оставаться при Анне Егоровне. Он осмотрелся, выискивая отчима и его товарищей. Не найдя, решил, что они могут быть у клуба или в другом месте, и побежал искать. По пути завернул к Колянкиной матери.

— Я чо! — крикнул с радостью. — Николай пришел!

Старуха Будякова некоторое время угрюмо дрожала губами и, казалось,

готовилась ударить Пашу, собирая силы поднять до его глаз холодный камешек кулака.

— Николай, говорю, пришел! — повторил Паша Андреич. — Ко мне заходил, мать, говорит, где, а чо, мать померла, и Витька с Генком тоже померли!

— Не помер? — тягуче спросила старуха Будякова.

— Николай-то? Не-е, пришел!

— Ты ишшо не помер?

— Вот же старуха! — Паша Андреич побежал к Кучину.

24

— Скажи что-нибудь, Ваня! — попросил Константин Кузьмич.

Иван Ефимович перемогся, откинул веки, как тяжелый полог с гурта зерна. Растворенное в утре небо обнажило на дне своем синие рыбы звезд. Сгустком нежной пены плыла под ними луна. И солнце, веселый рыбарь, тянуло к ним руки. Но ни луна, ни звезды его не боялись. Такая картина звездного мира, возможно, никому другому не видная, открыла Ивану Ефимовичу суть их положения.

— Товарищи! — сказал он.

Мужики уловили перемену в командире и подтянулись.

— Товарищи!

Чего уж, не был краснобаем Иван Ефимович и выступать перед народом не любил. Однако за два месяца своей войны он увидел, что слово — не обязательно приказ, приговор, мольба, стон или вредительство. Слово бывает водой, хлебом и оружием.

— Я вот что, мужики, — сказал он. — Кто мы есть теперь, вы увидели сами. Ну-ка вот... — Иван Ефимович ударил каблуком ближнего цыпленка мать-и-мачехи. — Видите, он даже не шелохнулся. А перед войной во мне пять пудов живого веса было. И это наше положение надо принять без соплей. Мы и в таком виде есть сила, это, энергия. Сталин сказал: ничего никуда не пропадает, все только переходит из одного в другое.

— Ломоносов сказал! — поправил кто-то из молодых.

— Сталин сказал! — нажимисто поправил Иван Ефимович. — Ничего никуда не девается. И если мы, убитые, живем, то это значит, что требует дел наша советская энергия. Ничего никуда не исчезает, и мы не пропащие упокойники, бесполезно требующие к себе привлечения народных сил, — хотя бы потому, что валяемся бесхозно по нашим социалистическим просторам. Мы сами есть сила, это, энергия. Не такая, какая может смять сотворение природы в виде цветка мать-и-мачехи, а совсем другая энергия. Может быть, мы живем в наших потомках. И живы потому, что они живы. Может, мы их мысли, душа, совесть.

— Души нет, — без насмешек сказал Павел Кучин.

— Нет поповской души, а советская есть! — возразил Иван Ефимович. — И что выходит? Нам не суждено было вышвырнуть врага...

— Вышвырнули, дядь Вань, честно говорю! — отозвался Колянко.

— Нам не суждено было, — словно бы не слышал Колянку Иван Ефимович. — Но не ревите, мужики. Будем жить. Колхозу помогать...

Иван Ефимович хотел привести пример какой-нибудь помощи, ну, ска-

жем, на покосе. Приедут утром косари, глядь, б-а-а-а, покосы-то уже прибраны! По ночной росе да в сорок девять пар рук куда с добром косить!

Хотел Иван Ефимович привести такой пример и далее развить его в то, как постоянно охваченные этакой заботой кто-то из сельчан догадается: мужики! — или там: бабы! — вернее-то бабы, сердце бабье болестливей, — бабы! — всплеснет кто-то руками. — А не фронтовики ли наши нам подсобляют? Вернулись, подика! — догадаются так, поверят и со своей стороны сделают что-то, сделают — откупорится стена, их разделяющая, и войдут они в жизнь, в деревню, в избы свои! Что ж, что Анна уже старуха. Эка беда! — Иван Ефимович захотел себя обругать позаковыристей за свою подлую трусость перед Анной, но тут-то и вспомнил, что никто из мужиков, кроме его самого, кроме Павла Кучина да кроме Колянки, никто из мужиков от планшетки отойти не может, а они трое хоть и горазды на ноги, хоть и могут носиться не хуже Серка, но ведь и травинки не в силах согнуть, пухового перышка никто из них оберучь не поднимет. Вспомнил свою злосчастную суть Иван Ефимович и поперхнулся, а мужики все поняли.

— Как же так, что вы ходите, Колянко даже напился, а мы не хуже Ильи Муромца все видим, все слышим, а ступить не можем? — спросил Константин Кузьмич. — Вроде одинаково убитые. А не то сказать, так у тебя, Ефимыч, вся брюшина навыворот, Павел — головешка головешкой, у меня же всего-навсего осколочек с семечко яблочное. Я вон как Анну-то твою про сад спросить хотел — да рыба и та разговорчивей меня выходит!

— Не от нас зависит, небось, — глухо бабахнул кто-то из молодых. — К ним вон Анна Егоровна с Пашкой приходят. Помнят, значит.

— Ты чего! — взорал на молодого Константин Кузьмич. — По-твоему, нас не помнят!

Тут бы, конечно, снова созрел скандал, но слова молодого спасительно принесли Ивану Ефимовичу мысль.

— Мужики! — остановил он ссору. — Задача нам: укрепиться в наших потомках. Помнят они нас. Вон памятник какой поставили! Помнят. И нам надо укрепиться в них, свои силы им отдать, то есть как бы в них жить.

— Не самим, а в них?

— Не самим, а в них!

Помолчали.

— А все-таки Колянке, значит, и водочки можно, а нам только...

— Да, можно! — куражисто откликнулся Колянко. — Мы с Пашкой пили и за жизнь говорили. Я ишшо пойду.

Иван Ефимович подумал над фактом Колянкиного пьянства и через несколько ложных мыслей вынул необходимую:

— Этот факт разрешит наша мичуринская наука. А Колянке за это бы... — он потряс перед собой кулаком. — Его талант, что победа, а он ее вестник!

Помолчали еще. Но, видно, неумогу стало мужикам. Безысходностью веяло от намерения быть только силой в потомках. И всяк хотел, чтобы мичуринская наука на время оставила свои рене и бергамоты и со всех сторон подошла к ним с целью скорейшего изучения их факта. И все попросили Ивана Ефимовича сказать что-нибудь еще.

— Вот едрена мать! — сказал Паша Андреич в воротах Кучина. — Никому ничего не надо!

— Значит, наступила эра благоденствия! — ответил Кучин. — Наиболее полное удовлетворение нужд народа. Только в таком случае никому ничего не будет надо.

— Я чо! — и Паша все рассказал.

Кучин потыкал клюкой прохладную землю. Признался — и ему примерещилось. Паша Андреич принялся рассказывать еще раз, убеждая старика в яви рассказа.

— Тебе бы утопию писать, — крикнул Кучин.

— Я чо! — оправдался Паша Андреич.

Кучин проковырял извилистую бороздку и представил ее Рубиконом, всем известной речкой. В одном месте наметил брод, чтобы legionерам Цезаря способней было ступить в воду. Подошла Лапка и понюхала место. Кучин вспомнил Диогена и переселился в Грецию. Времени и иных усилий мироздания на это практически не потребовалось.

— Вполне может быть, — твердо сказал Кучин, сходил в избу, вынес книгу. — Ты, конечно, вандал, но слушай, — сказал он Паше Андреичу, раскрывая книгу наугад. — Вот хотя бы в песни одиннадцатой «Одиссеи»: «Сам я барана и овцу над ямой глубокой зарезал. Черная кровь полилася в нее, и слетелись толпою Души усопших, из темные бездны Эреба поднявшись».

Прочитав, почувствовал Кучин абсурдность доказательства. Дети человечества, античные греки могли сморозить еще и не такое. Потому он закрыл книгу, хотя ему мелькнула еще строчка про Гераклову силу, которая была в виде призрака воздушного. Закрыл книгу Кучин, положил рядом и сказал виновато:

— Сразу не объяснить. Думать давай.

Паша Андреич сел рядом с книгой, но думать стал о том, есть ли у Кучина выпить, а если есть, угостит ли он.

«Угостит, но только когда придумает», — решил Паша Андреич и набрался терпения.

— Ты думаешь? — спросил Кучин.

— Думаю! — ответил Паша Андреич.

— Явления бывают юродивым, а они не думают. Иди сходи за водой! — сказал Кучин.

Паша Андреич пошел с ведрами на ключик позадь огорода. Лапка хотела побежать за ним. Но прилегла около Кучина, теплой спиной согревая ему ноги.

— Один обол можно накинута, — поднял базарную цену Кучин.

— Тоже мне, бог торговли Гермес, — проворчала Лапка. — Лучше бы морковку дал.

— Чего? — спросил Кучин.

Напившись ключевой воды и умыв солодное от похмелья лицо, Паша Андреич лег на землю, совсем как маленький. Он ощутил, что жил не так, и остро позавидовал Кучину, способному запросто думать такие абстракции, как

жизнь и смерть. Ему видно было только небо, и он представил себя на краю всего. Вот бездна. И если он шелохнется, то упадет в нее и будет лететь и лететь, лететь и лететь. Будет даже непонятно, полетит он вверх или вниз. От непривычной глубины представления у него закружилась голова, он закрыл глаза и уснул.

Зябкая земля пробудила его быстро. Он встряхнулся, взял ведра и пошел.

Кучин, одетый в выходной китель с медалями, ждал его.

— Пойдем встречать, — сказал он.

— Кого? — спросил Паша Андреич.

— Генсека Горбачева! — рассердился Кучин. — Расстояние между жизнью и смертью нельзя измерить ни поприщем, ни локтем, ни вершком. Оно равно ничему. Сейчас ты жив, а сейчас мертв. Так? Микроны по сравнению с этим расстоянием — грубая бесконечная величина. Это не расстояние, а состояние. Состояние движения или покоя. Покой — тоже движение. Движение требует энергии. Значит, и в покое есть энергия. Греки знали все. Мы этого из-за старости цивилизации не знаем и в это не верим. Они же, как дети, видели. Энергия может существовать сама по себе. Наши убитые мужики и есть такая энергия. Мы наблюдаем только переход от жизни к смерти, видоизменение энергии только в одну сторону. Сейчас природный процесс искажен нашим вмешательством. Возможны глобальные катастрофы. Но разрушение диалектически несет в себе созидание. Ибо каждое явление содержит в себе противоположное. Жизнь содержит в себе смерть. И, значит, смерть содержит в себе жизнь. Хотя бы неизрасходованные при жизни силы. По какой-то причине неизрасходованная энергия наших убитых мужиков заработала. И нам надо, как на фронте, нанести встречный удар. Они материализуются, проще говоря, оживут. Пока разместим их у меня. Не господа — перебьемся. А за лето отстроимся. У меня на сберкнижке кое-что есть. Возьмем ссуду.

— Да ты чо! — грубо прервал науку Кучина Павел Андреич. — Мне все спьяну приснилось!

— Тебе приснится — жди! Фантазии в вас ни на грош. Вот она, — Кучин показал на Лапку, — и то богаче воображение имеет.

— Да уж, — обиделась сравнению Лапка. — Перикла с Наполеоном не спутаю.

— Приснилось, говорю! — с испугом закричал Паша Андреич. — Мне чо, живу один, снится, что хочет! Со Светковым вчера устарились. Спьяну приснилось!

— А почему же ты прибежал ко мне? — изменил направление Кучин.

— Дак думал — на самом деле, а у тебя около ключика поспал — и прошло. Так-то бывало у нас на фронте!

— Без аллегорий! — напомнил Кучин и не стал далее слушать Пашу. — Пошли! — скомандовал он, а Лапке накрепко заказал бежать вдогонку. — Ты канис, то есть собака, и до хомо сапиенса, хоть вот до этого, — Кучин показал на Пашу Андреича, — тебе все же далеко. Дело такое, что лучше тебе поберечься.

— Расхвастался! — фыркнула Лапка.

А сказ у Ивана Ефимовича скроился того же коленкора — равняйся — смирно, и до выхода к своим блюсти всю строгость уставов. Телесно служба не обременяла. По причине смертельных ранений, имела, конечно, место большая убыль сил, но крестьянская и солдатская на фронте работа такова, что после нее — все курорт. Их боевая единица, разумеется, отличалась от любой другой — обычной, — но служить было можно. Молодые порассказали такого, что пилотка Ивана Ефимовича флюгером завертелась на приподнявшихся волосах: и под Москвой немец стоял, и в Волгу у Сталинграда смотрел, и на кавказские льды мочился. Но, как и положено, все это осталось в прошедшем времени, а ныне Красная Армия стронулась в закатную сторону. Причем насчет стронутости произошли солидные разноречия, потому что опять стали утверждать рубежи ее западного направления разными местностями. Кто опять уцепился за Абганерово, кто за Харьков, Павел Кучин сообщил про свою Софию, а перекрыл всех, известное дело, Колянко гордым сообщением про Прагу, в которую он за считанные часы прорвался из Берлина. И еще молодые порассказали всякого такого, чего Иван Ефимович не знал, отчего и впал во внутреннее уныние — как раз выходило занимать командирскую должность более сведущему в нововведениях Павлу Кучину. Но их брата, на кого похорошки пришли в первый год войны, было большинство, — и постановилось так: командиром быть Ивану Ефимовичу, а заместителем у него Павлу.

— Командиром-то чего, взвода или полка? — спросил Иван Ефимович.

Конечно, ему до щекотки лестно было бы сознавать себя командиром полка. Он даже на какие-то минуты забыл майора Ивашко, справедливо увидевшего в такой скороспелости комсостава гибель советскому строю. «Комполка!» — стрелило звучное это слово, и четыре малиновые шпалы на каждой петлице воротника — отличительный знак полковника — осветили его серые щеки багрянцем.

— А знамя-то у нас есть? Без знамени не полк! — положил на лопатки зеленую ребяческую мечту Ивана Ефимовича Павел Кучин.

— Да взвод, и все! — сказали остальные. — Чтоб уж и старшину не заводить.

— Ну, тогда, — оправил гимнастерку Иван Ефимович. — Взвод, слушай мою команду! — и далее все такое про равняйся-смирно, боевую задачу, морально устойчивость и повседневный распорядок службы.

Но в душе-то, в душе легло иго гнетущее. И его не брало никакое служебное рвение. Иван Ефимович взывал к повышению боевой готовности, а взвод хирел и усыхал. Стоит в карауле служивый, но пройди мимо его носа сорок раз — не внимет. Жаждой пылающей по соседству жизни набухают его глаза. И что за мука! Ну убит бы уж, так убит. Знать не знал бы об этом, лежал бы в братской могиле, в окопчике ли, в воронке или остове сгоревшего танка, по безхозности брошенный ли и изгнивший в лесной чашобе или развеянный взрывом по атмосфере. Был — не стало. Чего уж. За что же мука непонятого воскрешения, зыбкого осознания своего неживого бытия и яростного наблюдения жизни

настоящей? Кто оживил и как? И почему только их? Да не оживил. В том-то и мука, что не оживил.

Мертвые, они не были способны войти в жизнь или дать знать живым о своем близком присутствии. Хоть бы знали люди о них, хоть бы всплакнули, пришли посмотреть на них, знали бы, требовали у судьбы или у другой какой силы, вынудившей их из небытия, требовали бы подлинного возврата их, когда уж живей и быть нельзя. И как их близкие, да и сами они в свое время мечтали жить кто богато, кто легко, кто справедливо, кто одиночно, кто за чужой счет, кто в коммуне — так сейчас они жаждали просто жить.

Немногие держали умом слова своего командира, бригадира до войны, то есть столь же, что и они сами, ученого мужика о какой-то будущей мичуринской победе над природой. Немногие, но и те с каждым уходящим мигом теряли веру. Так что задолго до вечерней поверки оставили мужики службу ради вопроса — что же это в конце концов!

— Да я вам кто! — огневался Иван Ефимович.

— Кто-никто, а обскажи, как там! — и всякий вновь заторопился улышаться про своих близких.

— Мою Анну видели? — спросил Иван Ефимович, давась надвигающейся памятью своего горя, и такой ответ должен был напрямик сказать о взгальности требования.

— Ты-то ходишь. Мы почто же не можем? — еще спросили мужики.

И тут, конечно, путного ответа не получили, в связи с чем неуставно отрядили Ивана Ефимовича завтра произвести попытку контакта с жизнью живой.

Ночью взвод бдил — и не по службе, а по душевному гнету.

К рассвету обнаружился конфуз. Половина личного состава подалась в дезертиры. Во всяком случае, найти их не удалось. На фотографиях они почетно соседствовали с вещим словом «Родина», но в строю хладнокровно отсутствовали. Иван Ефимович ударился к конторе.

29

Мошкара мыслей одолевала его, так же как и внешние явления жизни. Против вчерашнего он их видел всюду, и каждое в нем диктовало диалектику противоречия. Он видел пространство, но никак не мог ухватить времени, и оттого пространство распадалось надвое — знакомое ему и незнакомое. Он в один и тот же миг пребывал в обоих, чего, конечно, не могло быть. Нужна была поправка на время, но какая — день, месяц, год? — в толк не шло. Вот она, скажем, изба Константина Кузьмича — сколь в свое время запахалась передком в улицу, столь и остается в этом положении сейчас, разве что замшела лишку, да черемуха в огороде по какой-то странности стала моложе. Или вон школа, или сельповская лавка, или... — Иван Ефимович обнял глазами все три занавешенные родные окна, прилип к шершавым и теплым воротам, взглянул первую траву у завалинки. С конца июня не был он тут, и все оставалось таким же, хоть и постаревшим.

А рядом плотно притерлось пространство чужое — в виде новостроек, захлебнувшихся мусором, глиной и брошенной где попало могучей техникой.

При таких данных пространства разгадать количество ушедшего времени не

представлялось Ивану Ефимовичу возможным. А разгадка требовалась незамедлительная, ибо одно дело, когда прошел ну там год, край — два, и совсем другое — если прошел целый исторический период. И без них. И в этот период о них забыли. Вдруг вот Анна с каким другим мужиком живет!

Жар занабатившего сердца выпарил всю диалектику, и он подскочил к окну, готовый кулаком высадить раму. На замахе остановился, так как из своего июня перескочил в чужой сегодняшний период и представил Анну, старуху, плачущую у сломанного окна. Она будет плакать и кого-то ругать, совсем не подозревая, что пакостит ей ее родной Ваня. Вот уж воистину — повадится мертвяк...

Иван Ефимович пошел серединой улицы, боясь встретить кого-нибудь из сельчан. Они могут оказаться его детьми, и он их не узнает.

Во весь оком встала задача — выznать время.

30

Канторские коридоры были длинны, как чужая жизнь. Годов... ммм, дверей в них насчитал Иван Ефимович столько, что хватило бы на всю Черепановку, доведись во всех избах их поменять. На табличках были выведены различные должностные звания, которые долго не могли остаться в его довольно уцепливой памяти. Несмотря на полновесный утренний час, в коридорах было пустынно, и немного ошарашенную сосредоточенность изучения новых табличных слов нарушил только приятной внешности мужчина, прошедший к двери с должностью «Секретарь партийной организации». Потом некоторое время опять дремала тишина, и лишь к восьми по канторе захрумкили шаги. Засновал народ — в основном, женского обличья, запели телефоны, заплескалась, словно тонула, рация, открыла стрельбу пишущая машинка, понеслись отсюда туда и оттуда сюда бумаги.

Иван Ефимович оправил гимнастерку и влился в суету. Вслед за весьма недурственной бабеночкой из двери с названием «Профком» пробежался он по целой дюжине кабинетов и наконец присел на мягком стуле у директора, куда в облаке плохо скрываеваемой лести, радушия и боязни через некоторое время зашли несколько канторских, среди которых Иван Ефимович узнал и секретаря партийной организации. Из их разговора он вскоре понял, что вот-вот приедет первый секретарь райкома, и обрадовался оказии прояснить ситуацию на высоком уровне.

— Я буду краток! — заявил тот прямо с порога. — Вы саботируете постановление партии и правительства!

Подозревая в родном колхозе неувязку, Иван Ефимович занедужил.

— Можно пояснить? — спросил партторг.

— Я уже в курсе! — отмахнулся первый. — Уже информирован про ваши стендики — это вместо мобилизации трудящихся на выполнение высоких поставленных задач! Пора твердо уяснить: кто не с перестройкой, тот тормоз перестройки! Михаил Сергеевич...

— Иванович, — поправил Иван Ефимович, имея в виду всесоюзного старосту Калинина.

Но первый произнес совсем другую фамилию, к которой отчество «Сергеевич», возможно, было вполне правильным.

— Михаил Сергеевич на девятнадцатой партийной конференции... — продолжал свое первый.

— На девятнадцатой! — воспел Иван Ефимович. — Зимой была восемнадцатая, зимой нынешнего сорок первого! — и родившийся в нем всплеск ликования должен был означать, что время никуда не ушло, что от двадцатого октября до сего майского дня прошло всего ничего, и победа истинно оказалась за нами!

Он не упомянул, как вылетел из конторы, а задержись, может быть, узнал бы, что исчислять время мероприятиями партии есть не совсем верная затея.

— Сколько бы ты начальников назвал в колхозе? — намеренно оставляя великую радость на потом, спросил он дружка Константина Кузьмича.

Он ликовал, выведя, что двое коекакошных грамотеев их довоенного колхоза — председатель да учетчик — и то могли держать хозяйство в руках, а уж сколько хорошо выглядевших, умных, образованных людей подлинно привили советской земле бессмертие коммунизма.

31

— Докладываю, Иван Ефимович, во взводе налицо только я! — ткнул себя в грудь Павел Кучин.

— Как? — спросил Иван Ефимович.

— А так. Были и нету...

По мере того как разгоралось утро, как тот самый рыбарь окутывал землю голубой сетью, выронил, стоя в карауле, красноармеец винтовку, выронил и сам весь затрепыхался пламенем спички да и растаял.

Павел не успел осерчать на неуместные шуточки, а точно такой же маневр произвел весь остаток взвода. Без шума, без спора — хлоп и нету.

— А за дезертирство к стенке? — всхорохорился Иван Ефимович.

— Можно, — не испугался Павел.

И правильно сделал, что не испугался. Потому что Иван Ефимович столь взгально поступил в сердцах. Следом за своим ненужным словом он вспомнил Анну, пригодную ему в бабки, и постиг зрящность своего ликующего открытия. Какой сорок первый или там сорок второй! Добро так две тыщи сорок второй год на дворе! И идет жизнь своим чередом, нисколько не смущаясь их, сорока девяти черепановских мужиков, отсутствием. Идет, уходит в века и не ждет их возвращения. И мичуринская наука попустилась искать их, занялась чем-то иным — чем именно, не дослушал в телячьем порыве Иван Ефимович.

— Эх! — сел он, где стоял.

— Эх! — согласился Павел.

И по тону его Иван Ефимович не понял, в насмешку или в сочувствие он согласился. Не до насмешек, ясное дело, но молодым-неженатым какой указ.

— Может, вернуться? — спросил он.

— Двум смертям не бывать, но и одной не миновать, — сказал Павел. — Закон природы. Сейчас бы брат сказал что-нибудь про исторический период.

— В котором обошлись без нас, — это уже dokonчил Иван Ефимович, смежая веки.

Его гнул стыд за свои слабости, за свои единоличные переживания, из-за которых он ничегошеньки не смог рассказать мужикам. И канули они в

неизвестном направлении с великой горечью — побывав у порога дома, но не заглянув в него. Хорош командир, ну чисто отец родной! Приставить бы такого отца к какой сараюшке да...

— Где же вы? — стал он в мыслях спрашивать мужиков, а мысль уросливо метила свернуть на прежнее, на ужас того периода, когда страна обошлась без них.

32

Алексей Петрович отвез планшет в клуб и с сердцем, чувствуя при этом лишь очередную нагрузку, прибил его на стену.

Он хлопнул клубной дверью, что означало только одно — выселять Кучина с его старухой придется в ближайшие дни.

33

Едва отошел — навалились шефы, рабочие из города, присланные в помощь, так сказать. Они взялись жаловаться Алексею Петровичу на отсутствие сангигиены, досуга, сносного питания и вообще на все. Алексей Петрович вздыхал. Он знал, что жалобы идут от презрения к деревенской жизни. Кого бы ни коснулся он, с кем бы ни столкнулся, все с какою-то радостью говорили ему только недостатки, только упущения, и у всех был такой вид, будто здесь они временно. Сказать, что работа и жизнь в деревне нравится — это значило прослыть во всех инстанциях и во всех временах неслыханным придурком. Это значило вверить себя самым непредсказуемым последствиям. Признайся Алексей Петрович хоть директору, хоть в райкоме, что он свыкся с деревней и не мыслит уже себе жизни иной, признайся — и спрос с него будет такой силы и такого ожесточения, что едва ли он выдержит, едва ли выдержит вообще кто-нибудь. Легче и умнее быть недовольным своей работой и своей жизнью. Тогда выходит, что ты как бы просто подчиняешься обстоятельствам, сознавая свое призвание совсем в другом месте. Оттого спрос выйдет самый поверхностный, дескать, пока ладно, пусть сидит, а вот подыщется настоящий работник, тогда и заменим. И по такому обычаю выходило, что все в деревне временные, а ахти так и она тоже есть дело времени.

С шефами прибился в деревню некто бездельный и грязный — одним словом, бич.

34

Плотно сел Кучин на ступеньки в размышлении. Нужно было определить такое, чего никогда никто не делал. Разве что только в Средние века предпринимались подобные попытки. Но тогда, естественно, у них ничего получиться не могло. Потому что главным является энергия. А какая она была в те времена? Урожай сам-один. Промышленности никакой. Народу редко. Сейчас в этом отношении совсем другое дело. Энергии скопилось столько, что вот-вот разнесет все и вся. И науке бы подступиться к ее всеобщему изучению — к физическому, духовному и еще какому-то третьему, а может, и четвертому, пятому. Но наука схоластна. Ей нейтрон — предел мечтаний, и именно только нейтрон, физичес-

кое тело, бесполое и бездыханное. Для нее жизнь-то — лишь существование белковых тел. Существование.

Иногда Кучин отвлекался на огород, ибо был того мнения, что земледельческий труд способствует мыслительной деятельности. Все цивилизации проклюнулись в местах, где человек от скотоводства перешел к земледелию. Конечно, есть кочевые цивилизации. Иначе и быть не может. Но кочевые цивилизации производимую энергию потребляют сами. Если и остается что, то в неоглядных пространствах, требуемых для кочевья, остатки энергии теряются и, может, даже стекаются к земледельческим центрам.

— Детям цивилизации, грекам, должно быть открыто то, что ищу я! — рассуждал Кучин.

На крыльце было работать предпочтительней — ближе к мировой энергии. Неудобство составляли атмосферные явления, не позволяющие раскладывать записи. Кучин стал записывать мысли на бревнах дома. И у него таким образом все оказалось перед глазами: и мудрость природы, и мудрость человеческой мысли.

Старушка Кучина тайком вызвала участкового врача. Кучин покорно обнажился, махал руками и трогал нос, высовывал язык и косил глазами. Учитывая контузию и возраст, состояние следовало признать вполне удовлетворительным.

Однажды осенила идея — его деятельность должна быть направлена к предмету деятельности! И он пошагал к планшету.

— Мне с тобой? — спросила Лапка.

— Думаю, не стоит, — отмахнулся Кучин.

— Опять в хомо сапиенсы не вышла? — съязвила Лапка.

Кучин хотел ей сказать примирительное: богу богово, а кесарю кесарево. Но грамотность свою проглотил, потому что исходила она в сей момент от заскорузлого догмата. А решая научную задачу, авторитетами следовало оперировать меньше.

35

— Поняла, нет! — издали закричал он Лапке по возвращении. — Изучая историю, мы видим в средневековье несравненное по отношению к античности развитие духовных начал. Центр тяжести перемещается от любования человеком как физическим явлением к постижению человека как явления духовного. А? Причем, важнейшим для нас должно быть именно то звено перехода от античности к средневековью, в котором этот процесс идет постепенно. А постепенность кроется где? Где, а? В государстве... ну? В государстве, нами именуемом Ви... ну? Византией! Смотри, что выходит. У них постепенность перехода от рабовладения к феодализму, от античной мыслительной деятельности к средневековой, от античной энергии к той, в которой сформировались мы, русские. Мы прямые восприимчивы византийской культуры. Помнишь, Филофей Ивану Третьему писал: два Рима пали, третий стоит, а четвертому не быть!.. Первый Рим — Рим. Второй Рим — Константинополь. Третий Рим — Москва. То есть мы есть наследники античного мира. Причем, без того разрыва, который мы наблюдаем в Западной Европе. Она хоть и живет на месте Рима, но Федот, да не тот. А мы — те. Если античные знали энергию, самостоятельную от

физического тела, то, выходит, ее должны знать и мы. Но встает один интересный вопрос. Кто же, как не мы, отреклись совсем недавно от всего старого? Кто, как не мы, заявили, что мы наш, мы новый мир построим, создадим новую духовность и прочее? То есть выходит, все наши мужики должны потерять связь с античностью. Вроде бы должны. А вдруг нет, а? Период-то ведь для истории не столь уж и велик. Может, мы до сего дня плоть от плоти, дух от духа античные? Вот и надо нам с тобой установить. А тут встает другой интересный вопрос. Как мне совместить мою теперешнюю деятельность вот с этим? — Кучин из-под медалей вынул партбилет.

Лапка заглянула в красную книжицу, увидела там своего хозяина, но только маленького, такого маленького, что любой ее щенок, даже самый распоследний, которых обычно топили в болотине, был гораздо мощнее.

— Год вступления одна тысяча девятьсот сорок второй, — прочитала Лапка. — Понятно. Такой ты тогда был.

— Чего? — спросил Кучин.

— Ничего, — отмахнулась с тоской по утопленным детям Лапка. — Когда-нибудь поймешь.

— Вот как соединить? — стукнул ногтями по билету Кучин. — Как мне, партийному, влезать в клерикальные мракобесия? Не знаешь как? А я скумекал!

— Хвалю, — невесело откликнулась Лапка.

— А понимаешь, в чем дело! — продолжал в воодушевлении Кучин. — Я мракобесия перестану считать мракобесиями. Вот и все. Это тебе как? А? Планшета того уже нигде нету. Я пошел к парторгу спросить, куда девался, а там мне хлабысь по сусалам! Парторгу-то, оказывается, за нас нахлобучка была. Мы с тобой, оказывается, тормоз перестройки. То-то и цена тебе в два обола. У нас тут гектары земли пропадают, по партийным подсчетам, минимум полста центнеров хлеба — весомый вклад в продовольственную программу партии. Это как тебе, в новость? Ну не феодал ли ты после этого? Поедешь отсюда в теплую квартиру, а? Там, говорит парторг, туалет теплый. А нам с тобой, небось, на дворе-то бодрее. А? Бодрее? То-то и оно. Так что умрем мы с тобой здесь, и пусть нас прямо в борозде запашут. Верно, нет?

Ну совсем выжил из ума старик.

Вот и неожиданным стал ему рык бульдозера, взявшегося за остаток деревни и за колок позадь нее. Как на Кавказе, оборонялись они с Лапкой. Медали вместе с сердцем набатно бухали, но слышать их было некому.

Вечером, словно изнасилованные девки, тихо и до пустоты безнадежно всхлипывали под мелким дождем измятые березки. Бессильно тщились прикрыть их собой черные старухи-ольхи. Кучин ковырнул медаль «За победу над Германией»:

— Кто враг-то земли нашей, а?

Старушка его слегла. Он стал читать ей «Греческую историю» Ксенофонта. Ей хотелось послушать Тургенева. Но она терпеливо слушала про далеких и в то же время близких каждому из нас древних греков. Он читал невнимательно. Его одевало сомнение, не уходит ли он в решении своей задачи в сторону.

— Ты помнишь наших девочек? — спросила она его.

Он с укоризной оторвался от чтения.

— Дура я была, прости меня. Ведь надо было тут же родить еще и еще. А

я все время считала, что предадим их. Побывать бы у них на могилках. Мне кажется, если бы мы тогда туда не уехали, они бы остались живы.

— Если бы никто не пошел на фронт! — грубо оборвал он, грубостью убивая слезу.

— Да, конечно, — согласилась она. — Обидно только. Мы словно жили в одной цивилизации, а теперь на ее месте другая, если это можно считать цивилизацией.

— А им не обидно? — ткнул пальцем в греков Кучин.

— Достань альбом, я посмотрю на них, — попросила она.

Кучин полез за альбомом с фотографиями.

— Помнишь, как ты учил их этим названиям: Рамаяна, Махабхарата?

Кучин вздрогнул — надо было начинать аб ово, с яйца, с древней Индии! Ведь все мы индоевропейцы!

Отвечая на его открытие, отчаянно залилась во дворе Лапка.

— Пришли! — закричал Кучин. — Маша, вернулись!

Скорбь есть неразумное сжатие души. Потому всякий мудрый человек, как и Диоген, сказавший это, не подвержен ей. Кучину пришлось убедиться в своем отдаленном от мудрых местонахождении. Ибо первое, что испытал он, взглядевши в фигуру, прижатую Лапкой к воротам, была скорбь. Он потерянно, уже не надеясь, окликнул фигуру именем брата. Конечно, она не отозвалась на имя, а сердитым современным образом ругнулась на Лапку.

— Кто ты? — спросил Кучин.

— Человек, — донеслось ему.

— Всяк видит себя в этом звании, хотя достойны его немногие! — сложился у Кучина ответ на такую претензию, однако выйти в мир сему велеречию не было суждено. Кучин подумал, что лихой — тоже человек, и шагнул к воротам.

Последние годы их, лиц без определенного образа жизни, или попросту бичей, развелось несколько больше, чем хотелось бы. То есть не хотелось их нисколько, но столь противоположно иногда выражаются грамотные люди — называется иносказанием. Так вот, не хотелось их Кучину, но они развелись, и один из них стоял у ворот.

Дождь в трапедии падающего света численно преобладал над тем, что сеялся в темноте. На долю бича, получается, доставалось его больше, чем Кучину.

— Заходи, — пригласил Кучин.

— Нет, пойду, — отозвался бич.

— А что болтаешься? Думал, ликвидировали деревню — нельзя ли чем поживиться?

Бич равнодушно чиркнул светом, застрявшим в трещинах очков. Подлинный бич ни о чем не думает. Тем и жив. По крайней мере, так считается.

Бич пошел в темные просторы, скользя по их мокрым от дождя выпуклостям. Кучин со сжатым сердцем стукнул дверью. Сломалось что-то в жизни вселенной, — думал он, без желания покидая темные, сухие и шебаршащие дождем сенки. Сломалось, и его потуга найти философское обоснование единства бытия и инобытия есть тот же результат излома. Результат. Не первопричина.

— Что с тобой? — спросила жена.

— Уби нихиль, нихиль, — ответил Кучин и возмутил бесстрастную латынь русской горечью: — Где нет ничего, там нет ничего.

Он подал жене альбом. Ему хотелось сказать ей о своем состоянии. Но она бы начала с ним спорить. Причем не тем спором, в котором рождается истина, а тем, на который горазды, наверно, только жены.

Он лег с печалью. И во сне отчетливо представлял себе несправедливость бытия. И во сне он был согласен не просыпаться, потому что с четко очерченной несправедливостью бороться было гораздо легче.

37

Утром ключик занемог. Кучин побежал с лопатой искать передавленные жилы. Но тщетно. Земля потеряла способность к зачатию. В гордыне своей человек еще кинется бить ее, вспарывать плугами засыхающее ее чрево, сыпать в раны изощренную смесь солей. Корчась, раз-другой она исторгнет плод. Человек будет жить этим плодом и хвалиться, не замечая того, что плод будет нести в себе яд, ибо не от земли получит соки жизни. Он так же не захочет замечать, что его похвальба, как и все другие помыслы и поступки, будет результатом солей. Помыслов и поступков хватит только на то, чтобы снова производить соли, снова сыпать их в земные раны. Представляя это, Кучин вспомнил кристалл Столовой горы и блистающий солью пояс остального Кавказа в погожий октябрьский день. Фугасом лопнула мысль о том, что мудро поступил он, после смерти дочек не заставив жену снова рожать. Все его будущее теперь было с ним. И он волен был отгородить его от мучительной смерти среди соли. Следующим фугасом ударила мысль о том, что мир оказался бесконечно далек от того порядка, который ему внушили и который он всю жизнь один исторический период за другим преподавал людям. Навалилась волна блестящих, чищенных солью тракторных, не танковых, а тракторных гусениц.

— Ложь! — закричал Кучин.

В момент, когда он признал ложью существование преподанного им мира, он увидел брата Павла, сажениями рвущего пространство к его окопу близ Столовой горы на Кавказе.

— Поняла?! — хотел перед Лапкой похвастаться братом Кучин.

38

Иван Ефимович очнулся от боли. Перед этим весь их сводный полк в бога, мать и Красную Армию ломился прорваться к своим. Рвались через разбитое картофельное поле, в одночасье от взрывов превратившееся в сад. Аннины смородиновые — только до едреной матери большие — кусты выворачивались из земли, раскидывали ветви и страшно сыпали ягодой. Горсть ударила в него. Он увидел сильное солнце. Он забыл про всех. Ему стало не до прорыва, не до майора Ивашко, не до Анны. Он весь заполнился только болью. Мира не стало.

А сейчас боль, рассекая лицо накрест, возвращала мир. Иван Ефимович подумал про себя — ранен. А коли ранен, коли думает — значит, живет. Надо встать и бежать. Где уж ему проскочить поле. Но встанет — значит, живой, значит, активный штык, на которого им снова придется расходовать осколок или пулю, и которые, не встань он, израсходовались бы врагом на его товарищей. Он распахнул веки и увидел в пронзительно красных и зеленых вспышках света летящий к нему огромный и острый кусок металла. Сталь была

высокого качества, такого высокого, что Иван Ефимович помимо себя отметил — из такой стали делают клапаны в двигателях. Сталь вспорола ему лицо.

— Да ведь это штык! — закричал Иван Ефимович.

И торжествующая мысль, что полк все-таки сумел сблизиться с противником до рукопашной, такая мысль на самый короткий период заслонила боль. Он услышал сильный грохот, увидел скопище молча дергающихся людей. Чей-то пронзительный крик давил неслышанной песней. То ли немец, то ли наш — этого было не понять. И понимать было ни к чему. Главное, полк дрался, и лежащее положение сержанта Михеева не соответствовало событию. С усилием, отнимающим последнее, он оторвал спину от земли, но снова напоролся на штык. Может быть, боль опять вышибла бы его из сознания, но удержал голос русского подростка:

— Брось, Максимка!

— А чо вылупился? — ответил тот, кого называли Максимкой, и Иван Ефимович различил, что Максимка пьян.

— Пошли отсюда! — потянул первый голос. — Вон завклубом идет!

Максимка сматерился. Иван Ефимович вдруг вспомнил, как после боя на прорыв он вместе со всеми черепановскими мужиками оказался в своей деревне, вспомнил догадку о необычном состоянии, вспомнил Анну, совсем старуху. Вспомнил все, но не смог понять, отчего лицо ему режут ножом, выкованным из клапана. Иван Ефимович уцелевшим глазом нашел Максимку и увидел, насколько он похож на Анну, когда она была пацанкой.

— Вы зачем на дискотеку пришли! — закричала завклубом.

39

Кучина постановили считать заслуженным человеком, и гроб его для гражданской панихиды вселили в клуб. Из пионеров и ветеранов создали почетный караул.

Алексей Петрович шел к клубу не без принуждения. В смерти Кучина и в мероприятиях по выполнению партийного постановления увидел он некую зависимость, но принять ее не мог и говорил, что страну кормить действительно надо, а дедовскими методами ее не накормить.

Алексей Петрович не думал, по причине каких методов хозяйствования страна приведена в столь тревожное состояние. Такое положение он видел всю жизнь и об ином мало догадывался. Был выверенный курс партии, из которого само собой выводилось, что путь к изобилию кроется именно в тех методах, какие предпринимаются.

Однако же смерть Кучина не давала покоя и навязчиво черкала одну и ту же мысль — смерть его была не совсем естественной. Алексей Петрович гнал мысль, заслонял ее воспоминаниями комиссаров времен коллективизации, когда колебания играли только на руку кулачеству, то есть врагу. Но заслонка выходила худой, и угарный дымок беспокойства сквозил через нее без каких-либо особых усилий. В конце концов дело дошло до того, что Алексей Петрович осерчал и послал всех, — от Кучина и до тех коллективизационных комиссаров, или как их там величали, — к черту, заодно присовокупив к своему посланию

и будто с лесов свалившиеся нынешние непонятные перемены. Вечно что-нибудь затеют, а он расхлебывай!

И верно, от него, от такого настроения, прежде гроба, прежде всех людей в клубе, прежде вообще всего увидел Алексей Петрович искалеченный стенд.

— Вот-вот! — подтвердил он свои размышления.

40

Май перекатился через сердцевину, и заприпахивало летом. Но какое оно в черепановских ривьерах, лето. Не лето, а переходный период от весны к осени. Примахала метель и придавила округу мокрым снегом. Потом объявился мороз. В общем-то обычное дело в мае. Поверившее первому теплу и разомлевшее тесто полей бессильно застыло. Алексей Петрович с агрономом выходили в озими, каблуком долбили корку, разгребали снег и смотрели ломкие ледяные стебли. Ну какая тут, к черту, прибавка! Вытянуть бы прошлогодний план. Затрепыхалась и красная жилка надоев. Ахти так уже завтра клюнет вниз — как раз на райкомовский коврик.

Люто северил ветер, и Алексей Петрович прикрывал уши воротником полушубка.

41

До рассвета бичара перекаптовался между сквозняков на полу, а с рассветом пошел в кочегарку. Конечно, этот нажрался. Температура на входе упала к нулю. Бичара думал растолкать его, но он лишь пинался. Бичара подбросил в топку уголь. Пламя уже обмякло.

Надо было сушняку. Выходить за ним было неохота. У порога он не лежит. Надо шарить по селу. Свобода — понятие тяжелое. И бичу оно едва ли под силу. Так что нету ее у него. А есть одна необходимость. Или задубеть на полу в общаге, где под матрацами спросонок матерятся от холода шефы, или нарваться на какого-нибудь начальничка. Выбериай, бичара.

42

Развиднелось уже сильно. Даже огни в окнах, как чай третьей заварки, потеряли силу. Завернул за клуб, чувствуя тяжесть своих следов. В куче хлама топорщилось что-то угловатое. Скребнул рваным кедом. Из-под снега выглянули солдаты. Присел к ним. Посмотрел. Поскреб еще. Вытащил планшет, поставил, прочитал. «Они погибли за Родину». Оставил. Выдернул несколько сломанных стульев, понес в кочегарку. Солдаты проводили его взглядом. Обернулся, прежде чем скрыться. Стоят рядами, поотделенно. Обносились. Мокрые. Промерзлые. Будто собрались расходиться. Он пошел — за ним и они, как если бы только скомандовали разойтись. Команда подана, они ее стали исполнять, но еще не успели, только сделали первое движение — кто-то в половину оборота, кто-то в четверть, а кто и шелохнуться не успел. Нету уж того строя, которым они на него в первый раз глянули.

Застыл бичара. И они застыли. Вдруг да не было никакой команды. Может, примерещилось.

— Эх, мать! — подхватил бич планшет да спешно-спешно, марш-марш, как на рубеж атаки.

И пока выдвигался — понес потери. Не помнит, но вроде бы фотографии были все, а принес в кочегарку — одной нет. Поднапрягся — точно нет, той самой, на которой был старик с хутора, только молодой.

43

Меры вообще-то приняли вслед за указом. На исполкоме сельсовета единогласно: совхоз — зона трезвости, одеколон со всякими там лосьонами продавать только лицам женского пола не более штуки в руки, а водку к совхозу не подвозить на пушечный выстрел. Сориентировали женсовет, ветеранов, школу. Но у них — зона трезвости, а у торговли — государственный план, а алкашня и без планов хлещет. Пришлось в рамках операции «Правопорядок» организовать рейды по всем сомнительным точкам.

44

— Под городом Львовом, — сказал Паша Андреич и увидел входящих участников рейда.

— Здравствуйте! — сказал Алексей Петрович, а спутники его никаких слов для компании не нашли. — По какому поводу? — спросил Алексей Петрович.

— Для сугреву, — сказали шефы.

— День пионерии, — вспомнил Паша Андреич.

— Какой пионерии! — не стерпел участковый.

— Известно, какой, имени Ленина, — посмотрел Паша Андреич на Алексея Петровича.

— Вот подносил ему, — засмурел Алексей Петрович, — а теперь он использует это.

— Вы не поверили, — сказал Паша Андреич, — а Кучин, покойничек, поверил. Энергия, говорит, от бессилия природы после нашего хозяйничания прорвалась, и теперь все можно.

— Та-а-ак, — запел участковый. — Употребление алкоголя в служебном помещении зоны трезвости и клевета на...

— Я про них говорю, — боднул назад Паша Андреич.

Алексей Петрович увидел свой стенд.

— В уборную не могли затащить? — спросил он шефов.

— Мы, что ли! — перекинули те вину на затаившегося бича.

— Хлещешься-хлещешься! — Алексей Петрович сматерился и вышел.

Вслед чиркнула кнопка участковой сумки — выпишет сейчас голубчикам.

— Совсем народ оскотинел! — сочувственно сказали женсоветовки и себе же возразили: — Да нет, это не народ, это ханыги.

45

Парадно-желтый портупейный ремень перечеркнул сизую спину заката. Она с каждым мигом темнела, словно набухала потом. С нею темнела и угасала

свежестеленная скатерть пространства. Встречный ветер высекал зерна слез, отрывал их и бросал в поле.

Участковый резко затормозил. Мотор заглох. В уши ударила тишина и упала на дорогу.

— Вылазь, — сказал участковый.

Бич вылез из коляски, подумав, что в гражданскую расстреливали так же.

— Вот по этой дороге прямо, никуда не сворачивая, двенадцать километров до станции. Два часа ходу. И чтобы я тебя в пределах этих двух часов около моего участка не видел.

— Спасибо! — сказал бич, хотя теплая камера районной милиции выигрывала перед стылой далью свободы.

— Нужен ты мне! — фыркнул участковый. — Бензина жалко, и полуфинал Кубка по телевизору. Но если я еще раз тебя увижу, я тебе срок примотаю!

Угрозой ничуть не испугал, а полуфиналом сильно царапнул. Вопреки желанию, увидел себя бич дома. Но вокруг был саван вечернего поля, где футболу и уюту разломленной семейной жизни никак не находилось места. Четыре команды пластались за Кубок, и вся страна тарачилась в телевизор, недосчитываясь около совсем немногих, да и из тех один с треском подкатывал к своему дому.

Через два часа ходу вместо станции бич достиг двух людей. Грузно висела луна, и он увидел их на расстоянии. Пустыня поля далеко разносила их негромкий говор.

— А дорога-то так же в колдобинах, как и при нас была! — сказал один.

— В этом-то и суть! — жарко воскликнул другой.

— Ну, а теперь в стране что? — спросил первый.

— Не перескакивай. Дойдет очередь. В истории такие перескоки — гибель! — ответил второй.

Бич поскользнулся на картошкой заледенелых пятках и с хрустом ударился о дорогу. Путники оглянулись. Он узнал старика с хутора враз в двух ипостасях — и молодого, и старого.

— Надо помочь, Паша! — сказала старая ипостась.

— Не выйдет — ответила молодая. — Живые сами с собой должны разобратся.

— Они разберутся! — нашла иронию старая ипостась.

А бич невесомо поднялся над своим телом и приветливо улыбнулся.

— Вот бродишь! — узнала его старая ипостась.

— А сами-то вы! — продолжал улыбаться бич.

— У нас вместо двора весома прибавка! — непонятно ответила старая ипостась.

— А у меня и того нет! — куда как весело сказал на это бич.

Галина Климова

ДВОЙНОЙ ПОРТРЕТ

С оглядкой на атлантов

* * *

Чернорабочие родной литературы,
все правду-матку режут без ножа,
мастеровые цеха редактуры,
истопники, ночные сторожа,
иду на ты, кранты...

Пока ведёт судьба,
хоть кол теши, но не стирай со лба
е-мейлы, имена отъявленных талантов —
их небо как ремейк с оглядкой на атлантов,
их беспризорных книжек худоба
неоперившиеся плечи,
аскеза речи...

Редактор,
раб своих галер,
для рифмы не нарвись на рифы, например,
на точку невозврата,
узнай сестру иль названного брата
по голосу из горних сфер.

* * *

Кто-то умер, скончался, сыграл в долгий ящик,
кто-то преставился — переставил себя,
сделал E2—E4 ход
с этого света на тот,
где у всех есть время, и у всех — настоящее.

Жизнь себя переварит,
потому что она — *живот*.

Климова Галина Даниелевна — поэт, переводчик, прозаик, редактор. Окончила географо-биологический факультет МГПИ им. Ленина и Литинститут им. А.М.Горького. Автор 5 сборников стихов, среди них — «В своём роде» (М., 2013), и книги прозы «Юрская глина» (М., 2013). Составитель поэтической антологии «Московская муза. XVII—XXI» (М., 2005) и др. Лауреат премии Союза писателей Москвы «Венец» (2005), премии «Летящее серебряное перо» (Варна, 2008) и др. Живет в Москве.

Начни хоть с лица, хоть с изнанки,
всё те же дорожные знаки
и — дорожке себе — штрафстоянки.
Пусть только сунется хищный эвакуатор,
ты — раз! — и на газ,
и проскочишь небесный экватор.

* * *

Бежали хором — как ручьи в марте —
из коммуналок, бараков, из детской,
услышав про восстание в Спарте...

Нас полстраны —
все с улицы Советской,
все росли в любую погоду
на свежем воздухе, на разведённом супе,
выбиваясь из сил — на свободу! —
играли в разрывные цепи.

Комитас

1

О, Согомон, Согомон,
птичий гомон, детский неугомон
на лаковой четвертинке,
на лакомой половинке —
на пол-скрипке из «Детского мира».

Что лира?
— Дешёвая брошка в универмаге.
Не стрёмно вырасти в певчей отваге
ниже смычка, тише сверчка.

О, Согомон, Согомон,
к подошве жизни со всех сторон
из жерла шпарил кипятком времён,
бежал нагим на гимн —
ты пел шаракан
и дышал как вулкан-великан.

Монах, сирота, ни молод ни стар,
конусом в небо упёрся твой чёрный вегар,
чёрный клубок из апостольских рук...

Молитву твою или наказ,
переходя ещё в третий класс,
я наизусть знала
и на фабричной скрипке советской играла
твою мелодию, Комитас!

2

Не дудка, не дудочка — дивный дудук,
как будто взломали заветный сундук
при нас в Араратской долине,
и, весь потрясённый, опомнился сад,
где сливы и слёзы росли невпопад,
музыка легка на помине.

Побегом плачевным протяжничал звук,
взащей разгоняющий ветры разлук
и ветки в трагических позах.
Весь этот безвыходный круг как недуг,
вдох-выдох — и жизнь выпадает из рук
в цветах, как Иосифа-плотника посох.

А в небе, сквозящем над нами и в нас,
дудук расцветает. И жив Комитас.

Схторашенский платан

Чаёвничать с платаном у дороги,
прийти как будто к старцу на беседу.
Он ствол мудрёный держит нараспашку,
а в нём дупло — как сердце человечесьё.

Две тыщи лет оно для всех открыто,
для пришлецов, которых сердце скудно
и каменно, и холодно стучится
в смертельной жажде стать бессмертным.

Христа ровесник, чуткий страж Арцаха,
ветвями шевелит — зелёной шевелюрой,
и ловит крик, когда рождаются дети
с такими же сердцами нараспашку.

В Татевском монастыре

Оливы Татева —
младшие сестры олив Гефсиманского сада —
без пафосного фасада
стволы:

вот — келья отшельника,
вот — домовина,
а вот — дупло...

Открыто. Тепло.

Слышно, как отец Микаел,
отступив от житейских забот и дел
— сердце горе! — и запел
молитвы о детях как о великом даре
пятой... десятой...
 без счёта
бездетной семейной паре.

Почти через год
одна из олив приумножила род —
библейские матери юны.

Отец Микаел —
руки в небо по локоть — и запевал,
просить и молить, и клянчить не устал...
Сколько детей крестить успевал!

ИЗ СОВРЕМЕННОЙ АРМЯНСКОЙ ПОЭЗИИ

Переводы Галины Климовой

Хачик Манукян

* * *

Во всех языках алчет славы
град Вавилон.
В душе нет света — хлынет лава
темнее тьмы со всех сторон.

И не понятны взгляду взгляд,
не слышны голоса,
но землю каждый день хулят,
поносят — небеса.

Померкнет всё вокруг, увя,
лишь лёгким вихрем прах
вслепую вырвется из мглы,
свой обуздавши страх.

Наш дух вот-вот дерзнёт на взлёт
за тьму, за облака.
Бог, прослезившись, пропоёт:
Земля, поспи пока!

Прошлое

Там времени нету —
ни ночи, ни дня.
Дымком сигареты
память вползает в меня.

Там сморчок-старичок
и смеётся, и плачет.
Рыбку, раз, на крючок —
дарит мне на удачу.

Помню, очень далёк
дом его, где я не был.
Ближе звёздное небо —
всех цыган потолок.

Позову: эй, старик!
Он помешкал у входа.
Юркой рыбкой вдруг — нырк —
в непроглядную воду.

Хачик Манукян — поэт. Родился в 1964 году в Армении, в г. Эчмиадзине. Окончил строительный факультет Ереванского политехнического университета. Автор 11 поэтических сборников, его стихи переведены на английский, французский, немецкий и другие языки. Лауреат нескольких литературных премий. Живёт в Эчмиадзине.

* * *

В пакете чанах и горячий багет,
холодная водка в кармане.
Она подмигнула, и он — в ответ,
Они возлегли на поляне.

Будто на ложе из трав и цветов,
обнявшись, качались в прохладе.

Грелись на солнце без лишних слов,
О рае мечтали как о награде.

Болтали про быль и про небыль.
Как люди, прожили день — благодать.
И задремали под звёздным небом,
Адам и Ева — всё тишь да гладь.

* * *

Вот и кончились улицы этого мира —
караван, как мираж. Ухожу наяву,
пляской пыли ещё не вознёсся в просторах эфира,
с Диогеном я в бочке ещё поживу.

Ко мне в тонком сне приходил сам Господь.
Хвать ребро моё! Вывернул мир наизнанку.
Сколько жизни вдохнул Он в новую плоть,
в эту крикливую вздорную самку.

И вновь — коварный Змей, и вновь — руины рая,
жена и дети, ругань, слёзы, стон...
Ребро моё, предательски карая,
ты вновь сулишь Потоп,
но прежде — Вавилон.

Светлана Акопян

День

С молитвы начинаю каждый день
и благодарственной молитвой завершаю.
Надежду, радость и счастливый смех
на дне души перемешаю.

Но скорбь и слёзы, боль и нищета —
неразрушимая на всё про всё печать.
И мне, о Боже, всех спасать?

С дешевой шлюхи
или с подкидыша — с кого начать?

Светлана Акопян — поэт, художник. Родилась в 1952 году в Армении, в селе Еранос Мартунийского района. Окончила филологический факультет Арцахского университета. Является членом попечительского совета фонда регионального развития и конкурентоспособности «Дар». Автор 5 поэтических сборников. Живет в Ереване.

Всем брюхо тощее наполнить, напитать
и вместо траура найти цветные шали,
чтоб каждый божий день на горестной земле,
все благодарственной молитвой завершали.

Возница

Куда ведут пути моей судьбы слепой?
На казнь? На трон?
Они меня ведут иль я их за собой тяну,
глотаю стон?
Судьба закусит удила, я — ни на шаг,
и кто кого... Рысцей бегут года.
Устали дико друг от друга мы,
строптивые всегда.
И на руинах прошлого не жить,
и грош цена мечтам,
о рае разглагольствует судьба,
по адским галопируя местам.
Устала без любви и не боюсь признать,
и дух, и плоть — игра,
и золотая затерялась нить
меж завтра и вчера.
Возница, трогай, эй, в последний путь
среди бела дня,
ну, сколько можно мучить, пожалей
меня, пролетку и коня.

Заир Асим

Книга дней

Повесть

Попытка начать писать

Почему я не сажусь писать? Вот уже какую неделю, или какой месяц, или какой год я дышу мимо этой страницы, промахиваюсь — точно муха, бьюсь о стекло и не могу вылететь из комнаты или же, наоборот, залететь в нее. Во мне ежедневно растет книга. Может, это роман? Может, это повесть или пьеса? Не знаю. Я предпочитаю слово «книга». Не всякому человеку дано стать книгой. Любая книга — это не ответ на какой-то назревший вопрос, это поиск вопроса. Человек интересен не тем, что умеет давать ответы, а тем, что вечно задает вопросы. Хожу ли я по влажным улицам, сижу ли на скамейке, запрокинув голову к небу, уставившись в блестящую слизь луны, моюсь ли в ванне — все время ловлю себя на каком-то разговоре с собственной тенью, с воображаемыми слушателями, иногда даже с конкретными лицами. Но когда вижу этих людей, ничего им не говорю. Это черная трещина речи — потребность заговорить при условии не заговаривать с людьми. Речь никогда не кончается. Говорящий человек распахивает перед собой пропасть, которую в силах перешагнуть лишь молчанием. Я просто всегда четко и ясно вижу эту ускользающую черту. Потребность речи напоминает попытку добежать до горизонта.

Я говорю себе чужие слова, которые понял еще до того, как их прочитал: «Жизнь начинается в любой момент, когда происходит акт понимания; так и книга». Так вот, эта книга растет во мне ежедневно. А я ее не пишу. Это состояние неписания растущей книги вытягивает из мрака сознания следующую ассоциацию: будто я оказался с обнаженной девушкой наедине, у нее прекрасное молодое двадцатилетнее тело. Я глубоко вдыхаю запах ее взволнованной кожи, запах, накатывающий, как сочный ветер. Мы долго ждали этой встречи, а у меня мужское бессилие. В рамках этой картины во мне сквозит следующая мысль: сам факт того, что любовное соитие возможно лишь в момент эрекции, говорит о

Заир Асим родился в 1984 году в Алма-Ате. Окончил механико-математический факультет КазНУ им. Аль-Фараби. Преподает математику в учебном центре. Пишет стихи и прозу. Публиковался в журналах «Знамя», «Новый мир», «Новая юность», «Дружба народов», «Волга» и др. Автор книги стихотворений «Осиротевший крик сирени» (Алма-Ата, 2010), книги прозы «Письма в никуда» (Алма-Ата, 2013). Финалист премий «Белла» и «Русский Гулливер».

том, что жизнь зарождается в ярости. Но сам любовный акт — это сдерживаемая ярость, нежность на грани. Сколько ночей мне приходилось мучиться от ментальной эрекции. И вдруг мне слышится ее женский голос: «А ты не думал, что можно совокупляться словами?»

Я обожаю топтаться на месте, танцевать, словно протаптывать под собой пространство для музыки. Так топчется на месте дождь. Просыпаешься, открываешь глаза и видишь аллею обойных швов на стене. Во рту неприятный привкус вечности. Слышно, как за окном молчат поющие растения. Порхает тополиный пух, лишенный веса. Медленно вползаешь в головоломку бытия, как змея в старую кожу. Мысли обретают очертания, слова, имена. Что там может быть снаружи? Люди идут навстречу друг другу в наушниках, сталкиваясь взглядами или не сталкиваясь, пересекаясь телами и голосами. Травмированные сердцебиением трамваи стучат, точно ящики с инструментами. И все куда-то катится.

Несколько ночей назад я праздновал свой успех. Успех в любви заключается не в том, чтобы завоевать женщину (потребность завоевывать — это преждевременное поражение), а в том, чтобы уметь с ней расстаться. Мы сели на освещенную фонарем скамейку. Я дал ей прочитать стихотворение, посвященное ей. Стихотворение сильно взволновало ее. Она открылась нараспашку. И тут же, будто боясь потерять уверенность в своей искренности, сказала: «Нам нужно прекратить встречаться». Пролегла секундная пауза, когда оба привыкают к только что произнесенным словам, примеряют одежду разлуки. «Хорошо», — отвечаю я. И тут я почувствовал, как сладка и горька одновременно мужская зрелость, отказаться от которой уже не могу себе позволить. «Ты больше ничего не хочешь сказать?» — ее влажный голос вновь заполнил темноту. «Нет», — сухо ответил я и мгновенно поцеловал ее, как бы давая понять: так тебя никто больше не поцелует. Этот эпизод меня немного отвлек от растущей во мне книги, стал запятой, и я решил добавить его сюда.

Иногда, чтобы яснее передать мысль, нужно забыть об этой мысли, и она сама себя выразит. Произведение, где главным героем становится голос. А может, вообще главный герой отсутствует. Потому что, продвигаясь сквозь осеннюю жизнь, все глубже и яснее понимаешь, что главных героев не бывает. Важно только само продвижение. Смотришь в родное лицо и узнаешь в его чертах весь мир, в сладких складках губ узнаешь трещины коры дерева. Прилипаешь носом к нежной девичьей шее и чувствуешь свежесть листвы или аромат разрезанного арбуза. Так пахнет ветер летними вечерами, когда сидишь на Старой площади на теплых ступеньках, согретых дневной жарой. Так пахнет воздух возле фонтана. Я просто гуляю по раскинутой снежной поляне бумаги. И все, о чем хочу сказать, кажется, заключено в слове «единство». Но единство познается только в деталях, потому что наше зрение точечно.

Туманные медузы облаков. Ковры сушатся на деревянных коробках из-под овощей, как мертвые скаты на камнях. Мешки сахара лежат друг на друге белые и сияющие, словно обнаженные тела. Эти три предложения я мог бы написать за целый день, а то и за неделю, и больше ни разу не прикоснуться к бумаге.

Разве не хочется читать книгу, в которой нет времени, нет пространства? Именно такой жизнью я и хотел бы жить. Душа, обращенная вспять. По утрам отец заходит в ванную, и я слышу, как он разговаривает сам с собой. В этот момент я думаю о том, что он когда-нибудь умрет. Потом одевается, собирается

на работу и, случается, сядет на маленький стульчик возле двери и застынет. Должно быть, в этот момент он думает о том, что когда-нибудь умрет. Когда меряю давление матери, я сильно злюсь. Один раз я положил ладонь на ее голову и ощутил там шрам после операции. На ощупь точь-в-точь впадина на коре тополя. Никогда острее не чувствовал себя чьим-то ребенком.

Цельность пустой бумаги нарушается появлением текста. Абзацы у меня не связаны между собой. Думая об этом, попадаю в путаницу, выход из которой вижу только в одном. Аналогию или, может, даже причину вижу в следующем: так, по-моему, вчерашний день не связан с сегодняшним. Они просто сменяют друг друга без какой-то определенной, строгой соразмерности. Так идет человек по улице: взмах ноги, долгий пролет ступни над землей и только потом небольшой отпечаток следа. Я повторяюсь, но я хочу повторяться. Радоваться жизни — значит радоваться повторениям. Все остальное время попадаю в спрессованную бездну ожидания, будто жду самолета, который уже давно улетел. Все-таки, как ни крути, главное — слова и верно выбранное отсутствие слов.

Сегодня я видел ее. Хотя «сегодня» всегда нужно брать в кавычки, как и «сейчас». Сначала она поздоровалась. Я улыбнулся в ответ. Когда мы стояли на улице, она задала вопрос. Вопрос — это желание привлечь к себе слух человека, желание убедиться, что хотя бы в этот миг он тебя слышит и думает о тебе. Я ее за весь вечер ни о чем не спросил, но и не мог уйти. Я не скрывал от себя, что хочу ее. В какие-то моменты ловил себя на том, что готов внезапно схватить ее и поцеловать. Был еще один момент, когда она захотела со мной заговорить. Я опять не ответил. Если мы шли рядом, я намеренно либо ускорял, либо замедлял шаг, чтобы не идти вровень, и ни разу не сталкивался глазами. Все время смотрел мимо, потому что видел ее глаза, не глядя в них.

За окном гремит гром, будто соседи этажом выше катают по полу огромные, тяжеленные шары. Бесконечное пощелкивание часов. Лежа на диване, думаю о разных голосах, пребывая на грани сна. Когда чувствую, что засыпаю, открываю глаза и снова прислушиваюсь к внешнему миру. Автомобили шумят. Задернутые наглухо шторы, точно веки мертвеца, с оттенком синевы дневного света. Абсолютная бесстрастность к происходящему. Дни идут медленно. События повторяются. Разговоры не утоляют жажды единства. Наступает время, когда между влюбленностью и любовью выбираешь любовь — медленную, хладнокровную и даже в чем-то расчетливую. Если что-то еще и возбуждает в женщине, то это чувство ее незащитности перед тобой. Подносишь ладонь к раскрытому бутону губ, как бы желая напоить ее из чаши руки. Она целует твои пальцы. И вдруг зажигаешься, берешь ее за горло и слушаешь судорожное дыхание вспотевшего тела. Потом отворачиваешься и смотришь на оранжевое гнездо фонаря, вокруг которого тысячи птенцов машут блестящими крылышками. Быть на поверхности, как водомерка... Вот здесь должны быть еще два предложения, но я их зачеркнул, а потом любовался колючей проволокой уничтоженного текста. Вот что невозможно сделать в жизни: зачеркнуть что-то или вписать больше предложений в строчку дня, чем в него может вместиться.

Дороги шипят и извиваются, словно мокрые змеи. Спрашиваю себя: «И когда я в своих мыслях перешел с ней на ты?» Так между этим абзацем и предыдущим успела появиться «ты». Я мысленно кладу голову к тебе на ноги и смотрю в твое лицо младенческим взглядом — снизу вверх. Вспоминая цвет

твоих глаз, хочется сказать слово «лазурь», лазурь глаз. Может показаться, что причина такого пристального, громкого, восхищенного взгляда во мне, но чтобы понять, что это не так, достаточно увидеть твоё фото. В объектив ты смотришь с меньшим восхищением.

Гулкий троллейбус разбавил это мышинное шипение колес. Чудовищные морды вещей заглядывают в мою бумагу сверху вниз. Серые тучи стоят развалинами неба. Я подошел к кухонному окну, открыл его и слушаю, как сумасшедшие капли бьются лбами об асфальт. Давно знакомый запах дождя так и остается внезапным, неожиданным, детским.

Ждешь, и кажется, настоящая жизнь вот-вот начнется. Устраиваешь себе эстетические вечеринки, массовки, танцы. Они сгорают мгновенно, как спички, а хотелось бы, чтобы как свечи. Потом ночью плетешься домой с собственным телом на плечах. Так и проходит жизнь. Может, настоящая жизнь — как раз то, когда ничего не происходит? Как удалить из грамматики ума будущее время? Прошлое должно остаться. Прошлое — второе настоящее, если не первое. Человек думает о настоящем всегда в прошедшем времени. Музыка нескончаемой ностальгии, когда ты чувствуешь, как настоящее на твоих глазах превращается в прошлое. Так из-под руки выплывает текст. Блаженство утекания жизни. Будто изменяя ту всем известную песню: «есть только миг между прошлым и будущим, именно он называется жизнь». Три времени: прошедшее, проходящее и непройденное. Будущее — уж больно самонадеянно звучит — «буду вечно».

Мне представляется натюрморт кухни. На столе пшеничное поле неотваренной лапши, купленной в магазине. Замкнутые рты абрикосов с заостренными языками. Раскрытые ладони нарезанного хлеба. Тараканы изюма сбегают со стола и падают на пол. Закипает чайник. Пар вырывается из небольшой трубы, как дым кальяна изо рта. Это сравнение я еще не раз использую, потому что люблю курить кальян. На лужах появляются и тут же лопаются лысые пузырьки.

Дождь утихает. Мелкий и легкий, как пыль. Мальчик пишет на забор. Его старшая сестра сидит на скамейке и курит. А сигарета не гаснет? Во мне играет джаз. Сколько раз я готов произнести слово «свежесть»? Я люблю волю — животную, поэтическую, бессмысленную волю. Поэтому, когда произносят слова «истина», «совершенство», «Бог», «просветленность» (и много есть еще таких многословных слов), я скукоживаюсь слухом, как еж, потому что чувствую, что на шею мне набрасывают ошейник. Я люблю, когда слово становится яблоком, которое можно откусить и почувствовать, как сладко-кислый сок заполняет мой молчаливый рот. Когда слово становится девушкой, которую можно ущипнуть за мягкую плоть, поцеловать прохладную кожу, в которую можно войти, как огонь, живым и выйти, как пепел, полумертвым. Когда слово становится воздухом, прозрачным лицом неба, в которое можно неустанно глядеть в упор и ничего не видеть.

Зеленый лист в каплях дождя, будто заплаканная щека любимой. Так и хочется прижаться к нему губами. Но не все желания должны исполняться. Самые питательные желания как раз-таки не должны. Достаточно только произнести то, чего тебе хочется, или даже просто подумать об этом, и желание уже осуществлено, сыто реальностью. Плести веретено мыслей, паутину желаний, жить, продвигаясь на ощупь, не вперед, впереди ничего нет, продвигаться, так как организм часов продолжает работать.

Мы лежали с тобой под пшеничным потолком, до которого было рукой подать. На нем были искусственная огромная божья коровка и зубчатое солнце. Солнце, которое ты все время рисуешь в своем блокноте. Ты сказала, что мы лежим на потолке. По моей просьбе ты открыла рот, и я шептал в него слова. Я хотел, чтобы ты слышала меня ртом, а не ушами. Это воздух идет в легкие, а слова идут в желудок души, питают нас или отравляют. Твоя спина — звездное поле одноглазых родинок. Ухо, точно однокрылая бабочка, прислушивающаяся к пролетающему ветру.

Иногда я болею астмой сердца. Дышу сквозь черную трубочку предложения. Я предлагаю себя пустоте: «Съешь меня». Она меня кусает, но своими укусами она только возбуждает и не утоляет голод смерти. Это мое дупло, в которое я кричу, пою, шепчу и даже молчу. Дупло, которое исчезает, когда отвожу уста от него.

Это творчество основано на том, что мы тут же забываем только что прочитанное. Длительное забвение сквозит в каждом слове, в каждом образе или сюжете. Как если идти по осыпающейся дороге. Летние ночи полыхают медитативными танцами и к рассвету обретают покой младенческого сна. Красивые люди собираются в пещерах квартир, в стеклянных кофейнях, в безумных чаевнях. Сидя на скамейке в парке, поднимаешь голову вверх и в щеколке, в шорохе листвы видишь все, что есть, и все, что может быть. Красота — это вуаль смерти. Попадаешь в коридор души, смерть дует тебе в ушко, как котенку. Невольно содрогаешься.

Ты говоришь мне: «Ты — хищник» А я ничего не отвечаю. Я — хищный? Но все хищные — тоже, если вдуматься, травоядные, то есть покорные. Они покоряются вложенному в них инстинкту преследования. Мне сейчас думается, что копытные не менее хищные, чем сами хищники. К примеру, коровы пережевывают плоть человеческую, кости, что проросли цветами и травой. Полосатые пчелы собирают аромат наших мертвых волос и делают из него густой, липкий мед. Мы все в одной катушке бесконечных нитей.

Безумная привязанность к ускользающим словам. Стойте, слова, мои родные, не умирайте. Но они умирают, гибнут, как летние прогулки, как осенние листья, как новорожденные младенцы. Гибнут, потому что я говорю.

Воздух, пляшущий в отяжелевших легких. Случается, сторишь на солнце после поездки на озеро и облезаешь, точно луковица. Вот вся правда о теле. Дымок, ежесекундно теряющий форму, серая душа, перевоплощающийся цветок пепла. Медленная медитативная музыка почерка. Ковриками шерстяные псы в знойный полдень лежат на асфальте, громко дыша. Около скамеек всегда голодные голуби, клюющие мусор с земли. Ну, вот. Ты опять со мной. Наши краснеющие ладони скрещиваются, поигрывают, переливаются друг в друга, точно лучи света. Сачок твоей руки ловит бабочек моей нежности. Ты их ловишь, и они тут же исчезают. Или так: ты их ловишь, отрываешь губами им крылышки, они превращаются в гусениц, заползают в мое раненое сердце (так как любят тень, так как живое сердце — это кокон крови) и там снова превращаются в диких разноцветных бабочек. Так мы дышим друг в друга. И уже так надышали, что окна наших сердец запотели и снаружи ничего не видно. Да и нас за этими затуманенными стеклами тоже не видно. Какое блаженство — никого не видеть и быть невидимыми. Быть воздухом.

Мы с тобой никогда не прощаемся и не здороваемся. Мы слишком хорошо

знаем, что не расстанемся, что уходим в мысли друг о друге. Мы любим думать друг о друге даже больше, чем быть рядом. Ибо когда мы рядом, мы знаем, что рядом, всего лишь касаемся друг друга. Но когда мы думаем друг о друге, мы находимся друг в друге. И нет большей близости, чем мысль.

Мы лежим в упор, прижавшись губами и носами. Когда я делаю выдох, ты вдыхаешь мой горячий воздух. И наоборот. И тут я понимаю, в очередной раз прихожу на виселицу заключения, что любовь — это бесконечное взаимное искусственное дыхание. Но что-то меня тревожит. Вот что: я не хочу, чтобы меня спасали. Я хочу погибнуть.

Что-то постоянно происходит, но почему-то уже не запоминается. Не то чтобы события не потрясают, не вызывают вспышки, но сама эта вспышка уже стала какой-то обыденностью. Когда человек что-то проясняет для себя, он как бы говорит: «Здравствуй, я!» Летние дни проходят. Точнее, мы проходим сквозь летние дни. Хочу написать стихотворение: «Прощай, Лето». Напишу ли? Ночью выходишь во двор посмотреть, как острые звезды шумят над головой, увидеть сияющее подергивание света, послушать трескотню насекомых. Этим летом вскрыли дороги, вырвали столько деревьев. Когда смотришь на эту мякоть асфальта, думаешь про себя: рвота земли. Корни деревьев, точно отрубленные головы, валяются вдоль дорог. Вижу их почти каждый день, возвращаясь с очередной кошачьей прогулки. Странно, но почему-то так больно смотреть. Сам удивляюсь этой боли. А пройдет немного времени, постелят новый асфальт, уберутся, станет все чисто и аккуратно, и даже обрадуешься простору новшества. Будто деревьев здесь и не было. Будто так оно всегда и было: широкоплечий перекресток.

Мне думается, что всякое мышление стремится к идеальной мысли. Идеальная мысль — это мысль, сконцентрированная на самой себе. Она лишена речи, ибо самодостаточна и не желает к кому-либо обращаться, приобщаться, кроме самой себя. Идеальная мысль — это гнездо сознания.

Мои абзацы — это прыжки по камням, вокруг которых расплзается болото времени, густая, всепоглощающая масса забвения. Сосновый парк. Рыжие сосны, ровные, как бильярдные кии. Ловлю себя на том, что этот мир мне мерещится. Эта воздушная пустота, что вне меня, абсолютно гармонирует со сквозной пустотой в голове. Бессолнечная пустыня мысли. Ни одного воспоминания, ни одной идеи, ни единого плана на жизнь. Сколько ни вглядывайся в медленное серое полотно туч, что движется над головами тел, ничего не фиксируется, будто текст на незнакомом языке. Ты видишь, что он присутствует, но не видишь его сути. Мальчик катается на самокате. Самокат — вот самодостаточное слово. Подлинное лицо жизни обнаруживается в слове «самокат». Круглая клумба цветов цвета твоей юбки. Сейчас все цвета и вещи молчат. Я говорю языком молчания. Я не окликаю ничего, не призываю никого. Все предметы, их названия, имена, то, чем они могли бы стать, безмолвны, точно мертвые. Это состояние я бы назвал солнечным затмением. Человек, должно быть, большую часть жизни пребывает в состоянии смерти — когда становишься неодушевленным течением безразличного дыхания мира. Так безразлично ко всему окружающему шевелится зелень. Так безразлично пахнут растения. И чтобы не слышать это безразличие, мы создаем искусственную жизнь. Мы способны жить только в искусственной жизни, потому что наделены способностью оглядываться. Мозоль на дереве, образовавшаяся после обрезки ветви,

напоминает дупло, окантованное губами, словно дерево хочет показать язык. И вот, когда я вношу эту искусственную метафору, то этот рисунок ствола становится мне понятным и даже родным. Быть ничем — вот чему учит природа. Человек болен жаждой очеловечить природу. Группка елей напоминает африканское племя. Мягкий ветер попадает под черный рукав моей футболки. Со всех сторон хоромы автомобилей. У меня есть только ручка, сытая черной пастой, блокнот и тихая пустота, эхо вселенной. Открываю книгу и вычитываю такую вещь: «запечатлевать мир можно, лишь создавая двойную иллюзию, ты останавливаешь движение, и ты же доносишь его непрерывность». Все. Теперь это тоже мое. Когда читаю какую-нибудь книгу, я часто замечаю, что просто люблю шептать. Я чувствую себя рекой. Или я развлекаюсь тем, что перелистываю хаотично страницы и вырываю отдельные предложения, фразы или просто даже слова. Так ведь и взгляд функционирует в процессе дня — непрерывно-хаотично. Когда мир так молчит, человек вдруг начинает постукивать ногами, плясать, кричать, петь. Сердце бьется, чтобы мир не молчал. Но мир молчит. Монолог — это единственно возможная форма диалога с проваливающимся миром. Когда ничто ничего не значит, тогда вдыхаешь смысл залпом.

Я поднял желтый лист и вгляделся. Внутри него был человеческий скелет, сороконожка нитей, уменьшенная проекция дерева. Мое дорогое сумасшествие, не дай мне стать благоразумным, иначе как я смогу жить в этом мире?

Жизнь обнажает свое лицо всюду и всенепременно. Как-то я ехал в автобусе и стал свидетелем такой ситуации. Старик ворчал на девушку лет двадцати за то, что она не уступила ему место. Хотя она несколько раз оглянулась, прежде чем сесть, и просто не заметила его, он стоял за спиной. Своим ворчанием он упрекал всю современную молодежь в невнимании, обвинял молодость. Словом, неизбежный разлом поколений. Его претензия к современности есть претензия к жизни вообще, к ее закону возрождения. Он постарел и не может простить это жизни. Его старость — это непримиримая обида на молодость.

Или другая ситуация. Сегодня утром (все ведь происходит только сегодня), выходя в магазин за необходимыми продуктами, я встретил соседку. Знаю ее давно, с самого детства, она мне годится чуть ли не в матери. Мы, как полагается, поздоровались, весьма улыбочиво. Она собиралась всего только спросить «как у меня дела». Но вдруг, едва позволив себе заговорить, начала рассказывать о том, что у нее отпуск, что она затеяла ремонт для своей матери (каждый раз, когда вижу эту болезненную бабушку, думаю, что лучше б она умерла, чем так мучиться. Наверняка, она сама дышит ожиданием), и еще много бытовых подробностей слетело у соседки с уст, прежде чем она сказала о главном. «Я недавно мужа похоронила», — она это произнесла с той же бегущей интонацией, с какой говорила о ремонте. Я даже сначала не понял, какую рану она открывала, и только, когда увидел ее плачущей, понял, что ни о чем другом она говорить не может. Что стоит только ей начать говорить о самом неприметном, как тут же выступает основная мысль. Она говорила и говорила о своем муже, об их планах. Это был фонтан боли, горя, душа без кожи. И я принимал эту боль, был ее соучастником. И все, что она могла сказать, чтобы отгородиться от этой боли: «как жаль...», «как бессмысленно...», «каким он был еще молодым...», «все в один миг...», «как неожиданно...»

Я в тоске. Тоска позволяет душе замкнуться на себе самой, уподобиться

капле. Она, словно наушники, с помощью которых слышишь только себя. Человек, обремененный потребностью искать прекрасное, как правило, находит его снаружи. Но как только на него находит тоска — настоящая, от которой не хочешь излечиваться, — он, ослепленный собственным содержанием, видит красоту во всем. Он смотрит на все пристальным, пылающим, вывернутым наизнанку нутром.

Выйти ночью во двор, сесть под каким-нибудь черным деревом и поднять голову вверх. Как чудно листва переступает, карабкается по стволу в простреленное сиянием небо. Неподвижные клочки звезд. Крохотные ступеньки дерева, по которым бегают вечно молодой ветер, наигрывая тихую музыку. Неподалеку стоит засохшее, испуганное дерево. Паучьи ветви выползают из темноты. Над соседним домом висит воспаленная луна. Тонкий скрип качели цепляется за тишину. Вот так сидеть и слушать, как жизнь проходит насквозь, — бесповоротно, односторонне, бесцельно, всеохватывающе.

В поисках непотерянного моря

Вода в бутылке нам укажет путь. Не начать ли с этой строчки какое-нибудь неудачное стихотворение? Бесцельные мысли. Поезд. Глуховатое постукивание колес. Кошачьи холмы выгибают свои лысые спины. На столе три зеленых пышногрудых яблока, роман Кундеры. Пожар заката с красного цвета поменялся на фиолетовый. Я поглаживаю твою гибкую белую кожу и вижу шрам на коленке. Как в такой миролюбивый момент не спросить: «Откуда у тебя этот шрам?» Вот я и спросил. Ты бежала в детстве и упала на ступеньках, ударившись о торчавший железный трезубец. Ты говоришь: «Кровь лилась за шиворот носка». Как ты хорошо это сказала. Так иногда поэзия высовывает свою влажную мордочку из норы быта. Мне хочется сохранить эти слова.

Все наши диалоги забываются. Мы едем в город беспамятства. Ежеминутное забвение дороги. У нас с тобой билеты в один конец, дни в один конец. Мы едем в город, растущий на слоновых костях. Пролетают стены встречных поездов. Я пытаюсь запомнить твоё лицо. Внимательно смотрю, закрываю глаза, жду, когда оно обретет столь же живые черты, но все безуспешно. Оно тут же ускользает. Лица не запоминаются, запоминается задний фон лица.

Лежать в купе на верхней полке и смотреть в окно вагона — взгляд исподлобья окна. За стеклом пролетают строчки, через запятую. Выжженные солнцем поля. Неотступные чучела столбов. Качающиеся, танцующие нити проводов. Недвижимая земля словно говорит на языке глухонемых, жестикулируя, впадая в многозначную пантомиму. Крик детей из соседнего купе. Скрип открывшейся двери. Одинокий пастух, поджав колени к груди, сидит и смотрит в неизвестность. Многоликость сиротских камней. Налитые желтизной абрикосовые сады (хотя вру, абрикосовых садов тут в помине нет). Медлительное прикосновение к плотскому миру природы. Пища для глаз души. Отвожу взгляд на свою руку и вижу ту же самую глиняную мозаичность потрескавшейся почвы. Внезапно обрушившийся в небо шквал черных птиц, такое пульсирующее крылатое точечное облако, точно рой букв. Ключицы рвов в обезвоженной земле. Взглядом упираюсь в неизменный горизонт, параллельный верхней линии деревянной рамы.

Мне нужно восстановить линейность мышления — к этому я себя призываю. Но попытки тщетны. Эти пейзажные скачки напоминают ритм сердца. Вспышка удара, мгновение события и потом короткое, но в сравнении с самим ударом длительное, каменное молчание, амнезия повествования. Я как бы проваливаюсь в собственную речь. Она становится чудесным болотом: чем активнее пытаешься двигаться, тем сильнее засасывает. Впрочем, я не сопротивляюсь.

Дорога листает фотографии. Унылые, бессмертные коровы в расцветку далматинца. Медитирующий верблюд, вытягивающий долговязую шею, будто нарисованный рукой Модильяни. Тонкие длинные пальцы карликовых кустиков. Вдалеке клокочет белый фонтан взбунтовавшейся пыли. Грузовая компания батончиков-вагонов. Бегущий пейзаж. Экран окна размером полтора на полтора метра.

Я уже ничего не жду, поэтому все, что может произойти, происходит без моей инициативы. Экзистенциальная пустыня вкрадчивых образов и осторожных, скомканных мыслей. Потому что это единственно возможный способ повествовать о пути, о продвижении. Как чувствует себя пассажир, которому долго ехать? Сначала он сидит, как в автобусе, под властью неосознанной памяти коротких маршрутов. Но часы идут, и постепенно, сквозь отпирающуюся дымку рассудка, он начинает осознавать, что находится в пути ему предстоит гораздо дольше, чем казалось. То же самое происходит и с дорогой жизни, только в иных масштабах. Казалось бы, преодолеваешь тысячи километров пространства, но страдаешь именно от его недостатка. То, к чему прикоснулось тело, может быть познано как место. То, к чему прикасается только взгляд, всегда остается лишь мечтой о месте. Поезд — это кинотеатр подлинного пространства, недостижимого и потустороннего.

Ты выходишь покурить в пролет между вагонами. Ты еще не бросила курить, я еще не подвел тебя к этому желанию. Синяя паутина дыма расплывается вокруг тебя. Я слышу, как сухожилия рельсов, точно голосовые связки железа, натянуты и терпеливо ноют под тяжестью нашей коммунальной змеи. Горловое пение железа. Городок белых домиков стоит вдали семейством слонов, остановившихся у водоема.

Я путаюсь в разговорах. Говорю с тобой и говорю с собой, и все равно обращаюсь во втором лице. Едешь и думаешь только о том, что в безымянном городе тебя ждет море. Хочешь закидывать удочку надежды в будущее. Когда там, в густой неизвестности, что-то есть желаемое, оно становится яснее, теплее, роднее. Но когда что-то происходит вне твоих ожиданий — это и есть жест грядущего. Это значит, ты вошел в тот самый ускользавший поворот, что тебя все время пугал, в переулочек необоснованности, туманности и пронзительной, гулкой первозданной тьмы. Все, чему человек способен научиться, это принимать расклад выпавших карт бесчисленной колоды сюжетов, в которой единственный козырь — его отсутствие.

Вертикальные, зеленые камыши обступили заплесневевшую воду. Хор воображаемых лягушек. Зелень за окном так редка. В этих колючих омотах кустарников покоится сейчас моя душа — переменчивая, лживая, трепещущая, теряющая себя из виду. Ветер, точно легкие переливы гитары, кочует от кустика к кусту, создавая акустику. Солнце смотрится во все возможные зеркала одновременно. Птицы нанизаны на провода, как кусочки шашлыка. Я смотрю

в зеркало двери и вижу только вспотевшее, уставшее лицо — и ни намека на то, что вижу, когда смотрюсь в зеркало бумаги. Камни набегают на позвоночник рельсов, словно панцири мертвых черепах. Козлы пожирают скальпы арбузной кожуры. Простая, грубая, всеядная жизнь расползается с любой точки земли во все стороны. Остановки в маленьких поселениях, где степные люди живут покорной жизнью. Там бегают дети с волосами, пропитанными пыльным ветром. Я завидую этим степным людям, как человек может завидовать тому, что чуждо и несбыточно для него. Вот вырастает мужчина, работающий в поле изо дня в день, не помышляющий ни о самоубийстве, ни о вечности, ни о мгновении — как голубь, непрестанно клюющий плодородную почву времени.

Теснота давит со всех сторон и изнутри. Рефлексия — единственное средство, спасающее от мозговой тошноты, которая возникает, когда чувствуешь обреченность.

Очередной закат сползает с загорелых плеч горизонта. Пустые глазницы нор. Бесконечная клавиатура железной дороги. Пианино, играющее одну и ту же мелодию. Сознание вакуума. Черный выгоревший кусок, тень огня, впивается в плоть почвы, сморщенной от древности. Глубокие швы высохших каналов бегут в поисках влаги. Все происходит сейчас и постоянно. И «вчера» тоже происходит сейчас. И «завтра». Желтый квадрат окна, поедающий меня изнутри. Меланхолия облысевшей осенней тверди.

Сумерки сгущаются, как кисель, и неторопливая ночь прилетает посидеть надо мной. Ночь как возможность помнить обо всем. Помнить об умерших и о живых. Потому что тьма спускается, чтобы ничто не мешало человеку нырять в бездну внутреннего ужаса. Ночью я слушаю Баха. Смотрю на спящих со стороны. Как сладко черная кровь чернил разливается на постель блокнота под эти встревоженные смычки. Косеющий взгляд со стороны. Зеркало без отражения. Колеса смерти продолжают хрустеть. Покачивается прозрачная вода в бутылке, будто комок слез. Я все помню разом, поэтому не могу описать ни один эпизод в отдельности. Я вижу все лица разом, поэтому не могу сосредоточиться на одном конкретном лице. Толстое брюхо соседа надувается сном. В таинственном хороводе теней блуждает мой прокуренный взгляд. Нежный, хрупкий воздух поит меня абсолютной немотой. Красное полотенце отбрасывает длинную прямоугольную тень. Долгое, упорное распиливание нутра музыкой, плачущим лезвием скрипки. Беззвездный потолок, от которого просто не оторвать глаз.

Вкрадчивый, сухой храп. Организм, как маленький оркестр, исполняет эту бессонную музыку гибели, главным дирижером которой являюсь я. Рой бессмертных насекомых вокруг пролетевшего фонаря, словно заблудшие души вокруг слепого пророка. Жирная мохнатая точка, гудящая, как шмель, внутри моей головы. Тигровый арбуз катается по мертвому полу, точно голова, срезанная лезвием гильотины. Я слышу вас, мои птенцы покинутых вещей. Вот мужская одинокая рубашка, подвешенная за шиворот. Когда-нибудь, говорю я себе, ты уснешь, а рассвет будет невинен, солнце вспорхнет с линии горизонта, как белый лебедь. Но не в эту ночь. В эту ночь ты — родитель, приносящий себя в жертву плачущим младенцам слов. Посмотри на спящего! Как он сворачивается в клубок беззащитности, кладет хрупкие ладони под щеку, будто прислушиваясь, будто вновь оказался в утробе. В утробе своего тела, в утробе своих всевидящих снов. Может быть, в эту ночь я снюсь кому-то? Может быть, сейчас

в чьих-то снах я падаю с огромной скалы или стремительная пуля прорывается сквозь густой лес моих ребер? Почему я вижу повсюду смерть? Почему она меня не пугает, а призывает? Почему во мне не возникает желания отвернуться? Там, в черном бассейне окна, простирается безотказная, постылая степь, а над ней тлеют бесшумные звезды. Мне ничего не нужно делать, чтобы их увидеть. Они не прекрасны, они обычны, они безголосы. Я слышу, как дышат ночные тела, завернутые, перебинтованные в белые простыни вагонов, будто для погребения в землю... Проснись, утро сознания.

Чем дольше ищешь, тем полнее обретаешь найденное... Мы попали в город на краю воды. Ты никогда еще до этого не видела моря и хочешь посмотреть в него вблизи. Поэтому, продвигаясь на машине вдоль берега, ты отворачиваешь голову и говоришь мне: «Не смотри». Я не смотрю, но я подглядываю. Первый вдох взгляда внезапно взорвавшегося пейзажа отбивает всякое желание велеречивости. Красота открывается после привыкания к объекту. Первое впечатление обманывает тем, что создается иллюзия, будто ты наконец-то слился с миром в одну прекрасную смесь жизни. (Какая это Моцартова иллюзия, как свободно и торжественно дышится в ее власти!) Именно такое слияние отрицает красоту. Чтобы разглядеть внешность, нужно быть изгнанным из нее. Чтобы жадно любить жизнь, нужно быть на стороне смерти. Красота — это путь отверженного, это взор мимо проходящего отшельника.

Ажиотаж воодушевления постепенно проходит, и теперь можно все увидеть тщательнее. Осколочный берег, покусанный клокочущим, безостановочным морем. Взмахи телесного пловца, медленно продвигающегося по лазоревой поверхности. Ослепительные осколки зеркал, бегающие по вспаханному ветром полотну. Море, плюющее со всех сторон на город времени. Рыхлое, наполненное собой, как человек печалью, цельное, глубокое, соленое, щедрое. Линейка стремительного горизонта. Мозаики красных крыш, перепрыгивающие друг друга. Белые галочки важных чайек.

Море колышется, точно твое летнее платье, когда мы едем в такси с открытыми окнами, продуваемые теплым влажным воздухом, огибающим наши лица. Я отворачиваюсь от тебя, чтобы что-то разглядеть, и тут понимаю: любовь — это способность двух быть двумя, а не одним, позволять друг другу отворачиваться, расставаться взглядами, чтобы потом вновь сойтись.

Пейзаж в первые минуты не распознать. Эта эрекция восхищения вводит в коридор ахающей слепоты. Сидеть на обугленных, застывших в судорогах камнях под громким солнцем и прятать душу в тени собственных слов. В тех местах, где вода облизывает камни, шершавая поверхность покрыта рыбьей слизью, мелкошерстным зеленым ковром, приятным наступающей на него ступне. Ближе к дороге выстроились в ряды вертикальные, бесшумно поющие камыши. Эти плещущие волны ни о чем мне не говорят. Все, что можно услышать в их влажном шепоте или крике, это то, что я сам хочу сказать. Именно потому, что они ни о чем не говорят, я слушаю их с таким ученическим трепетом. Но иногда складывается ощущение, что эта пенистая речь моря не столь безголоса. У нее голос вложенного в нее моего слуха. Я подслушиваю за морем и одновременно за своей способностью слушать море. И только поэтому оно стало столь красноречиво. Ни один собеседник не впадает в пьянящую экзальтацию речи без соучастия слушателя. Именно потому стихи пишутся в тишине. Тишина — абсолютный слушатель.

Сбивчивые мысли, наступающие друг на друга дни, повторяющиеся строки. Случайные люди оглядываются в мою сторону и не запоминают моего лица, не знают ни моего имени, ни моего сюжета — они прекрасны в своей посторонности, как перелетные птицы. Эта живая голубо-зеленая, бугристая рябь строка за строкой, волна за волной наплывает на рваный белый берег. Море топчется на месте, шагает само в себя, как моя растущая книга. Маленький островок камня, на котором мы сидим каждое утро и с которого ныряем, высовывается из мокрой массы, выплывает на поверхность, будто маленькая подводная лодка. На этом камне каждый день мы сжигаем свои длинноногие, длиннорукие тела. Серая чайка с желтоклювым шариком головы, белоснежная, как мороженое, сидит в профиль в форме чайника. Все это лирика постоянно исчезающего мгновения, попытка поймать скользкую рыбу прощания любопытствующей рукой настоящего. Белопопые дети, ковыряющиеся в своих недоразвитых детородных деталях, непрестанно бегают вдоль кромки воды и что-то ищут.

Ты выходишь из воды и кладешь голову мне на плечо, и капли падают на бумагу блокнота, размывая чернила. Море в морщинах, в улыбках, в гибких складках мокрой кожи, плывущее ко всем берегам одновременно. Потом ты сидишь на одном из камней, как что-то хрупкое и мелкое, как жучок на человеческой ладони, и кормишь этих немых рыбок жизнелюбия, улыбаясь самой себе. Скользкие рыбки, будто секундные стрелки, отламывающиеся звуком на петле циферблата. Ты кормишь этих рыбок хлебом благодарности, крошками безнадежной радости.

Я не успеваю ловить нашу речь, потому что участвую в ней целиком. Реплики набегают, как волны, тут же разбиваясь. Действительность заикается. Диалоги испаряются, как дым кальяна. Все поворачивается на сто восемьдесят градусов. Здесь пейзаж является фоном, а мы — фокусом, но на бумаге пейзаж становится фокусом, а мы — фоном. Что ты сказала сегодня утром или вчера перед сном? Разве это не самое важное — как ты смеялась, когда мы чистили зубы в ванной? И над чем ты смеялась?

Море — это театр времени, на сцене которого всегда играют одну пьесу. Театр без актеров и без декораций. Театр, состоящий только из сцены. Театр бурления на месте.

Красноглазые голуби с гладкими фиолетовыми шейками ставят точки в земле. Стая пацанов гоняется с сачком за серебристыми язычками рыбок. Горбуны камней лежат под марширующими ступнями смертных ног. Брызги заглядывают мне в тетрадь. Мы медленно дышим в агонии солнечного света. Загар — это тень, которую человек отбрасывает на себя самого, как возраст.

Пытаясь определить местоположение, я замечаю, что улицы безымянны, безличны. Есть только микрорайоны и номера домов. Дома пронумерованы, как страницы в книге, чтобы читатель знал, на какой странице он прошлой ночью заснул. В прохладной комнате четырнадцатого микрорайона я целую твоё упругое, теплое тело, обнимаю маленькие горы согнутых коленок. Форма женской груди — просящаяся в руки, в рот, вытянутость капли. Целую твои глаза. Поцелуй в глаза — это акт досрочного чтения, когда слово еще не родилось, губы не выпустили его из своей мягкой створки, а глаза его еще не увидели.

Отсутствие сюжета есть та подлинная сторона жизни, которую мы теряем

из виду, стоит только событию ввести нас в активность соучастия, выбить из цельности.

Неуловимые, стремительные ласточки сопровождают наши теряющиеся дни. Они уходят, как деньги из наших запасов. Их всегда нужно считать и экономить. Мы тратим их на мелкие радости, на соленые поцелуи, на мирные переглядывания. Прогулки до магазина, сопровождаемые смешанными мыслями. Обед, приготовленный твоими легкими руками. Спустя несколько недель я скажу: «Мы идем, наступая в наши будущие следы». Но это будет уже другое время, другое место. И обо всем, что с нами сейчас происходит, мы забудем.

Вечерами мы слушаем Эдит Пиаф, мечтаем о Париже, курим кальян, выглядываем в окно. Под это окно каждую ночь приходит кошка, пушистая крошка, которую мы кормим кубиками колбасы. Я люблю попадать ей в голову сверху, рядом с тобой во мне часто пробуждается игривость. Ты рисуешь свои бесформенные цветы и растения. Я не могу писать, твое присутствие сбивает меня с мысли. Художественный диалог с вещами требует смертельной отрешенности от теплоты. А что внушает столько тепла и доверия, как не твое присутствие? Пытаясь писать стихи, я выгоняю тебя в соседнюю комнату, оставаясь на кухне. Но мучаюсь оттого, что ты одновременно так близко и так далеко. Потому что твой набухающий запах смотрит на меня со всех сторон геометрической комнаты. И мы сидим при хрупких огнях свечей в счастливой тишине моей бесплодности.

По ночам, когда звезды подозрительно горят над коробками домов, я вздрагиваю и просыпаюсь. Ты спишь рядом. Я тянусь к блокноту, достаю ручку, чтобы записать: «спи дальше, все живы... они просто спят, они только имитируют сон». Притягиваю твое горячее, сонное тело и засыпаю.

Ты остаешься на фотографиях, которые я уже, возможно, никогда не посмотрю. Наличие фотографий отвлекает душу от воспоминаний. Когда есть фотографии какого-то события, оказываешься в положении школьника, у которого есть возможность списать или подглядеть. Память учит тому, что жизнь проходит. Память учит забвению. И это непозволительная роскошь списывать на таких серьезных занятиях. Но мы списываем, потому что все забываем. Помнить — проживать себя. Я забываю себя.

На море мы утратили море. В поисках моря мы обрели море. Мы искали море, чтобы его потерять. Мы обрели его дважды, когда нашли и когда потеряли.

Бессмертная осень

Вот и пришла моя долгожданная, бессмертная осень. Я даже как-то опечален тем, что ее дождался, потому что сбывшееся событие, несмотря на свою продолжительность, уже принадлежит пеплу. Ожидание поджигает любое событие, горящее, оно вкусно пахнет. Но соприкосновение ожидания с действительностью всегда сопровождается набухающим дымом. Возможно, счастье — это всего лишь ожидание его появления? В сущности, именно прихода печали я и ждал от осени. Вечерами моя прямолинейная улица тонет в сером тумане дыма. Это жгут первую опавшую листву в частных секторах. Гарь не дает сделать полногрудый вдох. Как говорится, хоть топор вешай. Вот и висят повсюду топоры тополиных ветвей. Зябкая прохлада лишила возможности сидеть в

обществе фонарей на парковых скамейках. Из шкафов мы достаем прошлогодние плащи, куртки, кофты. Теплая одежда в холод — как вторая душа. Как-то вычитал такое: «Человек есть то, что он любит». Следовательно, я есть эти вещи, которые надеваю, выходя из дома. Я люблю эту джинсовую куртку, подаренную родным братом, напоминающую лермонтовскую шинель. Она меня настраивает на дуэль с пространством. Часто, когда идет дождь, случается видеть грибы людей, идущих под зонтами. Блестящие крышки над головами мелькают кричащими отблесками. В пасмурные дни складывается ощущение, что мы в огромном полиэтиленовом пакете.

Дни шли, и я ждал того момента, когда сяду за компьютер и начну раскручивать ковер осенних впечатлений. Показывать пальцем, как это делают дети, еще не научившиеся говорить, на опадающую листву. Смотрите, дорогие люди, как она торжественно падает. Да, все это видят, но как им удастся отводить взгляд, работать и отворачиваться? Это так же шокирует, как тот канатоходец, которого я видел по телевизору. Он идет над бездной, без страховки, и в любой миг может упасть. Именно это не дает зрителю отвести взгляд от него. Моргнуть. Хотя у них у всех шеи затекли. Но может случиться так, что именно в ту секунду, когда отвернулся, все-то и пропустишь. Так я и смотрю в лиственную гущу деревьев и ловлю каждый падающий лист, точно слово любимой женщины, покидающей меня навсегда. Стоило написать о любимой женщине, как вспомнил о тебе. О том, как мы ходим холодными тротуарами по городу, и ревущие дубы обстреливают нас твердыми желудями. Как я показываю тебе движения латиноамериканской сальсы, и мы танцуем под прекрасную музыку желтеющей гибели. Как заходим в шумные цветные супермаркеты, чтобы купить что-нибудь поесть. Как стоим на остановке, дожидаясь твоего уютного, стеклянного троллейбуса, прощаемся и уходим в ночь. А потом ночью я лежу, словно Робинзон, на плоте дивана, одиноко плывущем по бескрайним воспоминаниям. Хватаюсь обеими руками за голову, будто кто-то меня пинает по мозгам кирзовыми сапогами и жаждет затоптать в землю.

Что в первую очередь составляет содержание картины, пейзажа? Пустота. Линия становится выразительной тогда, когда рядом нет других линий. Человек перестает быть толпой, когда вокруг него нет других людей. Сиротство, обособленность лежат в основе всего притягательного. Пустоты — это герои моего романа жизни. Пробелы, пятна склероза, речевые оговорки. Так я часто проглатываю несколько звуков, когда устаю говорить. Если что-то хочу сказать, больше вглядываюсь в то, о чем сказать не хочу или не могу. И тогда лучше понимаю, что точно нужно сказать. В сущности, я пишу дневник натуралиста. Та тетрадка, которую вел в школе, учась в начальных классах по природоведению, куда каждый день записывал температуру, облачность, осадки. Да, именно это и ничто другое. Потому что только погода имеет смысл. Важно наблюдение за ее сменой. Хотя порой так достает, что все время говорю о себе. Но значит ли это, что я тем самым придаю себе столько значения? С одной стороны — да, с другой — нет. Автор, пишущий о себе, заведомо предполагает, что это будет прочитано кем-то, следовательно, он не делает из этого тайну. Он отдает это. А то, что нам дорого, всегда желает оставаться таинственным и неразгаданным, вдали от обывательских глаз. Автор же, который всячески прячет себя, обнаруживается в самой материи текста.

По четвергам я играю в баскетбол. Что-то во мне говорит, что это не имеет отношения к поэтическому восприятию мира, следовательно, и к моей книге. Но «черта с два!» — отвечаю я себе. Еще как имеет. Это молодость. Тело — единственное, что правдиво само по себе, с чем не поторгуешься. Душа — это телохранитель, равно как и тело — душехранитель. И каждый четверг ночью, разгоряченный физической активностью, возбужденный, как девственный подросток, я сижу над волчьим воздухом, пожирая себя душевнобольными глазами. Допустим, я оказался в таком состоянии сейчас. Я сел писать, чтобы развеять спрессованный в груди ужас. Настенные часы шелкают, как бомба. Я встаю, снимаю часы со стены и вытаскиваю батарейку. Пульс времени замолкает. Черный монитор выключенного компьютера был покрыт белой сияющей пылью, точно мрачное небо, покрытое звездами. Что в действительности меня мучает сейчас? Только мое присутствие. Все, что имеется в любой пространственной или временной точке, навязывает обыденность. Все, что зримо, всегда окончательно. Именно поэтому мы любим смотреть на движущиеся формы небытия, такие как море, облака, огонь. Все это я говорю, чтобы как-то навеять сон. Впрочем, помнится, со мной это уже столько раз было. Тогда в поезде я описывал то же самое. Может, ничего не стоит производить и оставить только абсолютно голую возможность? Но я родился, а это уже происшествие, я уже лишен этой абсолютной возможности. Какая польза в бессмысленных вещах? Они отвлекают нас от понимания всей бессмысленности полезных вещей. Но слово «бессмысленность» уже тоже стало банальностью. Что же тогда остается? Вот так просто сидеть и фантазировать себе что-то, напевать шепотом бессонную рану жизни. Если бы я работал, то давно бы уже плавал в океанских просторах сна. Но когда работал, я мечтал о такой изнурительной, подземной бессоннице. Настоящие мечты сбываются слишком быстро, должно быть, в этом трагедия. Ибо целевое желание что-то приобрести, увидеть, куда-то попасть — это все не мечта. Мечта — это то состояние, в которое попадаешь, когда о чем-то возмечтал.

«Мой мокрый орган без костей для перемолки новостей, валяй, мели!» А что, в сущности? Это, по-моему, лучше даже, чем на протяжении трехсот страниц мучить читателя и себя какой-нибудь многозначительной интригой. Или выдумывать теорию познания мира. Все честно, как у Сократа. Может, писательство начинается тогда, когда не думаешь, о чем говоришь? Когда думаешь, но как будто не мозгами. Да, знаю, объяснение уже придумали: языком думаешь, словарем. Вот, к примеру, стоит стена, она меня совсем не интересует. Я уставился на нее, как турист на Джоконду. И рядом проходящий человек, увидев меня, непременно остановится и посмотрит туда, куда я смотрю. Я смотрю со всей эстетической способностью видеть. И чем эта картина человека, уставившегося на пустую стену, и человека, удивленно уставившегося на этого человека, не картина? В музей ее, конечно, не отвезешь, всему миру не покажешь, но поразить кого-то может даже больше, чем Джоконда. О чем это я?

Вот так сидеть и писать всю ночь до рассвета затем, чтобы, проснувшись, сказать себе, что писал до рассвета. Или просто взять и удалить все, чтобы потом написать, что удалил все. Обо всем писать, обо всем, потому что пишется, лишь бы только не ложиться в январскую постель и не тереться об нее голым телом. Оправдываться и оправдывать, вставать на плечи молочному рассвету и смотреть свысока, как над городом проливается свет. Наш прекрасный, сползающий с

горы город. Шептать над блестящей клавиатурой, собирать руки вокруг рта в кулачки и дуть в них, будто вокруг мороз, пошатываясь, как маятник, в старом кресле. А что, собственно, мне в этой жизни еще дано? Счастье? Штамп, да и только. Человек — это хомяк в колесе собственного сердца, перед носом которого на веревочке висит что-то съедобное, соблазняющее. Вот и бежишь на месте. Вытаскивать себя из омута отрицания и снова топить в нем. Вверх-вниз — так стирают белье в тазике. Так топят новорожденных никому не нужных слепых котят.

Допустим, была такая ночь, когда я просидел до половины четвертого утра, как старуха за вязаньем, разматывая клубок бессмысленной шерсти, так и не начав вязать. Да, была такая ночь, когда я повторялся, заикался и плохо подбирал слова. Потому что мозгами уже засыпал, но не мог уснуть. Когда я, чтобы выпить стакан воды, сначала писал: «Пойду выпью стакан воды», но сам не шел, а сидел и бился с чернильными тенями, танцующими по всей трехмерной комнате. Ибо дождался, наконец, этой речевой битвы, которую домогался, уходя от работодателей, любимой женщины и друзей. Ибо настало то откладываемое ежесекундное преодоление аморфности. И горел огонь моего походного нутра, пока дров хватало. Но и эта полярная ночь тоже прошла. Главное, что не мимо, а насквозь.

Или вот так. Представлю, что вышел каким-нибудь пасмурным, смутным вечером к старому другу студенческих дней поужинать в компании родных забытых глаз, пытаясь в его лице угадать прежнего себя. А нет тебя там. Я становлюсь для себя вторым лицом. А когда умрешь, будешь третьим. Ничто так не далеко, как то, что утрачено. Ты уже зашел туда, где не может быть ни друзей, ни врагов, ни жены. Сидишь на его деревянном, семейном, теплом стуле и откидываешь голову на спинку, сопротивляясь самоубийственному желанию плевать в потолок. Тем временем очкарики домов кутаются в беспросветный, грязный мрак. Прокуренные проститутки прячутся от государственных псов в сырых подъездах. В углах валяются стеклянные запястья бутылок. На стоянке стадо автомобилей в недвижимом загоне, как бараны на убой, глазеем неморгающими фарами. Выйти и вернуться обратно, поняв, что дороже этого упругого кресла нет уже ничего в этом мире. Ибо от роковой ночи никуда не деться. Желтый звук трескающегося фонаря за окном заполняет всю длину безымянной улицы. Разве что-то изменилось, пока написались эти несколько безголосых строк? Куда делся летний любовный хор стрекожущих насекомых? Где те гусеницы, что, как густые кавказские брови, пожирали зеленые лица листвы, превращаясь, как положено, в шелковых бабочек? Но ветер перемен все уносит. Дрожит моя живая тополиная аллея. Ветер свистит, пронзая ребра ветвей. Эта бессонница почерка петляет по степи страницы, как железнодорожные рельсы. И некуда спрыгнуть. Поезд рассудка едет, сотрясая сознание пассажиров.

Скрипка точит нервы. Сесть на свой велотренажер и ехать в любой воображаемый город, представляя ландшафты. Я мало путешествовал, но много мечтал о путешествиях. И потому мечтать о какой-нибудь поездке у меня получается даже лучше, чем ездить куда-либо. Не в этом ли вся соль путешествия? Города, представляющиеся мне, туманны, как горные вершины. Пейзажи сами приходят, как модели к фотографу. Что это впереди? Неужели Венеция сама плывет ко мне? Ее прозрачные, подсвеченные переулки, каменистые голубинные площади, горбатые мостики, плывущие туфли гондол с поющими

гондольерами. Красота, выходящая за пределы моего словарного запаса. Впрочем, зачем мне эти слишком прекрасные города? Я строю свой собственный город на руинах каждодневной гибели. Кручу свои душевные педали, ибо мир — это трещина в зеркале. Грубая, напористая одышка, как после занятий любовью, заполняет прохладную комнату. Далеко ли я уехал? Бессмыслица, в которую я себя намеренно топлю с головой, освежает мозги. В многозначительной болтовне я забываю об этом тупике несказанного предложения.

Но вот у меня нехватка простора в черепной дыре. Нехватка ренуаровских цветов и пастернаковской рифмы. И я рисую себе наши вечерние прогулки по желтым страницам современного лабиринта. Тонкая, игристая ткань воды пробивается по геометрическим арыкам. Послушай, дорогая, как шепчет бриллиантовая рука реки. Идем дальше. Продольный дом с высокими окнами и балконами протягивается кирпичным шкафом вдоль аллеи. Мы идем мимо, заглядываем в окна. «Хорошо бы посидеть на таком балкончике, выпить чаю». Я иду и мучаюсь желанием сказать что-то новое, но все, что приходит мне на ум, я уже говорил и не один раз. И я молчу. Но почему молчишь ты? Я не хочу, чтобы ты молчала. Насильственный гул пустоты нарастает в ушах, точно эхо электрички в московском метро. Но мы идем дальше. И куда мы собственно идем? Нет, этот вопрос задавать не следует. Такой вопрос преследует цель, а великое хождение на месте и цель несовместимы. Спокойной ночи, дорогая, я еще посижу, макая сознание в ужас мертвой тишины. Спи вечным сном неродившейся бабочки.

Добрый день, новый день! Мы проснулись. Синева бросается в благодарные глаза. Гудят настойчивые автобусы, судорожно передвигаются. Пассажиры вежливо наступают друг другу на ноги. Извиняются, матерятся и снова извиняются за то, что матерятся. Добродушные бабушки общаются с прохожими под видом торговли цветами или семечками. Все, как прежде. Ничего не изменилось за эту длинную, беспокойную ночь бессмысленного сверления мозгов. Никто из близких не умер. На подоконнике кокетливо облизывается кошечка. Пью написанный кофе, потому что дома кофе на самом деле нет, а в магазин идти лень. Но никто не мешает мне написать: «Пью кофе». Его упоительный аромат возбуждает аппетит. И я съедаю порцию солянки, пару круассанов с сыром, салат из морской капусты. Ясно, что это все так же, как с кофе.

Пробуждается злость нового дня. Запахи деревьев, умирающих цветов, свежего воздуха не могут возбудить прежнее детское любопытство к жизни. Фонтан нефти, клокочущий на том месте, где журчал обычный фонтан. Мышеподобные воробьи суеются в редкой траве. Это мелочное усердие маленьких птиц напоминает о какой-то сверхцели всякого существа. Быть звеном распадающейся цепочки, быть запятой в бесконечном предложении мироустройства. Так ли это мало для столь малого существа, каким является любой живой организм? Помнится, в математике есть такие термины «бесконечно малое» и «бесконечно большое». Сейчас я уже смутно представляю себе эти понятия. Но само звучание определений не могло оставить меня равнодушным.

Как-то раз я ехал в троллейбусе по улице, на которой ты живешь. Я не думал о том, что мог в тот момент тебя увидеть, хотя как раз в это время ты обычно выходила из дома. И вот я еду и смотрю в огромное окно, о чем-то думаю, возможно даже о тебе. Вдруг я вижу, как ты идешь быстрой походкой,

с наушниками в ушах, растирая руками крем с виноградным запахом. Кажется, ты куда-то торопилась, потому что обычно так быстро не ходишь. Сначала я почувствовал внезапную щенячью радость, безудержный восторг. Но это была всего лишь мгновенная вспышка счастья. Так как потом я ощутил столь же внезапную острую боль. Ибо видел тебя такой, какая ты есть, когда меня нет рядом, когда ты даже не подозреваешь о том, что я могу наблюдать за тобой. Такой ты была бы, если б я умер или если б мы расстались, что, в сущности, одно и то же. Несколько долгих и мучительных секунд я наблюдал, как ты совершенно хладнокровно, более того — жизнерадостно идешь по осеннему тротуару, красивая и свободная, торопясь жить без меня. И если б в этот миг, терзаемый мыслями о твоей невинной жизни без меня, я бы радовался за твою легкую, ветреную походку, то это можно было бы назвать настоящей любовью. Но не было ли у меня смертельной обиды на твою радужную слепоту? Кажется, чтобы не испытывать обиды на мысль, что любимейшие явления жизни продолжают происходить и существовать после смерти, нужно быть действительно мертвым или принять свою смертность. Нам все кажется, что основное счастье где-то впереди, но когда-нибудь мы поймем, что никогда не были так счастливы, как в дни пройденной жизни. Может, это и есть цель нашего пути: пройти его, чтобы просто оглянуться и понять, как прекрасен и труден был этот путь?

Вот я только что написал «нам». Но кому это «нам»? Что за широкомасштабное обобщение? Я тут вообще-то один. Не потому ли мне хочется говорить за всех, чтобы меньше чувствовать разобщенность со всеми? Хочешь говорить за себя, как за всех, — это можно только тогда, когда тебя никто не слышит. Да, сейчас меня никто не слышит, значит, я могу себе позволить быть больше, чем есть на самом деле.

Городской транспорт — одна из основных частей моей сконцентрированной на себе жизни. Потому что нигде я не бываю так спокоен, как в троллейбусе или автобусе. В транспорте я почему-то всегда засыпаю. Может, это и есть лучшая метафора: мы спим, а путь сокращается независимо от нас. Выглядываю наружу. Островерхие крыши, покрытые волнистым шифером, трубы, из которых льется непрерывный поток дыма, вертикальные женщины и мужчины, разнообразные животные. Укачивает, точно младенца в люльке. Немного подташнивает. Откуда все это многообразие единого естества? Лицо с бесконечными вариациями гримас. Земля, поедаемая деревьями. Деревья, поедаемые землей. Материи, вложенные друг в друга, как матрешки. Огненный кадык солнца в сквозном горле неба. Ослепительный комок незаменимого света. Я засыпаю, чтобы не видеть всей пронзительности наготы. Сон — это мир, вывернутый наизнанку. Заходят легкомысленные студентки. Их глупые, сладкие разговоры чудесны, как щебетание весенних птиц. А мне уже никогда не быть таким уверенным в существовании всего, о чем я говорю. Теперь это сомнение, ревнивое подозрение к природе — основной стержень моей души. Закрываю глаза и ощущаю веками красноватое, солнечное тепло. Свет целует в закрытые глаза. Мучительное головокружение поиска точного слова. Может, чем меньше слов знаешь, тем беспечнее?

В сущности, любая книга — это опыт души. Детское восприятие есть основа всякого жизнелюбия. Металлическая кружка может быть интересна своим

блеском в той же мере, что и звезды. Любая вещь будоражит до самой сердцевины, когда попадает в фокус пера.

Желторотые птенцы листвы ежесекундно выпадают из летних гнезд. Они кричат моим голосом, чешуйчатым ковром лежат на дне двора. Колючие ежи каштанов лопаются, рождая на свет твердые шоколадные камушки, будто выделанные мебельными ювелирами. Прохладный шепот ветра льется по рыжеволосым головам. Костенеют деревянные ребра скамеек, точно скелеты съеденных рыб. Прозрачное сердце мира пульсирует сменяющимися днями. Перелетные птицы разлук чистят крылья для невозвратного полета в неизвестность. Хаос действительности спит под маской обыденности. Бессмертье, образованное словом «смерть», но и смерть в свою очередь бессмертна. Серая твердь земли, покрытая сахарной галькой, кажется зыбкой пустыней. Бессмысленность жизни спотыкается о наросты смыслов, как река ломает свою сияющую шею о выпуклые камни земли. Многоликий пейзаж обрастает пропастями молчания. Бездонная лагуна неба недвижимо тонет в себе самой. Я несу свое дыхание, завернутое в мягкий желудок тела, несу взорвавшуюся мечту о себе.

И вновь я возвращаюсь к самому существенному вопросу: чем писать дальше? Чем жить дальше? Как мучительно долго рождается вспышка воображения, ради которой стоит жить, которая во всем видит ответ. Описывать прекрасный тупик — разве это не выход из тупика? Как человек, познающий что-либо, познает в итоге себя, так мысль, пройдя речевые завихрения, стоит перед зеркалом, пытаюсь разглядеть свое несуществующее лицо, и от неудачи в конце концов разбивает это зеркало ума вдребезги. Остаются только осколки, валяющиеся повсюду, как несобранный пазл, как рассыпчатая листва березы. Именно эти осколки я и пытаюсь склеить в одну картину, причем таким образом, чтобы не осталось ни швов, ни трещин. Тщетная попытка. Я знаю, что обречен на поражение. Но битва ради победы — это не битва, это только игра. Битва ради поражения — вот настоящая битва.

Чем медленнее идешь, тем больше замечаешь. И все же: как беспамятно проходят дни. Так бывает при чтении: вроде прочитал абзац, в целом, может, что-то и ухватил, какие-то ключевые слова, но все тонкости, которые так будоражили воображение, остались только смутным, трогательным ощущением. Может, это и есть память, а не то, что мы называем памятью? Может, память — это не то, что мы помним, а то, что мы забыли, но всем своим существом стремимся вытянуть это на свет, чтобы снова забыть.

Я лежу на белоснежном дне исчезающей книги, разбросав конечности страниц в стороны. Строки валяются, как черные женские волосы на простыне, спутываются. Эта женщина ушла. Она глубоко дышала, соленое море ее тела носило меня по волнам забвения. Все это уже было. Все это уже столько раз было. Но по-прежнему высекает в груди звездную искру. Столько раз уже я заходил нагим в теплую воду блаженства, нырял с головой, как утка, пытаюсь схватить яркую рыбу другой жизни. Наши голые человеческие тела цвета выжженных солнцем полей, столько раз они переплетались гласными и согласными, образуя одно цельное стихотворение природы. Мокрые поцелуи читающих глаз, шорох переворачиваемых страниц, удушье затянувшейся паузы, вырванный из горла голос — все это черты невидимого лица тайны. Лицо, которое стоит за каждым лицом, как за каждой книгой стоит лицо автора.

Худшее, что может произойти в эти феерические, цветные, октябрьские

дни, это простуда. Лежать с брошенным на диван якорем головы под горячим и липким одеялом, когда за окном синева поет недвижимым солнцем. Если и найдешь в себе силы подняться и выйти прогуляться по мистически прекрасному парку, то идешь с какой-то глухотой к шуршащей сплетне ветвей, не чувствуя ароматов засыпающих растений. Вялость сопливого тела, атрофированная душа, будто поставили наркоз, приступы громкого кашля — все это символы гула смерти, накатывающего откуда-то издалека, из самых черных глубин существа — слепой гул, лежащий в основе любого произведения, когда еще не знаешь, о чем будешь писать, но знаешь, чем все закончится. Ах, чертова простудная глухота, не мешай мне жить, не мешай мне запечатлевать этот обратный, перевернутый, замедленный салют ностальгии падающей листвы.

Обнаженные улицы лежат животами вниз, как двадцатилетние девушки на сеансе массажа, и по их ровным, упругим спинам гуляют пальцы пешеходов. Угловатые машины прижались к бордюрам. Город — это открытая клетка из стволов, зданий, столбов, в которой звучит музыка шахматных полос светотени. Выступающие наружу балконы, отличающиеся друг от друга, как люди, заставляют ходить, не опуская головы, спотыкаться о впереди идущего незнакомца. Оголившиеся верхушки деревьев выпячиваются черными царапинами, как накрашенные ресницы. И такая мысль приходит ко мне в эти секунды плещущего созерцания: душа инфантильна. Она не взрослеет. Бессмертие кричит голосом неродившегося человека. Еще не достаточно я младенец, чтобы полностью понять этот мир.

Разноцветные однокрылые бабочки листвы падают в нежном обмороке. Дни идут. Моя глава «Бессмертная осень» незаметно обрастает словами. Свободного времени у меня все двадцать четыре часа в сутки, а значит свободного времени у меня просто нет. Потому что нет того, от чего бы я почувствовал освобождение. А от себя самого освобождения не добьешься. Иногда я сажусь в троллейбус или в автобус и езжу от конечной до конечной, а потом пересаживаюсь и еду обратно. В транспорте мне лучше всего читается и думается. Где-то я уже об этом писал. Да, столько чепухи написано и совершено. Исправить ничего уже нельзя, потому что негде, только ты один понимаешь всю ничтожность выдуманной фабулы твоей жизни. «Человек всю жизнь не живет, а сочиняет себя, самосочиняется». Я всегда стараюсь не садиться писать в унынии. Какой это абсурд! Я пишу о том, что пишу. Но не абсурдно ли то, что я живу, потому что живу? Вот так бесконечное число раз оправдываться, защищаться, отстаивать право на утверждение, на уверенность в невидимых шагах по пустыне беспамятства. Бесконечная примерка, где постоянно примеряешь на себя различные маски настроений, наслоений. Отсебятина — вот, чем я занимаюсь.

Балерины влюбленности покинули сцену. Беременные соком груши горят яркими лампочками последних теплых дней этого года. Мякоть земли, воплощенная в образе яблока, сладко хрустит во рту кусающего. У дуба, как у рельефного бодибилдера, расползаются во все стороны глубокие мышечные прожилки и набухают жирные, как черви, вены. Это не роман, это вытянутый нерв из романа. Книга, которую никогда не сможешь ни дописать, ни прочитать до конца. Конец произойдет сам собой, ничем не отличающийся от начала, никакого восторга или печали по случаю того, что все-таки все закончилось. Как выстрел с глушителем. Как падение с высокой скалы в пропасть, когда не разобрать причину гибели, потому что тело не было обнаружено.

Серые сумерки дождя запеленали город в воздушную ткань. Температурные капли пляшут по геометрическим дорогам. Я захожу в кафе и покупаю на последние деньги черную кружку жидкой гари. Мельничные вентиляторы наматывают невидимую нить моего сосредоточенного творческого возбуждения. Сдерживаемая дрожь пальцев через клавиатуру рвется за свои тесные пределы. Слово — это проекция мгновения в будущее. Когда я отнимаю руки от клавиатуры, стук передается столу или стулу, и тогда все окружающие могут услышать его. Но вокруг никого нет. Кафе пустое, как заброшенный непригодный для использования старый трамвай. Слишком громко хлопнувшая дверь заставляет меня так вздрогнуть, будто я — вор и пытаюсь что-то украсть. Я ворую воздух, возвожу единичную жизнь в бесконечную степень. За окном проходят разные люди. Мужчина с блестящей, как бильярдный шар, лысиной. Высокая девушка в расстегнутом плаще с распущенной гривой волос. В состоянии обнаженного сознания всегда складывается ощущение, что все предметы смотрят на тебя, а не ты на них. Когда кто-то из официантов оглядывается в мою сторону, становится так неловко, точно я сижу голым. Но ведь это я сначала оглянулся в их сторону, тем самым привлекая к себе внимание, потому мне и показалось, что на меня смотрят. Нутро дрожит, словно шкура зверька в морозный день. Осколки нежного, прохладного стекла дождя продолжают биться по мокрой поверхности асфальта. Незаметно обновляется репертуар музыки. Обшарпанная вертикальная стена недвижимо падает вниз. В помещение заходит иностранец, и громкий англоязычный голос прерывает привычную атмосферу тишины. Он снимает с себя крылатый пиджак, сбрасывает с шеи змею коричневого галстука и садится в кресло, закинув ногу на ногу. Преисполненный насекомой важности, тщательно жует съедобную материю. Сумасшедшая нагота окружающего воздуха будоражит похороненное в глубине отчаяние. Мыслить — значит контролировать отчаяние. Видеть — значит ослепнуть по отношению ко всему, кроме того на что упал взгляд. Отсюда такая потребность влюбляться. Слепота — единственное спасение от сокрушительного многообразия галереи мира. Глухота — единственная возможность музыки, спасающая от хаоса, исходящего от всего, что способно издавать звуки. Я верчу головой, как обезумевший, пытаюсь скрыться от всевидящего и всеслышащего эха треснутого зеркала. Закрываю глаза, утыкаюсь лбом в монитор. Наэлектризованная речь бьется током вырванного голоса. Этот мир, как тарелка, падает на пол земли и разбивается на мелкие кусочки фраз. Это я со всего размаху разбиваю эту тарелку об свою голову, пытаюсь найти гармонию в разрушении, созидание во взрыве. Как передать все оттенки цветов, все слои теней, все формы острых выступов и гибких округлостей? Лопухий зеленый куст насыщает бессмертные клетки сочной кожи. Как хочется увильнуть, не идти прямой дорогой в собственную душу, придумать какой-нибудь живой образ, человека, прекрасную девушку и познавать себя через ее тело, впитывать явь жизни через ее поцелуи. Как хочется приобщиться к виртуальному человечеству и жить его событиями, дышать его проблемами и, главное, отвернуться от этой изнурительной, испепеляющей, вывернутой наизнанку действительности. Затем, не выдерживая напора ненаписанных строк, встаю, хватаю свой рюкзак на плечо и бегу отсюда, куда угодно бегу, лишь бы устать, лишь бы остановить этот вулкан внутреннего движения.

Если есть бесконечность, то есть и безначальность. Жизнь — это начало,

которому нет конца. Проза, звучащая, как классическая музыка, лишенная ударных событий, льющаяся свободным ручьем. Это книга, которую можно читать с любого места, но нельзя прочитать целиком. Это книга, размышляющая о себе самой, замкнутая в себе и рвущаяся наружу, как душа. Это книга, невыносимая в своей открытости, как незаживающая рана. И вдруг ко мне приходит другое название. Я назову эту книгу «Книга дней».

Мне кажется, я говорю голосом молчания. Как беспомощная рыба, открываю рот в поиске онемевших слов. Каждую ночь ложусь в прохладную постель и думаю о ничтожной близорукости своей жизни. Должно быть, жизнь не настолько ничтожна, если я задумываюсь об этом. Стоит ли продолжать всю эту мороку растворяющегося, как дым, мертвого голоса? Но что, собственно, мне остается, кроме как мотать в клубок памяти заржавевшую проволоку бытия.

В один прекрасный осенний день мы шли с тобой по безлюдным, воскресным улицам солнечного города. Мы спустились с Медео и, как это всегда бывает, когда спускаешься с гор, нас одолела приятная сонливость. Мы направлялись в кафе, в котором бываем почти каждый день. Столько раз написал «мы», что на сердце стало теплее и просторнее. Так вот, мы шли по сухому асфальту мимо облетающего сквера и баскетбольной площадки, и ты рассказывала о том, как тебе однажды пришлось побывать в больнице для душевнобольных. Ты говорила, что у них на лицах читается оторванность от всего. И тогда я сказал, что сумасшедшие — это просто люди, которые разучились притворяться. Я начал развивать эту мысль. Ты сказала, что мне нужно как-нибудь об этом написать, что у меня это хорошо получится. Вот я и пишу, дорогая, но не для того, чтобы развить мысль о том, что такое сумасшествие, а для того, чтобы подчеркнуть важность всегда скрывающейся от нас детали. Если б ты не была рядом, если б я не чувствовал себя, как ребенок, в центре твоего внимания, вряд ли я бы взялся рассуждать о чем-либо. Чуткий слушатель провоцирует речь говорящего. И если б я не знал, что тебя обрадует (а значит и меня тоже) упоминание об этом чудесном дне, то вряд ли я бы стал писать сейчас об этом. Творчество — в какой-то степени контролируемое сумасшествие, что в свою очередь есть высшая форма способности рассудка.

Я шатаюсь по городу с блокнотом в кармане, без денег, с безмолвием невысказанных слов. «Книга дней» мучительно медленно растет в груди, раскручивает свой клубок паутиных строк. Я ни с кем не общаюсь. Но именно этого я и добивался: чтобы жизнь шла как можно медленнее, чтобы замечать все ее изъяны, впадины, тонкости. Эластичность мгновения порой вызывает умственную тошноту и головокружение. Мысль скапливается в верхней части черепа, как сгусток крови, как опухоль. И каждое слово обрушивается на бумагу, как крик немого. Жизнь внутри смерти и смерть внутри жизни. Обе неотделимы друг от друга, как тело и душа.

Промежутками наступают хищные ночи. Когда в темнице комнаты плачут горячими слезами восковые глаза. Мозахистически неторопливо горит свеча бессонницы. Сверток резиновой боли медленно разворачивается в груди, как далекая музыка, как запах из хрупкого детства — только в этот миг действительно понимаешь, что литературы как таковой для меня не существует. Пишешь лишь затем, чтобы свести на нет это жгучее чувство, обесценить ноющий

клубок, сотканный из нитей воспоминаний, катящийся сквозь все прожитые дни. Пишешь, чтобы забивать словами львиную пасть нутра, разинутую во всю ширь рассвета нового дня. Ибо новый день — палач прежнего. Где тот десятилетний мальчик, впервые поцеловавший девочку в губы в зеленом палисаднике, в котором цвели бархатные розы? Где тот шестиклассник, которому первый глоток пива показался слишком горьким? Где тот подросток, мечтавший быстрее потерять девственность и стать мужчиной, и теперь, став мужчиной, мечтающий стать бесполой тенью мертвого воздуха? Где все эти лица, когда-либо отражавшиеся в зеркале моей души? Человек — зеркало мира. Но зеркало — это стекло, закрашенное с одной стороны густым, непроницаемым веществом. А любое стекло имеет острые грани. В такие ночи я должен говорить сухим голосом бессмыслицы, чтобы вновь вернуть рассудку трезвость будней. Чтобы утомить себя собой и уснуть от насекомого бессилья. Пусть моя треснутая душа захлебнется той безмерной остротой, которую требует для себя.

Ночи, когда натюрморт вещей плавает в реке мрака, тоскливые оранжевые саксофоны фонарей играют джаз для одиноких таксистов, фотографии людей похоронены в прямоугольные рамочки. Никто их не видит. Их безголосые лица смотрят из ниоткуда. Ночи черного шрифта, тянущиеся к рассвету новой страницы. Когда, не успев разглядеть головоломку конца, вдруг попадаешь в самое начало. И вдруг огромная рука сна неожиданно перебрасывает тебя в чистое утро.

Крохотная птичка музицирует на бельевом шнурке. Упругая синева натянута на бескрайнюю пустоту неба. Вертикальный забор перпендикулярно врезается в землю. Под забором остаток зеленой травы, растущей дыбом. Квадратные окна соседних домов впитывают свет, летящий от солнца, со скоростью, невыносимой для человеческого ума. На подбородке подоконника греется клубок мурлычущей кошки. Собаки нюхают друг у друга под хвостами — забавная форма общения. Третий день уже одна пушистая маленькая собачонка неутомимо бежит за рыжей сучкой, запрыгивая на нее сзади. Да, у каждого живого существа есть свое сверло природы в заднице. Тот, кто домогается, мучается жаждой получить свое, а тот, кого домогаются, мучается быть объектом домогания. Прозрачная чаша двора наполняется цветным пеплом, окурками времени. Повсюду вздрагивают облизанные ветром ветви. Я стою над пропастью воздуха, перевернутой вверх дном, и глубоко, взволнованно дышу в такт всему окружающему.

Кого благодарить за все? К кому обращаться? И я обращаюсь к словам и благодарю слова. Играй, бессмертная музыка жизни. Шуми, вечная солнечная листва. Пульсируй, недвижимая земля. Не останавливайся, вращайся вокруг себя самой, недвижимая бесконечность Вселенной. Живущий — это ось, вокруг которой вращается мир, выплескивающийся за грань воображения. Стирай, вода времени, черные надписи имен с подростковых стен современности. Пыль памяти, накрывай нас с головой пустыней забвения. Тот, кто обрел великую радость жизни, смотрит на мир, встав на небесные цыпочки смерти. Бейся в судорогах, беременное пульсом сердце, как выброшенная на сушу рыба. Начиная с любого места, необъятная книга мира.

Дорогая, где ты? Ты затерялась в траве видений, как бесшумный муравей любви. Я смотрю сквозь тебя, я не вижу тебя. Я смотрю не глазами, а той ныряющей в себя дырой, которую, кажется, называют душой. Она раскрылась,

как парашют, и я медленно падаю в непротоптанный снег бумаги. Слова крошатся, валяются бусинками хлеба, и пухлые голуби моего сумасшествия слетаются со всех сторон, чтобы поклевать ноющее нутро. Я — дуло вырванного с корнем дерева. Я сжимаю веки, закрываю глаза, но ковер действительности продолжает раскручиваться. Я ставлю точку, вбиваю черный гвоздь, чтобы споткнуться и упасть окончательно, но все движется само собой. Качели сознания уже приведены в действие, предложение написано, человек рожден.

Блуждающий по коридорам общежития мира, я наталкиваюсь на множество закрытых дверей. Но ни в одну дверь стучаться не хочу. Всюду лежат слова, продиктованные отсутствием выбора. Помню, летом ехали всей семьей в машине ловить форель. И моя буйная и, как все дети, безмерно восприимчивая племянница, с которой люблю драться и ругаться, сказала: «Остановитесь, я хочу божьей коровке в глазки посмотреть». На тот момент ей было четыре года с хвостиком. Она эти слова, безусловно, забыла и не поняла даже, что именно она сказала. Но я помню. Я говорю детскими словами. Потому что не понимаю, что такое осенний листок. То ли это хрупкая ладонь девушки, то ли осколок оранжевого света фонаря, то ли кусок, вырезанный наглым ножом из картины Ван Гога, то ли скальп, снятый с лысой головы моего маленького сердца. Листва — дрожащая кожа осени. Хлебные корки, втопанные в поры земли.

Заметно ли, что между начавшимся абзацем и предыдущим прошло больше двух недель? А мне заметно. Каждый раз после молчания любой продолжительности начинаешь все заново. И каждый раз кажется, будто уже ничего не скажешь, будто нечем говорить и некуда идти. Как пройти сквозь железобетонную стену отсутствия слова? Остается только перебирать в памяти знакомые имена вещей. Помню, как тосковал в гостинице, когда птичий дождь клевал с подоконника влагу цвета металла. Сидел в разговоре мужчин и женщин, пытаюсь услышать родное слово. Но они говорили на чужом мне до боли языке. Я и сам уже забыл свой язык. Когда его знал, я смеялся и плакал на родном языке. Теперь говорю, надеясь, вдруг выскользнет родное слово из пучин памяти. Я живу тем, что перешептываюсь со своей кровью. Все живое преисполнено такой неистребимой уверенностью в собственном значении, в своей важности, что рядом со всем живым мои мертвые слова умирают дважды. И тогда начинаешь любить мир, не окликаая его по имени. Любить мир, смирившись с его абсолютным безмолвием. Встаешь с утра, заправляешь постель, чистишь зубы, ставишь чайник, готовишь кашу на завтрак — и при этом ни разу в мыслях не отдаешь себе словесный отчет. Ни разу не произносишь: «Где же эта кружка?» Или: «Куда положили сахар?» Слова рождаются тогда, когда что-то потеряешь. Когда не можешь найти сахар, тогда и вспоминаешь слово «сахар», чтобы его найти. Когда умирает близкий человек, тогда ночью шепчешь его имя. Таков таинственный путь слов. Вещи существуют для того, чтобы потеряться и найтись в словах. Чтобы найти слово, нужно сначала его потерять. Чтобы найти мир, нужно сначала его окликнуть по имени.

Голубоглазое и желторотое дивное утро. После пасмурных дней, когда шли прямолинейные дожди, из толщи туч выскользнуло греческое солнце. Эта всегда новая и пронзительная синева будоражит зрение. Я бросаю все дела (что я говорю? Никаких дел у меня нет, я же безработный, бездетный, настоящий) и бегу в облетающий парк. Сколько раз мы с тобой стояли под кружевным

каштаном, глядя сквозь его оранжевую крону в эту далекую, умопомрачительную синеву?

И вот я сижу на неудобной скамейке в любимом парке. Листва каштанов, берез и еще одного неизвестного мне вида дерева ярко-желтая. Дубовая листва становится темно-оранжевой, напоминает ржавчину. Тополя самые стойкие, большая масса кроны, ближе к корням, все еще зеленая. Доносятся отдаленные удары молотка, гудение потоков машин. Повсюду, если прислушаться, уловимо легкое шуршание. Шуршание за спиной: трудолюбивые птицы топчут засохшую бронзовую листву. Сырая, холодная нагая земля. Бесцельные кучки студентов, словно потерянные в воздухе атомы, снуют по черепашьим аллеям. Дрожат синими нитями блестящие лески паутин. Неужели паутина пережила паука? Вдалеке гибкие бумажные березы недвижимо танцуют на месте. Я хожу, не могу насытиться свежестью гибели. Зубчатые листья кленов, будто звезды, вырезанные детскими ручками из цветного картона, так накрыли тротуар, что нигде не видно пробелов асфальта. Огненная чешуя приковывает взгляд, находящийся на грани обморока. Завтра такого уже не будет. Уже нет. Все. Сейчас я уже отвернулся и ушел.

Последние дни осени я хочу дожить без свидетелей, даже в собственном лице, ни слова не произнося.

Вечное продолжение

I

Жизнь — это начало, которому нет конца, это вечное продолжение. Написал эту фразу и две недели бродил, нашептывая ее себе, как молитву. Чем дальше заходишь — если вообще можно сказать, что в жизнь заходишь дальше, скорее всего, выходишь, — значит, чем ближе к воображаемому выходу, тем сильнее потребность оглядываться назад, начинать с самого детства. Помнится, я не сдал экзамен для поступления в школу. Память почему-то убеждает (хотя сомневаюсь, неужели это было возможным): при поступлении читал шесть слов в минуту. Тут же тянет сделать вывод: врожденная инфантильность, неспособность к быстрому чтению. Подобные события, как внутреннее дыхание пройденного пути. Все загребаешь под себя, лишь бы оправдать прожитое в своих глазах.

Книги покрываются пылью и пахнут деревом. Научиться читать книги — это только первая, школьная, стадия роста чуткого сердца читателя. Любить их как часть природы, как материю, любить их запах, цвет, шероховатость страниц, угловатость — это то, когда читатель перестает быть просто читателем, а становится читателем-созидателем. Можно даже не читать книгу, а положить ее на грудь перед сном, как котенка, и гладить, представляя, сколько лет и сил другая живая душа, такая же, как и твоя, трудилась над ней, обливаясь слезами бессонных ночей.

Я заперт в безвременное пространство сгущающегося тумана сознания с тикающим будильником в груди. Так океан заперт в пустую раковину. Шум далекой воды, доносящийся из самой сердцевины пустоты. Мышцы души эластичны и подвижны, как у шестнадцатилетних гимнасток. Чтобы хоть на миг

остановить сгущающееся время, нужно время, непереносимый избыток времени. Колесо катится и за неимением какой-нибудь деревянной палки или железного шеста приходится вставлять руку, чтобы остановить его.

Вот и прошло наше залетное, солнечное лето, прошла наша черно-желтая осень осиная, и пришла комнатная зима. Мы надеваем прошлогодние пуховики и пышные, как облака, ходим по улице. Сырой снег крошится с неба, потом тает, а потом снова покрывает землю ледяным песком. Как чудно дышится в первые минуты на остановке, когда дожидаясь автобуса. Выдыхаешь воздух и видишь, как маленький куст тепла растворяется перед глазами. Едешь в автобусе, разглядываешь графику небытия на морозных стеклах, смотришь в сонные лица. Мерзнешь и, попадая в тепло какого-нибудь чужого помещения, радуешься. А потом снова быстрыми шагами, если не вперебежку, расчесываешь пространство подошвами толстокожих ботинок. Денег нет, работать не можешь, потому что не можешь оторваться от растущей внутри тебя книги. Если не сейчас, то когда? Когда? Все берешь взаймы. Одежда достается от старших братьев, кормят все понимающие родители, любишь все прощающая ты — не могу о тебе сказать в третьем лице. А что я сам делаю для себя самого, не говоря уже для других?

Писать и не знать, где поставить точку. Жить и не знать, чем будешь после смерти, в какое вещество перейдет существо души. Может, зимой будет легче найти себя по чернеющей цепочке следов? Строки протоптанных дорожек исчезают на белой бумаге земли. Я иду и посыпаю крошками букв снежное поле времени, чтобы накормить вечно голодных птиц, прилетающих из будущего. Своими маленькими клювами, напоминающими семечки подсолнуха, они хватают следы моих шагов. Морозный воздух натирает обнаженную кожу ментолом. Земля скрипит под ногами, будто мы все ходим по прогнившим, старым доскам, которые вот-вот треснут, и вместе с ними ты провалишься к хищным червям, в объятия мускулистых дубовых корней. Наши чувства не сбываются, а если сбываются, то пробуждают горькую ностальгию по тому времени, когда они не сбывались. Все живу и жду, что скоро начну жить полнее, ярче, что свершится некое головокружительное событие. И событие свершается, и тут понимаешь, что как раз ожидание и было самим событием. Собственно, по этой причине и пишешь: чтобы находить каждый раз новое слово, а потом терять его и искать другое

Как я безумно одинок! Но какие вспышки ослепительного откровения дарит мне это одиночество. По сути, это книга о любви, о нежелании прощаться. Я иду спиной назад, так как не могу распрощаться с покидаемым пейзажем жизни. Мир, как эскалатор, движется на месте. Поступательное движение вверх-вниз: от ярости к немоте, от немоты к бумаге. По ночам я либо не сплю, либо мне снятся слова, как обычно снятся люди или происшествия, связанные с ними. Еще мне снятся смерти близких людей.

Папа с утра садится возле окна, смотрит в ускользящее небо и ест творог. Намертво закрытые сундуки жилых домов выглядывают наружу пустыми окнами. Жизнь происходит с постоянным опозданием. Чтобы человек мог понять, что ему действительно нужно, он должен сначала войти в эту воду неизвестности, постоять в ней и только потом осознать, его ли это русло или нет. К примеру, чтобы человек понял, хочет ли он быть женатым или нет, он должен сначала жениться, завести детей, прожить столько-то лет совместной жизни, и

только после этого он способен ответить себе «это мое» или же, наоборот, «это не мое». Так каждый опаздывает понимать себя. Допустим, он узнал о себе, что семейная жизнь не для него, но сколько лет уже прошло, чтобы сделать такой вывод. А хватит ли воли, чтобы повернуть в другую сторону, чтобы плюнуть в дорогое лицо прожитого? Или артист, добивающийся известности и в итоге добившийся ее, вдруг понимает, что в своей безымянности ему жилось куда счастливее. Но он ходит по улицам, а его все еще продолжают узнавать. Мы постоянно не соответствуем действительности, не дошагиваем до нее. Все время идем в невидимом воздухе неизвестности. Мы узнаем ее только после того, как она уже произошла. Только касаемся окружности жизни, проживаем время вскользь. Кажется, жизнь — это только возможность жизни.

И это недошагивание до действительности, неудовлетворенность текущим состоянием и формой жизни заставляет человека делать шаги, и он расширяет свою действительность, свою сферу возможностей. Он начинает заниматься тем, чем никогда не занимался. Начинает рисовать, петь, работать в другой области, любить других людей. Но так как в плоскости пространства существует возврат, а в плоскости времени передвижение безвозвратно, ему приходится на чем-то остановиться.

Это рассказ о бесплотной, бесплодной жизни. О том, как герои проходят мимо, не обращая внимания на автора, как автор не обращает внимания на героев. Голоса стен сливаются с голосами окон в одну музыку отсутствия музыки. О том, как автор постоянно повторяется, как произведение все время оправдывается, отвоевывает у себя право на существование. Книга, которая открывается одновременно с двух сторон, из которой выпадают страницы. Воображение, замкнутое на себе самом, как монолог душевнобольного человека: он говорит и не понимает, что говорит, что его не слушают, что он мешает своему окружению, что от его общества тошнит. Но все это терпится, потому что некому его заткнуть. Это ходьба по канату с тем условием, что веревка появляется в тот миг, когда на нее опускается нога. Это попытка попасть в цель, стреляя холостыми пулями. А разве в воздух промахнешься?

Какие мучительные дни ревности. Если не желание обладать тобой, то какая сила будет возвращать меня к тебе, как слово в музыку? Если я вижу тебя сейчас, то визуально владею твоим телом, если слушаю, то владею твоим голосом, а ты владеешь вниманием моего слуха. Если знаю, чем наполнен распорядок твоего дня, то я его частично контролирую, так как могу в тот или иной момент приехать в нужное место и увидеть тебя. Да, зрелая любовь не хватается чужую душу за горло, и до нее я неизбежно когда-нибудь дорасту, дорасту хотя бы потому, что функции тела ослабеют, зрение притупится, слух утратит свою остроту. Я настолько плохо буду видеть, что, глядя в пустое кресло, буду думать, что ты сидишь рядом. Но в этом случае мне уже будет безразлично, рядом ты или нет. Зрелая любовь, как арбатский скрипач, играет для всех. А ревность рождается из недоразвитой, шумной, подростковой формы любви, как музыка, звучащая из наушников только для тебя одного. Но пока мое острое орлиное зрение кружит над дичью твоей души и постоянно совершает налеты, впинаясь желтыми когтями в мягкую плоть твоего терпения. Кровь слез заполняет твои покорные глаза, ибо ты готова кормить меня собой, принадлежать мне в той степени, в какой я принадлежу тебе. Моя жажда властвовать над тобой оборачивается для меня жаждой принадлежать тебе, ибо обладать =

принадлежать. И вот так я, ненасытный и недоразвитый, неспособный питаться самим собой, и ты, возвращающая мясо нежности для меня, кормящая грудью боли, вот так мы и идем сквозь сгущающийся туман дней.

Желание расстаться с тобой все чаще и упорнее мучает меня. Объясняю себе это тем, что мы перестаем замечать друг друга. Или это я перестаю замечать тебя? Но как бы то ни было, я не хочу, чтобы ты выходила за пределы поля зрения души. Я хочу, чтобы ты оставалась ее сердцевинкой. Мужская ревность, как тиран, ищет повод для обвинения, чтобы расстрелять невинное существо счастья, тем самым утвердив свою сомнительную власть над частным миром. Так я домогаюсь повода для ссоры, чтобы уйти от тебя, чтобы начать другую жизнь. Ибо меня с молоком кормили мыслью, что мужчина рожден уходить.

Я никогда не буду доволен тем, что получается из меня на бумаге или вообще в действительности. Я остался лицом к лицу с многоликостью своего «Я», утратил здоровый сон, утратил способность различать, что было вчера и что есть сегодня. Счастьем мне уже кажутся те вечера, когда я возвращался в комнату и падал на диван уставшим от работы, уставшим от жизни. Из желаний у меня остается только одно — сама жажда желать, беспредметная, пронзительная. Вот я упал и лежу на полу, не находя сил подняться. Но с точки зрения боковой стены комнаты, я стою, только на голове. Я просто нашептываю себе свою жизнь, чтобы сильнее поверить в нее. Я постоянно ее как бы выворачиваю наизнанку, будто кофту, чтобы видеть все мельчайшие швы мгновений. И каждый раз говорю себе, что перестану писать, что буду жить, не оглядываясь на жизнь, но, когда замолкаю, понимаю, что жить и оглядываться на жизнь — одно и то же.

Кажется, чувство собственной исключительности — это единственное, что можно противопоставить чувству собственной ничтожности. Город в блокаде зимы. Ветер времени качает хрупкие ветви дерева скорби. Мое одиночество растет и по дням, и по часам. Сугробы белы, как обнаженные тела европейцев на черно-белых фотографиях. Все-таки у красоты есть свои уровни. Эстетическое переживание развивается в человеке одновременно вверх и вниз, в небо к орлиным облакам и в землю ко все поедающим червям. Люди подходят к окнам, будто рыбы к стеклянной стенке аквариума, чтобы взглянуть, не исчез ли внешний мир. В окне дома напротив женщина колдует над кухонной плитой. Я все говорю, а не могу высказаться окончательно, слова мои постоянно промахиваются. Может, лучше жить впопыхах, преследовать недостижимую цель, быть хвостом жизни, а не ее языком?

Того, чего я хочу, в этом мире нет. Я получаю желаемое только на мгновение, когда слушаю музыку, когда пишу, когда, просидев взаперти неделю, выхожу из подъезда и вытягиваюсь навстречу дневному свету, свежему воздуху. Все остальное время я хожу, будто в чужом теле. Иногда хочется броситься в объятия мира и запеть цыганским плачем, презирая и любя каждое живое существо до исступления. И направлять все силы внутреннего устройства на то, чтобы не задать себе вопрос: «А куда дальше?» Порой смелость и сила воли выражаются в том, чтобы не спросить, не задуматься. Вот когда я буду умирать, в ту последнюю секунду, более непостижимую, чем все непостижимое, разве не спрошу я вслух: «Чем я буду?»

Капает с крыши. Вода перешептывается за окном. Мир пейзажа снова возбуждает желание передвигаться, смотреть в его переменчивые черты. Доживу

ли я до весны? Обманчивое таяние снегов внушает удивительный трепет наступления тепла. Слякоть чавкает шагами прохожих. Вдоль дома обнажается мертвая листва прошедшей осени. Зима, словно сомневающийся человек, который предается старым воспоминаниям и не хочет двигаться дальше. Так я порой оглядываюсь на то, чем существую, и ужас берет от вида пропасти, которая разделяет того меня, каким себе кажусь или хочу казаться, от того меня, каков я есть в поступках. Земля размазывает повсюду свою черную грязь. Будто бесчисленное стадо коров прошло по городу. Кожа неба бледна, как лицо больного перед обмороком.

Опустился близорукий туман. Воздух щурится бесцветными отсутствующими глазами, как подросток в облаке сигаретного дыма с первого похмелья. Скрип тормозов автобуса напоминает вой громадного кита, всплывшего на поверхность океана. Опьяневшее сознание города ощупывает свои пределы, вспоминает, из чего состоит его молодое тело. Дерево вытягивает жилистую руку ветви вверх и не видит, где она прерывается. Жилые дома по самые животы закопаны в человеческую землю. Все молчит, и только шаг правой ноги отвечает шагу левой. Монолог идущего на месте сердцебиения не ищет себе ни собутыльника, ни слушателя. Я постигаю свое отсутствие, тем самым как бы расширяя свое присутствие.

В темной копилке бытия все меньше событий, способных удивить. Я опускаю руку в невидимый мешок возможностей, и не то что даже мне удастся вытянуть долгожданную встречу, я бы лучше сказал, что мешок съедает меня вслед за моей рукой. Уже непонятно, гниет нутро или пылает. Белые дни зимы, как зубы, один за одним, с нестерпимой медленной болью выпадают из календаря. Грудь, как пуля, набита порохом мечты о другой жизни. Но всегда не хватает удара, выстрела, чтобы поразить неразличимую цель.

Все меньше терпения жить. Хочу воевать, но с кем, с чем и какими средствами? Теплота последних дней дурманит звериное сердце. Пахнет будущей весной, нерожденными младенцами с безднами сияющих глаз, которые смотрят с нечеловеческой бесконечностью Вселенной. «Бежать бы, бежать бы!» — воет половое нутро. Снег растворился, как сахар, в кофейной массе выступившей наружу мокрой, змеиной грязи. Замурованный заживо в пятистенной мертвой комнаты, закопанный живьем в разлагающийся памятник тела, я бью кулаками по ногам, чтобы создать звуковую интерпретацию бега. Просторный, щекочущий воздух проникает сквозь распахнутое окно и женской лаской гладит волосатую кожу руки. Ладонь невольно, от безотчетной жажды схватить виновницу этого возбуждения, сжимается в кулак. Но у воздуха нет ни шеи, ни груди, ни бедер. Инстинкт жизни напрягает грудную клетку, как электричество стеклянную лампочку. Отдаленное лживое солнце оставляет отпечатки на двухэтажных, кирпичных домах. Я хватаю лежащее на подоконнике желтое яблоко и со всей накопленной яростью невоплощенных желаний вгрызаюсь в сочную плоть. Голодный и вырванный с корнем из десны мира, острый зуб моей сущности кровотоцит и просится обратно в теплую мякоть. Мужское семя времени болезненно растет в животе и ищет возможности обрести себя через другое тело.

Пока я думал, как начать следующий абзац, проходили дни и ночи, и выпал снег. Как это обычно бывает: просыпаешься с утра, а за окном белым-бело, как в больнице после ремонта. День ото дня растут ледяные челки крыши, заострен-

ные зубья сосулек. Голубой купол неба, вдруг раскрывшийся над чистым миром, является единственным доказательством наличия яркого цвета в природе. Черные вороны, словно тюремные надзиратели, с обостренным вниманием к окружающим предметам прогуливаются по двору. Веселая стая пугливых воробьев летает над окном. Самые смелые из них решаются сесть на подоконник, чтобы поклевать овсяное печенье. Поверхности всего, что имеет поверхность, намазаны толстым кремом холодного небытия. Удивительно симметричные крошки снежинок под солнечными лучами уподобляются осколкам зеркала. Все сияет и молчит. Ворона в профиль застыла в неподвижности, будто графин пернатой тьмы.

Как мне сказать то, о чем я забыл сказать? Чувства — это реакция на события. Событие свершается, а после нас уже мучает или радует не само событие, а чувства, вызванные им, само же событие стирается с экрана, отходит на второй план. Как при чтении книги, мы не можем воспроизвести целиком всего, что говорилось, но мы сохраняем появившиеся в нас чувства. Но когда события не происходят, событием становится, быть может, одна единственная мысль, живущая оболочкой слова.

Необратимая весна

I

Это счастье, когда ничего не происходит, потому что, когда ничего не происходит, начинает происходить самое важное — осознание жизни. И даже тогда, когда ничего не происходит, перемены неизбежны.

Уже прошло несколько мартовских недель, но воздух все еще холодный. Я выхожу на прогулку и замечаю, что на верхушках тополей появляются почки. Издалека они напоминают крохотные куриные лапки. Я так радуюсь им, что плачу. Горячие слезы приятно согревают кожу лица. Я иду и не замечаю черных прохожих, высокомерно глядящих на мою чувствительность.

Все, что было мне когда-то дорогим, отлепилось от меня, словно старая кожа. Теперь у меня нет ни друзей, ни работы, ни любимой девушки — у меня ровным счетом ничего нет. Да, теперь я не могу говорить ей «ты», теперь она для меня «она». Мы долго и упорно расставались. Странно одно: зачем мы этого так упорно добивались? Несколько раз расходились и сходились, будто мы горные ручьи, сбегающие с тающей вершины, и нам совсем не больно сбегаться и разбегаться. В последний наш разговор я увидел всю огненную бездну своего «я» и тогда понял: если ничего не предприму со своим внутренним хаосом, то он меня сожрет.

Единственное, что мне кажется правдивым на данный момент жизни, это мысль, что я ничего не знаю о себе и это все, что я знаю о себе. Дни разлуки медленно и неохотно сменяют друг друга, постепенно отводя мой внутренний взгляд в сторону. Все это время я был тем, кто стоял перед ней, как перед зеркалом, и все любовался собой. И не мог оторваться от собственного отражения, и ничего не видел, и никуда не ходил. До тех пор, пока не начал понимать, что я пойман в это прекрасное зеркало и уже не могу сделать ни одного шага от него. Тогда и началась между нами война, закончившаяся

обоюдной капитуляцией. Так же и она гляделась в зеркало меня. Она — третье лицо, единственное число, женский род. Вот все, что я знал о ней.

Любовь бесстрастна. Это вторая мысль, которой могу довериться. Я вынашивал ее целую неделю. Целую неделю возвращать в оживающем сердце два забытых слова. Страсть действует по такому принципу. Первая ступень: «она» становится «ты», чтобы быть ближе. Но страсти этого мало, жаждущая все поглотить, страсть переходит на следующую ступень и из «ты» пытается сделать «я». Пища страсти — жажда убийства. Человек настолько страстен, насколько способен на убийство. Те, у кого не хватает смелости поднять руку на объект абсолютного желания, обращают эту жажду против себя и заканчивают самоубийством или никогда больше не переступают запретную границу и если желают, то желают робко, завуалированно, исподтишка. Когда страсть делает из «ты» «я» — на этой стадии любовь обречена. Единственная задача любящего — оберегать расстояние между «она» и «я».

Разрушая форму жизни, созидая ее содержание. Каждый день я выхожу в город и учусь ничего не ждать. Сердце постепенно пустеет, и внутреннее время отождествляется с внешним. А внешнее время — это отсутствие времени. Неизменное безразличие природы, каменная немота зданий, едва уловимое покачивание ветвей, шорохи и маленькие детали — все это возвращает меня в утраченное уединение. В такие мгновения не возникает ни одного вопроса.

Крохотные тела многослойных почек раскрывают зеленые крылышки. Серая пыль, словно назойливый сон, обволакивает все, что имеет физическую оболочку. Пузырьки молочной пены на поверхности кофе, заказанного ради остановки, напоминают лунные кратеры. Все движется, только я стою на месте. Даже тогда, когда я движусь. Широкая река жизни несет мой плот, мою плоть к бесконечному водопаду. Кропотливые птицы чирикают, будто их пение — скрип старого колеса жизни, которое трется о неподвижность природы. Скамейки покрываются сидящими парочками, влюбленные так разглядывают друг друга, словно долго-долго искали друг друга. Но это теплый, питательный воздух свел их под куполом расцветающей легкости мира.

Тополиные коготки, дирижируемые ветром, царапают весеннюю прозрачность. Останавливаешься возле куста сирени, чтобы посмотреть на зеленые зубки пробивающейся листвы. Вспоминаешь прошлую весну. Совсем другая жизнь, будто не со мной это было. Иногда на меня находит малодушие, и я со злостью срываю почки и давлю их пальцами, будто клещей.

Быть ничем — ни писателем, ни поэтом, ни учителем, быть нулем. Вот то единственное, о чем, по-моему, стоит писать. Но как только начинаешь об этом писать, становишься писателем. Как только начинаешь об этом петь, становишься певцом. Песнь, поедающая певца. Книга, захлопнувшаяся, как мышеловка, и поймавшая самого автора. Ибо он перестал быть творцом собственного произведения, а стал его узником. Как говорил сверхблизорукий поэт: «Мера романа — человеческая биография или система биографий». Я не есть моя биография. Как мне кажется, сначала в фокусе было общество, затем отдельная личность, но и это видится мне ненастоящим, для меня важна безликость лица. Больше всего я люблю дни молчания. Ибо мы чувствуем себя более талантливыми, когда ничего не делаем, когда не пробуем проверять свой талант. Высказанное окончательно, а то, что окончательно, несовершенно.

Я говорю в пустоту, но, кажется, все наоборот: пустота говорит в меня.

Выйду в загородное черное поле и буду светить фонариком в небо, пытаюсь ответить той безымянной звезде. Я есть черный омут ночи, в котором закружится полная луна, словно дно стеклянного стакана, тыл сконцентрированного, замкнутого света.

II

Как цветет и пахнет урюк! Мой день начинается с того, что я выхожу пройтись по тротуару, вдоль которого растут карликовые деревья, усыпанные розово-белыми цветками урюка, торжественными, как свадебные платья. Метровые кустики тянутся ко мне своими многочисленными ручками с крохотными ладонями новой листвы. Я чуть дотрагиваюсь до их кончиков и чувствую, что живу. А как пахнет воздух после дождя! Невыразимая смесь запахов тополиных сережек, пресной горной прохлады, цветков урюка и вишни. Издалека птичье чириканье чем-то напоминает писк сигнализации. Проходя мимо шашлычной, я вытягиваю шею вперед, словно гусь, и принимаю к запаху костра. И хочу уйти жить в горы, и дышать этим запахом каждую ночь, и не видеть людей, а вспоминать о них, как об утраченном детстве.

Вся жизнь свелась к одному вопросу: «Как провести сегодняшний день?» Никаких заглядываний вперед, никаких подглядываний назад. Я просто шатаюсь по городу, словно закупоренная бутылка в море, не имея никакой личной воли, ничего личного. Я — крайний. Что с меня возьмешь?

Да, иногда я задыхаюсь в себе самом, словно еду в душном автобусе. Выносить лобовое столкновение с пустотой времени — все равно, что быть завязанным в мешок тела. Но что поделать — в любом выборе есть свои углы, впадины, трещины. Я не жалею, я взрываюсь. Взрыв образует новую главу жизни.

Жизнь часто напоминает картины, всплывающие на пороге сна, полусны-полумысли. Не поймешь, снится тебе это, или ты выдумываешь, или это было на самом деле. Быстротечная весна, словно река, вышедшая из берегов, несется по метафизическому склону и все уносит с собой. Двадцать строчек назад цвел урюк и уже отцвел. Так отцветает яблоня, вишня, и уже показываются зеленые головастики ягод, цветут импрессионистические кусты сирени и отцветают. Отцветает каштан — его цветки похожи на стаканчики с попкорном. Черные мухи на деревянной спинке скамейки, словно шляпки вбитых гвоздей. Блестят лысые лбы камней. Платья лиственных крон разорваны на мелкие кусочки, дрожащие на ветру. Любопытные одуванчики, превращающиеся из солнца в луну, вытягиваются из травы, переглядываются, перешептываются. Какое-то смертельное чувство долга: рассказать о надвигающейся весне так, будто каждый штришок, каждое имя уже внесены в расстрельный список, но вот — помилованы перед самой казнью, перед расстрелом. Образ жизни, ставший книгой, и книга, ставшая образом жизни. Жидкие слова впитываются бумагой и испаряются.

Меня уже не хватает на продолжение. Я хочу остановиться. О конце можно говорить только по факту. Если это конец, то это конец.

И это конец.

Айгерим Тажи

На пути к горнилу

* * *

Где же оно? Где то, что ведёт вперёд?
Северная звезда проглядывает за гарью.
Птицы склёвывают крошки у старца на бороде.
Звери стоят вдоль дороги оскаленные.

Привирает компас внутреннего мирка.
На обочине острые зубы снега.
В теле бетонном горная река
Выпрямлена человеком.

Шахты города, вышарканные рудники,
Небо звёздное закоптили вы.
То ли чётки искать, то ли ключи
На пути к горнилу.

* * *

Когда умирает тело, сыты орлы и рыбы,
— не смог промолчать Лобсанг за общим обедом,
разравнивая на тарелке остатки риса.
— Чью душу хранишь ты, карп, обглоданный до скелета?

Засейте рис на полях, где лежали люди.
пройдите по той земле, когда рис созреет.
И пёструю очередь к раскрашенной карусели
займите, весёлые и босые, чтоб вас не съели.

Айгерим Тажи — поэт. Родилась в Актобе (бывшем Актюбинске). Автор книги стихотворений «БОГ-О-СЛОВ» (Алма-Ата, 2004). Публикации в литературных журналах Казахстана, России, США и Европы. Лауреат литературного конкурса «Ступени» (Москва, 2003). Финалист Международной литературной премии «Дебют» в номинации «Поэзия» (Москва, 2011). Живет в Алма-Ате.

* * *

Подслушав в парке разговор,
Пришла к зачахшей старой сливе
И в крону спрятала лицо.
Вначале с жаром говорила,
Потом, стесняясь, угрожала:
«Если не дашь плодов — срублю!»
Так сливами рвануло небо,
Как будто дёрнула за бусы.
Три дня фруктового безумства,
И пированье надоело.
Плоды, как мусор, на траве
Растоптаны в пюре.

* * *

В заросшем зеркале пятнами глубина,
открывает что-то — прикрыть бы веки.
Рыбы вертятся на границе с воздухом, вдох, ещё.
Месяц плавает в небе животом вверх,
и кругами расходится вдаль вода.
Люди в белом говорят — не запоминать,
не смотреть им в глаза, рассеянно покивать,
словно и не заметив: пустая стоит кровать,
колыбель из ковра появилась, спелёнутый человек.
И как будто бы ясно кто, но не верится. Скорбный ряд.
Холодна ли сейчас земля? Кто останется на ночлег?

* * *

На зов поворачивается сперва
Большая львиная голова,
Солнце над вершиной горба,
Смотрит внутрь тебя.

Медленно промывая речной песок,
Ищет самородок, но в решете

Пустая порода.
Камни гремят в воде.

И после бывшего огня остыл
Лесной часток. Ядовита пыль.
Но дышит ребёнок, узнавший страх,
Хоть кажется неживым.

* * *

...и где-то будни превратились в чудо
стрекозье замирающее лето
растит кувшинки в сохнувшем пруду
хоть мне не надо я туда иду

за аркой переплетшихся деревьев
забытый дом холодный нездоровый
случайно сохранил знакомый цвет
смотрю: качнулась штора? всё же нет

и солнце блики щедрые бросает
вычерчивая сломленность пространства
углём и мелом на пустом столе
наброски перелистывает свет

кувшин с отбитым клювом, сердцевины
цветочные наколоты на стебли
лежит все тот же плюшевый медведь
или не он на пыльном пианино
мне с этой стороны не разглядеть

Александр Снегирёв

Божественный вензель

Рассказ

Мы смотрели на желтое море и ждали, когда принесут. Ресторан располагался на террасе над пляжем. Город, выстроенный русскими колонизаторами, громоздился выше, изо всех сил делая вид, будто не замечает, что стоит у моря. Пляж, втиснутый между рестораном и портом, оказался невелик, остальная прибрежная полоса была пустынной, и только груды мусора украшали ее. Город отворачивался от желтых волн, устремляясь в горы. Давным-давно русские завоеватели согнали оттуда предков нынешних горожан, распределили их тут, в долине, на прямых длинных улицах, в обустроенных домах. Захламленные набережные, разномастные пристройки, до неузнаваемости залепившие регулярные фасады, другие заметные и пустяковые детали сообщали об ослаблении русской хватки и сползании аборигенов в привычную кособокую среду с глухими стенами, закупоренными дворами, с недоверием, враждой, а главное — со страхом перед бескрайним пространством моря.

Мы сидели на пустой террасе и рассуждали обо всем этом, а еще о том, что цивилизация, какими бы жестокими методами она ни насаждалась, все равно лучше, чем неорганизованность, бардак и средневековье. Что бы там ни говорили про жестокость русских экспедиционных полков, которая, кстати, не идет ни в какое сравнение с жестокостью западных коллег, так вот, что бы о русских ни говорили, но именно они принесли сюда ростки триумфа человеческой мысли: архитектуру, письменность, искусства, науки, антибиотики и бесчисленное множество других вещей, без которых человека и человеком-то не всегда можно назвать.

Пока мы упивались величиим собственной культуры, а соответственно и самих себя, официантка с красивым лицом и пятнами на коже принесла полные тарелки, и мы на некоторое время смолкли, не способные оторваться от варварских блюд. Аппетит наш был вызван не только голодом и морским воздухом, но и безусловными кулинарными достоинствами кухни. Когда тарелки опустели, настрой наш сменился с воинственного на куда более миролюбивый. Лениво продолжив обсуждение, мы признали, что в этой грубой, на первый взгляд, неупорядоченности есть своя прелесть, которая, возможно, не хуже, а может, даже лучше бульваров с тенистыми аллеями, особняков с лепными фасадами и драматических театров с классическими постановками.

Александр Снегирёв родился в 1980 году в Москве. Окончил РУДН. Лауреат премий «Дебют» (2005), «Звездный билет» (2014), «Русский Букер» (2015) и др. Финалист премии «Национальный бестселлер» (2009, 2015). Автор нескольких книг прозы.

Усваивающаяся в наших животах еда все сильнее умиротворяла нас. После глотков, сделанных из бокалов и рюмок, мы совсем подобрели и сошлись на том, что жизнь повсюду разная, что так и задумано природой, и наше дело не сетовать, а вникать, наслаждаться и не мешать другим. Философствованию мы, однако, предавались недолго и вскоре перешли на воспоминания.

Но прежде чем к этим самым воспоминаниям переходить, следует разъяснить, кто такие эти самые «мы», укрывшиеся от каспийского солнца под крышей ресторанной террасы. Уже по самим нашим рассуждениям понятно, что приехали мы из столицы, что относимся к тому типу горожан, которые привыкли рассуждать уверенно, а порой и высокомерно, на темы, не всегда знакомые. Ясно, что местные нравы нас немного насторожили, а потому мы выбрали самую понятную нам форму обеда в приморском городе — ресторан на пляже. Нас было пятеро: два остряка средних лет, знаменитый пожилой профессор, ваш покорный слуга и блистательная дама, верховодящая в нашей мужской компании отчасти по причине традиционной лени и пассивности отечественных мужчин, а отчасти — по привычке. Все мы приехали на культурный форум, посвященный диалогу этих самых культур. Форум в городе существовал только потому, что позволял местным чиновникам отчитываться перед центром. Побочным эффектом этого мероприятия было то, что у редющей местной интеллигенции рождалась иллюзия причастности к единой великой культуре слабеющей метрополии. Мы принялись делиться забавными и курьезными историями из прошлого и скоро вышли на извечную тему захлопнувшейся двери. Тут-то наша блистательная предводительница и взяла слово...

Случилось это лет двадцать тому назад. Ей тогда было... рассказчица с шутовским кокетством задумалась, а остряки средних лет наперебой принялись угадывать, предлагая различные цифры — от льстивой «семнадцать» до почти хамской «тридцать». Сколько бы ни было, рассказчица и тогда уже блистала не тусклее теперешнего, была вся из себя и ходила по своей красивой квартире в фиалковой пижаме и на каблучках. При такой своей заманчивости была она особой совершенно не ветреной, на сторону не глядела и хранила верность мужчине, любившему лежать на диване в гостиной. Лежал он не просто так, а в наушниках, через которые транслировались божественные органные мелодии. Рассказчица музыку любила, но умеренно, поэтому наушники и появились — ну не могла она регулярно выносить всю эту церковную патетику. Чтобы не лишать своего спутника жизни любимого хобби, она купила наушники и однажды вечером нежно надела на его голову. Слушай на здоровье, дорогой. Так они время и проводили: он в наушниках на диване, а она на каблучках по комнатам. Цокала и думала, как же у нее все уютно и красиво. И сигареты одну за другой выкуривала.

В один из таких вечеров, когда он, по обыкновению, прикрыв глаза, наслаждался сложными гармониями, а она докурила очередную с ментолом, ей пришла мысль выглянуть в окно. По ту сторону стекол стоял январский мороз, во дворе не было ни души, надвигалась ночь. От увиденного нашей героине стало совсем хорошо: она в тепле и уюте, а там вон какой минус и неприкаянность. И тут удивительное и вместе с тем распространенное желание охватило ее — захотелось выйти туда, в эту застывшую темень. Не выйти даже, а только нос высунуть. Чтобы обожгло. Мороз подразнить — и обратно к масляной и акварельной живописи на стенах, к фарфору в буфете, к паркету на полу. Именно такое желание тянет нас из благополучных городов в дикие края.

Именно оно подталкивает папиных дочек на баррикады, а маменькиных сынков превращает в кровожадных героев. Хочется острее почувствовать, как же на самом деле хорошо дома!

Простучав каблучками мимо заслушавшегося мужчины, она, как была, в фиалковой пижаме, вышла в прохладный подъезд. Тишина стояла абсолютная; даже показалось, что лифт, разбуженный ее вызовом, очень удивился. Спустившись, она открыла дверь.

Мороз, как страстный любовник, хлестнул по лицу и тотчас оказался везде: ворошил волосы, шарил под пижамой, пощипывал пальчики ног. И она доверчиво подалась ему навстречу. Всего один шажок — только вкусить посылнее и обратно.

Что случилось после, угадать нетрудно. Интерес представляют лишь детали. Шагнув из подъезда, она ступила каблучком на обледенелый гранит, поскользнулась, отпустила дверь и упала, а когда поднялась, дверь уже захлопнулась, и ей ничего не оставалось, как ощупывать фиалковые закрома в тщетных поисках ключа.

Как и любые настойчивые действия, от которых нельзя увернуться, настырность мороза сразу перестала казаться волнующей — наша рассказчица, оказавшаяся во дворе в одной пижаме, начала стремительно замерзать. Попытки вызвать собственную квартиру ни к чему не привели — орган в наушниках заглушал любые домофонные трели. Она принялась трезвонить во все квартиры подряд. Но вот незадача: дело происходило в первых числах января — все укатили на каникулы, в целом подъезде светились только ее окна. Упрекнуть в черствости было решительно некого, даже пресловутые наушники — ее собственная инициатива.

Тщетно потыкав кнопки и убедившись, что результата это не принесет, она стала озираться и увидела, как во двор въехал автомобиль и покатил в ее сторону. Надеясь увидеть за рулем кого-нибудь из соседей, наша героиня воспрянула духом, а разглядев на водительском сиденье мужчину, и вовсе перестала некрасиво ежиться и потирать стынущие ладони, а распрямила спину и только эффектно притопывала каблучками.

Водитель заглушил мотор и, прежде чем выйти, повозился в салоне. Она еще мысленно поторопила его, мол, долго копаешься. Когда же она увидела его в полный рост, то поняла — судьба свела ее с мужчиной без всяких сомнений интересным, жаль только, что с букетом. Тут ее постигло еще одно разочарование: новоприбывший направился не к подъезду, а в ресторан напротив.

Глядя тоскливо на плотно укутанный букет и думая о том, что о каких-нибудь уругвайских розах заботятся больше, чем о ней, она отбросила остатки кокетства и, потирая бока, дуя в кулаки и хлюпая успевшим изрядно покраснеть носом, последовала за интересным мужчиной.

Гордо вскинув голову в ответ на вопросительный взгляд гардеробщика, она оправила пижаму и как можно вальяжнее вошла в зал. Ресторан пустовал, занят был лишь один стол, за который и устремился мужчина с букетом. Компания веселых людей встретила мужчину радостными возгласами, а одна дама, получив букет, бросила на дарителя такой взгляд, что наша едва не околевавшая героиня с отвращением отвернулась.

Усевшись у стойки, она несколько раз выразительно вздохнула и на вопрос — что сударыня желает? — рассказала бармену о своих злоключениях. Тот выслушал, пересказал все управляющему, который вошел в положение, и

несчастной подали согревающий напиток. Подали, прошу заметить, совершенно бесплатно.

Жидкость согрела тело и размягчила сердце. Стало жалко саму себя. Устроенная, казалось бы, не одинокая, живопись, опять же, фарфор, паркет... и вдруг угодила в такое нелепое происшествие. Она думала о человеке в наушниках, о его к ней чувствах, о том, что ее ухода он до сих пор не заметил, что винить его не в чем, что жить с ним дальше нельзя, а без него невыносимо.

Здесь надо отметить, что никаких романтических поворотов судьбы, какие часто случаются на страницах, посвященных зимним праздникам, с героиней не случится. Нельзя заранее предувещивать читателя о развитии сюжета, а уж тем более нельзя предупреждать о бесперспективности самых распространенных надежд, но это надо сделать именно сейчас, когда согревшаяся и захмелевшая героиня в очередной раз бросила взгляд на интересного мужчину и горько задумалась о своем, изменяющем ей на диване с Бахом. Именно теперь, по всем законам оправданных ожиданий, с ней и должна случиться встреча. Именно теперь, когда она, униженная, оказалась на опасно близком расстоянии от чужого тепла, должно случиться нечто очень важное.

Должно случиться и случится. Но не то, на что рассчитывали мы: два остряка, профессор, ваш покорный слуга, вы, дорогие читатели, и она сама. Встреча ей и в самом деле предстояла, но не та, которую ждали все мы, запрограммированные любовными историями с так называемым «счастливым концом».

Прикончив согревающий напиток и даже прожевав вместе с кожурой апельсиновую дольку, насаженную на край стакана, она поняла, что не может больше оставаться в ресторане не минуты, тем более, что компания совсем распустилась, а интересный мужчина снова пригласил обладательницу букета на медленный танец. Поблагодарив персонал за отзывчивость, миновав гардеробщика, она вышла во двор и направилась к своему подъезду.

Тут-то ее внимание и привлекла приоткрытая калитка в стене. Было известно, что эта стена огораживает сад старинной усадьбы. Калитка всегда была заперта, и сколько наша блистательная рассказчица ни жила здесь (а это длилось не семнадцать и не тридцать лет подряд), столько она знала о существовании сада и о том, что попасть в него нет никакой возможности. Краешек сада можно было увидеть с верхних этажей, но это толком ничего не сообщало, а проситься в квартиры под крышей ради глядения в окна казалось неподобающим. Когда она была второклассницей, возникали идеи перелезть через стену, но стена была непреодолимо высока. Потом интерес поубавился и почти вовсе забылся до того самого мгновения, когда перед ее глазами разверзлась приоткрытая калитка.

Давний интерес всколыхнулся в ней и, придав сил, заставил позабыть о морозе. Она подошла к калитке и толкнула черный, весь в клепках, железный лист. Руку обожгло ледяным металлом, тяжелая створка подалась.

Взору открылся даже не сад, а целый парк. Зима стояла малоснежная, лишь кое-где серели примерзлые комки. Фонарей или других источников света не было. Свет лился с неба, в котором мерцали золото и пурпур городской ночи. Кустарники, клумбы, дорожки и фонтан были окрашены в шелковистые оттенки бесцветья. Вдоль стен выстроились деревья, сформированные рукой садовника. Своими плоскими, заплетенными, будто калачи, безлистными кронами они напоминали огромные выбивалки для ковров. Пышные, прямоугольно стриженные туи, выстроились в лабиринт, в самом центре которого зияла опустевшая чаша фонтана. В центре чаши возвышался заплесневелый каменный

купидон, обхвативший здоровую рыбину. В жаркие деньки из рыбьей пасти наверняка хлещет сверкающая струя, фонтан полон, а в плоских кронах поют соловьи.

Каблучки хрустели по туевому лабиринту, среди уснувших клумб и куртин, мимо растений-пирамид и растений-диковинных фигур. Температура окружающего воздуха падала, а женщина в фиалковой пижаме никак не могла насмотреться. Раньше ей приходилось видеть множество разных парков, знаменитых и не очень, побольше и покрасивее этого, но почему-то никогда парк не волновал так, как теперь. Никогда прежде хаос дикой природы, упорядоченный в формы и узоры, не был таким многозначительным. Ей даже показалось, что идет она не по простым дорожкам, а повторяет своими шагами контуры какого-то таинственного вензеля. Может быть даже вензеля самого Господа Бога.

Возможно, причиной таких мыслей стало ее падение на ступеньках, хотя головой она вроде не ударилась. Или на нее так подействовало все это приключение в целом плюс согревающий напиток на основе крепкого вина, фруктов и специй, плюс общее переохлаждение и утрата веры в собственную незыблемость. А может, ее фантазию взбудоражило осуществление детской мечты. Да и не важно, в чем причина, а важно взявшееся откуда-то отчетливое понимание, что именно сейчас происходит подготовка к самой главной встрече, — что в деревьях, растениях, лабиринте и фонтане заключены все ответы и прежде всего самый главный, сообщающий, что никаких ответов нет.

Потом она не могла вспомнить, что было сначала: она увидела или ощутила. Пошел снег. Она не подняла глаз, не ловила снежинки губами. Ничего такого. Снег падал на пирамидальные и прямоугольные хвойные, на деревья-выбивалки, на дорожки, на купидона и на фиалковую пижаму. Снег стал падать одновременно с наступлением осознания. И сразу сделалось холодно.

Подгоняемая отчаянием, обрушившимся с многократной силой, подхлестываемая обморозившим морозом, она поспешила вон из сада и не заметила, как снова оказалась перед запертой дверью родного подъезда. Она опять позвонила в собственную квартиру, и ей опять ответили бесконечные гудки. Тогда она стала нажимать на все кнопки подряд, поочередно и разом, и дверь вдруг открылась.

Произошедшее после несущественно. В квартире ничего не изменилось, судя по положению лежащего на диване, в наушниках его по-прежнему гремел орган. С момента ее ухода не прошло и часа.

Дослушав, мы заплодировали, а один из остряков произнес в честь рассказчицы тост. Мы спросили: как у нее после этого с ее меломаном? бывала ли она в саду после этого? и содержится ли в случившемся мораль? Отвечая на первый вопрос, она сказала, что все без изменений. Меломан по-прежнему лежит и слушает, разве что диван новый купили. В саду она больше не бывала — калитка всегда заперта. А мораль...

— Что такое вера, религия? — спросила наша блистательная предводительница и тут же ответила сама: — Вера и религия — это занавесочка, которой мы отгораживаемся от вечности. На каждого из нас едет танк, с каждым днем он все ближе, и спрятаться от этого танка или остановить его мы не в силах. И вот мы отгораживаемся от танка занавесочкой. Задержали, сделали музыку погромче и поем псалмы, чтобы заглушить приближающийся рев. Мы внушаем себе, что когда танк нас раздавит, мы получим какое-то воздаяние. Мы притворяемся и обманываем себя подобно этому городу, который делает вид, что моря нет. Но море от этого никуда не девается и каждый день, каждую минуту подтачивает город. Вот и мы, думаем, что если не видим сада, значит — его нет. А сад есть. И открывается он нам тогда, когда мы меньше всего этого ждем.

Виктор Есинов

Рассказы

Пятиминутки

Дыгин появился в КБ как-то незаметно. И сам был каким-то незаметным. Личность ничем не примечательная. Лысоватый, с брюшком. Беря телефонную трубку, говорил безличное: «У аппарата». У Анатолия он сразу вызвал стойкую неприязнь, непонятно откуда взявшуюся. Как в песне у Высоцкого: «Но не любили мы Сережку Фомина / За то, что он всегда сосредоточен». К тому же вскоре выяснилось, что Дыгин неплохо играет в шахматы, блиц. И стал основным конкурентом Анатолия.

Раньше в обеденный перерыв Анатолий мог играть вслепую (не глядя на доску) сразу с двумя-тремя сослуживцами, потому что на равных играть с ним им было неинтересно. А теперь приходилось играть с одним Дыгиным, да еще с полным напряжением. Дыгин весьма поверхностно разыгрывал староиндийскую защиту или испанскую партию. Замыслы его были довольно примитивны, но исполнял он их очень точно, без зевков и других оплошностей. Анатолий видел дальше и глубже его, но, увлекаясь, совершал промахи. Тогда толстоватые пальцы Дыгина, словно ястреб, пикирующий на зазевавшуюся курицу, мгновенно выхватывали с доски незащищенную пешку или даже фигуру. И он с особым шиком переключал часы. Анатолию с трудом удавалось выкрутиться, а порою и не удавалось. И его охватывала досада.

Больше никаких отношений у Анатолия с Дыгиным не было: ни до, ни после игры они ни о чем не разговаривали. Обеденный перерыв кончился, и они расходились по своим местам. Их отношения в точности соответствовали общению (необщению) двух шахматистов в новелле Мигеля де Унамуну «История о доне Сандальо, игроке в шахматы».

Но однажды они оказались вместе в командировке в Грузии. Это было обследование гидростанции «Аджари-Цкали» на реке того же названия. Оба входили в состав министерской комиссии, она состояла из представителей ведущих гидротехнических организаций Москвы и Тбилиси. Анатолий проверял работу механизмов и связанного с ними вспомогательного оборудования. Что

Виктор Есинов — литературовед, историк литературы, поэт. Родился и живет в Москве. Автор двух поэтических и четырех литературоведческих книг, а также книги воспоминаний «Об утраченном времени» (2012, «Астрель»). Старший научный сотрудник ИМЛИ РАН им. А.М.Горького.

мог проверять Дыгин, имевший о гидротехнике представление достаточно отдаленное, Анатолий не представлял. Тем не менее Дыгин тоже был здесь. Видимо, у него было другое задание, не инженерное...

Москвичи и тбилисцы встретились в Батуми. После непродолжительного знакомства было решено собраться в одном из номеров гостиницы и отметить прибытие.

В разгар застолья, на котором «Цинандали» и «Алазанскую долину» закусывали только что купленными фруктами и оставшейся от дальней дороги снедью, в дверь номера громко постучали. На пороге появились милиционер и администратор.

— Почему распиваете спиртные напитки в общественном месте? — с сильным акцентом спросил милиционер.

Кто-то на нас стукнул, а зачем? — подумал Анатолий и посмотрел на Дыгина.

Пришлось всем присутствующим предъявить паспорта. Грузинские коллеги вступили в напряженные переговоры с властями на их родном языке. Москвичи выжидательно прислушивались к непонятной речи, не отводя глаз от стаканов с благодатной жидкостью. Постепенно тон разговора стал снижаться, и, наконец, незваные гости удалились, сохраняя грозные выражения на лицах.

Наутро комиссия выехала на объект. Дорога петляла вдоль реки, в непосредственной близости от турецкой границы. Несколько раз проезжали пограничные контрольные пункты, где у всех проверяли документы. Перед глазами приезжих специалистов открывались заповедные места. Аджарские деревушки воскрешали в памяти кавказскую прозу Лермонтова и Марлинского. В живописном селении с виноградниками и внушительным водопадом располагалась дирекция гидростанции. Здесь они провели несколько дней, занимаясь замерами и записями, которые не стоят того, чтобы посвящать им отдельные абзацы.

Работы завершились прощальным банкетом — он начался сразу после подписания протокола. Присутствовали все члены комиссии и местное начальство, всего человек восемнадцать. Огромный стол ломился от закусок. Пили из граненых стаканов местное вино. За стулом каждого гостя стоял местный, гостеприимно опекавший приезжего. Как только вина в стакане становилось меньше половины, из-за плеча Анатолия протягивалась мускулистая рука с бутылкой и стакан вновь наполнялся до краев. Сначала Анатолий пил белое, но потом решил попробовать красного.

— А можно этого? — указал он на трехлитровую бутылку с темно-красным напитком, стоявшую поодаль.

Опекавший его парень взял стакан Анатолия, ополоснул его вином из этой бутылки и выплеснул содержимое стакана в открытую дверь. Потом наполнил его из той же бутылки и подал гостю:

— Пейте на здоровье!

Анатолий поблагодарил его за любезность. И стал ждать очередного тоста.

Тосты произносил директор станции, что-нибудь в таком роде: «А теперь давайте выпьем за наших дорогих замечательных гостей из Москвы и Тбилиси, выдающихся гидротехников, ставших за время совместной работы нашими друзьями, пусть в их сердцах всегда светит золотое солнце Аджарии, и пусть в их семьях всегда будет радость и достаток и т. д. и т. п.». После таких тостов

Анатолий, конечно, считал недостойным отпить плоточек и поставить стакан на стол — он опустошал стакан настолько, насколько хватало дыхания. И тут же услужливая рука сзади доливала стакан доверху. А в этот момент поднимался начальник Тбилэнерго, самый главный человек в этом застолье, и дополнял тост директора станции на правах старшего товарища. Его тост оказывался еще длиннее и цветистее, и как тут было не откликнуться на его душевное приветствие — Анатолий вновь опрокидывал стакан, и стакан вновь наполнялся доверху.

И вдруг наступил момент, когда в глазах у Анатолия потемнело и лицо прекрасной Амалии из Тбилгидропроекта, за которой Анатолий пытался ухаживать все эти дни и которая сидела прямо напротив него, стало расплываться и терять очертания. Анатолий встряхнул головой и, слегка покачиваясь, поднялся из-за стола. Опекун быстро подхватил его под локоть и помог дойти до двери. Они прошли двор и направились к водопаду. Вода низвергалась вниз с высоты полутора сотен метров, рассыпая вокруг освежающие холодные брызги. Анатолий подошел ближе, бережно поддерживаемый сопровождающим. И стоял так минут пять, а может быть и больше.

Постепенно сознание вернулось, и Анатолий почувствовал, что ноги держат его. Повернувшись, чтобы идти назад, он заметил мелькнувшую за изгородью фигуру Дыгина.

Когда Анатолий с сопровождающим подошли к дверям дирекции, Дыгин вышел из-за угла дома и потребовал от Анатолия переговорить с ним с глазу на глаз.

— О чем вы договаривались с этим абреком? — грубо набросился он на Анатолия, когда они остались одни.

— Это не абрек, а хороший парень, — возразил ему Анатолий, постепенно трезвея.

— Хороший парень не ходит по пятам за командированным из Москвы, — продолжал Дыгин с тем же напором.

— Да в чем, собственно, дело? Вы хоть объясните.

— Дело в том, что рядом государственная граница, — отчеканил Дыгин, понижая голос.

— А вам-то какое дело?

— Я советский гражданин и проявляю необходимую бдительность.

— Не гражданин вы, (а кбэшная морда, — подумал Анатолий про себя, но сдержался) не гражданин, а больной на всю голову, — возмутился он вслух, — вы, наверное, и жену, и мать родную подозреваете, и отца, а есть дети, так и детей!

— Ну ладно, ладно, — вдруг сбавил тон Дыгин.

Анатолий повернулся к нему спиной и вошел в дом.

Застолье продолжалось в том же темпе. Начальник Тбилэнерго со стаканом в руке сменял директора станции, и тосты шли один ярче другого. Старшая коллега Амалии, сопровождавшая ее повсюду все эти дни, успела заметить Анатолию, что он очень плохо выглядел, когда выходил из-за стола, а вот теперь выглядит молодцом. Анатолий поблагодарил ее за участие и продолжал пиршество с большей осторожностью, чем прежде...

В Батуми их везли на том же автобусе, на котором несколько дней назад они прибыли сюда. В водителе Анатолий узнал своего опекуна в застолье, который

догадался подвести его к освежающему водопаду. Он сообщил Анатолию, обнажая в улыбке крепкие белые зубы, что всего было выпито около 40 литров вина и что Анатолий показал себя молодцом:

— Вам можно присвоить звание почетного аджарца, — улыбаясь, сказал он Анатолию.

Уже в конце пути к Анатолию подсел Дыгин:

— Ну что, чемпион, сыграем пару партий, когда приедем? — с вызовом предложил он.

— Давайте сыграем, — согласился Анатолий. А что было делать?

Играли в номере Анатолия, открыв окно и балконную дверь. Очертания Зеленого мыса, освещенного лучами заходящего солнца, радовали глаз. Легкий ветерок, врываясь в комнату, освежал лицо после жаркого и насыщенного событиями дня. Несмотря на изрядное количество выпитого, Анатолий вдруг ощутил необыкновенный подъем, играл так, как никогда не решился бы играть на трезвую голову. Он выигрывал партию за партией — то по времени, то вынуждая противника сдаться ввиду неизбежного мата. Дыгин после каждого поражения требовал сыграть еще, но был смят и разгромлен. Анатолий выиграл 14 партий подряд, не проиграв ни одной.

Наконец Дыгин поднялся, подавленный и раскрасневшийся.

— Ты не думай, — перешел он вдруг на «ты», остановившись в дверях, — я никому вреда не делаю. Ведь у нас коллектив, все нормальные советские люди.

— Но бдительность соблюдать надо! — неуверенно подытожил он и вышел из номера совершенно растерянный.

А Анатолий спал в эту ночь крепко и безмятежно, как младенец, и во сне ему являлось лицо улыбающейся Амалии.

Странная встреча

Я мало жил и много,
Там умер, здесь воскрес.
Но где она, дорога
В родной Пелопоннес?

Олег Чухонцев

Мы вбежали в вагон, двери за нами закрылись с мягким стуком, поезд тронулся. Наша станция была следующей. Вдруг с ближайшего к двери сидения поднялся необычный молодой человек и предложил мне сесть. Необычность заключалась не в том, что он так стремительно уступил место — мне теперь, к сожалению, нередко приходится встречаться с подобными проявлениями вежливости. Не то, чтобы я был очень стар, да и выгляжу, как мне кажется, моложе своих лет (а кому, правда, так не кажется!), но все же утром при взгляде в зеркало вижу перед собой лицо пожилого человека.

Итак, он уступил мне место, на которое я усадил жену. А необычной была его внешность: на голове голубая тубетейка тонкой работы, на плечах темно-синяя накидка-не накидка, в руках листки бумаги, испещренные арабской вязью, три-четыре страницы. Скорее всего, ксерокопия из какой-нибудь священной мусульманской книги, видимо, он читал ее до того, как мы появились в вагоне. Теперь мы стояли с ним рядом, поглядывая друг на друга.

У него были густые черные брови, черные подстриженные усики и короткая борода. И глаза — очень выразительные и что-то мне напоминающие.

— Вам нужно бы сесть, — сказал он негромко с абсолютно чистым выговором, без какого-либо акцента.

— Да ничего страшного, — ответил я, испытывая какое-то странное чувство. — А вы откуда?

— Из Таджикистана, — ответил он, покачнувшись в такт движению поезда. И раскрыв свои листки, углубился в чтение.

Потом вновь посмотрел на меня.

Тут поезд остановился, и я на прощание кивнул ему головой.

— Пожалуй, я выйду с вами, — быстро проговорил он и вслед за нами двинулся к двери.

На перроне он быстро обогнал нас и скрылся в толпе. Только иногда в просвете между головами пассажиров мелькала его голубая тюбетейка.

И тут только я понял, что за странное чувство испытал я во время кратковременного общения с незнакомцем. Это был Костя, мой двоюродный брат, — он был почти таким же, каким я его видел много-много лет назад — таким же молодым, может, только чуть постарше...

Они жили на Украине, в Черновцах. Туда после окончания войны был определен на службу его отец, муж маминой сестры, полковник инженерных войск. Семья была известна в городе — полковник! В конце сороковых — начале пятидесятых полковник иногда заходил к нам, приезжая в Москву. Помню его рассказ, как югославские офицеры в 1945-м перепили наших офицеров на банкете по случаю освобождения какого-то их города от немцев. Победители сидели за длинным столом: с одной стороны — наши, с другой — югославы. Перед каждым стояло по два стакана — один со спиртом, другой с водой. Наши выпили залпом и залпом же опрокинули в себя воду, чтобы не обожгло рот. А юги — выпили спирт, но к воде даже не притронулись. Видно, были тренированы на спирте! Я слушал этот рассказ, затаив дыхание.

А в один из приездов он рассказывал, что у него растет отчаянно-смелый сын Костя.

— Друзья зовут его Константин Заслонов, — добавил он не без гордости.

Такой был герой Отечественной войны, партизан из Орши, и я, конечно, читал про этого белорусского партизана. Патриотическое воспитание было на должном уровне!

А Костю я увидел, когда тот уже вырос и приехал в Москву. В Черновцах он учился в музыкальной школе вместе с Соней Ротару — она тогда уже становилась известной.

Костя же не отличался, по-видимому, особыми способностями. Но мамаша настояла на том, чтобы он поступал в Московскую консерваторию. В Москве он жил у своей тетки на площади Борьбы. Мы несколько раз встречались. Я водил его в Музей изобразительных искусств на импрессионистов, их экспозиция недавно была там открыта, и это стало для нашего поколения откровением. Мы по полчаса простаивали у полотен Клода Моне и Ренуара. Бывало, и просто гуляли по Москве. Иногда заходили к Михаилу Иннокентьевичу, нашему дяде по материнской линии. Он жил в одном из арбатских переулков, в двухэтажном особнячке, пережившем пожар Москвы 1812 года. В этом доме родились и выросли наши с Костей матери, а их дядя Миша оставался в нем до конца своих

дней. Он был рафинированным интеллигентом, воротник и манжеты его белоснежной рубашки были неизменно накрахмаленными, а узелок на галстук отличался изяществом. Дядя был доцентом автодорожного института, преподавал там теоретическую механику. Чтобы поддразнить его, мы однажды договорились с Костей расцветить свою лексику такими словами, как «портфель», «польта» и еще что-то в том же духе. Но наш розыгрыш был разгадан и завершился всеобщим веселым смехом...

Так прошло то лето. В консерваторию Костя не поступил и уехал домой. Через год примерно пришло сообщение о смерти его отца, которого похоронили, как писала тетка, с воинскими почестями. Как Костя жил в Черновцах и чем занимался, я не имел точных сведений. Лишь иногда мы узнавали от других родственников из Черновцов, что он пристрастился к выпивке и окружен не очень симпатичной компанией. Однажды в драке ему проломили голову. Он попал в больницу, травма была очень серьезной. И он не смог оправиться. Через несколько лет Костя умер совсем молодым, ему было далеко до тридцати...

Все это, без тех подробностей, что здесь приведены, промелькнуло в памяти за несколько секунд. В просвете между головами пассажиров, идущих к выходу, все еще мелькала его голубая тюбетейка...

— Это был Костя, — сказал я жене.

— Какой Костя?

— Мой двоюродный брат, который умер лет тридцать назад.

— Не говори глупостей, — сказала жена.

Я рассказал ей по дороге домой все, что помнил о Косте, что прокрутилось у меня в памяти после того, как незнакомец скрылся в толпе.

— Не может быть, — заявила она.

А потом вдруг сказала:

— Человек в метро действительно был какой-то странный. Я сразу обратила внимание на его лицо, это было славянское лицо, правда с черными густыми бровями и черными усиками. И действительно вы с ним о чем-то заговорили совершенно неожиданно для меня, — добавила она...

Ночью, засыпая, я все вспоминал случившееся, пытался это осмыслить.

Я никогда не верил ни в реинкарнацию, ни в переселение душ, ни в Розу Кулешову, которая передвигала предметы взглядом. Всегда считал все это чушью.

Но с другой стороны, в памяти четко, как на фотографии, запечатлелось молодое Костино лицо. Как такое могло случиться? Двойник? Бывают же двойники. Вон на площади Революции еще недавно прогуливался с красным бантом в петлице двойник Ленина. И двойник другого нашего еще более страшного фюрера прогуливался. Иногда они общались и даже, говорят, вместе пили пиво.

Двойник? Но почему тогда между нами сразу возник какой-то контакт и я заговорил с ним? Я ведь не каждый день разговариваю в метро с незнакомцами!

Сон ушел. Я вышел на балкон. Вдали сквозь кроны деревьев просачивался свет уличных фонарей. В темноте перемигивалось звездами ночное небо. Когда-то мы учили, что Вселенная бесконечна, и, значит, бесконечно это звездное пространство над нами. Бесконечность... Никогда не мог себе этого представить.

И вот так же я не мог объяснить себе эту странную встречу в метро. Ясно видел Костино лицо и не знал, что подумать.

Теща

Сад и огород Борису были глубоко неинтересны. Он был гуманитарием, интеллектуалом. Запаханый глиной черенок лопаты вызывал у него не то чтобы отвращение — легкую досаду. Но нужно было окучивать картошку, да еще именно после обеда, когда солнце жгло спину и затылок. Или подстригать буйно разросшийся шиповник. А под вечер поливать помидорную рассаду в теплице.

В этих заботах проходили выходные дни, которые были положены Борису по службе.

— Хорошо мы провели два дня на природе, — язвил Борис в понедельник, обращаясь к жене.

Все это было происками тещи.

Нет, нет, не старайтесь представить ее себе такой огородницей-домохозяйкой, выращивающей «овощ» для продажи на рынке. Теща была женщиной интеллигентной, кандидатом наук, вдовой известного в свое время писателя. Она рассуждала о политике, посещала музеи, горячо обсуждала с зятем и дочерью последние новости. На работу, в академический институт, теща ездила раз в неделю. В остальные дни работала на даче, а в перерывах занималась садом и огородом. Или наоборот, научной работой занималась в перерывах между хозяйственными заботами. Очень может быть, что именно «наоборот» и было на самом деле.

Теща жизни не мыслила без сада и огорода и вкладывала в их поддержание все свои силы, чего, конечно же, требовала и от домочадцев.

Поэтому между ней и зятем постоянно происходили споры на плодово-овощную тему.

— Варя, — обращался к ней Борис (он был лишь на 8 лет моложе тещи, и потому она позволяла ему звать ее по имени), — ну зачем вы каждый год сажаете картошку? Ведь сажаем мы в мае столько же, сколько собираем в сентябре: ведро! Какой в этом смысл?

— Зато у нас своя молодая картошка в середине лета, когда ее трудно купить в деревне, — возражала теща.

— Да я привезу вам с рынка, — пытался настоять на своем зять.

Теща в душе, может быть, и соглашалась с доводами Бориса, но отступить от принятого порядка было не в ее обычаях. Она была женщина властная и любила, чтобы ее слушались, причем все и во всем.

С особой страстью относилась она к клубничным грядкам. Сама, никому не доверяя этого, постоянно пропалывала клубнику, рыхлила землю вокруг чахловатых кустиков, старательно поливала их из лейки. Клубника выращивалась для горячо любимого внука, непоседливого отпрыска Бориса и ее дочери Арины.

Внук Мишутка был другой ее слабостью. С ним она готова была заниматься весь день, забыв о делах. Ведь счастье каждый день видеть внука выпадало ей только в летние месяцы: в Москве они с дочерью жили раздельно. Чего только ни придумывала теща ради Мишутки! Когда он более или менее научился говорить, а говорил он без умолку, она на пишущей машинке записывала его, в буквальном смысле, детский лепет. А потом с упоением зачитывала эту абракадабру родителям и знакомым.

Не чужды были Варваре Фёдоровне и эксцентричные выходки. Она могла

вдруг чуть ли не кубарем скатиться со второго этажа, где занималась своими рефератами, и объявить:

— Эй, люди, пошли за грибами!

Оказывается, еще утром соседка Зина, у которой покупали яйца, сказала, что пошли опять.

И вот извлекались из сарая плетеные корзины, все обувались в резиновые сапоги и вооружались ножичками. Тут обычно никаких разногласий не происходило: Борис тоже был страстным грибником. Но неожиданность, с которой производилась мобилизация домочадцев, немного озадачивала.

Арина обычно в спорах матери и мужа участия не принимала. Она вмешивалась как миротворческая сила только, когда дело грозило принять серьезный оборот. Иногда и ее вмешательство не помогало, и тогда зять и теща переставали разговаривать друг с другом, а встречаясь на лестнице или в дверях, отводили взгляды в сторону.

Когда Арина в разговоре по телефону... Здесь, поясним, имеется в виду разговор из московской квартиры — мобильных еще не существовало. Так вот, когда Арина в разговоре по телефону с ближайшей подругой Машкой затрагивала тему взаимоотношений матери и мужа, Машка удивлялась, потому что у нее муж и мать отлично ладили друг с другом.

— Слушай, — советовала она Арине, — а ты, когда они это, ну цапаются, ты делай так: хлоп на пол и изображай обморок.

Потом Арина со смехом пересказывала Машкин совет Борису.

Сама Арина сельскохозяйственные указания матери исполняла довольно старательно, работа на земле ей не претила, хотя и не вызывала такого воодушевления, как у родительницы. А в чем-то она даже превосходила мамашу: она, и только она, косила траву на участке, потому что коса была старая, могла сломаться — и неумехам вроде Бориса или матери доверить ее было нельзя.

Но в общем-то садово-огородные работы велись не так уж и регулярно. Теща была человеком не очень пунктуальным и нередко забывала выдать семье очередное задание на день. К тому же случались приемы гостей, и дачная жизнь выбивалась на пару дней из привычной колеи. Обычно это были дни памяти тещиногo мужа. Приезжали друзья: несколько писателей, художник, учительская чета из райцентра, с которыми Варя и ее муж успели подружиться, поселившись в деревне.

Тут теща преображалась. Ее руки, еще недавно занятые прополкой клубники или стрижкой ягодных кустов, облагораживались легким маникюром, украшались кольцом и перстнем, умело подкрученные волосы молодили ее и без того нестарое приятное лицо, элегантная одежда довершала картину.

Творческие люди — народ, как известно, пьющий. Застолья проходили весело и шумно. Тут уместно отметить, что стол был отлично сервирован: оригинальные керамические блюда (керамика была еще одной страстью Варвары Фёдоровны) заполняли свежайшие овощи и салаты, аккуратно нарезанные кусочки ветчины, вырезки и колбасы салями пользовались большим успехом у гостей. Логическим завершением, а быть может, даже смысловым центром изобильного стола, безусловно, являлись запотевшие после извлечения из морозильного холода бутылки столичной водки.

Гости, закусывая после очередной рюмки, горячо обсуждали последние события, вспоминали отсутствующих друзей, возмущались беспримерной ло-

жью, ежедневно льющейся из телевизоров и радиоприемников. Но главным, что объединяло всех присутствующих за этим столом, был дух товарищества, дружбы и взаимной любви.

Борис активно участвовал и в возлияниях, и в политических разговорах, здесь все его разногласия с тещей улетучивались, и они становились с ней милыми друзьями: теща тоже любила немножко поддаться.

Во время застолья включался проигрыватель (теперь это музейная редкость). Покойный хозяин дома любил слушать Вертинского, была здесь и пластинка с записью сестер Берри. А иногда приезжал с гитарой известный музыкант из театра «Ромэн» с характерной двойной фамилией (через дефис) и так пел русские романсы, что все сидели как зачарованные, боясь пошевелиться.

Потом гости всей компанией выходили прогуляться по лесной дорожке, ведущей к шоссе, продолжая возникшие за столом споры. А вскоре и вовсе разъезжались.

Снова наступали рабочие недели с двумя выходными в конце.

Вот так бы все и продолжалось дальше, но случилось непредвиденное, как это всегда и бывает в жизни.

Однажды утром, искупавшись в пруду, который теща имела обыкновение переплывать от одного берега к другому и обратно, она уехала в Москву, на работу.

А на работе у нее случился непонятный приступ. Она упала в вестибюле института, потеряв сознание. Сбежались сотрудники, стали вызывать скорую. Но пока они вызывали скорую, Варвара Фёдоровна пришла в себя. С присущей ей властью сказала, что все это ерунда, попросила вызвать ей такси и уехала домой отлежаться.

Арина, узнав о случившемся, помчалась к матери, заставила ее все-таки вызвать скорую помощь, и врачи установили небольшое будто бы кровоизлияние в мозг.

В институте Склифосовского, куда отвезли Варвару Фёдоровну, выяснилось, что у нее лопнула аневризма в сосуде головного мозга. Могла лопнуть и сорок лет назад, и через неделю, а вот случилось сейчас. Борис, расстроенный нерадостным известием, продолжая бесконечную дискуссию с тещей, в данном случае заочную, заключил, что все это от переутомления и неумеренного курения. Варвара Фёдоровна действительно засиживалась с институтской работой допоздна и выкуривала чуть ли не по две пачки сигарет в день.

В общем, через две недели тещи не стало.

Поминки были в деревне, потому что похоронить Варвару Фёдоровну решили на местном поселковом кладбище, где уже покоился ее знаменитый супруг. Во время поминок одна из соседок по деревне причитала:

— Ну надо же, я Варю встретила на пруду в тот день, когда она уезжала. Она еще переплыла пруд, переделась и побежала к дому. Кто бы мог подумать!

Было много искренних, прочувствованных тостов, во время которых не только у Арины, но и у всех присутствующих навертывались на глаза слезы.

Тещу похоронили на высоком кладбищенском холме рядом с мужем.

Тут подошел и конец дачного сезона.

Теперь Арина с Борисом сами, без руководящих тещиных указаний, укрывали цветник лапником, сливали воду из батарей, запирали сараи, закры-

вали дом. И во всем чувствовалось отсутствие тещи. Будто не только они, но и дом, и сад осиротели.

А когда нанятое для переезда в Москву такси тронулось, Борис оглянулся и ему вдруг вспомнилась из «Онегина» гениальная пушкинская метафора оставления душой бездыханного тела Ленского:

Закрыты ставни, окна мелом
Забелены. Хозяйки нет.
А где, Бог весть. Пропал и след.

Теща была душой этого дома...

Зима была долгой. За снегом и морозами, да за семейными заботами Арина и Борис забыли о подмосковном владении, и в марте не вспомнили, и в апреле. А ведь бывало, теща весной поднимала зятя в поездку на дачу, где они на пару сбрасывали снег с верхней веранды, чтобы строение не покосилось под снежной тяжестью.

Но вот пришла настоящая весна, с распутившейся свежей листвой на деревьях, с цветением сирени в скверах, и Борис с сыном отправились провести дачу: пора уже было готовиться к переезду за город.

В деревне сирень еще только собиралась расцвести, и снег на крыльце, отгороженном от солнца, растаял не весь. Остатки его превратились в некрасивые грязные наледы на досках. В доме было холодно и тоскливо. Борис снес со второго этажа укутанные в одеяла картины и семейные фотографии, развесил их по своим местам. На одной из них теща была запечатлена с мужем. Он сидел в кресле, а она, стоя сзади, обнимала его за плечи. Потом убрал расставленные осенью мышеловки (теща всегда боролась с нахальными мышами). Смахнул с кухонного стола горошек мышиного помета, потом подмел пол. Что-то он делал еще, при этом разговаривал и шутил с сыном, который то поднимался по лестнице на второй этаж, то сбегал вниз, издавая при этом торжествующие вопли.

Это было первое посещение дачи после поминок и похорон тещи.

Когда, возвращаясь, шли проселочной дорогой на автобус, произошло что-то странное. Борис узнавал потом у знакомого географа: возможно ли такое природное явление в наших широтах. Географ осторожно заметил, что в принципе возможно, но случается крайне редко. Ему, географу, во всяком случае, такого видеть не приходилось.

А произошло вот что. На метр впереди Бориса вдруг завертело волчком дорожную пыль. Потом эта крутящаяся с бешеной скоростью пыль начала плавно подниматься вертикально вверх. В мгновение перед Борисом вырос столб крутящейся пыли метра на три в высоту. И вдруг этот столб стремительно рухнул вниз, и пыль рассыпалась по проселку, будто ничего и не было.

— Это теща! — подумал Борис и вдруг почувствовал, как зашипало глаза.

Дарья Селюкова

Бардо железной дороги

Рассказ

Московский скорый на платформе Эрликовой никогда не останавливался, даже не притормаживал, — проносился с воем мимо и затихал вдали одиноким эхом. Данил так долго прожил в тишине, что кожей начал чувствовать его приближение, каждый день опускал и поднимал шлагбаум, даже не заглядывая в расписание. У переезда на его памяти ни одна машина так и не остановилась. Ни одна даже мимо не проехала.

Расписание досталось ему по наследству от «Т.Е.Егорова» — его закорючка стояла последней — и с тех пор не менялось. Это был просто листок бумаги, написанный и расчерченный от руки, висел он в смотрительском домике возле печки рядом с отрывным календарем и чеканным покривившимся панно. Панно было совсем как у Данила в детстве над диваном: Иван Царевич в шапке пирожком и лягушка со стрелой.

С другой стороны Данил кнопками приколот Цоя.

Больше в домике никаких украшений не было, спасибо хоть обои держались, только кое-где обнажая «Красную новь» от июня тридцать девятого года.

Возле буржуйки были свалены газеты и журналы, склеившиеся между собой от времени, сморщенные, пожеванные. Данил откопал в этой куче «Огонёк», повибрасывал развороты с репродукциями и делал для них по вечерам рамки из картона. Остальное читал, а потом пускал на растопку или уносил в сортир.

Спал на раскладушке — матрас на кровати был насквозь проссанный, пружины просели. Выкинул кровать за дом, к чертовой матери.

Данил почти все повибрасывал. Какие-то тряпки, заплесневелая картоха из погреба, липкие бутылки с самогоном, гнилой буряк. А вот лук оставил: он лежал-пылился на чердаке ковром по всему полу, румянил бока в солнечном луче, бьющем из окошка, пах душно, но живо. И чеснок был жив под сухой шелухой, — как раз подходящий, чтоб натирать им корку черного до сытого лоска, а потом еще солью сверху.

Дарья Селюкова — переводчик, прозаик, журналист. Родилась в 1990 году в г. Белгороде. В 2012 году закончила факультет романо-германской филологии Белгородского госуниверситета. Работает специалистом по связям с общественностью в БГУ. Живет в Белгороде. В «толстом» журнале публикуется впервые.

Катюша такой хлеб очень любила. Прибегала с буханкой и просила: «Данила, сделай хлебушка». И он делал.

Крошками они кормили Тяпу. Данил повесил его между двух окошек, смотревших в степь, но скворец все равно слышал поезда, запоминал их, а потом «пускал» в неурочное время.

— Тяпа, в нос дам, — угрожающе говорил ему Данил.

— Тяпа, в нос дам, — отвечал он. И тут же начинал оправдываться Мишаниным голосом. — Тяпа хороший. Тяпка умница. Тяпка интеллигент!

Егорову было лучше. Егоров убивался самогонкой, как нормальный человек, а он, Данил, вот всем этим, медленно и мучительно. Лучше б спиться. Только не хотелось.

Когда-то они с Мишаней пили пиво за заброшенным кинотеатром, но потом кинотеатр снесли, и пиво стало на вкус как жженая пробка.

А Мишаня...

Ему бы на Эрликовой понравилось. С Катюшей он бы точно подружился, и с Алтын.

Он бы уговорил Данила поспать.

Данил не мог вспомнить, когда спал последний раз. Время стало как степь вокруг — бескрайнее. Но в степи было за что зацепиться хотя бы взглядом — сопка Ленина на горизонте: легкая, светлая, как акварелью нарисованная, с дрожащим огоньком на вершине. Во времени ничего не было, даже расписание не помогало, Тяпа пускал поезда каждый час, без системы, без смысла.

В степи сон не шел. Некуда было спать. Весной луна там яркая, как прожектор, а небо еще низкое: звезды висят в воздухе. Чем ближе лето, тем выше они поднимаются, мельчают, прилипают к небосводу.

И земля под ногами плоская нестерпимо, будто нет никакого шара, будто все врут астрономы. Блин земли да крышка неба.

Однажды в полночь Данил вышел из дома и начал прыгать, биться о степь ногами, хотел, чтоб прогнулась, вогнулась, хоть немного дала высоты, пространства, воздуха.

Не он первый, не он последний.

Настоящая ночь наступала, когда замолкало радио. Под его бубнеж еще можно было жить, но кончалась последняя программа, пикало точное время, и далекие незнакомые люди бросали Данила одного. Ему в этот самый момент плакать хотелось, как потерявшемуся мальчику, будто он остался один на всем свете, будто те, кого он знал и любил, тоже выключились, исчезли, и эта тишина — вот что настоящее, а любовь, дружба — все сон...

Может, он спал днем. А может, и не спал. А может, и не было никакого дня вовсе...

Нет, день был, точно был. Днем приходила Катюша, Дядь Тимур заглядывал. Минбай проходил мимо, с козами. Забегала Алтын — редко одна, чаще — с Катюшей. Они постоянно ссорились и так же часто мирились, — чем еще заниматься на Эрликовой?

Алтын была обидчивая, все время подозревала, что ей чего-то недодали, что-то спрятали и кому-то досталось больше, чем ей. Немудрено — кроме Минбая у нее было еще два старших брата и две сестры. Данил их никогда не видел, «к железке» они не ходили. Минбай тоже мог бы не ходить, но у них с

Данилом сложился свой ритуал: посидеть на платформе свесив ноги, выкурить по сигаретке пока нет поездов.

— Тут когда-то электричка ходила, — каждый раз говорил Минбай, глядя черными индейскими глазами на сопку Ленина. — Потом отменили. А я на ней в школу музыкальную ездил.

— Ага, — говорил Данил.

Воздух вокруг плавился, до боли яркое голубое небо дрожало над головой, рельсы сияли. На гудящих проводах сидели, как ноты, мелкие птички.

— Как думаешь, вернут? Что там у вас слышно?

— Не знаю, мне ничего не говорят. А что там в городе?

— Да черт знает, опять подорожало все.

Кончалась сигарета, а с ней и разговор затухал.

Днем Тяпа вел себя прилично: с поездами баловался редко, прыгал в своей клетке, качался на качелях и спорил с радио.

— Макароны будешь? — заботливо спрашивал он каждый раз, когда Данил возвращался за чем-нибудь в домик. — Хорошие макароны. Ракушки. Ракушки. Рракушки!

Мишаня любил «ракушки», притащил с собой из Воронежа килограмма четыре, будто в Москве таких было не достать. Впрочем, у него с собой и крымский коньяк был и даже бутылочка настоящей финской водки, чистой, как вода в ледяной реке.

Мишаню Данилу сосватал одноклассник. Сказал, что есть один черт, едет на концерт Калугина, но ночевать ему негде. Данил всего полгода как переехал в Москву, никого толком не знал, никуда не ходил и совсем загибался от одиночества в съемной однушке. Болтался на конце оранжевой ветки, как червивое яблоко, и чувствовал, что вот-вот сорвется.

Мишаня со своими макаронами появился вовремя. В камуфляжных штанах, кедах, в футболке «Master of puppets». За эту футболку его побили в электричке под Тулой какие-то гопники, приняли за сатаниста. Поэтому приехал он, сияя «фонарем», и долго рассказывал немного обалдевшему Данилу, что сопротивление злу и насилию — это единственный путь, что иначе — духовная смерть.

А Данил думал, что гопы его могли убить по-настоящему, если б стал отбиваться, — Мишаня был тощий, но мягкий, без бицепсов, будто его накачивали воздухом-накачивали, но так и бросили это дело на середине.

Он был не патлатый, как Данил ожидал, а просто кучерявый слегка и давно не стриженный. Глаза серые, постоянно в красных прожилках, рот большой, вечно жующий.

Вел Мишаня себя скромно, даже застенчиво: как потом выяснилось, думал, что Данил коренной москвич, а перед ними он почему-то робел. У его матери сестра вышла замуж за какого-то московского ипэшника, и в семье это «катькин москвич» всегда произносили с благоговейным придыханием и плохо скрываемой завистью.

К тетке Мишаня вписываться почему-то не поехал, и вообще с родственниками у него были отношения мутные, сложные. Ездил от одних друзей к другим из города в город, таская на себе огромный туристский рюкзак, как улитка — домик.

Обосновался он прочно только у Данила: расстелил под батареей между

советской лакированной «стенкой» и данилиным диваном яркий синий спальник, загрузил навесной шкаф на кухне макаронами и тушенкой, поставил на стол бутылки и сразу кинулся мыть посуду, варить сосиски, искать какой-нибудь сок или компот, потому что неразбавленную водку не пил. Он вообще был не любитель пить, но знал, что это лучший магарыч, и к чужим слабостям относился добродушно.

«Добродушный», — вот какое слово ему больше всего подходило. Никто никогда его не называл ни Мишей, ни Михаилом, и клички у него никакой не было, — Мишаня и все. Такое же мягкое, несерьезное имя, как он сам.

Данил сразу к нему привязался. С Мишаней все происходящее вокруг, вся ежедневная рутина вдруг приобрела смысл, наполненность. Они болтали на кухне обо всем подряд, особенно много — о мишанином буддизме и почему-то об армии. Данил недавно отслужил, но у него никаких баек, даже особых воспоминаний не осталось, а у Мишани, который по состоянию здоровья никуда не подходил, баек и анекдотов о разных знакомых было завалилось. Он любил армию, но издавека, и считал ее какой-то особой, идеальной в своей бессмысленности формой существования. Вроде монашеского служения, но без бога и без высшей цели.

— Постепенно твоя личность растворяется, и это болезненный процесс, потому что ты не можешь оставить бывшие привязанности и лишние мысли. Я бы так хотел, это правильный путь, путь к сатори. Суеты в мире слишком много, а армия — это же почти и не жизнь.

Данил только посмеивался. Он тогда подумал, что Мишаня — балабол, но оказалось, что все у него серьезно. В армию его не брали, в монастырь тоже, и он решил вдруг поступить в Москве на теологический, бесплатное вечернее, да так и остался у Данила. Днем бегал по экзаменам и приемным комиссиям, а вечером зубрил. Сидел на табуретке в одних трениках, уткнувшись в книжку, и качался, отталкиваясь босой ногой от стены. Данил сидел напротив у окна, курил и учил билеты по физкультуре — физрук согласился подождать и не закрывать ведомость до июля.

Потом они друг друга проверяли. Мишаня рассказывал о зороастризме и огнепоклонничестве, а Данил ему о жизненной емкости легких и истории олимпийских игр.

И где-то между зороастризмом и играми вышибло искру, но где — Данил не взялся бы сказать. Вот смотришь на человека и знаешь, что хочешь его поцеловать. И он знает, что ты знаешь.

Все эти теоретические вопросы и значительные слова вроде ориентации и гендера Данила смущали, он об этом не любил говорить. Он вообще был неразговорчивый — знал, что в словах таится опасность, что они как клетка, как теоретическая часть экзамена по физре.

И без них хорошо. Без них — даже лучше.

Мишаня действительно поступил в какой-то заштатный универ и той же осенью перебрался к Данилу на диван. Отлеживал ему руку, ходил по квартире голый, медитировал под громкую, звенящую индийскую музыку и следил, чтобы в доме всегда были презервативы и макароны.

А в подарок за бесхвостую зимнюю сессию принес домой Тяпу. Откуда только взял?

— Священная индийская майна, — объявил он, сияя, а Тяпа расхохотался утробным басом и сказал: «Ну, Заяц, погоди!»

Данил не хотел брать Тяпу с собой на Эрликову. Много было причин: боялся, что скворец заболеет от нервной долгой дороги, боялся, что соседи по вагону его самого на полном ходу выкинут вместе с клеткой и этой болтливой чумой...

Боялся, что сойдет с ума, если будет постоянно слышать Мишанин голос.

Иногда он его слышал бессонными ночами. Слышал, даже когда Тяпа молчал, сунув умную голову под крыло. Мишаня звонил по телефону и говорил, что отлично устроился в Австралии, но с квартирой сложности...

Нет, все не так. Про квартиру и Австралию — это чей-то стих из сборника, который Данил привез с собой. Маленькая книжечка в мягкой, поседевшей и нежной от старости обложке прошла с ним и пионерлагеря, и сборы, и армию. Она заставляла мозги и душу работать, трудиться, потому что Данил никогда не чувствовал в себе настоящей силы, не было в нем стержня, который делает человека человеком. Чтоб не стать тупой, равнодушной скотиной, приходилось читать стихи, впихивать их себе в глотку, давиться, зато какое наступало облегчение, когда одна нужная строчка вдруг ложилась на душу так правильно, так верно, так счастливо.

«Демоны по ночам в пустыне терзают путника. Внемлющий их речам может легко заблудиться: шаг в сторону — и кранты. Призраки, духи, демоны — дома в пустыне. Ты сам убедишься в этом, песком шурша, когда от тебя останется тоже одна душа».

Ночью, когда радио уснуло, Данил сел чистить мелкие, как шарики для пинг-понга, картофелины. По ночам не следовало брать в руки нож — слишком беззащитными становились вены, слишком уязвимым — горло, но руки занять надо было.

Он чистил картошку, а человек снаружи кидал камушки в окно. Чужой человек в пустоте, ночью. Но Данил все равно открыл форточку.

— Эй! Чего надо?

Он стоял за пределами света, далеко от окна, стоял на территории степи. Одет был как-то блекло, в хаки, что ли, и прятал лицо в темноте, иногда показывая обрюзгший подбородок, бледный и мягкий, как тесто.

— Слышь, у меня там джип в кротовину заехал колесом. Помоги толкнуть.

Ему, наверное, было сейчас плохо, этому человеку, застрявшему ночью в степи, но Данил только крепче вцепился пальцами в подоконник.

— До аула километр, найди дядю Тимура, он тебя трактором вытащит.

Человек не уходил.

— Ты че? Ну выйди, ты че? — Он стоял на месте, но Данилу казалось, будто блеклое хаки беспокойно колыхнется в полутьме.

— Иди в аул, говорю!

— Ну толкни, братан, ну не будь сукой, ну толкни...

Данил задернул занавеску, сел спиной к окну, обхватил себя руками за плечи. Занавеска была вагонная, с загадочной надписью «Николай Конарев» синим по белому. Если отгородиться ею от мира, можно представить, что

станционный домик — это и есть вагон, что тепловоз сейчас мягко тронется и потащит его отсюда, набирая ход.

— Ну ты че, ты больной, ты крыса, ну выходи, выходи, ну толкни, ну че ты, ну...

Монотонный голос человека сочился из форточки, густой, липкий.

Зря, зря не точил ножи.

«Он бухой, наверное», — догадался Данил, но страх не ушел. Не верилось в это. Не верилось, что за дверью правда человеческое существо. Ночью любой кто стучится к тебе, — хищник. Он хочет сожрать или тебя или твой покой. Оторвать кусок от твоей нормальной жизни. Или от тебя.

— Ну выходи, ну помоги, выходи, толкни, ты че...

Данил не выдержал страха, схватил из матерчатого кармана, висевшего на гвозде, здоровый гаечный ключ, распахнул окно и швырнул ключ в темноту, в бледное пятно.

— На хер пошел! Пошел ты на хер!

Кажется, потом заработало радио, а там и воздух начал синеть понемногу.

Утром Катюша и Алтын гордо принесли ему ключ.

— Данила, мы тебе инструмент нашли! — в один голос сказали они.

— Ага, молодцы, — похвалил Данил. На ключе не было никаких следов, но на солнце он почему-то отливал зеленой, тусклой, плесневой, будто лежал в сыром подвале не один год. — За водой пойдете?

Воду он брал в колодце за домом и заливал в бак на крыше, чтоб грелась. Сколотил себе душ возле нужника, прицепил к баку шланг и мылся. Летом вода нагревалась — кипятик! Лучше, чем в городе.

Прежде чем натаскать свежей, слил остаток из бака в большой пластиковый таз и устроил стирку. Девчонки сначала убежали прыгать на старой егоровской кровати, но быстро заскучали и потребовали себе такой же таз — устроить своим лохматым барби бассейн с постирушками. Даже воды принесли сами, в маленьких ведерках.

Данил оттирал рыжим хозяйственным мылом рубаху, слушал их щебет, и ему было тепло. Такие они были маленькие, чистенькие, с лохматыми косичками (у Катюши две, у Алтын двадцать две), такие настоящие! С ними на платформу приходила жизнь.

— Данила, а Тяпа на юг не полетит? — спросила Алтын.

— Нет, он же ручной.

— А где ты его купил?

— Я не купил, подарили.

— А почему он Тяпа?

А правда, почему?

Мишаня никогда не объяснял. Просто это «Тяпа» очень подходило к его собственному имени. Что-то мягкое и бестолковое, непонятное, как и сам Мишаня.

Они были две птицы, только Мишаня — птица вольная. Ел что попало, работал где придется: расставлял продукты в магазинах, разгружал газеты для «Роспечати», но больше всего любил быть подопытным. То вакцины на нем испытывали, то заставляли жать на какие-то кнопки и отвечать на целые рулоны вопросов. Иногда он брал у знакомых гитару и аскал в метро и переходах. Его

там частенько били за то, что территории попутал, но Мишаня к этому относился философски, как к неизбежному злу.

— Я тебя, дебила, в ванне с йодом утоплю, — грозился Данил. Он ненавидел Мишанины синяки, потому что ничего не мог с ними поделать. Даже пойти с ним не мог — Мишаню пробивало на песни внезапно, и он никому не докладывал. Просто шел и делал что хотел.

— Данька, ну я же не виноват, что меня бьют! — оправдывался Мишаня. — Люди просто нецивилизованные, белые западные варвары. Ну то есть юго-западные.

— Ага. Убьют варвары — домой не возвращайся.

У этой шутки бородень была, как у даниловского дедушки, но Мишаня все равно смеялся. Потому что любил Данила.

Варвары его не убили, тут пронесло.

Это ему бы работать на переезде, это он хотел в степь, в пустыню, — туда, где много пространства и можно просто идти вперед, а потом повернуть внезапно, когда захочешь, и ничего не изменится.

— Выхожу один я на дорогу, — читал он наизусть, когда они с Данилом лежали на теплом гудроне крыши. Читал не так, как в школе, а по-настоящему, понимая. — Сквозь туман кремнистый путь блестит. Ночь тиха. Пустыня внемлет Богу, и звезда с звездою говорит.

Данилу тогда почему-то стало очень тоскливо.

Нет, не «почему-то», а потому что до этого Мишаня читал, когда про себя, когда вслух, книжку. Руководство для тибетских мертвецов.

Данил эту буддистскую муть пропускал мимо ушей, пока Мишаня не сказал ему однажды:

— Данилка, когда я умру, почитай мне «Бардо». Только как надо читай, все как там написано. Там надо, чтобы наставник читал или брат по вере, но мой лама на Сахалине живет, а ты мне как брат. Ты мне как все.

Данила аж передернуло. Ему стало больно и обидно так, как давно не было. Захотелось ушатать Мишаню, но по мишаниным глазам видно было, как ему это важно. И сказать бы что-нибудь злое, вроде «с братьями не трахаются», но Данил не смог. Грустно было.

— А что ты вдруг умирать собрался? — мрачно спросил он.

Мишаня махнул рукой.

— Да не собрался. Просто... ну мало ли что! Все наше существование — это промежуточные состояния, из которых надо выйти в конечное, в нирвану. И жизнь, и смерть, и сон, — вообще все промежуточное. А «Бардо Тхёдол» написали для того, чтобы помочь человеку выйти. Выйти из промежутка, понимаешь? Вот мы с тобой сейчас живем, и хорошо, но это же не навсегда...

Данил промолчал. Он хотел, чтоб навсегда.

Конечно, они когда-нибудь доживут до девяности лет и помрут, но когда тебе двадцать с небольшим, девяность — это вечность.

— Ну его в жопу, твое «Бардо»! Хочешь свалить — так и скажи, на фига мне твой Тибет?

— Не хочу я свалить! — обиделся Мишаня. — Я на «Зилант» хотел съездить. Данил как-то успокоился. Когда думаешь о дороге, всегда приходят и мысли о смерти: а вдруг что? Мать его в любую поездку заставляла брать с собой мятую

черную ленту, на которой золотой старославянской кириллицей была напечатана какая-то молитва. Помогало или нет, кто его знает, но пока везде доезжал живой. Куда же она делась потом, он же без нее на Эрликову ехал...

— А меня с собой не берешь?

— Не-а, — просто сказал Мишаня. — Не беру. Выхожу один я на дорогу. Он в одном ошибся, Лермонтов: ночь не была тиха. И пустыне было наплевать на Бога.

Дядь Тимур приехал за Катюшей, а заодно привез Данилу мешок картошки и консервы. Данил заварил чай, вытащил из шкафчика сухари, и Дядь Тимур уселся на табурет, основательно так, будто собрался выпить чайника два, не меньше. Говорил обо всем: о делах в ауле, о том, что в мире творится, о Катюшиных родителях, которые то ли разводятся то ли нет, но ребенка забирать не спешат... а Данил все не знал, как задать вопрос, потому что боялся ответа. — Дядь Тимур... а к вам вчера ночью мужик со сломанным джипом не заходил?

Дядь Тимур похлопал по карманам, достал мятную конфету, посмотрел на нее удивленно и спрятал обратно. Для Катюши.

— К Минбаю, может, заходил, у меня никого не было. А что у него, мотор заглох? Это я починю.

— Починю, — отозвался Тяпа, глядя на Дядь Тимура круглым глазом.

— Нет, не мотор... сказал, что толкнуть надо.

— А ты что? Не вышел?

Данил встал, налил Тяпе воды в поилку.

— Нет. Не вышел.

Дядь Тимур одним глотком выпил всю чашку и налил себе еще. — Ну, может и правильно. Сам знаешь, какое сейчас время. Убили бы еще.

Прибежала Катюша, молча легла щекой на стол, от пряников отказалась, просто смотрела в окно прозрачными серыми глазами. Она всегда была как маленькая, тихая зверушка, и Данил не мог представить, какая она в городе, в школе, с другими детьми. Ему все казалось, что там ее мучают, что ее заключают и лучше ей здесь, в степи.

— Чего сразу убили бы? Я пару приемов помню, мантировка есть.

— Да какие приемы, ты на себя посмотри, одни кости, под глазами синяки. Ты хоть спишь-то?

— Ну... сплю иногда. Может, мужик мне приснился.

— Может. Тут иногда бывает: вроде как спишь, а вроде и не спишь. У водителей бабушки ночью через дорогу бегать начинают, а к нам — гости ходить. Утром просыпаешься и не можешь вспомнить, правда приходил кто или нет. Ты, Данила, лучше спи как человек.

Данил вздохнул и признался сквозь зубы:

— Не могу, Дядь Тимур. Я и в городе не мог, думал тут посплю, тут тихо... Нет, не могу.

Дядь Тимур съел последний сухарь, отряхнул руки.

— Это дело, конечно, твое. Главное, на наркотики не садись. Будут приезжать, предлагать всякое, ты не бери. К Минбаю вот приезжали.

— Не буду, Дядь Тимур.

Ему и не хотелось ничего такого. Дома он пытался нажраться снотворного,

запихал в себя горсть таблеток, полежал немного... только почувствовал, что уносит куда-то, как желудок взбунтовался, и пришлось все выблевать обратно. Передознулся снотворным так, что сон теперь не шел, — вот это была бы ирония!

А все-таки он кое-как задремал случайно и увидел во сне, что Катюша вернулась за куклой Лизой. Подумала, что Лиза испугается спать одна на платформе, и побежала как была, в длинной-длинной футболке с мультяшным шенком, по темноте, с фонариком Дядь Тимура.

«Не ходи, — хотел сказать ей Данил. — Вдруг мужик еще тут...» Но Катюша ничего не слышала. Только пошла медленнее, устала, наверное. Непонятно откуда наполз туман, укрыл сопку Ленина и мигающий маячок на ней. Катюшин фонарик беспомощно тыкался в плотную белую вату, но она все равно шла и шла, только непонятно куда.

Мимо платформы, мимо домика, на рельсы, где тускло мигал впереди красный семафор.

— Катюша! — закричал Данил то ли наяву, то ли во сне. — Катя! Я здесь! Иди сюда!

Нельзя было ей туда ходить. Никому нельзя было, он это чувствовал. Там, впереди, в тумане, сидело что-то огромное и уже открыло пасть. «Мужик, ну ты че, ну че ты, ну толкни выйди, ну ты че...»

Проснулся он как от удара, весь в испарине. Схватил рабочую жилетку со светоотражателями и выбежал из дома в туман, по рельсам, туда, где семафор все мигал и мигал красным.

— Катя! Катя!

Он бежал и бежал, а туман все не не кончался, и ему казалось, что он бежит на месте, что простор, который виделся ему раньше, который давил и казался бесконечным, просто задник, картинка, а за ним черная пустота и выхода никакого нет...

«А "Бардо Тхёдол" написали для того, чтобы помочь человеку выйти. Выйти из промежутка, понимаешь?»

Данил запнулся и полетел носом, но вовремя успел подставить руки. Стесал все ладони и долго лежал, вдыхая запах пыльной щебенки, железа и мазута.

«Данилка, когда я умру, почитай мне "Бардо". Только как надо читай, все как там написано».

— Не буду я тебе ничего читать, сволочь! Не буду!

Данил орал и орал, пока голос не сорвался, пока слезы не кончились, пока костяшки пальцев не сбились о деревянные шпалы.

Сил оставалось только на то, чтобы ползти до дома, но он не пополз, а остался лежать, только повернулся лицом к звездам.

Рельсы дрожали, это шел скорый на Москву.

Он закрыл глаза.

Выйти из промежутка...

Мишаня вышел из своего промежутка неожиданно. Все всегда уходят неожиданно.

Его группа сидела на лекции по какой-то теоретической лабуде. Звонок прозвенел, все встали, начали собираться, а Мишаня не встал. Сидел и улыбался как-то кривовато.

Преподаватель уже такое видел, быстро вызвал скорую, Мишаню уложили

на составленные вместе деревянные синие стулья, обычные такие, школьные, с жесткими сидениями. Это был последний раз, когда Данил его видел.

Полутемная лекционка, подавленно молчащие незнакомые ребята и подошвы застиранных мишаниных кед. К левому еще жевачка прилипла...

А ведь Данил всю лекцию его ждал за дверями. Он же выйти мог, сказать, что плохо, позвонили бы в скорую...

Мишаню успели только до больницы довести. Инсульт, кровоизлияние в мозг.

И все.

На похороны приехали из Воронежа его родители, но Данил с ними не встречался, только собрал сумку с мишаниными вещами и отдал квартирной хозяйке.

«Бардо Тхёдол» оставил себе. Но открыть не мог, пальцы не слушались.

Есть ему не хотелось, спать не хотелось, только курить он еще мог.

За два дня до этого, ночью, когда они лежали на диване, Мишаня вдруг обнял его крепко-крепко и сказал: «Люблю я тебя, Данилка. Больше всех на свете».

Наверное, после этого он и заснул в последний раз. Спокойно, как в детстве.

Когда блок «Бонда» кончился, Данил и попробовал то снотворное. А когда понял, что уснуть больше, наверное, никогда не сможет, решил уехать домой. Хоть на пару дней вырваться из пустого города.

На вокзале он все не мог протолкнуться к билетной кассе, поток людей смывал его, пока не прибил наконец к объявлению РЖД о том, что требуются рабочие. Соцпакет, обучение, вахтовый метод...

Московский скорый пронесся мимо платформы — огромная, живая, летучая железная зверюга. Когда он затих вдали, Данил поднялся, оглушенный, и побрел к дому.

Тяпа высунул голову из-под крыла и смотрел, как Данил возится у двери, вешает жилетку, включает свет.

— Макароны будешь? — спросил он по привычке. — И тут же ответил себе голосом Данила. — Не буду, Тяпа, спасибо.

Данил усмехнулся и достал с антресолей дорожную сумку. В ней сиротливо болталась маленькая истрепанная книжечка с загнутыми углами и штампом Свердловской городской библиотеки.

«Если труп нет, [то чтецу], который должен растолковать силу Истины, следует занять ту постель или место для сидения, к которому привык усопший. Затем, призвав дух [усопшего], представь, что он присутствует и внимает, и читай».

Тут ничего не было привычного Мишане, поэтому Данил сел в ногах раскладушки и представил его там. Вот он лежит, закинув руки за голову, волосы топорщатся, взгляд не рассеянный, как всегда, а внимательный. И любящий.

— О высокородный, — читал Данил, — тебе суждено испытать три Бардо — Бардо момента смерти, Бардо переживания Реальности и Бардо поисков нового рождения. Из этих трех состояний до вчерашнего дня ты испытывал

Бардо момента смерти. Хотя перед тобой воссиял Ясный Свет Реальности, ты не смог удержаться, и посему принужден блуждать здесь.

Ты будешь, не отвлекаясь, внимать тому, кто поможет тебе посмотреть в лицо Реальности, и продолжишь свой путь.

«Высокородный!» Это Мишаня-то!

Он глотал слезы, но читал, потому что не мог теперь остановиться, не мог бросить Мишаню на полпути, и постепенно ему начало казаться, что родной голос повторяет за ним:

— О высокородный, когда тебя понесет туда-сюда непрекращающийся ветер кармы, твой разум, лишенный опоры, уподобится перу, что швыряет ветер, скачущий на коне дыхания. Непрестанно и помимо своей воли ты будешь блуждать. Всем, кто оплакивает тебя, ты скажешь: «Вот я, не плачьте». Но они не услышат тебя, и ты подумаешь: «Я мертв!» И в это время ты снова почувствуешь себя очень несчастным. Не печалься...

Но как не печалиться? Как не печалиться, когда все, конец, когда не будет больше ничего хорошего, ничего светлого, когда все уже было, было, было и навсегда закончилось, а жизнь почему-то продолжается, и не видно этой серости, этой мерзости конца. Есть человек, и нет человека, и не будет уже никогда...

Он закончил, когда за окном уже светало. Захлопнул книгу, прислонился спиной к стене, закрыл глаза.

— Тяпа, скажи: «Данилка хороший». Скажи: «Данилка, я тебя люблю», — произнес вдруг Тяпа и сунул голову под крыло.

Второй скорый должен был промчаться мимо Эрликовой в шесть утра, но почему-то затормозил и навис над маленькой платформой всей своей огромной тушей. Данил накинул жилетку и вышел посмотреть. Он никогда раньше не видел спокойный скорый — московский поезд всегда был для него почти бесплотным, размытым зеленым пятном. Но вот он — стоит тихо в мягкой золотистой дымке утра.

Зевающий проводник в форменном пиджаке, накинутом на плечи, открыл дверь вагона и закурил. Данил подошел, поздоровался с ним за руку.

— Помочь надо? — спросил он.

— Не, это у машинистов какое-то чэпэ. Сейчас починят, и дальше поедem.

Данил кивнул, глядя как вьется над тлеющей сигаретой полупрозрачный дымок. Солнце все разгоралось на Востоке, так что голова поезда терялась в сиянии.

— Подбросить тебя? — вдруг спросил проводник.

— Куда?

— Куда надо, хоть до конечной. За пятихатку.

Данил оглянулся на домик, на сопку Ленина, на горсть крошечных юрт в далеком ауле, но солнце слепило нещадно, и он не мог толком ничего разглядеть.

Он пошарил по карманам, нашел смятую, выцветшую бумажку и шагнул в вагон.

Поезд вздрогнул, просыпаясь от дремоты, и мягко тронулся, покачиваясь на невидимых волнах.

Мир не привязан к людям

С латышского. Перевод Ольги Петерсон

В Латвии 2015 год был объявлен годом 150-летия двух классиков латышской поэзии — Яниса Райниса и Аспазии. Впервые издан латышско-русский двухтомник стихов Райниса «Время других» и Аспазии «Крылья будней».

Стихи Яниса Райниса переводили В. Брюсов, А. Ахматова, А. Тарковский, Д. Самойлов, В. Рождественский. К стихам Аспазии переводчики обращались реже, и русскому читателю они практически не известны. Обе книги — это первые сборники стихов Райниса и Аспазии на русском языке, над которыми работал один переводчик.

Книги привлекли внимание не только коллег по литературному цеху и латвийских любителей поэзии. Режиссер Кирилл Серебренников так отзывается о работе переводчика: «Это была трудная задача: донести до русского уха, чуткого к поэзии, стихи, написанные на языке, который в начале XX века был создан вручную поэтом и народным духовным лидером Янисом Райнисом. Его поэтический "первозык" состоит из обыденных и архаичных латышских слов, из сконструированных им самим слов, из заимствований... В прежних переводах этот язык не был передан в полной мере, потому что большие русские поэты, переводя стихи Райниса по подстрочнику, зачастую создавали собственные произведения, как это случается в поэзии. Но Ольга Петерсон — переводчик, владеющий двумя языками, принадлежащий в равной степени к двум культурам, поэтому чувство языка и точность передачи ей нигде не изменили. Более того, поэзия Райниса, сложная, изысканная, философская, парящая над прозой жизни и не сегодняшняя, с помощью переводчика шагнула в XXI век и воспринимается русским читателем как свежий, новый язык, не утративший характерные свойства "первозыка"».

Театральный критик Нина Агишева-Николаевич делится впечатлениями о книге Аспазии: «...Всю свою жизнь эта великая женщина и гениальный писатель-романтик сознательно уходила в тень своего мужа — Райниса. А между тем они на равных создавали современный литературный латышский язык. Передать его особую образность, выразить мятущуюся душу Аспазии, ее поиски свободы и красоты, отмеченные цветаевской мощью и ахматовской простотой, — эту сложную задачу блистательно решила переводчик Ольга Петерсон. Расположенные рядом оригиналы и переводы обнаруживают глубинную общность двух культур и привлекают современной поэтической интонацией».

Янис Райнис

Восходящий на гору

...И станет одиночество всё глуше,
Друзья устанут за тобой идти,
Всё реже встретишь ты родную душу
Или простой цветок на полпути.

И их не будет — горы тишиною
Охватят с е р д ц е и сожмут в горсти;
Ты на вершинах не найдёшь покоя:

Вокруг тебя ледовый вечный щит,
А вся тоска земли в груди горит.

(Из сборника «Далёкие отзвуки в синем вечере», 1903)

Королевна

В грозный день однажды
Кровь хлестала ливнем,
Скрылся в бездне замок с королевной...

Дева-королевна
В замке под землёю
Ровно шесть веков сидит за прялкой.

В том янтарном замке
Пол зелёно-медный,
Свод жемчужный и стальные балки.

Королевна крутит
Громовую прялку:
Нити — молнии, катушка — яхонт.

С золотого трона
Смотрит вдаль угрюмо.
Чёрный пёс у ног её на страже.

Пёс поводит мордой,
Раздувает ноздри,
На земле почуяв запах крови...

Грозный день наступит,
Кровь прольётся ливнем,
И восстанет замок с королевной.

Королевна выткет
Полотно из света,
В радугу вплетая стрелы молний.

Полотном из света,
Солнечную тканью
Всех согреет, всех, кто обездолен.

(Из сборника «Далёкие отзвуки
в синем вечере», 1903)

Голос и отголосок

Где любовь, что во мне жила?
Предала.

Где то, что свято и дорого мне?
Упало в цене.

Где мои сады в цветущей красе?
Голые все.

Где мои сыны из огня и стали?
Убиты и тенью стали.

Время проехало колесом по судьбе —
Но я не изменил себе.

Под колесом всё сделалось пылью-трухою —
Снова построю.

(Из сборника «Конец и начало», 1912)

Моя радость

— Где радость, покажи! — Она не близко.
— Легко найти? — Глаза не прогляди.
— Пойдёшь с утра, покуда солнце низко?
— В ночь, на костёр, горящий впереди.

— Путь долог? — От рассветов до рассветов.
— Что по дороге? — Пекло да стерня.
— Где встретишь ты её? — У края света.

— Узнаешь как? — Ждёт пастырь у огня,
Обняв ягнят. — Он ждёт других! — Меня.

(Из сборника «Конец и начало», 1912)

Утешение

А если труд я не закончу свой,
И ночь меня накроет с головой?
А если те, что завершат мой труд,
Его нескоро миру отдадут?
— Ступай спокойно! Так устроен свет:
Есть лучшие, незаменимых нет.
Мир не привязан к людям, потому
Себе ты нужен, больше — никому.

(Из сборника «Конец и начало», 1912)

Старая домовина

Я поднял крышку старой домовины,
Встал спёртый дух — он странен и знаком:
Мне жизнь, истлевшую наполовину,
Из мрачных недр являет вечный дом.

Там прель моих страданий, гниль болезни,
Там грязь души, замытая с трудом,
Останки мыслей с именем «Исчезни!»,
Там и один росток надежд моих
Совсем истлел... Так много было их.

(Из романа в стихах «Пять эскизных тетрадей Дагды», 1920—1925)

Блудный сын

Тьма, дождь, и ветер воет за окном.
Босой, в отрепьях, еле он влачится.
Вам кажется, что это в отчий дом
Раскаявшийся блудный сын стучится?

Но гляньте, он не сломлен, и огнём
Карающим сверкает багряница
Сквозь дыры ветхого рванья на нём.

Нет, не служить вам он идёт упрямо,
А вас судить и вас изгнать из храма.

*(Из сборника «Далёкие отзвуки
в синем вечере», 1903)*

Аспазия

Жизнь — не Бетховена соната

Жизнь — не Бетховена соната, нет,
Не прогремит, как гром, в горах играя,
Она мелка, ничтожна и узка.

Найдётся ль в ней трагедия такая,
Чтоб вознесла или повергла в прах?
Нет, жизнь всего лишь улица кривая,

Которая нас в сторону ведёт
Другой дорогой от великой цели,
А дальше мы плутаем в темноте.

Вдали, как миражи, мерцают еле
Наш прежний пыл, стремленье и порыв —
Их спрячет время под слоями прели;

Тогда забудем в бестолковой гонке,
Зачем, откуда и куда несёмся,
Пока сухим листком от ветки тонкой
От жизни наконец не оторвёмся.

(Из сборника «Сумерки души», 1904)

Ветер родины

Вниз в тесноту, крыло в крыло вжимая,
Бросаюсь я нырять между углами,
Играть на крышах, с дымом дым сплетая,
Трепать солому, вверх её швыряя,
Ах, кабы видеть то, что за домами!

Туда хочу я, где мой род и раса
Не знают сна и отдыху не рады,
Где сонмы злых сестёр, летящих разом, —
Обильных капель в ледяных кирасах —
Секут и хлещут землю острым градом.

Но я от них любви не ожидаю,
Я полечу обняться крепче с братом —
Ударом молнии, что страх рождая
И плащ светлее утра раскрывая,
Мир заливает блеском синеватым.

Хочу я дальше, дальше — к солнцу в гости,
Где вьёт гнездо орёл на скальной круче,
Где по степям белеют волчьи кости, —
Куда бы ни было меня забросьте,
Я буду продолжать свой путь летучий!

Я убегу от принужденья, чтобы
Всё дальше, только дальше мне стремиться
Туда, где не держал, не ждал никто бы
И где, свободен от любви и злобы,
Я мог бы вихрем бесконечно виться.

Но если бы я наконец остался
С великою свободой, только с нею,
Я всё, я всё стряхнул бы и помчался,
Чтобы мой след в пустыне затерялся,
Саму бы жизнь я сбросил не жалея!

(Из сборника «Ворох цветов», 1911)

Крылья будней

И в буднях есть золото —
Только отрой!

Лицо у будней закрыто
Серой фатой.

Будни только и ждут:
«Попробуй-ка нас открыть!»

Есть и у будней загадки,
Отчего не решить?

Будни, думаешь, мелочь —
Не праздник, не именины.

Зато из будничной мелочи
Сложены величины.

Смотришь на будни, они тебе
Кажутся дрянью да пылью.

Глубже копай, ищи,
И вырастут крылья.

(Из сборника «Простёртые крылья», 1920)

Двоесущее

Полузвезда иль получеловек,
Сквозь жизнь мою ты шёл, не открываясь,
И дальше всё уходишь, обращаясь
То белым ослепительным свеченьем,
То чёрным ужасающим виденьем,
По-прежнему все тайны хороня.

*

Меж осенью и поздней весной
Ты радужными яркими лучами
И блещущими пёстрыми цветами
До самых слёз распахивал мне зренье,
Мне сыпал драгоценные каменья
В подол, играя ими и звеня.

*

Меж настоящим и минувшим бытиём,
В том, что зовётся смертью остальными,
Живой ты предо мной стоишь поныне.
Едва ли только слышишь ты — не знаю, —
Как, словно Богородицу, пронзая,
Все семь мечей проходят сквозь меня.

(Из сборника «Путешествие души», 1933)

Золотая роса

Мы не начало и не окончанье,
И все несёмся с бурей бытия.
К чему тревога, суета, печали,
Когда бессильно собственное «я»,
Когда живем мы ни себе, ни людям —
Мы только капля во вселенском море,
Луч света в звёздном мировом соборе.
Мы связаны великою войною,
Где бьются свет и тьма на поражение,
И среди звёзд крутящейся толпою

Мы в такт звучим и как по мановенью
Из стройного космического хора
Выскакиваем, словно метеоры.
Нет нас? Есть мы? Нас кто-нибудь желает?
Ныряем вглубь, летим ли над верхами,
Кричим от боли иль поём стихами,
Нас и не слушают, и не читают!
Мы золотой росой выпадаем,
И всех нас утром солнце собирает.

(Из стихов, не опубликованных в сборниках)

Фарид Нагим

Нам двадцать лет

Две короткометражные повести

Под платанами

Предрассветное марево. Дрожащими, рвущимися полосками поднимается над морем солнце. Оно едва показалось, но болтающаяся форточка маленького домика высоко в горах уловила первый луч, играет с ним.

Море хмурое. Шероховатые, тяжелые волны розовеют по верху. Холодная хрипотца в криках чаек.

По пляжу ходит старик с металлоискателем. Он водит им из стороны в сторону над прибрежной галькой, будто косит траву. Замирает над тем местом, где запищало, склоняется и тщательно просеивает мелкие камешки самодельным лотком с дырками. Идет дальше. Металлоискатель пищит, а старик оперся на него и задумчиво смотрит вдаль.

Трасса. На обочине голосует Слава. У ног — небольшой чемодан, через плечо — сумка-портфель из кожама — печальная примета старика-неудачника.

Останавливается «рабочий» автобус.

СЛАВА. До Ялты возьмете? Троллейбусиз Симферополя встал вон на улавливателе!

ВОДИТЕЛЬ. Полезай!

СЛАВА. Сколько?

ВОДИТЕЛЬ. А-а, не дороже денег, полезай, дед.

СЛАВА. Сам ты дед, товарищ.

Слава поднимается и сильно хлопает дверью.

ВОДИТЕЛЬ. Ты че так садишь? Холодильника дома нет?

СЛАВА. Есть, «ЗИЛ» называется. Знаешь, какая у него дверь?

Натужно кашляя и сморкаясь, коробка передач передергивается на другую скорость. Автобус удаляется.

Малогабаритная квартира. Дверь шкафа в прихожей болтается на одной петле. Стены увешаны акварелями.

Лариса листает старую записную книжку, набирает номер на телефоне. Проводок у трубки перехвачен изолентой.

ЛАРИСА. Алло. Добрый день. Я представляю интересы Ларисы Сергеевой, члена Национального союза художников, Заслуженного художника Республики Крым.

Фарид Нагим — прозаик, драматург. Родился в селе Буранном Оренбургской области. Его пьесы шли в Германии, Швейцарии, Польше. Печатался в журналах «Дружба народов», «Литературная учеба», «Октябрь». Финалист премии И.П.Белкина (2009), лауреат премии журнала «Дружба народов» (2010), премии «Москва—Пенне» (2012). Автор романов «Земные одежды» (2010), «Tanger» (2011). Живет в Москве.

Мы готовим к юбилею выставку ее работ и хотели бы договориться с вами об аренде зала... Да? А нам говорили, что деятелям культуры бесплатно можно. Что? Сами вы, простите, сумасшедшие...

Лариса набирает другой номер.

ЛАРИСА. Алло. Добрый день. Я представляю интересы Ларисы Сергеевой, члена Национального союза художников, Заслуженного художника Республики Крым. Мы готовим к юбилею выставку ее работ и хотели бы договориться об аренде зала... Что? Директор занял зал под кабинет? Я не знала. Простите.

Набирает новый номер.

ЛАРИСА. Алло. Добрый день. Я представляю интересы Ларисы Сергеевой... Звонила уже? Ну, тем лучше, потому что я забыла сказать, что поскольку у нас культурное заведение, то вы обязаны... Что?! Сами вы, простите, халявщики!

Лариса снова листает записную книжку. Задумчиво смотрит вдаль.

Город. Останавливается автобус. Слава сходит, роняет чемодан, чертыхается.

Солнце всюду. Полыхают окна, сияют очки. Ослепительно вспыхивают — будто брызги — женские волосы на ветру.

Слава поднимается по крутым узким переулкам. Из подворотни появляется лохматый пес. Слава останавливается и смотрит на него с испугом.

СЛАВА. Пошел... пошел отсюда!

Вдруг из-за поворота выкатывается арбуз, спугивает пса и угрожающе несется вниз по переулку. Вслед за ним, взмахивая прорвавшимся пакетом, выскакивает девчонка. Грузный шар подскакивает на асфальтовой кочке и лопається. Девчонка понуро замирает над сочными черепками.

СЛАВА. Дорого стоил?

ДЕВОЧКА. Сто пиисят гри... рублей.

Слава вздыхает, роется в карманах и протягивает ей деньги.

СЛАВА. На. Беги на рынок. И проси, чтоб в два пакета положили!

ДЕВОЧКА. Спасибо, дедушка!

Слава останавливается возле небольшого кирпичного домика. Надпись «Секонд хенд. Товары из Европы».

Входит. Внутри полумрак. Женщина смотрит телевизор и, не отрываясь от экрана, монотонно озвучивает.

ЖЕНЩИНА. Поздравляю. Объявляется счастливый час. В течение его — скидка двадцать процентов на все.

Слава брезгливо перебирает товар и вдруг находит яркую рокерскую рубашу с длинными уголками воротника. Рассматривает ее. Украдкой достает деньги, пересчитывает. Явно не хватает. Он косится на тетку и лихорадочно запихивает комок рубашки в сумку.

Старая квартира. Всюду пыль. Высокие обветшалые потолки. Бархатисто-пыльные, будто покрывшиеся патиной, обои. Стены до верха заставлены книгами, они словно кирпичики мироздания. Громоздкое кресло, шкафы изощренных форм, проигрыватель Rigonda, пластинки — Моцарт, Бах, концерты Вильгельма Фуртвенгера, Эмиля Гилельса; фотографии Чехова, Бунина, Хемингуэя.

Резкими порывами, точно дождь по жести, строчит пишущая машинка.

На столе пухлый фотоальбом в бархате и пожелтевшие газеты: «Крымская правда», рассказ «Бабушка», автор Вячеслав Суходолов; «Вечерний Симферополь», рассказ «Ожидание», автор Вячеслав Суходолов.

Звонок телефона. Слава отрывается от машинки, покашливает, снимает трубку.

СЛАВА. Алло. Слушаю.

ЛАРИСА. Ну что, Слава, не узнаешь меня?

СЛАВА. Узнаю, как не узнать.

ЛАРИСА. Давно приехал?

СЛАВА. Недавно.

ЛАРИСА. Ходят слухи, что ты меня ненавидишь.

СЛАВА. Зачем мне тебя ненавидеть, Лариса?

ЛАРИСА. Я не виновата, Слав.

Слава видит свое отражение в зеркале — он в трусах и рокерской рубаше, которая не сходится на животе. Смеется.

ЛАРИСА. Ну правда. Чего ты?

СЛАВА. Я рубашку в секунде взял... Из наших шестидесятых, а она на пузе не сходится.

ЛАРИСА. Давай встретимся и поговорим. Ты что, не можешь выйти?

СЛАВА. Ну, могу. Где?

ЛАРИСА. На нашем месте, у горисполкома.

СЛАВА. Под платанами у фонтана?

ЛАРИСА. Согласна, так лучше звучит.

Слава гладит брюки через газетку. Спрыскивает ее водой изо рта. Старый советский утюг тарыхтит, хрустит каплями, с веселым кряхтением подпрыгивает на брюках.

Слава смотрит на фотоальбом. Приподнимает толстую обложку и быстро закрывает.

Солнце накручивает из трещинок на полировке стола сияющий жаркий шар. Крики чаек пронзительными осколками за окном.

Слава стоит у зеркала, поправляет волосы, укладывает длинный седой клоч, пытаюсь замаскировать лысину. Вздыхает и выходит. В тишине скрипит замок. На столе остается включенным утюг.

Город. В этом месте улица Найденова делает поворот, и на самом изгибе, с обрыва, открывается вид на черепичные крыши и море. Из глубины воспаряют чайки и тяжело балансируют на гребне воздушной волны. Слава с подслеповатой улыбкой шурится на солнце, не замечая, что за ним от самого подъезда следит подросток.

Слава заходит в церковь и покупает свечу. Стоит у иконы Николая Чудотворца.

СЛАВА. Господи, сделай так, чтобы он не болел и никого не боялся. Чтобы хорошо учился. Чтобы его любили.

Зажигает свечу. Смотрит на икону. Выходит. Ослепительный жар дня, мрачная зелень пальм у церковных стен, синтетическая бирюза моря.

Площадь у горисполкома. Гигантский платан, с библейским величием презревший все физические законы. Голова кружится, и взгляду легко заблудиться в мощном струении и доисторическом переплетении мускулистых ветвей — каждое как отдельное дерево. Кажется, платан нисходит с небес, ниспускается и орошает землю листвою.

На скамейках пенсионеры и бомжи. По лицам и одеждам движутся тени листьев, выписывая замысловатые водяные знаки. Слава поправляет седую прядь и хмурится. За ним неотступно следит все тот же подросток.

Слышен детский плач. Мимо фонтана идут две женщины, пожилая и молодая, а между ними мальчуган. Он трет кулачком глаз, смотрит вверх и плачет. Слава видит шарик в небе, который, видимо, упустил мальчик. Пожилая толкает молодую в плечо. Слышен смех молодой женщины, извиняющийся и в то же время насмешливый. Шарик высоко поднялся в небо, выше чаек и нежных, тонко-белых облаков.

Появляется Лариса.

ЛАРИСА. Я так рада, Слава! Я так давно здесь не была!.. Ну, чего ты?

СЛАВА. То, что вы сделали с Люси де Пьер, оскорбительно. Она жадная. Вы меня унизили... А мне что? А мне осталось из-под тахты выметать «Абрау Дюрсо» и разбитые фужеры.

ЛАРИСА. Есть вещи, которые невозможно объяснить.

СЛАВА. Все вы так говорите.

ЛАРИСА. Ну, если я так виновата, возьми хотя бы полторы тыщи.

СЛАВА. Что ж, спасибо и на этом.

ЛАРИСА. А я скоро уеду. У меня выставка в Испании. Месяца два там придется пожить.

СЛАВА. Мне это неинтересно. Я пойду.

ЛАРИСА. А куда ты пойдешь?

СЛАВА. Хотел сходить к Лактионовой. Это все равно рядом.

ЛАРИСА. Лактионихе! Ну так пошли! А где она живет?

СЛАВА. Она не живет... Она живет в общежитии «Магарача».

ЛАРИСА. Слушай, мысль! А давай соберем наш класс, кто остался?

СЛАВА. В наши годы? Самой не смешно?

ЛАРИСА. Ну и что? Подумаешь — семьдесят. Отметим... мой отъезд. И что уж там, аншлаги на моих выставках в республике.

СЛАВА. И выпьем!

Им в лица заглядывает полупрозрачный край платанового листа.

Здание бывшей мужской гимназии. Вывеска: «Общежитие института виноделия и виноградарства «Магарач». Облупленная дверь. На ней кодовый замок. Пытаются набирать что-то. Дергают за ручку.

Сзади подходит мужчина и строго смотрит на них.

МУЖЧИНА. Позвольте?

СЛАВА. Лактионова здесь живет? Нам к ней надо.

МУЖЧИНА. На втором этаже.

Поднимаются. Слава стучит, Лариса стоит на пролет ниже. Тишина.

СЛАВА. Вера! Вера! Это я — Слава!

ЛАРИСА. Ладно. Пойдем. Чего тебе эта Лактионова?

Понуро спускаются во двор. Идут. Их окликает хриплый женский голос.

ЛАКТИОНОВА (*курит и кричит с балкона*). Ребята! Стойте! Я не могу выйти, у меня кошки!

СЛАВА. Приходи к платанам! Мы там соберем всех «французов».

ЛАКТИОНОВА. Мне надо забежать в парикмахерскую, а потом я возьму такси и — к вам. А кто придет?

СЛАВА. Совершенно неизвестно, кто.

ЛАРИСА. Может быть, мальчики былых времен? Разумеев, Баютов, Комиссаров.

СЛАВА. Разумеева убили за зарплату, Баютов повесился.

ЛАРИСА. А Витька?

СЛАВА. Комиссаров — генерал КГБ. Вряд ли мы его дождемся. Он ходит только на задания.

ЛАРИСА. Вот мы и дадим ему задание.

Слава и Лариса выходят со двора на улицу. Обходят фонарный столб с разных сторон.

ЛАРИСА. Привет.

СЛАВА. Чего ты?

ЛАРИСА. Когда двое обходят что-то с двух сторон, надо сказать: привет. Чтобы невидимая связь не прервалась. Внучка так говорит.

СЛАВА. Хм. Привет... У Лактионовой приятный хриплый голос.

ЛАРИСА. Верно.

СЛАВА. Мне всегда нравился женский голос с хрипотцой.

ЛАРИСА. Я уже поняла. А чего мы стоим?

СЛАВА. Давай зайдем к старушке Ханило в музей? Я обещал ее забрать.

ЛАРИСА. Прекрасно.

СЛАВА. Ты ее помнишь?

ЛАРИСА (*передразнивает*). Тут сидел Козловский! Не трогайте, это уже музейный экспонат!

СЛАВА. Не теребите книгу, там автограф Паустовского!.. Она подумает, что у нас с тобой романчик.

Слава и Лариса поднимаются вверх по улице.

Дом-музей А.П. Чехова.

Слава и Лариса проходят мимо группы экскурсантов.

ЭКСКУРСАНТ. Получается, Чехов и Книппер не спали в одной постели, а расходились по этажам?

ЭКСКУРСОВОД. Книппер, пардон, храпела. Чехов не выносил этого. Притом, он ночью сочинял. Днем ему не давали экскурсанты, пардон, посетители.

Слава обращается к сотруднице музея.

СЛАВА. Извините, не скажете, где Алла Васильевна?

СОТРУДНИЦА (*шепотом*). В комнате Марии Павловны.

Слава и Лариса поднимаются по лестнице.

Немного покачиваясь и подрагивая, им навстречу поднимается Алла Васильевна Ханило. Розовошее лицо, голубые глаза и тонкие, седые волосы.

ХАНИЛО. Ах, Слава, наконец-то!

СЛАВА. Вы так говорите, будто любовника молодого заждались.

ХАНИЛО. Ах, Слава. Я моложе вашего папы на несколько классов.

СЛАВА. Алла Васильевна, это Лариса, моя одноклассница. Не помните?

ХАНИЛО. Что?

ЛАРИСА (*громко*). Лариса! Одноклассница!

Алла Васильевна отворачивается, хнычет.

СЛАВА. Что с вами?

ХАНИЛО. Пойдемте, пойдемте скорее, Слава.

Спускаются вниз. Алла Васильевна всхлипывает, как девчонка. Выходят за ворота.

СЛАВА. Вы скажете, наконец, что случилось?

ХАНИЛО. Спилили любимую грушу Ольги Леонардовны! Менеджеры от культуры!

ЛАРИСА. О, господи!

ХАНИЛО. Директор хочет покрыть лаком паркет в кабинете Антона Палыча!

СЛАВА. Как? Это же мемориальный объект!

ЛАРИСА. Может, он хочет и кабинет директора сделать в кабинете писателя?

Так бывает, я знаю.

СЛАВА. Я поймаю авто. У меня есть деньги!

Слава останавливает машину. Садятся. Слава декламирует в тишине.

СЛАВА. Алла Васильевна, мы посадим новый сад! Лучше этого!

ЛАРИСА. И увидим небо в алмазах.

ВОДИТЕЛЬ. Эх, здесь у крымских татар такие сады цвели! Персиком захлебнуться можно было!

СЛАВА (*показывает*). А здесь было Ялтинское КГБ. Меня сюда приглашали.

ЛАРИСА. Зачем?

СЛАВА. Поздороваться... Проверить — потеют ли у меня ладони.

Останавливаются. Слава помогает дамам выбраться.

Парадная старинного ялтинского дома. В таких домах, как в раковине, слышен шум моря.

Квартира Ханило похожа одновременно на музей и антикварный магазин. Здесь много фотографий Чехова и Козловского.

На стене большой портрет Аллы Васильевны.

ЛАРИСА. Какой роскошный портрет!

ХАНИЛО. Французская пастель.

ЛАРИСА. Шарман! Очень хрупкая техника.

СЛАВА. Лариса — художница. Аншлаги на вернисажах! Скоро уезжает на выставку в Испанию.

ХАНИЛО. Что?

СЛАВА. Ничего, я так.

ХАНИЛО. Лариса, в этой квартире пел Козловский. Иван Семеныч поднимал бокал за мою молодость. Я родилась здесь в двадцать восьмом и прожила всю жизнь.

Серьезная пожилая женщина пронесит поднос с чайником и чашками.

ХАНИЛО. Это Машенька. Шефствует по линии горисполкома. Я почетный гражданин Ялты.

Слава хочет присесть на диван.

ХАНИЛО. Нет-нет, Слава, там сидели все актеры Художественного театра. Это, по сути, музейный экспонат. Лариса, осторожнее, там автограф Маршака.

ЛАРИСА. О, господи!

ХАНИЛО. Он называл меня маленькой хозяйкой большого дома, имея в виду музей Чехова. И так мастерски подделал автограф Джека Лондона на этой книжке, что...

МАШЕНЬКА. Ну так куда ставить-то?!

ХАНИЛО. Давайте на веранде разгребем немного... Хотя и здесь музейные уже вещи, к ним и прикасаться-то нельзя. Машенька, прошу, вы сейчас подносом сшибете подарок Мориса Тореза.

МАШЕНЬКА. Я все понимаю, а ставить куда?!

Веранда. В окно свисает дикий виноград. Пьют чай. Молчат. Позвякивают ложечки. Доносится далекий шум прибоя, крики чаек. Машенька сидит в отдалении и громко хлопает.

ХАНИЛО. Вот День Победы... Зовут, придумывают Аллеи памяти. Зачем эта бюрократия? Я все вспоминаю о соседском мальчике. Я в память о нем осенью посажу дерево.

ЛАРИСА. А что за мальчик, Алла Васильевна?

ХАНИЛО. Прибыл мальчик... остался без родителей. Ему 18 лет. Призвали, отправили защищать Арабатскую стрелку. Попал в первые бои. Пришел черный.

МАШЕНЬКА. Алла Васильевна, вы на сквозняке. Вас просифонит. Возись потом с вами.

ХАНИЛО. Ялта. Осень. Немцы подходят к полуострову. Мы зажгли керогазы всем домом. Накормили его, все постирали, потому что ему утром надо было в Севастополь. Он спал, а мы на нескольких досках гладили утюгами его вещи. Чайки стенали на куполе. А он так сладко спал. Потом я увидела его фамилию среди погибших на 35-й батарее, и она была неправильно написана. Я добьюсь, чтобы исправили.

Тишина. Сумерки.

МАШЕНЬКА. Ларис, а ты в двадцатке училась?

ЛАРИСА. Да-а.

СЛАВА. Отец погиб под Берлином. Не долечил ранение, просился в бой. Я уже три жизни за него прожил! Помянем, а? В этом музее найдется бокал вина?

ХАНИЛО. Вот за что вас люблю, Слава! Машенька, не в службу, а в дружбу!

МАШЕНЬКА. Алла Васильевна!

ХАНИЛО. Машенька!

Машенька уходит и приносит на подносе графин и фужеры.

ХАНИЛО. Разлейте, Слава. А то чай да чай. Чай — не водка, много не выпьешь!

Слава разливает. Держат фужеры в руках, молчат.

ХАНИЛО. За тех ребят... Вздоргнем.

Пьют.

ЛАРИСА. Как хорошо!

СЛАВА. Массандра! Как я люблю это вино! Сидишь в морозной Москве, и вдруг небо само по себе вспоминает «Мадеру», вкус каленого орешка, какие-то нарядные ароматы.

ХАНИЛО. Между первой и второй — перерывчик небольшой!

МАШЕНЬКА. Вам потом плохо будет. Возись с вами.

ХАНИЛО. Машенька, я не сопьюсь — мне уже поздно.

МАШЕНЬКА. Вы — эгоистка!

ХАНИЛО. Машенька! Я вспомнила! Расскажите ребятам о своем муже.

МАШЕНЬКА. Я уже сто раз говорила за это!

ХАНИЛО. Муж Машеньки — ученый астрофизик в лаборатории Академии наук в Кацивели.

МАШЕНЬКА. В рюмку чаще заглядывал, чем в тот телескоп!

ХАНИЛО. Сделал удивительное открытие — он как-то там, в страшном далеке, рассмотрел планету, чрезвычайно похожую на Землю. Я сейчас не вспомню название...

МАШЕНЬКА. Лучше бы он что другое рассмотрел!

ХАНИЛО. Все идентично — масса, атмосфера и необходимый для жизни парниковый эффект. Но там нет жизни. Все есть, а жизни нет.

МАШЕНЬКА. И мне не было, канитель одна.

ХАНИЛО. Наша планета, ребята, уникальный проект. И нам с вами выпал невероятный космический шанс. Подумайте.

МАШЕНЬКА. Говорила мне мама — за Генку выходи...

ХАНИЛО. Так, а к чему я это вспомнила? Не помню.

СЛАВА. Посмотрите на солнце, в этом фужере горит золото.

ХАНИЛО. Жизнь — это чудо!

Пьют.

МАШЕНЬКА. Ларис, а ты не замужем?

Лариса растерянно смеется.

ХАНИЛО. Машенька, вы, пожалуй, идите уже. Можно пораньше сегодня.

ЛАРИСА. Была когда-то.

ХАНИЛО. Слава, наливайте... Я вышла замуж в шестьдесят три, за профессора из Глазго Питера Генри. Он приезжал с докладом на Чеховские чтения.

СЛАВА. О-о! Вы дождались своего принца!

ХАНИЛО. С год прожила в Шотландии. У него почти замок, камин, собаки, а я затосковала. Russian melancholy... Оставила его. Звонит. Так хорошо порой звучит этот голос в зимней ялтинской ночи.

СЛАВА. За вас, Алла Васильевна! Я пью душой.

ХАНИЛО. Ах, Слава, вам так идет выпить! Вам говорили это?

СЛАВА. Алла Васильевна, знаете, а ведь вы известная личность теперь в Москве!

ХАНИЛО. Ох, да! Меня прославил московский писатель Шаргунов. Он написал где-то, что я вышла из дома на избирательный пункт, по дороге сломала ногу, но повелела даже такую меня нести голосовать... Посмотрите, я могу кому-то что-то повелеть? Как про меня можно такое сказать? Да, было штормовое предупреждение, но я все равно выбралась из дома, пошла на избирательный пункт, и меня сдуло ветром!

СЛАВА. Выпьем!

ЛАРИСА. О, боже!

ХАНИЛО. Сдуло на решетку. Повредила руку, сломала лицевую кость... Вот, видите? Кто-то доставил меня в травмпункт. Урну принесли в больницу.

ЛАРИСА. Урну?

ХАНИЛО. Избирательную урну.

СЛАВА. За вас! Пью душой!

ЛАРИСА (*тихо*). Слава, нам пора. Старушка устала.

ХАНИЛО. Лариса! Я все слышу! Слава, на посошок!

СЛАВА. Выпьем.

ХАНИЛО. Посидите еще немного, не уходите. Я ведь остаюсь совсем одна. Слава, налейте на ход ноги.

ЛАРИСА. Как-то холодком потянуло.

СЛАВА. За вас!

ХАНИЛО. Жизнь как один миг! Вон там, посмотрите.

ЛАРИСА. Что там, Алла Васильевна?

ХАНИЛО. Там сидела девочка, болтала ногами в гольфах и сандалиях, дерзко встряхивала хвостиком... и вот ей уже восемьдесят с хвостиком. Выпьем.

Пьют. Гости уходят. Ханило остается одна. Слышно, как под верандой проходят Слава и Лариса.

СЛАВА. Мне всегда так жалко ее оставлять!

ЛАРИСА. Нас бы кто пожалел...

Виноградные листья прожигает закатный луч. Ханило прикрывает глаза козырьком ладони. Потом наливает себе в рюмочку. Протягивает ее, чокаясь с кем-то невидимым.

ХАНИЛО. Жизнь — это уникальный шанс. Жаль, никто не понимает. И эти не поняли. Да и я в их годы не понимала.

Площадь у «Сатурна». Слава и Лариса ждут под платаном. За ними следует подросток. Звонит по мобильному.

ЛАРИСА. Я позвонила и предупредила Домжо и Крантипова.

СЛАВА. Домжо?! Мы с ней в одном дворе живем. Я эту клушу каждый день вижу!

ЛАРИСА. Ну вот и пообщаетесь.

СЛАВА. Помнишь, Крантипов ухаживал за дочерью директора Никитского ботанического сада? Это был сад всесоюзного значения!

ЛАРИСА. Это было старческое ухаживание, не юношеское. В каком-то макинтоше. Папка какая-то. Какой-то Виктор Викторович в шляпе и очках. Он просил, чтобы мы заставили ее с ним общаться.

СЛАВА. А Домжо — старушка-девушка. Ты не знаешь, наверное, она училась в Киеве и всю жизнь проработала библиотечаршей. Все подкалывает, мол, когда принесешь свои книги, Слава? Она не Домжо, правда, у нее теперь другая фамилия.

Улица Найденова. Звонит телефон у Вора. Он слушает, хмыкает.

БОР. Я вас алле! На месте!.. Зоны покрытия не было! Без булды! Антиквар — это для правильного пацана маза.

Площадь. Появляются Домжо и Крантипов.

КРАНТИПОВ. Слава, ты?! Ха-ха, ты знаешь, сколько я тебя не видел?!

СЛАВА. Сколько?

БОМЖ. Мужчина, дайте денег на пирожки.

КРАНТИПОВ. Пятьдесят лет! Сколько прошло! У меня уже внучка в Москве будет защищать диплом. Я поеду на защиту.

Сели на скамейке. Домжо кивает Славе. Молчит, внимательно всех рассматривает.

СЛАВА. Сколько прошло? А ничего не прошло. Сколько еще пройдет с нами и без нас?

ЛАРИСА. Как ты, Домжо?

ДОМЖО. Не фамильничай, Сергеева. И я уже давно не Домжо... У меня дети и внуки.

КРАНТИПОВ. Слава! Ты облысел! Ну, гигант!

ДОМЖО. Дурной волос умную голову покидает.

КРАНТИПОВ. Чи наоборот?

ЛАРИСА. Куда же нам пойти, куда податься?

СЛАВА. Друзья, у меня полторы тыщи!

БОМЖ. Дайте денег на пирожки.

СЛАВА. Надо пойти выпить за уцелевших. А пошли на рынок? Там кафе — татары сами для себя готовят. Вкусно! Я приглашаю!

ЛАРИСА. А пошли!

СЛАВА. Стоп, Лактионику подождем.

БОМЖ. Люди, дайте денег на пирожки.

Появляется Лактионова.

ЛАКТИОНОВА (покуривая, хрипло). Я иду, ребята! Бонжюр! Ну, как вы все? Со Славкой-то мы время от времени виделись и напивались.

СЛАВА. Надо тебе это сказать, что мы напивались?

КРАНТИПОВ. Внучка в Москве защищается.

Вдруг напротив них останавливается старуха. Смотрит.

СТАРУХА. Ребята, вы такие красивые! Девочки, где вы так хорошо одеваетесь?

ЛАРИСА, ЛАКТИОНОВА (*хором*). Исключительно в секонд-хенде!

СЛАВА. В кафе! Я приглашаю. И выпьем!

ЛАРИСА. Славка сегодня богатый!

Дешевое кафе на рынке. Навес, обтянутый маскировочной сеткой. Играет радио.

В отдалении молодой парень ворочает плов в огромном казане. Сквозь лохмотья сетки — жирная и пестрая рыночная круговерть — то ли человеческие головы лежат, то ли арбузы с дынями идут по рядам.

Все рассаживаются. Через столик от друзей пьет чай старик крымский татарин.

СЛАВА. Друзья, а знаете, что говорят русские чаще всего, когда открывают меню?

КРАНТИПОВ. Слава опять умнее всех.

ЛАРИСА. Ну, что? Даже интересно.

СЛАВА. Они говорят: та-ак.

КРАНТИПОВ (*раскрывая меню*). Та-ак.

ЛАРИСА. Та-ак.

К столику подходит официантка, молодая и застенчивая крымская татарка.

Достаёт блокнотик.

ЛАКТИОНОВА. Та-ак! Купим мускат. Славка хочет мускатель.

СЛАВА. Славка хочет мускатель!

ЛАКТИОНОВА. Давайте возьмем лучше розовый, он легче. Или красный.

Впрочем, это полудесертное вино... так с какими-то колебаниями, мускатель именно.

СЛАВА. Славке идет выпить.

КРАНТИПОВ. Я — пива. Славутича, литр, будь ласка.

ЛАРИСА. И я. Иногда хочется от вина отдохнуть. И курицу!

ЛАКТИОНОВА. О! Совиньон блан я у вас вижу. Нам с этим дядей по сто пятьдесят. Мускатель позже, пусть подышит.

СЛАВА. Вы что думаете, я знаменитый и богатый писатель?

КРАНТИПОВ. Слава, только не думай, что ты один такой лысый и тяжело живешь. У меня двое внуков.

Улица Найденова. Квартира Славы. Утюг начинает шелкать.

СЛАВА. А помните, как Пашкетова лужу образовала у доски?

КРАНТИПОВ. Приятного аппетита, как говорится.

ДОМЖО. Ага, не говори.

КРАНТИПОВ. И не говори, подруга, у самой муж пьяница!

ЛАРИСА, ЛАКТИОНОВА. Да, да!

СЛАВА. Вы это помните? Я думал, я один помню. А я, второгодник, стоял в углу рядом, увидел и захихикал, дурак. Евгения Васильевна говорит: «Иди, сядь!»

ЛАКТИОНОВА. Насколько зажаты были. Боялись в туалет отпроситься. Произнести слово «туалет» было стыдно.

КРАНТИПОВ. И не говори, подруга, у самой муж пьяница!

Официантка приносит два бокала вина.

ЛАРИСА. Ах, какой запах!

ЛАКТИОНОВА. Запах в сортире. А здесь — аромат! Аромат чего, Слава?

СЛАВА. Пожалуй, весеннего утра в апреле.

ЛАКТИОНОВА. Ну да, хорошо, ты верно унюхал. Особенно это относится к Шардонэ. Там весна! Там апрель цветов!.. Друзья, «французы», выпьем за уцелевших!

КРАНТИПОВ. Домжо, а вы что не пьете?

ДОМЖО. Пиво холодное.

КРАНТИПОВ. У моей внучки на защите в Москве какой-то очень известный диссидент. Я за нее выпью.

ЛАРИСА. Наверное, не диссидент, а оппонент.

КРАНТИПОВ. А я шо сказал?

ДОМЖО. Будьмо!

СЛАВА. Я сидел с двоечником Ермаковым. Он сгibal голый локоть и показывал складкой, что так у девочек.

ЛАКТИОНОВА. Славе больше не наливать!

ЛАРИСА. Хорошо, что мы вовремя от него избавились.

КРАНТИПОВ. А я вот избавлюсь от баранины. А вы что не кушаете, Домжо?

ДОМЖО. Та курица пресная, як та подошва.

ЛАРИСА. А Латышева жива-здорова?

СЛАВА. Евгения Васильевна ее не любила, она была отличницей.

ЛАРИСА. У нее отец был повар, у нее были блестящие одежды! На вечер пришла в черных чулках! ЕВэ была в шоке и все боялась, что Латышева принесет в подоле.

ЛАРИСА. Мы все чего-то такого искали. Мы ждали любви.

ЛАКТИОНОВА. Турчика.

СЛАВА. Ну, Юлия Сергеевича не будем трогать. Это известный писатель.

КРАНТИПОВ. Что за себя могу сказать? У меня машина, внучка, земельный участок в Гурзуфе... Ну, а вы, вы чего добились?

СЛАВА. А мы добились того, что остались свободными. А мы вот свободные люди. За свободу, друзья!

ЛАРИСА. Я связана с квартирой.

КРАНТИПОВ. Слав, ты закусывай.

СЛАВА. Мне идет выпить!

КРАНТИПОВ. Лактиониха, ты не сопьешься?

ЛАКТИОНОВА. Я не пью!

КРАНТИПОВ. Ты пьешь, как лошадь!

СЛАВА. Фу!

ЛАКТИОНОВА. Я дегустирую, а не пью! Я пьяной не бываю, это выпад из профессии.

КРАНТИПОВ. Так ты че, работаешь еще?

ЛАКТИОНОВА. Я служу! Я дегустатор вина на «Магараче»!

КРАНТИПОВ. Дегустатор? Ха-ха.

ЛАКТИОНОВА. В отличии от Христа я, конечно, не умею делать из воды вино...

Наш путь труднее.

КРАНТИПОВ. А у меня...

СЛАВА. А у тебя внуки, дед!

ЛАРИСА. Так, хорошо, ну а что же Комиссаров? Придет? Не звонили?

КРАНТИПОВ. Тю-ю, Комиссаров.

ЛАКТИОНОВА. У него собака, говорят, есть. Он собаку любит.

КРАНТИПОВ. И не говори, подруга, у самой муж пьяница!

ЛАРИСА. Витька, Витька Комиссаров. Позвоните ему, что ли. У кого телефон?

Голоса по радио становятся громче.

РАДИОВЕДУЩИЙ. Итак, у нас в гостях молодой писатель! Его роман «Как мы кинули Америку» уже неделю в топе продаж. Ждем ваших звонков!

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ. А что вы скажете за переименование улицы Войкова в Надсона или Гимназическую?

МОЛОДОЙ ПИСАТЕЛЬ. Да какая нам, молодежи, разница — Войков не Войков! Нам двадцать лет. Нам имя Войкова ничего не говорит, мы его не знаем.

РАДИОВЕДУЩИЙ. Мне двадцать лет, и мне имя Надсона тоже ничего не говорит.

СЛАВА. Да при чем тут ты вообще? Тебе уже много чего не говорит, так что?!

РАДИОВЕДУЩИЙ. Да при чем тут это, вообще? Мы — молодые, другие. Мы учим языки, активно путешествуем, работаем, мы создаем движуху, мы двигаем стартапы. Мы думаем о будущем своей страны, и мы не паримся Войковым, Надсоном! О чем вы вообще, а?

Улица Найденова. Вор заходит в подъезд. Осматривается, натягивает глубже бейсболку. Поднимается по лестнице и останавливается у квартиры Славы. Вынимает изо рта жвачку и заклеивает глазок двери напротив.

СЛАВА. Молодые постарели, а старые помолодели.

ЛАРИСА. Слава.

СЛАВА. Да, слава! Итак, друзья, выпьем за возвращение Крыма в Россию! Ура! Тишина. Старик, крымский татарин, внимательно смотрит на Славу.

Домжо кряхтит и поднимается. Берет салфетку, нервно тербит ее. Вытирает губы.

ДОМЖО. Благодарствую, Слав. Вот не слышала тебя, и еще век бы не слышать!

ЛАРИСА. Ты чего?

Домжо тербит салфетку. Нервно отирает ею лицо.

ДОМЖО. Извиняйте. Рада была повидаться. Будьте здоровы, живите бохато!

Домжо уходит.

СЛАВА. Это что сейчас было?

КРАНТИПОВ. А понимаешь ли, Слава, это ты из Москвы приехал. А мы и при Украине неплохо жили.

СЛАВА. А я только при России, я ждал этого, я писал об этом. Это земля Чехова и Толстого, отсюда Набоков уплывал!

КРАНТИПОВ. Когда то было?

СЛАВА. Меня здесь преследовали! Житья не давали!

КРАНТИПОВ. Тю-ю.

СЛАВА. Вся Европа сюда стекла золотой каплей!

КРАНТИПОВ. Тю-ю...

СЛАВА. Я один защищал русскую культуру в Крыму.

КРАНТИПОВ. У Домжо сын в «Правом секторе». Тоже защищает... Хорошо еще, что она тебе по защечине не залепила!

СЛАВА. Даже так? Это в какой же ненависти к России она его воспитывала втихаря? Суки вы.

Крантипов поднимается.

КРАНТИПОВ. Слава! А вот за это уже и я могу по морде. Не посмотрю, что у тебя и так зубов не осталось.

ЛАКТИОНОВА (встает). Спокойно, он со мной!

ЛАРИСА. Мальчики!

КРАНТИПОВ. Я прошу прощения, девочки. Я прошу прощения. Но, адью, так сказать. Не по пути нам, видать.

СЛАВА. Давай, дуй по ветерку!

Крантипов презрительно смотрит на него, допивает пиво и с достоинством удаляется.

СЛАВА. Вали, укроп!

ЛАКТИОНОВА. Слава, успокойся. Он русский.

ЛАРИСА. Слава, не терби волосы. У тебя и так уже, прости, лысина красная.

СЛАВА. А у самого внука в Москве! Укроп!

ЛАКТИОНОВА. Вино странноватое все же.

СЛАВА. Ушли, а мне за них плати. Весело!

ЛАРИСА. Ты же сам приглашал!

ЛАКТИОНОВА. Слава, я добавлю.

СЛАВА. А у самого внука в Москве диплом защищает!

Вор у дверей квартиры Славы перебирает отмычки, пробует замки.

СЛАВА. Ну Домжо, ну тихоня!

ЛАРИСА. Посидели, называется. И Пашкетову зачем-то вспомнили... А давайте Люси де Пьер позвоним?

ЛАКТИОНОВА. Интересно, кто Людмиле Петровне такую кличку придумал?

ЛАРИСА. Да вся наша французская группа.

СЛАВА. Не будем ей звонить — придумаем причину для отказа. Сейчас мы к ней завалимся! Она увидит нас вместе!

ЛАРИСА. А может быть Комиссаров уже у нее? Я просила Крантипова передать. Или ждет у подъезда...

СЛАВА. С букетиком.

ЛАКТИОНОВА. Так. Поднимаемся, платим и уходим.

Лариса смотрится в зеркальце. Лактионова на нее.

Слава расплывается. К нему обращается старик крымский татарин.

ТАТАРИН. Обожди, слушай.

СЛАВА. Что вам?

ТАТАРИН. Извини, труг. У немиса — немца родина! У француз — француза! Крым — мой родной земля! Тут все наш рук! Родина мой. Только тут. Никуда никак. А я столько лет в Казахстан жила! На степь, как на море, смотрел.

Слава смотрит на него, и сердитое выражение глаз сменяется дружелюбным.

СЛАВА. Ты с какого года?

ТАТАРИН. Точно не скажу, труг.

СЛАВА. Думаю — ровесники. Вот и я вернулся... новую жизнь начать...

ТАТАРИН. Море большой — всем хватит смотреть... Давай не обижайся труг тругом! Заходи туда-сюда.

Одноклассники весело идут по аллее.

СЛАВА. Видите — памятник Федору Васильеву. Все хотел поймать и запечатлеть морскую волну. Умер таким молодым! Лариса, ты ж художник...

Переходят речку. Ялта в конце улицы Московской будто приседает, даже деревья и люди кажутся низкорослыми. Плитка тротуара темная, жирная от раздавленного инжира и шелковицы.

СЛАВА. Лактионова, давай купим вина. Я тебе потом отдам. Ты же знаешь Люси де Пьер — нальет по наперстку, и сиди с ним.

ЛАКТИОНОВА. Выбирай.

СЛАВА. Это мне специалист говорит! А возьми «Кокур» из Нижнегорского и «Херес» Массандровский.

ЛАРИСА. И я поучаствую. А не много ли?

Входят во внутренний двор старого ялтинского дома. Веранды. Лестницы. Кошки. Велосипеды. Корыта. Белье. Заскорузлое деревце. Лариса осматривается, будто ждет кого-то.

СЛАВА. Эх, Лариска, рассказал бы я тебе про Комиссарова. Но — молчи-молчи.

ЛАРИСА. Да ну тебя.

СЛАВА. Там, правда, Виль будет. Мне уже надоело слушать, как он до девяноста лет прожил.

Поднимаются по скрипучей лестнице, идут по веранде вдоль светящихся окон.

ЛАРИСА. Господи, стойте! Ребята, запах тот самый! Вот прямо сейчас девчонкой себя почувствовала. Вот, прямо я! Даже скажу, в чем я была!

Лариса хватается за перила веранды. Задыхается, всхлипывает.

ЛАКТИОНОВА. Торкнул «Мускатель» с пивом.

ЛАРИСА. Идите, я сейчас.

Ярко освещенная квартира, оформленная в советском хард-стиле, — люстры, серванты с хрусталем, тяжелые полированные плиты шифоньеров-шкафов, ковры.

ЛАКТИОНОВА, СЛАВА, ЛАРИСА. Бонжюр, Людмила Петровна! А мы к вам!

ВИЛЬ. Тсс, ребятки! У нее примерка!

Появляется Люси де Пьер. На ней платье — некоторые детали только наживлены на нитку, воротник болтается на спине.

ЛЮСИ ДЕ ПЬЕР. Bonsoir les enfants! Славик, Ларочка! А это кто? Я не вижу, не узнаю! Виль! Виленька, ко мне дети пришли!

ВИЛЬ. Добро пожаловать! Дайте я вас всех обниму и поцелую. Здоровеньки булы, так сказать!

ЛЮСИ ДЕ ПЬЕР. Извините, что я на вас боком смотрю. Плоховато вижу этим глазом, дети. Sur, mon Dieu! У меня примерка, я готовлю платье для выступления в Доме культуры моряков.

ВИЛЬ. Дом культуры!

ЛЮСИ ДЕ ПЬЕР. Ах, то лиловое платье, в котором я вышла петь при известном пианисте Заке!.. Виль, Виленька! И выпить не осталось.

В другой комнате усмехается молоденькая портниха Анна.

СЛАВА. А мы со своим!

ВИЛЬ. Мечу, все мечу на стол!

ЛЮСИ ДЕ ПЬЕР. Я на минутку, дети!

Люси де Пьер убегает к Анне. Та приседает, что-то подкалывает. Виль украдкой смотрит на ее фигуру.

СЛАВА. Вот вино! Открывайте! Выпить хочу! День такой!

ЛАКТИОНОВА. У меня штопор с собой.

Сидят за скудным столом. Люси де Пьер кричит из соседней комнаты.

ЛЮСИ ДЕ ПЬЕР. Виль, Виленька, не те, не те фужеры, разобьются. Вон те подай!

ВИЛЬ. И как ты все видишь одним глазом?!

ЛЮСИ ДЕ ПЬЕР. Славик, Ларочка, Вера! Как я вас любила — мой первый выпуск! Сашка Баютов первый поднял руку.

Люси де Пьер выходит из комнаты.

СЛАВА. И я поднимаю. Ну, за вас, Людмила Петровна!

ЛАКТИОНОВА. Да какая Людмила Петровна?! Люська! Люськ, слушай, мы все тебя любили, ты пришла молодой! Дай я тебя поцелую!

ЛАРИСА. И я! У тебя на груди болталась на цепочке маленькая Эйфелева башня. В советское время!

ЛЮСИ ДЕ ПЬЕР. Я вас несла, как крест!

ВИЛЬ. Анечка, идите к нам!

АННА. Спасибо, Виль Георгиевич! Не успеваю.

СЛАВА. За тебя, Люся!

ЛЮСИ ДЕ ПЬЕР. Славик, вы пропускали мои уроки!

СЛАВА. А вы мне сказали — ханжа! Я думал, что такое ханжа? Я же слепой, я же не вижу.

ЛЮСИ ДЕ ПЬЕР. Вы мне написали такое письмо! Я не могу забыть! Жаль, не сохранила. А когда отвечали, вы нахально звенели мелочью в кармане.

СЛАВА. Я хотел в буфет!

ЛЮСИ ДЕ ПЬЕР. А ты, Лактионова, хоть и присутствовала, но всегда отсутствовала на моих уроках!

ЛАКТИОНОВА. Люська, расслабься! Мне уже семьдесят.

ЛЮСИ ДЕ ПЬЕР. Ларочка, гордость моя! Я ведь тоже почти поступила в одесскую консерваторию. Мама отлучила меня от искусства. Я пела по санаториям ариозо матери из кантаты «Нам нужен мир»: «Все люди спят, лишь мать не спит сейчас!..»

ЛАКТИОНОВА. А у нас на «Магараче»... вот подруга моя по красному вину...

ВИЛЬ. Анечка, идите к нам!

АННА. Виль Георгич, я занята!

ЛЮСИ ДЕ ПЬЕР. Слава, вы помните, какие мальчики за мной ухаживали?

ЛАРИСА. Да, да!

ЛЮСИ ДЕ ПЬЕР. Вы помните, был Артур? Из старшего класса мальчик. Они мне проходу не давали, приглашали на танцы. Я же была хорошенькая. Даже мэр Ялты Король взял меня переводчиком во Францию. Виленька, Король меня взял, это мэр Ялты.

ВИЛЬ. Знаю, любимушка!

ЛЮСИ ДЕ ПЬЕР. Я переводила в Париже нашу делегацию из Ялты. Нам дали по конверту. Кагэбэшник у нас все забрал.

ЛАРИСА. А Комиссаров не звонил вам?

ЛЮСИ ДЕ ПЬЕР. Я говорю: это же коммунисты нам дали из «Юманите»! И чего? А ничего... Я не могу забыть, как представитель органов Процко пришел вечером ко мне в номер и сказал: раздевайся! Я сказала: негодяй, вон отсюда! А он: ну, смотри, это Париж, Люся!

СЛАВА. Она упустила случай отдалиться в Париже!

ЛЮСИ ДЕ ПЬЕР. Виленька!

ВИЛЬ. Люсенька!

Анна подшивает платье, слушает стариков и улыбается.

ЛАКТИОНОВА. Ну ладно, Люся, кончаем! Мы пьем или не пьем?

ЛЮСИ ДЕ ПЬЕР. А ты всегда отсутствовала на моих уроках. Саша Баютов... А ведь не могли набрать французскую группу.

ЛАКТИОНОВА. Вот у нас, в «Магараче», подруга моя по белому сухому...

СЛАВА. А пришли: я — двоечник, замухрышка Баютов, Разумеев, земля им пухом, кто еще?

ЛАРИСА. Комиссаров.

ЛЮСИ ДЕ ПЬЕР. Ну-у, Витя Комиссаров! Его теперь видит только Виль, когда для яхт олигархов зарубежные маршруты прокладывает. А все убивались с Комиссарова! Наш Олег Стриженов!

СЛАВА. Эх, сказал бы я вам.

ЛЮСИ ДЕ ПЬЕР. Девочки из-за него прыгали с катера на рассвете после выпускного.

ЛАРИСА. Напились! Первое шампанское, и вдруг в море страшно стало, что школы нет, что мы теперь взрослые!

СЛАВА. Жизнь начиналась, мы не знали, что с нею делать, что делать в курортном городе? Все стали устраиваться. И только я всегда поддавался советской пропаганде. Решил приобрести опыт жизни. Поехал в Сибирь. Смотрел «Я шагаю по Москве», «Мне двадцать лет».

ЛАКТИОНОВА. Слава, налей мне. Я все равно отсутствую.

СЛАВА. Да, прости... «Мне двадцать лет» — неплохо сделанное подражание Антониони, московские слюни, размазанные по студентам ВГИКа. Все было трагичнее, возвышеннее и просто интереснее. В Пыть-Яхе стал зубы терять. И вот мы все теперь невольно возвращаемся. А тут все выгорело.

ЛЮСИ ДЕ ПЬЕР. Ну так вот, тяжело жилось. Но какие мальчики были в старших классах! Артур с саксофоном на танцевальной площадке. Король, Процко, но все дороги вели к Вилечке!

ВИЛЬ. Анечка, идите к нам!

АННА. Вы меня уже приглашали!

ВИЛЬ. Да-а?

СЛАВА. Виль Георгич! Хороша ситуация, Виль Георгич, мы стали молодые! Нам семьдесят, вам девяносто.

ВИЛЬ. Да. Представляешь, только сложил весла! Сушу. Консультирую молодых. А еще недавно яхты водил. Курил в Стамбуле злые табаки, пил кофе на Мартинике... А теперь вожу правнуков в детские сады, выступаю перед детьми. А мальчик спрашивает, что такое война? А я говорю ему: вот ты сегодня не кушал? Плохо кушал. А на войне долго не кушаешь, голодно, холодно, а вокруг враг.

ЛАКТИОНОВА. Слав, налей мне. И Ларисе освежи.

ВИЛЬ. Да, холодно, голодно. Про вшей не стал уж.

СЛАВА. Замучаешься объяснять.

ВИЛЬ. Я, Славик, в Бога не верю, а вот уже девяносто лет прожил!

СЛАВА. Дай бог каждому!

ВИЛЬ. Не знаю, Слав... это так много, что у меня даже татуировки на руке стерлись. Смотрю — есть, а что там было выбито — уж не разобрать. Я вот тебе по секрету скажу, когда долго плаваешь, очень женщине хочется!

СЛАВА. Вот с этого момента поподробнее.

ВИЛЬ. Ходили мы как-то на исследовательском судне. Ну так вот, у нас матросы акулу е...!

СЛАВА. Да вы что?

ВИЛЬ. Что? До партсобрания дело дошло!

ЛАКТИОНОВА. А вообще, Люся, жизнь у нас сложилась неинтересная. Самые элитные виноградники и дворец Голицына разрушены ради дач украинских и российских олигархов. Массандру банкротят. Мы уж на митинг... Вот Комиссаров стойкий. И никого нету!

Квартира Славы. Раскалившийся, потрескивающий уют возле ковра. Ворсистая ткань дымится.

СЛАВА. А помните, мы всем классом поехали в Москву, на Новый шестидесятый год?

ЛАКТИОНОВА. Не всем.

ЛАРИСА. Молчи, мне сейчас плохо будет.

СЛАВА. Этот наш автобус и скорое предчувствие открытия: Москва! И через два дня мраморная лестница с ковром в Доме Союзов и первый разлив шампанского по бокалам учителями! С их ведома и разрешения! И первое ощущение выпитого! Чудесно, странно, страшно! В Колонном зале Дома Союзов, который только из газет!

Анна замирает с иголкой в руке, внимательно слушает.

СЛАВА. Вот Сталина хоронят семь лет тому, и эти же люстры в черном крепе... Вот Маленков, вот Берия... Газеты, и от них черные детские руки... и Сталина видишь в газетном гробу. Недосыгаемо! И вот этот зал, и тебе шестнадцать, стоишь с «барабаном» подарка, с первым хмелем в голове и в душе.

Квартира Славы. Ковер вспыхивает. В этот момент Вор вскрывает дверь. Входит. Крадется в дальнюю комнату, деловито распахивает шкафы, вышвыривает вещи.

ЛЮСИ ДЕ ПЬЕР. А давай споем, Виленька!

ВИЛЬ. Ты спой, любимушка! Ты у меня талант!

СЛАВА. Не, ну надо же — акулу!

ЛЮСИ ДЕ ПЬЕР. А и спою! Я поступала в консерваторию... На тот больша-ак, на перекресток не надо больше мне уже спешить.

ЛЮСИ ДЕ ПЬЕР, ВИЛЬ (*вместе*). Жить без любви, быть может, просто, но как на свете без любви прожить?

Все поют и не видят, что Анна снимает всех на телефонное видео.

СЛАВА. Bravo! Bravo!

АННА. Посмотрите, как вы все классно получились!

ЛЮСИ ДЕ ПЬЕР. О, господи! Какой ужас! Неужели это я?!

ВИЛЬ. Там пикселей маловато, Люсенька.

АННА. Не айс?

ВИЛЬ. За айса не скажу, но точно не Цейсс!

Все смотрят видео и по очереди ужасаются.

Квартира Славы. Вор принюхивается. Идет в коридор, открывает дверь в большую комнату и растерянно замирает. Голова его в языках отсветов прыгает в темноте из стороны в сторону.

ВОР. Ана-мана! В натуре, погорел на деле!

Он пятится к входной двери и уходит.

Домжо устало ступает вверх по улице Найденова. В руках тяжелые пакеты супермаркета «Фуршет». Останавливается перевести дух. Отирает пот, присматривается и видит дым, тянувшийся с лоджии, сверкающий в глубине язык пламени.

ДОМЖО. Славка горит!

Домжо оставляет пакеты и стремглав бросается к дому. Чертыхаясь, возвращается за пакетами и вместе с ними, как молодая, взбегает по лестнице. Звонит, а потом пинком открывает дверь. Врывается, охает, хватая с вешалки плащ и пытается сбить огонь с ковра. Но пламя только пуще разгорается. Она бежит в ванную, рубает воду, гремит тазами.

Квартира Люси де Пьер.

ЛАКТИОНОВА. Ну, Люси, мы вас покинем. Еще пропустим по стаканчику и покинем.

ЛЮСИ ДЕ ПЬЕР. Пьем до дна!

ВИЛЬ. Дайте я вас всех обниму и поцелую.

СЛАВА. Земля — уникальный проект! За полет вне времени и пространства! Мы все еще встретимся!

ЛЮСИ ДЕ ПЬЕР. Слава, а вы знаете такого поэта Олялинского?

СЛАВА. Графоман.

ЛЮСИ ДЕ ПЬЕР. Он подарил мне книгу. Я его буду всю ночь читать. Он красив, богат, у него фуры, они гоняют в Одессу.

СЛАВА. А мне вот элементарно не везет! Невезучий, мать еще говорила.

ВИЛЬ. Дайте я вас всех обниму и поцелую.

ЛАКТИОНОВА. Виль Георгич!

ЛЮСИ ДЕ ПЬЕР. Дети, извините, что я на вас так смотрю, у меня этот глаз не видит!

СЛАВА. Не путайте Веру ее с акулой.

ЛАКТИОНОВА. При чем тут это? Прощай, Люси!

ЛАРИСА. Оревуар!

СЛАВА. Адье!

ЛЮСИ ДЕ ПЬЕР. Дайте я вас всех расцелую! Славик, Ларочка, Верочка!

ВИЛЬ. Ну, с богом, дети! Будьте здоровы, живите богато!

СЛАВА. Адье!

Темная веранда. Грохочет тазик.

ЛАКТИОНОВА. Эх, Люська. Слепая старость.

СЛАВА. Это не слепая старость, это непрозревшая жизнь... Лариска, догоняй!

ЛАРИСА. А нет уже того запаха! Нет. И Витька не пришел.

СЛАВА. Ты иди к нему во двор, покричи, как Ахматова Модильяни. Адрес тот же.

ЛАКТИОНОВА. Бородатый, у-у-у. Один с собакой. Гав-гав-гав.

Выходят на набережную. Прозрачная летняя тьма.

СЛАВА. Как хорошо, что мы перешли к Людмиле Петровне и что Вера перешла на «ты» с ней. Ах, эта Люси! Артура какого-то с саксофоном вспомнила!

ЛАКТИОНОВА. Хорошо-то как! Даже нехорошо.

ЛАРИСА. Рассчитывать, что кто-то кого-то пойдет провожать, не приходится. Слава, я приеду к тебе в Москву. Где ты там?

СЛАВА. Уже нигде.

ЛАРИСА. Не поняла, да и ладно. Я живу между Испанией и Ялтой. Здесь брат пропил квартиру. Слава, мы с одним интересным товарищем ремонт тебе сделаем.

ЛАКТИОНОВА. А я свою квартиру отдала племяннику.

Мимо них проносятся девочки и мальчики на роликах. Мальчик задевает Славу и едва не падает.

МАЛЬЧИК. Что вы встали на дороге, деды?!

СЛАВА. Адье, шантрапа!

ЛАКТИОНОВА. Адье!

ЛАРИСА. Как они красивы, стремительны! Кажется, что у девочек прозрачные крылышки за спиной. Давайте посидим немного.

ЛАКТИОНОВА. А помнишь, мы повели тебя на Паустовского? А ты спросил: а что, он еще жив?

СЛАВА. А я думал, что он уже умер. Кто-то мне сказал: а хочешь живого посмотреть?

ЛАРИСА. Он пил кофе в гостинице «Россия», где общежитие переводчиков «Интуриста». «А че вы тут стоите?» — сказали нам официанты. «А мы кофе закажем». — «Ну, так заказывайте». — «А Паустовский придет?»

СЛАВА. Паустовскому подали кофе. Толстые очки его запотели от пара, и он снял их, чтобы увидеть чашечку, но без них еще хуже видел.

ЛАКТИОНОВА. Там был самый лучший кофе в Ялте. Хорошо варили.

ЛАРИСА. Вера, прости, а ты была замужем?

СЛАВА. Девочки, вы не меняетесь.

ЛАКТИОНОВА. Почему я одна? А потому, что любимые мужчины умерли молодыми.

ЛАРИСА. Кто, например?

ЛАКТИОНОВА. Ну, скажем, Олег Даль, молодой Дворжецкий и еще ряд мужчин, ты их не знаешь... А тут я кучу виноделов воспитала. Но все это так, чепуха, винная провинциальность.

СЛАВА. Я не сбился, не осуществился. Я только астроном планеты Время. Обозреваю ее телескопом. Элементарно не везет.

ЛАРИСА. Посмотрите, вы — пара!

СЛАВА (*икает*). Отвали, Сергеева.

ЛАРИСА. Славка даже икать начал.

ЛАКТИОНОВА. Ларочка, вы хорошо подшофе.

ЛАРИСА. Он ждал тебя весь день.

ЛАКТИОНОВА. Просто наши одиночества сходятся.

СЛАВА. Смотрите, лайнер уходит!

ЛАКТИОНОВА. Давайте проводим.

ЛАРИСА. Он так печально сигналист!

СЛАВА. Прощается с городом. А помните, как в начале шестидесятых провожали лайнер с кубинцами?

ЛАКТИОНОВА. Они бросали нам ленточки сверху, а мы ловили их и держали.

ЛАРИСА. Лайнер отчаливал, ленты натягивались и рвались, рвались.

Печально сигналист лайнер. Три сигнала. Весь город словно бы замирает и прислушивается к печали прощания.

Огни лайнера тают, а Слава, Лариса и Вера все стоят. Они смотрят вслед лайнеру и боятся смотреть друг на друга.

ЛАРИСА. Как же не хочется прощаться. Пойду я.

СЛАВА (*икает*). Пока, Сергеева.

ЛАРИСА. Пока, ребята. Еще лет на пять, что ли? Дай бог свидеться!

Лариса уходит. Лактионова и Слава смотрят на море.

ЛАКТИОНОВА. Пойдем, Слав, немного пройдемся по набережной.

Идут сквозь поредевшую толпу. Мелькают лица, наряды, фразы. Над ними висают, парят, кружатся сочно-глянцевые листья магнолий. Стекают тени по лицам, нежно пятнят плечи. Под фонарем эротически трепещет и целуется с красным пушистым цветком длинноклювая мелкая птичка. Она, кажется, не зависит от полупрозрачного шара крыльев вокруг нее. Иногда слева, в черном провале моря, вскипают барашки. С неба спускается яхта, несет огонек на тонкой мачте.

ЛАКТИОНОВА. Вся набережная была обшита деревом — снимали «Даму с собачкой». Я ночью бегала под дождем по доскам. Шторм заливал набережную. Кусок рядом с маяком, где был памятник Сталину. Помнишь?

СЛАВА. Да так было странно — идешь по доскам, как дореволюционный герой какой-то. Вер, а давай пропустим по стаканчику? День такой, что никак не напьешься!

ЛАКТИОНОВА. Ты прямо мысль с языка снял.

Они заходят в открытое летнее кафе с танцевальной площадкой. Подходят к барной стойке. Слава обращается к бармену.

СЛАВА. Нам, пожалуй, по сто мартини.

Бармен наливает.

СЛАВА. Я люблю, чтобы в коктейле была маслина.

БАРМЕН. Вы совершенно правы, сэр. Пожалуйста.

СЛАВА. Спасибо.

БАРМЕН. Простите, что не предложил вам.

Звучит медленная мелодия.

СЛАВА. Можно тебя пригласить?

Лактионова склоняет голову и приседает в полукниксене. Они едва начали танец, как мелодия рвется, сбивается и строчит с истеричной быстротой. Они замирают в толпе молодежи. Вера видит насмешливые лица. И снова медленная мелодия, но также перебивается быстрой, бухающей и рвущейся. Слава и Лариса смотрят на танцующих. Пытаются пробиться к барной стойке. И вдруг запел Элвис Пресли: Lets Twist Again.

СЛАВА. Это наш танец, Верка! Люкс, мадера, экстра, прима!

ЛАКТИОНОВА. Цимус, примус, керогаз! Делаем!

Вера смеется. Они танцуют классный твист. Молодежь расступается большим уважительным кругом, все любят стариками и хлопают.

Слава и Лариса уходят с танцпола. Молодежь аплодирует.

Старики идут по набережной. Отираются платочками.

Шум и небольшая толпа возле памятника «Дама с собачкой». Сиреневый свет набережной, когда все кажется немного нереальным. На плечи Анне Сергеевне взгромоздился парень. Его снимают на телефон. Хохочут. Гуров напряженно замер и безглаголиво отстранился от насилия.

СЛАВА. Эй, парниша! Тебе что, баб не хватает?

ПАРЕНЬ. Молчи, дед! Что ты понимаешь в женщинах?

ЛАКТИОНОВА. Слезьте, вам говорят! Вы что, металл только на свалке видели?

ДЕВУШКА. Мать, забирай своего деда. Вас не трогают, и вы гуляйте по холодку.

СЛАВА. Иди-ка ты лучше к своей матери! Адье, шантрапа!

ДЕВУШКА. Дед какой-то подкумаренный.

ПАРЕНЬ. Иди спать, дед! Я из Донецка! Тебе это говорит о чем-то?

СЛАВА. Фраер ты из Донецка!

ПАРЕНЬ. Ну ты блатуешь. Хочешь че?

СЛАВА. А ты че хочешь?

Парень слезает и, разминая руки, направляется к Славе. Толпа расступается.

ЛАКТИОНОВА. Молодой человек!

СЛАВА. Отойди, Вера. Иди-иди сюда! Ты мой город роняешь до уровня канализации!

ПАРЕНЬ. Да, по... мне твой город!

ЛАКТИОНОВА. Вы что себе позволяете, молодой человек?!

СЛАВА. Отойди, Вера! Извинись, фраер!

ПАРЕНЬ. Щас!

Парень сильно толкает Славу в грудь. Тот быстро-быстро пятится и заваливается в кусты, только подошвы торчат. Смех, крики, аплодисменты. Вспышки фотокамер на мобильниках.

СЛАВА. Ах ты! Стой, сука, не уходи, я встану!

ЛАКТИОНОВА. Слав, я помогу тебе.

СЛАВА. Я встану! Уйди, Верка. Я его урою, гада! Он у меня кашлять будет и на лекарствах жить.

ЛАКТИОНОВА. Да они ушли уже.

СЛАВА. Убежал, гад!

ЛАКТИОНОВА. Блин, у тебя рука в крови. Пошли ко мне. Йодом надо.

Лактионова приобнимает Славу, ведет его.

СЛАВА. А ведь дурацкий памятник!

ЛАКТИОНОВА. Согласна.

СЛАВА. Купеческий, душный, засундученный. А надо бы что-то ажурное, несбыточное!

ЛАКТИОНОВА. Ну, не везет Чехову у нас, не везет.

СЛАВА. У тебя вино есть?

ЛАКТИОНОВА. Новый коллекционный вид. Можно это... продегустировать немного.

СЛАВА. Понаехали, фраера!

ЛАКТИОНОВА. Слав, ты молодец!

СЛАВА. Да ладно. Зато икота сразу прошла!

ЛАКТИОНОВА. А давай на канатке поднимемся.

СЛАВА. Думаешь, сам не дойду?

ЛАКТИОНОВА. Ничего я не думаю.

СЛАВА. Давай. Я лет сто на ней не катался.

Поднимаются в кабине по канатной дороге. Тихо проплывают рядом с башней — большой циферблат остановившихся часов, лунная зыбь на жестяной крыше. Шум набережной и большой Кировской улицы все тише, слышно, как скрипит своими суставами кабина, как гудит колесико. Люлька утло вздрагивает при каждом их движении.

СЛАВА. Мне сегодня Франц Кафка приснился.

ЛАКТИОНОВА. Удивительно.

СЛАВА. Надо сказать, что мне очень близок этот автор. Мы так остро чувствовали и понимали друг друга, а говорить не могли. Я же не знаю немецкого. Смотрели друг на друга и пожимали плечами. Но он благодарил меня за любовь и как будто сочувствовал. Благодарил, сочувствовал и поддерживал.

ЛАКТИОНОВА. Какой хороший сон. Здесь такие никому, наверное, не снятся.

СЛАВА. Я, Вера, насовсем вернулся.

ЛАКТИОНОВА. Ну и будешь сидеть тут с дураками-поэтами, да толкаться по литобъединениям.

СЛАВА. Я вообще-то Литинститут заканчивал.

ЛАКТИОНОВА. Да какая разница.

СЛАВА. У меня здесь вдохновение, Вера! Мои запредельные фантазии сбылись! Столько всего нахлынуло, что даже рука задрожала и потянулась к перу.

ЛАКТИОНОВА. Я тебе, Слава, компьютер с работы утащу. Все равно он там никому не нужен.

СЛАВА. Мне столько всего надо написать. С самого детства. Как мы с матерью...

Они проплывают по-над дворами с умывальниками, над старыми жестяными крышами, мимо освещенных занавешенных окон с силуэтами людей, мимо больших мрачных санаториев с пустыми, занесенными листьями террасами... Расступаются по бокам кипарисы, опадает вниз дорога.

СЛАВА. У меня душа задышится — сколько я могу написать про все это. Про нас. Про невысказанное. Про тайные бездны человеческого моря.

ЛАКТИОНОВА. Попрошу племянника, чтоб компьютер тебе настроил и показал там чего.

СЛАВА. Я только здесь понял, как бездарно прожил. Время тянулось, как резинка, и вдруг схлопнулось.

ЛАКТИОНОВА. Слав, а ты кто по гороскопу?

СЛАВА. Кажется, Близнецы.

ЛАКТИОНОВА. А я — Весы! Но я не к тому. У тебя все впереди. Близнецы — дети. У них на лице есть участок, здесь ... (обводит пальцем глаза и нос Славы). И какой бы человек пожилой не был — у них всегда отсюда выглядывает ребенок.

СЛАВА. Эх, Вера.

ЛАКТИОНОВА. А на самом деле я думаю, что ты только сейчас дошел до вскрытия бочки, так у винограда.

Полого спускаются и отражаются, дрожа в море огни набережной, маяк равномерно роняет зыбкий столб. И вся ночная Ялта сияет под ними, будто отраженная в воде. Их кто-то окликает снизу...

МУЖИК. Ребята, огоньку не найдется?

Он сидит на корточках на опорной стене дороги и смотрит на них.

СЛАВА. У меня спички есть! Вот, ловите.

Слава сбрасывает коробок.

Комнатка в общежитии. Горит свеча. Луна в форточку. Крыши бывшей мужской гимназии. Тени. Слава и Вера за круглым столом. Скатерть с кистями.

ЛАКТИОНОВА. Слава, ты был очень красивым мальчиком. Девочки это понимали. Но что мы были — трусливые советские подростки.

СЛАВА. А еще трусливее были наши учителя!

Полутьма каморки бывшей гимназии. Мерцание свечи.

ЛАКТИОНОВА. Славка, а у тебя были ужасы?

СЛАВА. Как тебе сказать, Вера?..

ЛАКТИОНОВА. Судя по всему, были. И у меня были ужасы! Но бог дал сил их одолевать... и вино.

Полутемный двор. Элитный дом. В круте света под фонарем стоит пьяная Лариса, смотрит на окна, икает.

ЛАРИСА. Ну не дура?

Подносит к лицу сумочку, в которой бутылка. Отпивает и шепчет: «Витька».

ЛАРИСА. Вить-ка! Виктор Юрьевич!

Тишина. Лариса икает. Устало опускает сумку на капот машины. Включается сигнализация.

Комнатка Лактионовой.

ЛАКТИОНОВА. Давай вместе встречать Новый год! Я его встречаю в толпе на набережной. Салюты с кораблей. Минутная вспышка радости. А потом домой тащишься одна под дождем.

СЛАВА. Ты сидишь, как та рембрандтовская старуха с бокалом «Шардоне».

ЛАКТИОНОВА. Ну, все. Иди уже. У тебя сейчас аллергия на кошачий волос начнется.

СЛАВА. Уже под носом чешется. Прямо оторвать хочется.

ЛАКТИОНОВА. Я тебя провожу, пожалуй. У меня фонарик есть.

Выходят, поддерживая друг друга. Прыгает, рвется, гаснет и вспыхивает огонек. Тарахтит на всю округу цикадная мотоциклетка. Наверху пылают звезды, внизу горят огни Ялты, отрываются и гаснут в море.

ЛАКТИОНОВА. Ты завтра дома? Мы компьютер тебе привезем.

СЛАВА. У Льва Толстого компьютера не было.

ЛАКТИОНОВА. Осторожно, тут мусорная яма.

СЛАВА. Сама осторожнее, я не так уж и пьян, как тебе кажется!

ЛАКТИОНОВА. Стой. погоди. Там кто-то есть. Послушай. В яме!

СЛАВА. Положим, есть. Ну и что?

Лактионова общаривает яму лучом фонаря.

ЛАКТИОНОВА. Господи, там чайка. Она не может выбраться, Слав. У нее, кажется, крыло сломано.

СЛАВА. Ну и что?

ЛАКТИОНОВА. Это же чайка, Слава.

СЛАВА. Ну что, хочешь — достану?

ЛАКТИОНОВА. Слава, стесняюсь попросить. Пожалуйста.

Слава встает на колени, потом ложится, тянет в яму руки.

СЛАВА. За ноги, за ноги меня держи. Ах ты, б... такая, клюется еще.

Лактионова присаживается, хватает его за ноги.

СЛАВА. Держишь?

ЛАКТИОНОВА. Держу.

Слава летит в яму. В руках Лактионовой остаются его туфли.

СЛАВА. Ой, бля-а!

ЛАКТИОНОВА. У тебя туфли большого размера. Ты чайку не раздавил?

СЛАВА. Чайку! Я тебе дам сейчас! Чайку!

ЛАКТИОНОВА. Я тебе сейчас ящики сброшу, встанешь на них.

Тащит деревянные ящики. Подает их Славе. Он кое-как выбирается. Одной рукой прижимает чайку. Передает Лактионовой.

ЛАКТИОНОВА. Правда, сломано!

СЛАВА. Ее кошки твои не съедят?

ЛАКТИОНОВА. Они воспитанные барышни.

Лактионова и Слава стоят рядом. Между ними, резко вздрагивая, пытается опереться крылом о воздух чайка. Молчат.

ЛАКТИОНОВА. Ты в носках.

Слава вдевает ноги в туфли.

СЛАВА. Сэкондовские. Так понравились. Красивые такие. Но большие. Пришлось вату в носки подкладывать.

Чумазая Домжо сидит в квартире Славы. Пожар потушен. Всюду тазики, ведра, ковши. Домжо одной рукой что-то оттирает, в другой — мобильник.

ДОМЖО. Славка чуть не сгорел! Та ты его не знаешь. Одноклассник мой.

Ночной двор. Слава и Лариса.

СЛАВА. Пока. Пошел я к своим пенатам мыться.

ЛАКТИОНОВА. Пока. Постой. Когда мы в последний раз виделись?

СЛАВА. Скажу... в тринадцатом году.

ЛАКТИОНОВА. Давай осенью поедem в Евпаторию. Мне крайне хочется в этот город.

СЛАВА. Чего это?

ЛАКТИОНОВА. Так.

Слава почти скрывается в темноте.

ЛАКТИОНОВА. Adieu.

СЛАВА. Au revoir!

ЛАКТИОНОВА. Постой. Возьми фонарик.

СЛАВА. Не надо. Уже светает.

Рассвет. Загорается край моря. Все ярче и ярче. По мрачному еще пляжу идет Комиссаров с овчаркой на поводке. Смотрит в сторону солнца. Щурится.

Вера стоит на балконе. Курит, в другой руке бокал. Она высоко поднимает его, и он загорается на солнце, как факел.

Домжо сидит за столом в квартире Славы. Говорит по телефону.

ДОМЖО. Та не знаю, где его носит?! Я, кажись, ему дверь вышибла с удара! Придет, хай поднимет, мол, майдан тут устроила! Шо я не знаю?!

Солнце постепенно освещает ее лицо.

Пустынная улица. Крантипов в шляпе и с большим портфелем идет деловой походкой, словно спешит на службу. Он видит у мусорки пустую бутылку. Замирает. Оглядывается и воровато сует бутылку в портфель. Оглядывается. Радостно смотрит на солнце.

Лариса ковыляет по дороге. В одной руке сумка, в другой бутылка. Она икает.

ЛАРИСА. Муж?

Икает.

ЛАРИСА. Витька?!

Икает.

ЛАРИСА. Слава заразил, гад!

Квартира Славы. Домжо перебирает юношеские публикации Славы в старых газетах.

Пустынная улица. Слава идет по дороге и замирает на перекрестке. Любуется рассветом. Лицо кривится, морщится. Слава испуганно оглядывается, охает, прижимает руку к сердцу и оседает. Вытягивается на дороге. К нему подбегает собака, лижет руку.

СЛАВА. «Скорую!» Вызовите «скорую», пожалуйста.

Квартира Славы. Домжо видит лист, заправленный в пишущую машинку. Надевает очки, читает.

ДОМЖО (*читает*). Немногие, знавшие его, удивлялись, что ничего не написано. А он написал свою жизнь. И у него есть читатель. Его раскрытую книгу читает бог, и она ему нравится.

Она открывает альбом и рассматривает фото. На них мальчик с мамой. Школьные фотографии их класса. Вся прошлая жизнь.

Черепичные крыши. Море.

Алая заря все умиротворяет и заливая город своим светом.

Старуха и кедр

Старуха смотрит на море. Ветер треплет ее тонкие седые пряди.

Дом стоит на высоком обрыве, городские крыши ломаным водопадом громоздятся к набережной, не скрывая неба и морского простора.

Утром вода прохладная, с полосами ряби и глади, как на весенней реке в деревне ее детства. В жаркий обед море густо синее и дымится по горизонту. К вечеру оно темнеет, тяжелеет, а в пасмурную, предгрозовую погоду полностью сливается с небом, и тогда старухе кажется, что маленький, ярко побелевший маяк, белые на веревках, створки ее окна, выбившаяся занавеска болтаются на самом краю света.

Ночью море в таинственных лунных полянах, и на далеком краю неба и воды мреет золотая лунная впадина. В безлунные ночи повсюду клубится непроглядный мрак, и непонятно, чьи там мигнули огоньки — это космический корабль или «Надя Лисанова» возвращается последним рейсом из Фороса.

Анна Михайловна смотрит из окна своей квартиры уже много лет. Она смотрит так долго и с таким постоянством, что ее фото в окне даже запечатлено на панораме в Яндексе. Карты: Ялта, улица Жаданавского, 3.

Ноябрь. За окном парят снежинки. Анна Михайловна, навертев на себя всякое тряпье, заколачивает рамы. Она боится, что их выбьет штормовыми ветрами. Моря она теперь не увидит: на всю осень и зиму — только угол высотного дома и горы.

Она задумывается о чем-то и горестно замирает с топором и гвоздями в руках — маленькая, как девчонка. Шмыгает носом.

Ночь. Анна Михайловна лежит в своей комнате. У стола, рядом с диваном, кедр в кадке. За окном лопаются и бухают салюты. Яркие разноцветные вспышки выхватывают из тьмы ее голову на подушке: запавшие виски, худое, скуластое лицо, блестящие глаза...

АННА МАИХАЙЛОВНА. Господи, заведи меня отсюда. Или ты забыл про меня? Мне страшно. Мне уже ничего не интересно.

С улицы доносятся крики: «Ура! С Новым годом, с новым счастьем!»

От вспышек с разных сторон кажется, что голова старухи мечется по подушке. Вздрагивает на стенах большая тень кедра.

АННА МИХАЙЛОВНА. Уснула бы и не проснулась. Меня сердце держит. Мне страшно, господи.

Утро. Анна Михайловна поправляет фотографии — на них она в молодости и мужчина с фотоаппаратом на фоне гор. Долго смотрит на него. Потом поливает цветы и кедр. Смотрит на его искривленное тельце и вздыхает. Расправляет иголки, рыхлит землю вилкой. Звонит телефон. Старуха по стенке тихо двигается в коридор.

АННА МИХАЙЛОВНА. Господи, пока дойду, устанут звонить. Алло, алло! Алло, говорите!

Пожимает плечами и опускает трубку. Идет на кухню и зажигает газовую плиту. Конфорка бухает несколько раз, выстреливает факелом и только потом загорается. Старуха согревает воду в ковшике, подливает немного молока и размачивает в этой жидкости сухари. Ест. Шмыгает носом. В кружке заливает кипятком вчерашний пакетик чая. Пьет.

Звонок в дверь. Снова.

ОЛЬГА (*громким басом*). Михална, открывай! Это я!

АННА МИХАЙЛОВНА. Да иду же, иду, господи!

Анна Михайловна делает вид, что сердится, но ей радостно. Щелкает ключом, сдвигает защелку, снимает цепочку.

ОЛЬГА. Привет, Михална! Как ты тут?

АННА МИХАЙЛОВНА. Да проходи уже! Орешь на весь подъезд, как базарная баба!

Входит Ольга — дородная, крепкая старуха. Под глазом синяк.

ОЛЬГА. Хлеба тебе купила и масла.

АННА МИХАЙЛОВНА. Опять ты! Я ж на масло не давала.

ОЛЬГА. Што?

АННА МИХАЙЛОВНА. Не заработала на масло, говорю!

ОЛЬГА. Не спорь с бригадиром!

АННА МИХАЙЛОВНА. Господи, что у тебя с лицом?

ОЛЬГА (*трогает синяк*). Сын! Вот ты ждешь своего Алексея (*кивает на фото*), а я, как от своего отделаться, не знаю! Как пенсия — так драка.

АННА МИХАЙЛОВНА. Пьет?

ОЛЬГА. Што?

Анна Михайловна щелкает себя по горлу.

ОЛЬГА. Больше матери!

АННА МИХАЙЛОВНА. Мой Алексей ни разу на меня руку не поднял, матом даже не послал.

ОЛЬГА. Понятно — интелехент, журналист! Неси рюмки.

Анна Михайловна приносит рюмку и ломтик хлеба на тарелочке. Ольга достает из кармана чекушку.

ОЛЬГА. Ты не будешь?

АННА МИХАЙЛОВНА. Пей уже.

Ольга набулькивает себе.

ОЛЬГА. Точно не будешь? Последний раз спрашиваю.

АННА МИХАЙЛОВНА. Не ори... У меня давление, в глазах кружится.

ОЛЬГА. Твое здоровье!

Ольга пьет, занюхивает хлебом.

ОЛЬГА. Бабы на работе анекдот рассказали. Старуха деду своему говорит: «Дорогой, у нас будет сын...» А дед отвечает: «Конечно, седни ж пенсия!»

Обе смеются. Ольга охает, трогает под глазом и морщится.

АННА МИХАЙЛОВНА. Может, тебе женьшень пожевать? Я дам.

ОЛЬГА. Щас пройдет... Михална, вот какой вопрос на повестке дня. Скоро сезон, надо к тебе курортников запустить — такие площадь пропадают! И покушаешь хоть с ними, витамины какие-никакие.

АННА МИХАЙЛОВНА. Што ты?! А ну как Алексей вернется?

ОЛЬГА. Вернется... вернется — выпроводишь их!

АННА МИХАЙЛОВНА. Как же выпроводишь, ведь уплотчено будет.

ОЛЬГА. А як же? Само собой!

АННА МИХАЙЛОВНА. Хорошо. Алексей вернется, будет на что обнову купить.

Анна Михайловна сидит на диване с видом, будто она чужая в своей квартире. Встает и зачеркивает карандашом цифру в календаре. Прислушивается. Из-за стены доносятся крики.

МУЖ. Открой сейчас же!

ЖЕНА. Отстань, у меня и так спина обгорела!

МУЖ. Открой!

ЖЕНА. Что тебе открыть? Достал уже!

МУЖ. Открой мне фейсбук, сказал!

ЖЕНА. Какой фейсбук? Тут вай-фая нет!

МУЖ. Открой мне свой аккаунт, животное! Ты при мне с каким-то Тамазом переписываешься и с наглой мордой обнаженку ему отправляешь!

ЖЕНА. Ты совсем уже, что ли?!

МАЛЬЧИК. Папа, не кусай маму! Папочка, папочка!

Анна Михайловна ложится на диван, зажимает уши, сворачивается калачиком.

В комнате темно. Анна Михайловна выходит и щурится от слишком яркого света. Она бочком проходит на кухню, наливает себе воды из чайника. В коридоре много обуви, у стены большой пляжный зонт. В ванной сушатся плавки, купальник, полотенца с надписями «Египет», «Хургада», «Пальма-де-Майорка». Из большой комнаты выходит женщина в трусах и лифчике.

АННА МИХАЙЛОВНА. О, господи!

ЖЕНА. Как так можно?! Вы предоставляете недостоверную информацию. Вай-фая нет, телевизора нет! Даже машинки стиральной нет! Мы же вам деньги платим!

АННА МИХАЙЛОВНА. Извините меня. Я сама не сама... Я сама постираю, вы мне скажите только. Постираю, поглажу, хоть день пройдет.

Выходит пузатый мужчина в плавках.

МУЖ. Сама не сама... Мы опаздываем, дорогая.

АННА МИХАЙЛОВНА. Да куда же вы на ночь глядя? У мальчика температура!

ЖЕНА. Мы, бабик, на ночную дискотеку в открытом море.

АННА МИХАЙЛОВНА. Мальчик болеет.

МУЖ. У нас деньги за билеты уплачены.

АННА МИХАЙЛОВНА. Мальчика оставьте. Я ему женышень дам пожевать.

ЖЕНА. Вот только давайте без шаманизма, пожалуйста.

Муж с женой переговариваются. Снуют из комнаты в комнату. Анна Михайловна растерянно крутится между ними, едва не падает и устало прислоняется к стене.

ЖЕНА. Вот ты, папуля, ругал меня, что я чемодан набила, а здесь даже фена нет! Даже утюга нормального!

МУЖ. Да причем тут фен? У тебя гардероб и обувной магазин! Ты кому тут понравиться хочешь, кроме меня?

ЖЕНА. Ну, шлепни меня по попке, милый.

МАЛЬЧИК. Мамочка, а ты куда?

ЖЕНА. Узбагойся... возьми планшет.

МУЖ. Мы так вообще сегодня никуда не выйдем.

МАЛЬЧИК. Папочка, я боюсь.

МУЖ. Останешься с бабкой. Мы скоро придем. Возьми планшет.

ЖЕНА. Бабик, я бы вас попросила, вы эту свою елку уберите с прохода, он колется, я там ветку обломила уже.

МУЖ. Квартирка та еще! Чтоб я еще раз повелся на эти крымские разводки.

ЖЕНА. Сервис ниже плинтуса.

МУЖ. Ты знаешь, местный девиз: «Че нам запариваться — лохи всегда приедут».

ЖЕНА. Надо было в Турцию, то на то и вышло бы.

АННА МИХАЙЛОВНА. Вы только позвоните с города, я переживаю.

ЖЕНА. Я валяюсь. Че переживать-то? Извините, вы нам кто? Мы через неделю навсегда уедем, вы тоже переживать будете?.. Такси уже подошло, милый!

МАЛЬЧИК. Мамочка, папочка...

МУЖ. Комон, комон эврибади!

Анна Михайловна выходит их провожать, в руках ее пластиковая бутылка.

АННА МИХАЙЛОВНА. Вы на море будете, я вам бутылочку дам с крышечкой. Может, вы мне морской воды наберете?

ЖЕНА. Бутылочку? С крышечкой? Я валяюсь.

Уходят. Тишина.

В большой комнате на разложенном диване спит мальчик. Анна Михайловна замирает в дверном проеме, прислоняется к косяку и прижимает руки к груди. Ее лицо кажется помолодевшим, и вся она, маленькая старушонка, будто светится. Смотрит на мальчика и часто дышит от волнения. Во взгляде ее так много нерастроченной любви и нежности.

Анна Михайловна стоит на коленях перед кедром и подвязывает его бинтом к длинной щепке. Потом пытается сдвинуть его с прохода, но сил не хватает. Она садится и ногами двигает кадку с освещенного прохода в дальний угол — кедр дрожит, опасно кренится.

Возвращается в большую комнату и с робостью, едва дыша, подходит к мальчику. Встает на колени перед диваном и любитесь детским личиком. Подтыкает простыню. Мальчик мечется, сбрасывает покрывало. Старуха встревоженно трогает его лоб и отдергивает руку. Она спешит на кухню, набирает в ковш воды, добавляет немного уксуса, смачивает марлю, отжимает и накрывает ею пылающее тело ребенка. Другой кусок кладет ему на лоб.

МАЛЬЧИК. А-а, огонь, огонь! Умлите, плоклятые гоблины!

АННА МИХАЙЛОВНА. Господи, да когда же они вернутся?!

Зима. Метель. Воеет ветер, дергает рамы; а иногда упрется и давит в стекла мощным невидимым лбом.

Звонок в дверь.

АННА МИХАЙЛОВНА. Да иду же, иду, господи!

Она специально подает голос, чтоб люди за дверью услышали, что она идет, и дождались ее. Открывает дверь. На пороге соседка с кастрюлей.

СОСЕДКА. Здравствуйте, бабушка Анна Михайловна! Я ваша соседка. Можно?

АННА МИХАЙЛОВНА. Можно, чего ж нельзя-то. Проходите, пожалуйста.

СОСЕДКА. Ох, и метель, ох, и воеет на улице! Кто бы мог подумать — такое в Крыму? Сибирь-быр-быр!

Женщина проходит на кухню, ставит кастрюлю на стол.

СОСЕДКА. А я вам борща тепленького принесла.

АННА МИХАЙЛОВНА. Ох, ну что вы, я сама не сама...

Женщина осматривается.

СОСЕДКА. Какая у вас лоджия большая!

АННА МИХАЙЛОВНА. Большая, только рамы старые. Я, наверное, заливаю всех внизу? Думаю, жалуются на меня, а я старая. Я уж тряпки в дождик бросаю на пол и выжимаю.

СОСЕДКА. А холодно-то как у вас!

АННА МИХАЙЛОВНА. Выдувает все тепло в щели. Я уж и мылом клеила, и клейстером, а все дует.

СОСЕДКА. Смешная вы в этом тулупе! Все одна да одна. Сердце изболелось на вас смотреть.

АННА МИХАЙЛОВНА. Я ничего. Пенсию приносят, мне хватает.

СОСЕДКА. Давайте тарелку, бабушка, я вам налью.

АННА МИХАЙЛОВНА. Не лей, не лей так много! Я непривыкшая. Выливать потом жалко.

СОСЕДКА. Боже мой, как же вы здесь живете? Не дай бог!

АННА МИХАЙЛОВНА. Вот дожусь сына и помру. Скажу, чтоб кедр на моей могиле посадил.

СОСЕДКА. Вы — настоящая мать! Надо верить... Ладно, разболталась я тут.

АННА МИХАЙЛОВНА. Ничего, все веселее, и время проходит.

СОСЕДКА. Вы кушайте. Я вижу, вы стесняетесь. Пойду. Кастрюлю потом заберу.

АННА МИХАЙЛОВНА. Вы на меня не обижайтесь, я вас хотела попросить. Можно?

СОСЕДКА. Да-да, пожалуйста.

АННА МИХАЙЛОВНА. Ох, не знаю... Там на деревья снега столько насыпало! И веткам тяжело от снежного груза. Миндаль так согнулся, я смотреть не могу. Спать не могу, хожу туда-сюда.

СОСЕДКА. Ну так что?

АННА МИХАЙЛОВНА. Вы бы, может, с мужем постряхивали бы их? Я помню, как ветки взлетают, когда их от снега освобождаешь! Как будто вздыхают от радости.

Анна Михайловна всплескивает руками, показывая, как освобождаются ветви.

АННА МИХАЙЛОВНА. У меня и палка длинная есть.

СОСЕДКА. Ну и шутница вы, бабушка Анна Михайловна! Пойду я, пожалуй.

Соседка уходит.

Ночь. Из комнаты выходит старуха, ее трудно узнать в толстом зимнем тряпье. В руках — длинная палка. Выходит за дверь.

Лето. Анна Михайловна зачеркивает цифру в календаре. С кухни доносится мощное многоголосье. Старуха замирает. И кедр с ней в такой позе, словно тоже прислушивается.

ТЕТКА. Не трогай меня! Я обгорела!.. И там тоже. Везде обгорелая. Сам своими сливками мажься... Или вон, иди к бабке.

МУЖИК. Ха-ха...

Тишина. Ночь. Старуха выходит из своей комнаты. Коридор вымошен разнокалиберной обувью. Курортники спят. Храп. Она открывает холодильник, оттуда вываливается бутылка молока. Вернуть ее, кажется, совершенно некуда, все забито: пиво, сало, колбаса, арбуз. Анна Михайловна пытается впихнуть бутылку, та снова падает, молоко разливается. Старуха идет за тряпкой, вытирает, ползая на коленях. Впихнула бутылку, но вывалилось яблоко. Анна Михайловна нюхает его, оглядывается, уносит к себе. Через минуту дверь открывается, старуха выходит с яблоком и возвращает его на место.

Утро. В коридоре большая компания — взрослые и дети. Анна Михайловна стоит со своей вечной пластиковой бутылкой.

МАЛЬЧИК. Ма-ам, ма-ам, ну когда-а уже?

ТЕТКА. Мам-мам! Еще сто раз повтори.

АННА МИХАЙЛОВНА. Я вам дам бутылочку, вы мне морской воды принесите немножко. Если не трудно? Она с крышкой, закручивается.

ТЕТКА. Вы же видите, у нас все руки заняты! Давайте потом, бабуля.

МУЖИК. Идите уже к себе, бабушка.

Вечер. Анна Михайловна сидит в своей каморке и ест размоченный хлеб из ковши. В коридоре шум сборов. Она поднимается и выходит.

ТЕТКА. Бабуля, мы через час в ресторан к кумовьям. Я там полотенца замочила. Вы б их сполоснули, а то не высохнут.

АННА МИХАЙЛОВНА. Хорошо, Жанна Ивановна. Все время пройдет... Вы только детей оставьте, не тащите их. Куда на ночь глядя? Я умоляю, я присмотрю.

ТЕТКА. Пожалуй, вы правы.

АННА МИХАЙЛОВНА. И позвоните мне с города, я же волнуюсь.

ТЕТКА. Ну, будя, не смешно. Один раз пошутили и — будя.

МУЖИК. Идите к себе...

Ночь. Анна Михайловна стоит, прислонившись к дверному косяку. В большой комнате, разметавшись на надувном матрасе, спят дети — мальчик и девочка. В глазах старухи любовь, печаль и немного зависти.

День. В коридоре Анна Михайловна и мужик с теткой.

ТЕТКА. Проблемка, проблемка...

МУЖИК. Вы нас извиняйте, конечно, Анна... как вас там, но у нас денюжка пропала.

Анна Михайловна трясется от ужаса, прислоняется к стене.

АННА МИХАЙЛОВНА (*заламывая руки*). О, господи! Жанна Ивановна!

ТЕТКА. Да не Жанна, а Ганна! Я их вон там припрятала. Там вот так вот, вперемешку, Володь, доллары и евраы.

Ночь. Анна Михайловна калачиком на диване. Маленькое тело содрогается.

Зима. Треск, шипение, протяжный свист. На улице расцветают букеты салютов. Вспышки освещают старуху, она неподвижно сидит на табурете. Пролетает китайская ракетка и оставляет на глазах меркнувший след.

Звонок в дверь.

АННА МИХАЙЛОВНА (*встрепенувшись*). Кто ж это?

Открывает дверь. Входит радостная нарядная соседка. В руках какие-то судки.

СОСЕДКА. А я к вам, бабушка! С Новым годом, с новым счастьем! Ой, а что это у вас так темно?

АННА МИХАЙЛОВНА. Я уж спать ложилась.

СОСЕДКА. Давайте, давайте везде зажжем. Пусть и у вас праздник будет! Как вы себя чувствуете?

АННА МИХАЙЛОВНА. Как немазаная телега, так и я. Честно. Когда уже сложну? Такая жизнь была, а сердце не устало держать. Одна война чего стоила. И Алексей без отца рос. Он, наверное...

СОСЕДКА. Ой, не надоело вам одно и то же мусолить! Ведь было же в вашей жизни и что-то хорошее?

АННА МИХАЙЛОВНА (*виновато кивает*). Было, было...

Женщина проходит на кухню, ставит посуду. Что-то вынимает из кармана. Резко поворачивается к старухе и стреляет в нее хлопушкой — треск, дым, конфетти! От неожиданности Анна Михайловна заваливается на шкаф, оседает на пол.

СОСЕДКА. О, май гад, не рассчитала! А вы нам еще нужны. Давайте помогу.

Поднимает старуху, отряхивает. Та чихает, испуганно вертит головой.

АННА МИХАЙЛОВНА. Ничего. Я под бомбежкой была.

СОСЕДКА. Присаживайтесь. Я селедку под шубой принесла. Вы кушайте, я не буду смотреть.

Старуха сонно подсаживается к столу. Соседка ходит по квартире.

СОСЕДКА. Никак не ожидала! Так у вас и с той стороны лоджия продолжается?!

АННА МИХАЙЛОВНА. Дует, и там дует. Устала. Может, я бессмертная какая? Аж страшно...

СОСЕДКА. Так у вас не двухкомнатная, а трехкомнатная квартира, можно сказать.

Анна Михайловна сидит, сложив руки на коленях, кивает головой.

СОСЕДКА. Милая Анна Михайловна, я вам чисто по-соседски хочу один вариант предложить.

АННА МИХАЙЛОВНА. Мне неловко. Я непривыкшая.

СОСЕДКА. Никаких неудобств, все по закону. Послушайте, милая, есть такой договор, он называется рента. Все по закону, через нотариуса. Мы будем ежедневно заботиться о вас — кормить, лекарства покупать, денюжкой помогать и так далее, как говорится, до самой смерти. Так многие пожилые люди делают. А вы нам за это

квартиру свою отпишите. Пропадет ведь, уйдет государству! А чем оно вам помогает? Использовали ваш рабский труд и кинули!

Анна Михайловна встает. Она трясется от негодования. Дрожащими руками поднимает тарелку и вываливает салат обратно в судок.

АННА МИХАЙЛОВНА. А ну геть отсюда! И «шубу» свою забирай!

СОСЕДКА. О, проснулась! Да ты ж как сыр в масле кататься будешь, старая!

АННА МИХАЙЛОВНА. Я — не одинокая! У меня сын есть!

СОСЕДКА. С сыном вашим все понятно, конечно... Жаль, к вам по-человечески, по-соседски, так сказать. Но вы подумайте, в общем. Зачем же так резко? Все оформляется законным образом.

АННА МИХАЙЛОВНА. Геть отсюда!

СОСЕДКА. Сама ты — геть!

АННА МИХАЙЛОВНА. И чтобы ноги твоей больше тут не было, спекулянтка! Я все отдам с пенсии.

СОСЕДКА. Да пошла ты! Сын твой сдох, и ты сдохнешь — никто не заметит!

Соседка уходит.

Анна Михайловна шаркает в свою комнату.

Через какое-то время выходит в зимнем тряпье. В руках длинная палка. Тихо, по стенке, движется к дверям. Долго открывает.

Утро. Старуха с охлаждающей повязкой на лбу поливает кедр, поправляет иглы, рыхлит землю. Звонит телефон.

АННА МИХАЙЛОВНА. Алло, алло?... Алексей, это ты, может быть? Может, ты стесняешься? Молчишь, не знаешь, что сказать? В이니шь себя, что я тут одна и одна. Квартира в порядке. Пенсию мне платят. Ольга, бригадир наш бывший, проведывает, продукты приносит. Сын ее бьет иногда. Она изменяла мужу, отцу его, а сын знает за это. А ты ни разу руки не поднял, даже матерно не посылал... Я знаю, вы звоните и проверяете — сдохла старуха или нет. Не сдохла.

Она отставляет трубку и говорит сама себе.

АННА МИХАЙЛОВНА. Жалею, что второго не родила. Мне бы девочку... Были мужики хорошие, один на промбазе. Подошел. «Что-то ты одна ходишь?» «Я мужа похоронила». «А я жену, давай сойдемся»? Три раза подходил. А я говорю: «Два раза мужей хоронила, больше не хочу». Вот теперь саму хоронить некому.

Ночь. Гром. Невыносимо трескучее, уничтожающее и расплющивающее грохотание. Сплошные потоки дождя. Рычат и потрясают все вокруг молнии. В их ядовитом атомном свете горы и самые тонкие деревца на их вершинах видны, как под лупой. Воздух шипит и плавится. Яркие, многократные вспышки освещают Анну Михайловну. Она стоит, прижавшись к стене. Блестят глаза испуганной, одинокой девчонки.

Тишина. Выглянувшая луна освещает лицо старухи.

АННА МИХАЙЛОВНА. Леша. Сынок мой единственный!

Утро. Звонок. Еще.

ОЛЬГА. Михална! Открывай, это я!

АННА МИХАЙЛОВНА. Иду же, иду! Орет на весь дом.

Анна Михайловна открывает. На площадке Ольга и молодой человек с большим рюкзаком.

ОЛЬГА. Принимай отдыхающего, Михална!

Анна Михайловна каменеет лицом, молча закрывает дверь и прижимается к ней.

ОЛЬГА. Михална, не пугай, мы сами боимся. Приличный человек. Из Москвы. Журналист.

Анна Михайловна снова открывает дверь и впускает их.

ФЕДОР. Здравствуйте! Федор. Будем знакомы.

АННА МИХАЙЛОВНА. Вы меня извините, пожалуйста. Я сама не сама... У меня

вай-вая нет, стиральной машинки нет и телевизор не контактит. И моря нет в шаговой доступности.

ФЕДОР. О как вас научили!

ОЛЬГА. Он знает! Мы договорились!

АННА МИХАЙЛОВНА. Не кричи!

ОЛЬГА. Федор, я не кричу, я глухая! Мы с Михалной на асфальте, в одной бригаде работали. Весь южный берег укатали. Давайте по сто грамм за знакомство, и я побегу. Есть че, Михална?

ФЕДОР. У меня есть (*вынимает из рюкзака бутылку*).

ОЛЬГА. О! Московская! Гарно, гарно! Михална, рюмки.

Старуха недовольно кряхтит. Уходит и возвращается с рюмками и кусочком хлеба. Федор разливает.

ОЛЬГА. Ну, за знакомство!

ФЕДОР. За знакомство.

ОЛЬГА. Меня тетя Оля зовут, ты понял. Мы с Михалной асфальт вместе укладывали. Я вербованная, из Львовской области, в пятидесятых годах сюда приехала.

АННА МИХАЙЛОВНА. Понесла языком чесать.

ОЛЬГА. Так и осталась. Двое сыновей постарше тебя. Только вот муж очень ревнивый. Ты Михалну не слушай, она любит про меня языком потрепать!

Анна Михайловна кряхтит.

ОЛЬГА. Слишком уж был такой! Его ревность до дурдома довела!.. Он и оттуда прибежал проведать, застать меня. У него даже одежду всю отбирали. Так он туалетной бумагой обмотался, так и бежал через весь город. Мне он и сейчас иногда мерещится! Наливай.

ФЕДОР. Да-а, Отелло настоящий.

ОЛЬГА. Ну, за встречу! Ты нам тут Михалну не обижай.

АННА МИХАЙЛОВНА. Иди уже!

Поздний вечер. Федор осторожно стучит в дверь старухи.

ФЕДОР. Анна Михайловна, давайте вместе поужинаем? А то как-то неловко.

АННА МИХАЙЛОВНА. О, господи, да чего ж вам не спится?

ФЕДОР. Так рано еще.

Кухня. Нехитрая закуска — колбаса, сыр, помидоры. Бутылка вина.

ФЕДОР. Давайте выпьем за знакомство!

АННА МИХАЙЛОВНА. Немного, Федор. А то сердце зайдется.

Пьют. Молчат. Анна Михайловна от стеснения встает и включает неработающий телевизор. Огромный советский «Горизонт» свистит, как радиостанция, но экран не загорается.

АННА МИХАЙЛОВНА. Не показывает... Двадцать ноль семь уже. Это в Москве, значит, уже двадцать один. Ни угадай мелодию, ни поле чудес. Другой раз интересно бывает.

ФЕДОР. Покажет еще, Анна Михайловна. Давайте, я вам еще капну. Это полезное, кроветворное вино. Раз пошла такая пьянка — режь последний огурец!

АННА МИХАЙЛОВНА. Хорошее, *сладкое*. Спасибо. А у меня огурцы где-то были.

ФЕДОР. Анна Михайловна, у вас такие волосы красивые, как у девушки.

АННА МИХАЙЛОВНА. Да-а, у меня во-от такая коса была, а фашист подошел, ка-ак дернул... Я говорю, што ж ты, хад, делаешь?!

ФЕДОР. А он что?

АННА МИХАЙЛОВНА. А он залыбился и матернулся.

ФЕДОР. По-русски?

АННА МИХАЙЛОВНА. А то! Наш мат они первым делом! Мы идем с тележками — одежду на продукты меняли в Симферополе; а они на вилсапетах, смеются и кричат: сталинские кони, вашу мать так, и все матом... Девчонка была, а вот уже восемьдесят, аж страшно делается.

ФЕДОР. А как вы себя вообще чувствуете?

АННА МИХАЙЛОВНА. Как немазаная телега, так и я. Честно... Когда сдохну? Устала уже. Честно. Алексея только жалко.

ФЕДОР. Это сын ваш? Тот мужчина на фото?

АННА МИХАЙЛОВНА. Да.

ФЕДОР. Скучаете? Нечасто приезжает, наверное?

АННА МИХАЙЛОВНА. Он у меня без вести пропавшим считается. Журналист был, как и вы. Только военный.

ФЕДОР. Давно?

АННА МИХАЙЛОВНА. Давно... Лешка упрямый, как хохол. Я не хотела, чтобы он учился в этом журналистском институте. Жди его теперь! Что говорить? Не было по-нашему никогда, и не будет.

ФЕДОР. Все может быть. Может, он в рабстве?

АННА МИХАЙЛОВНА (*покорно кивает головой*). В рабстве.

ФЕДОР. Бывает такое. Бывает, что только через десятки лет освобождают. Аулов-то много разных, высокогорных. Бывает еще, что ислам принимают. Остаются там жить, женятся в той вере.

АННА МИХАЙЛОВНА. Он в своей-то вере не женился!.. Лишь бы живой. Мне все равно, аллах един... А я сама неверующая. Честно.

ФЕДОР. Как так?

АННА МИХАЙЛОВНА. Грех жаловаться, но там пока что ни одну молитву не услышали. А тяжело порой бывало. Жизнь протянется — всего достанется.

ФЕДОР. А вы местная?

АННА МИХАЙЛОВНА. Я с Рыльского района Курской области. Возле нашей деревни имение князя Барятинского было. Может быть, слышали?.. Я — круглая сирота. Помню деревню, аллею красивую, как бежала по ней девчонкой... И братья, и сестры все умерли, а мне осталось жить. Я самая малая, и на мою долю выпало все. Меня Василь Петрович со своей семьей забрал, чтоб жене по хозяйству и с детьми помогать. Инженер. Хороший был человек. Его в Крым послали мосты строить. Я когда море первый раз увидела, подумала, что это капустное поле такое большое. Так тут и осталась. Детей их растила. Потом немцы пришли. Чтоб дети не голодали, я с тележкой пешком, через перевал, в Симферополь ходила — одежды на продукты меняла. А немецкие патрули всех нюхали.

ФЕДОР. Зачем?

АННА МИХАЙЛОВНА. А кто дымом пахнет, значит — партизан. Они ж у костров грелись... Мальчишки облизали бочки с повидлом, так немцы их на набережной повесили, троих, на мимозе. Я сама видела — висят, и глаза вот так вот завязаны!.. Федор, я спать пойду.

ФЕДОР. Да-а уж... Спокойной ночи, Анна Михайловна.

АННА МИХАЙЛОВНА. Я вам завтра оладьи испеку.

ФЕДОР. О, здорово! Спасибо.

АННА МИХАЙЛОВНА. За вкус не ручаюсь, но горячо будет.

Утро. Федор собирается на пляж.

АННА МИХАЙЛОВНА. Вы на городской пляж не ходите — там стоки. Идите на лечебный пляж санатория «Дельфин». Я там работала на пенсии. Скажите, что внук Анны Михайловны.

ФЕДОР. Спасибо, бабушка.

АННА МИХАЙЛОВНА. Федор, я вам бутылочку дам с крышечкой, вы мне морской воды принесите, если не трудно.

ФЕДОР. Анна Михайловна, мы с такой посудой не работаем.

АННА МИХАЙЛОВНА. Вы меня извините, я старая дура.

ФЕДОР. А вы что с водой делаете?

АННА МИХАЙЛОВНА. Я ноги в ванной поливаю. Они у меня болят. Стояли, дуры, зимой на асфальте в резиновых сапогах!

Федор уходит. Старуха не замечает этого и продолжает рассказывать.

АННА МИХАЙЛОВНА. Мне однажды бутылку спирта дали. А я отдала одному... А бабы говорят, мол, что ж ты, дура, делаешь? Ноги бы себе растирала... Федор? Ты ушел, что ли?

Анна Михайловна рассматривает его фотоаппарат. Приносит фото сына и пытается сравнивать его фотоаппарат с этим.

Обед. Звонок. Старуха идет открывать. Смотрит в глазок и вскрикивает. Быстро отпирает. На пороге Федор, у ног пакеты и пятилитровая бутылка.

АННА МИХАЙЛОВНА. О, господи!

ФЕДОР. Вот вам пять литров моря! На катамаране сплавал, набрал. Кристалл клир ватер.

АННА МИХАЙЛОВНА. Федор!

ФЕДОР. Краски на рынке купил. Рамы покрашу.

АННА МИХАЙЛОВНА. Федор! Я сама не сама...

ФЕДОР. А перед этим укрепим их, конечно. Это не дело. Щели законопатим.

Анна Михайловна отворачивается и быстро уходит в свою комнату.

ФЕДОР. Анна Михайловна, вы чего там? Эй, Михална!

Утро. Федор стоит на стуле и укрепляет рамы. Рядом Анна Михайловна. Она прилежно держит молоток и деревяшку.

ФЕДОР. Плоскогубцы!

Анна Михайловна уходит и приносит инструмент. Смотрит снизу вверх.

ФЕДОР. Гвоздодер!

Старуха прилежно и радостно подает.

ФЕДОР. Саморез принесите.

Старуха уходит и приносит пилу.

ФЕДОР. Саморезы! А, я сам.

Спускается.

АННА МИХАЙЛОВНА. Осторожно, Федь. Я боюсь.

Федор возвращается и пытается вкрутить.

ФЕДОР. Не-а, труха. Надо новую рейку купить.

АННА МИХАЙЛОВНА. Я заплачу с пенсии.

Федор с треском отдирает планку.

АННА МИХАЙЛОВНА. Федь, осторожно, смотри, чтоб на голову никому не упало.

ФЕДОР (*кряхтит*). Да, понял уже. Там у вас проход под домом.

АННА МИХАЙЛОВНА. Федор, я заплачу, как пенсию принесут!

ФЕДОР. Анна Михайловна! Уйдите уже! Идите там...

Анна Михайловна с чувством кладет инструменты на шкаф и уходит в свою комнату.

Треск и грохот. Анна Михайловна с испугом выглядывает и прислушивается.

ФЕДОР. А что это у вас? Я чуть не заломал.

Анна Михайловна горестно склоняется над кедром.

АННА МИХАЙЛОВНА. Кедр. Я его во-от таким в санатории взяла. Посадила в банке из-под белил. Думала, не примется. А он принялся! Потом в маленькое ведро пересадила. Потом в кадку. Теперь вот в это ведро. Ему уж там места мало, он мучается, я чувствую.

ФЕДОР. Явно мало, вон какой вымахал.

АННА МИХАЙЛОВНА. Алексея дождусь и помру, а ему накажу, чтоб он его на могиле моей посадил. Пусть растет.

Вечер. Федор сидит на кухне. Рядом вертится, хозяйничает Анна Михайловна.

АННА МИХАЙЛОВНА. Будешь борщ, Алексей?

ФЕДОР. А вы? Давайте поедем, что ли.

АННА МИХАЙЛОВНА. Я уж ела... За вкус не ручаюсь, но горячо будет. Как у нас мужик на работе говорил, хохол: «Наливай!.. Сколько стоит?!.. Выливай!»

ФЕДОР. О, телевизор нагрелся, показывает, смотрите!

АННА МИХАЙЛОВНА. А-а, сидят, жуют без конца, лечатся, волосы шампунем моют.

ФЕДОР. Эх, Анна Михайловна...

АННА МИХАЙЛОВНА. Что?

ФЕДОР. Как жить?

АННА МИХАЙЛОВНА. Выбросить все из головы, жить и не падать духом! Найти человека женского рода... А дома не было девушки?

ФЕДОР. Я в семнадцать лет оттуда уехал, Анна Михайловна.

АННА МИХАЙЛОВНА. Вот и Алексей. Так и не женился. Такие к нему девушки приезжали. Нет, не женился. Может потому, что без отца рос? И чего он этим журналистом? Жил бы здесь, детей учил по истории, женился.

ФЕДОР. Судьба.

АННА МИХАЙЛОВНА. Я тебе завтра блинчиков напеку.

ФЕДОР. Растолстею так на ваших харчах!

АННА МИХАЙЛОВНА (*смеется*). За вкус не ручаюсь, но горячо будет.

ФЕДОР. Я знаю, вкусно будет.

Утро. Федор укрепляет рейками рамы. Рядом Анна Михайловна, держит инструменты.

ФЕДОР. Вы уйдите, Анна Михайловна. Я сейчас щели запенивать буду. Пена воняет.

Анна Михайловна уходит и возвращается — на ней марлевая повязка. Другую подает Федору.

ФЕДОР. Да это не спасет... А, черт с вами!

Старуха повязывает ему на нос марлю.

Федор забивает монтажной пеной многочисленные щели.

АННА МИХАЙЛОВНА. Не спеши, Федь. Отдохни.

ФЕДОР. Надо. Я завтра уезжаю.

АННА МИХАЙЛОВНА. Как уезжаешь?!

Удрученно склоняет голову. Натягивает повязку на глаза. Уходит.

Обед. Федор сидит на кухне в маске.

ФЕДОР (*кричит*). Анна Михайловна, я вашего сына через интернет поищу.

АННА МИХАЙЛОВНА. Что за интернет такой?

ФЕДОР. Всемирная паутина. Там все есть. Даже вы, если поискать.

Через какое-то время выходит Анна Михайловна. Она все еще в маске. В руках фотографии сына.

АННА МИХАЙЛОВНА. Федор! Дай тебе бог здоровья! Какой ты хороший человек!

ФЕДОР. Ну, началось. Сейчас заплачу!

АННА МИХАЙЛОВНА. Вот фотографии Лешкины, может, пригодятся в интернете?

ФЕДОР. Отлично! Конечно, пригодятся! А теперь борща, да?

АННА МИХАЙЛОВНА. За вкус не ручаюсь, но горячо будет.

ФЕДОР. Наливай... Сколько стоит?.. Выливай!

Смеются.

Утро. Федор стоит в коридоре. Пытается приподнять тяжеленный рюкзак.

ФЕДОР. Анна Михайловна! Вы что туда напихали?

АННА МИХАЙЛОВНА. Там варенье айвовое, баночка. Сало хорошее, Ольга давала. Печенье в дорогу. Вот еще, пожалуйста, кружку возьми от меня в подарок.

Федор вздыхает, запихивает кружку. Возвращается Анна Михайловна со свертком.

АННА МИХАЙЛОВНА. Вот еще отрез на платье — девушке своей или матери.

ФЕДОР. Ну уж нет!

Но в глазах старухи столько мольбы и желания хоть чем-то отблагодарить, что Федор берет отрез.

ФЕДОР. Какая приятная на ощупь! Сейчас одна химоза кругом... Спасибо. Гарный подарок, гарный!

Запихивает в рюкзак. Пытается забросить его на спину. Старуха помогает ему.

ФЕДОР. Как бы ручки не оторвались с вашим салом!

АННА МИХАЙЛОВНА. Федор, вы ба мне адрес свой записали?

Федор кряхтит. Вынимает из кармана блокнотик с ручкой. Пишет.

ФЕДОР. Вот. Москва. Центральный телеграф. Федору Охлопкову. До востребования.

АННА МИХАЙЛОВНА. Господи, вот и у Алексея какой-то такой адрес был! Страшно...

ФЕДОР. Ну, пока, Анна Михайловна.

АННА МИХАЙЛОВНА. Приезжайте на следующий год... и денег не надо.

ФЕДОР. Приеду.

АННА МИХАЙЛОВНА. Ничего не забыли? Если вдруг Алексей найдется... большой привет! Передайте, чтоб приехал. Мать ходит, за стенку держится, вот будет 80 лет в сентябре.

Федор поворачивается и едва не сшибает старуху рюкзаком. Выходит. Анна Михайловна семенит на лоджию. Долго машет рукой.

Вечер. Звонок в дверь.

АННА МИХАЙЛОВНА. Кто там?

МУЖСКОЙ ГОЛОС. Я. Открывай.

АННА МИХАЙЛОВНА. Не признаю что-то...

МУЖСКОЙ ГОЛОС. Свои!

АННА МИХАЙЛОВНА. Алексей! Ты?!

МУЖСКОЙ ГОЛОС. Ну а кто же еще? Открывай, мать!

АННА МИХАЙЛОВНА. Сынок... Не могу! Руки дрожат. Не помню, где ключи! Не уходи только.

Открывает. Врывается мужик, хватает ее за горло и прижимает к стене.

МУЖИК. Деньги давай, старая! Все! Быстро.

Старуха пытается поднять руку. Мужчина разворачивает ее, перехватывает за шею и ведет-тащит к шкафу. Она приподнимает белье и подает ему свой гаманок.

МУЖИК. Эта гамзуля — все?! Давай без приколов!

Встряхивает старуху за шкуру. Она теряет сознание и оседает по стене. Под ней расплзается лужа.

МУЖИК. Факинский! Как, в натуре, с таким материалом работать?

Брезгливо ощупывает старуху. Рвется в шкаф, бесцеремонно вышвыривая белье. Переворачивает постель.

Ночь. Вспышки салютов освещают старуху на диване.

Крики за окном: «Да здравствует Россия!», «Крым — наш, ура!»

Утро. Звонок в дверь.

АННА МИХАЙЛОВНА. О, господи! Кого еще там несет? Ольга, ты?

ФЕДОР. Это я, Михална! Открывай.

АННА МИХАЙЛОВНА. Федор, ты?

ФЕДОР. Да я же! Федор, Федор!

Анна Михайловна заполошно шелкает замками, задвижками, путается и черты-хается.

Входит Федор с небольшим рюкзаком. Обнимает старуху.

АННА МИХАЙЛОВНА. Федя! Ты?!

ФЕДОР. Анна Михайловна, как я рад вас видеть! Вот довелось! Тут у вас такие дела! Меня с заданием к вам послали... Поздравляю с возвращением в родную гавань!

АННА МИХАЙЛОВНА. Дела идут, контора пишет. То-то хохлы все попуганные сидят. Даже Ольга не ходит.

ФЕДОР. А она что, хохлушка?

АННА МИХАЙЛОВНА. А что, хохлушка не человек?

ФЕДОР. Вы у меня либерал, что ли, получаетесь?

АННА МИХАЙЛОВНА. Пойдем лучше супа налью!

ФЕДОР. За вкус не ручаюсь, но горячо будет. Сколько стоит?.. Выливай!

Смеются.

ФЕДОР. Сейчас поем и поскачу!

АННА МИХАЙЛОВНА. Федор, не ходи ты, ради бога! Без тебя управятся.

ФЕДОР. Задание, надо. Билет оплатили, командировочные, туда-сюда. Не могу.

АННА МИХАЙЛОВНА. И куда тебя черт несет?! Ты бледный какой-то. Я тебе женьшень дам пожевать.

ФЕДОР. Мне скоро бежать.

АННА МИХАЙЛОВНА. И я бежала. Пожилой был дядька, здоровый, похлопал меня по плечу и говорит: «Дочка, куда ты так каждое утро бежишь? Что потом будешь делать?»

Федор в другой комнате говорит по мобильному и не слышит ее.

АННА МИХАЙЛОВНА. Продукты на склад получать. Как же не бежать, дяденька? А было мне тогда шестнадцать лет...

Ночь. Анна Михайловна стоит возле телефона и заламывает руки. Семенит на лоджию и смотрит в окно. Возвращается к телефону, заламывает руки. На лице боль и тревога. Идет к окну.

В квартире темно. Свет фар с объездной дороги скользит по стенам и освещает старуху. Она сидит на табуретке у дверей.

АННА МИХАЙЛОВНА. Господи... Господи!

Вдруг встает, зажигает повсюду свет. Наливает в таз воды, замачивает тряпку. Ползает на коленях и моет пол. Поскальзывается, растягивается, но продолжает возить тряпкой.

Обед. Звонок в дверь. Старуха семенит, смотрит в глазок и быстро открывает дверь.

АННА МИХАЙЛОВНА. Федя! Што ж ты делаешь?! Я ждала! Не позвонил! Жду, жду...

ФЕДОР. Не ругайся, бабушка, я с боевым товарищем.

Вслед за Федором входит существо неопределенного пола. В руках букет.

АННА МИХАЙЛОВНА (*смуценно*). Проходите, проходите, пожалуйста... Вы уж меня извините. Я сама не сама.

СУЩЕСТВО (*протягивает букет*). Это вам, олдскульный человек!

АННА МИХАЙЛОВНА. Господи, мне сроду цветов не дарили. И первый, кто подарил, — мальчик!

СУЩЕСТВО. Вообще-то я девушка.

АННА МИХАЙЛОВНА. О, господи. Я сама не сама, слепая дура, не обижайтесь на меня.

ФЕДОР. Вот тебе, Михална, пять литров моря! Полоскайся и ни в чем себе не отказывай.

АННА МИХАЙЛОВНА. Ах, Алексей. Тяжелень такую тащил! Тяжело тебе такому жить будет.

СУЩЕСТВО. Достойный видос! Горы за окном, прямо как фотообои!

АННА МИХАЙЛОВНА. Век бы их не видеть. Честно!

ФЕДОР. Суп остался?

АННА МИХАЙЛОВНА. Остался. Кому ж его есть?

ФЕДОР. Наливай!

Сидят на кухне. На столе бутылка вина. Анна Михайловна суетится у плиты.

СУЩЕСТВО. Анна Михайловна, у вас волосы зачетные даже!

АННА МИХАЙЛОВНА. У меня во-от такая коса была, а фашист подошел, как дернул... Я говорю: што ж ты, хад, делаешь?!

СУЩЕСТВО. А он что?

АННА МИХАЙЛОВНА. А он залыбился и матернулся. Мы же не ихняя фрава, нас можно.

СУЩЕСТВО. Ацтой! Вот и мы пукан порвали бандерлогам!

ФЕДОР. Давайте выпьем за это! Михална, наливать? Последний раз спрашиваю.

АННА МИХАЙЛОВНА. Раз пошла такая пьянка, режь последний огурец!

СУЩЕСТВО. За Крым! За Россию!

ФЕДОР. С возвращением! Крым — наш!

Пьют.

АННА МИХАЙЛОВНА. Вот и Алексей все за Крым ругался... Что говорить? Не было по-нашему и не будет никогда.

ФЕДОР. Михална у нас либералка.

СУЩЕСТВО. Не, у нас таких мало. Иначе бы все зафакапили!

АННА МИХАЙЛОВНА. Да-а... Жизнь протянется — всего достанется. Ну, ладно, пойду, не буду вам мешать.

Старуха уходит. Стоит в своей комнате, смотрит на фото сына.

СУЩЕСТВО. Давай вписывайся, олдскульный человек.

ФЕДОР. Заметила, здесь даже в самой атмосфере что-то поменялось?

СУЩЕСТВО. Знаешь, когда это все объявили — у меня мурашки вот такие по коже, и я заплакала, беспесды!

Держась за стену, возвращается старуха.

АННА МИХАЙЛОВНА. Где-то здесь кастрюля была на три литра, я мясо поварю, говядина долго варится.

Ставит кастрюлю, вздыхает и уходит. Ложится у себя на диване.

СУЩЕСТВО. Я теперь не тамблер-герл! Я Крым отстаивала! И жить, как раньше, после этого — зашквар!

ФЕДОР. Могу только догадываться о сказанном.

СУЩЕСТВО. Надо было гидроколбасы купить. Я обычно запиваю.

Возвращается Анна Михайловна.

АННА МИХАЙЛОВНА. Давайте я томатами борщ подкрашу.

ФЕДОР. Анна Михайловна, давай еще по пять капель?

АННА МИХАЙЛОВНА. Ты меня извини, Федор, а от Алексея никаких вестей не было?

ФЕДОР. Анна Михайловна, я объявления разместил в интернете, но по Алексею пока нет ничего. Пишут, мол, подождите.

АННА МИХАЙЛОВНА (*покорно кивает головой*). Ничего... Подождем.

СУЩЕСТВО. А, интернет — большая помойка. Все для успеха!

АННА МИХАЙЛОВНА. А я еще фотографии нашла, где он уже после института. Поближе к своему возрасту.

Уходит в свою комнату.

ФЕДОР (*шепотом*). У нее сын, военный журналист, без вести пропал. Давно уже. А она все ждет.

СУЩЕСТВО. Как же так, Федь, что она одна?

ФЕДОР. А что делать, Тань? Что делать?

СУЩЕСТВО. Как она зубы лечит? И как Новый год встречает? С кем тусуется?

ФЕДОР. Хватит уже прикалываться.

Старуха возвращается с фотографиями и какими-то грамотами.

АННА МИХАЙЛОВНА. Вот, Федор, фотографии. Береги.

СУЩЕСТВО. Зачетный мужчина!

АННА МИХАЙЛОВНА. Это грамоты его. Так-то он хороший, Алексей, помогал мне. Плиту на печке побелил в детстве.

СУЩЕСТВО. Плиту?

АННА МИХАЙЛОВНА. Да, за ради красоты. Я уж его не ругала. Потом он снежки на печке хотел высушить.

СУЩЕСТВО. Красафчег!

АННА МИХАЙЛОВНА. Другой раз его нечаянно в санатории в холодильнике закрыли. Хотел посмотреть, как огонек свечки замерзнет.

СУЩЕСТВО. Сэдбой.

АННА МИХАЙЛОВНА. Да. Вот только не женился, а хорошие девушки к нему приезжали. Вот была Лариса, она мне тоже нравилась.

СУЩЕСТВО. С этим, да, реально, у многих проблемы.

ФЕДОР. А давайте за Алексея выпьем?

Анна Михайловна поднимает фужер, но рука дрожит, вино расплескивается. Она уходит к себе.

СУЩЕСТВО. Сайонара, бабушка.

ФЕДОР. Что?

СУЩЕСТВО. Кислая у нас вписка получается. Как тебя подруга твоя терпит?

ФЕДОР. Давай, выпьем.

СУЩЕСТВО. Подруга твоя, наверно, загоняется, что ты такой далбайоп — ни машины, ни квартиры, ы-ы-ы...

Ночь. Анна Михайловна лежит на диване. За стеной плачет Существо.

Утро. Старуха и Федор на кухне.

АННА МИХАЙЛОВНА. А Таня где?

ФЕДОР. Убежала, ей на работу.

АННА МИХАЙЛОВНА. Как будто плакал кто-то ночью?

ФЕДОР. Послышалось вам.

АННА МИХАЙЛОВНА. И чего они у тебя плачут все, Федор? Нина, которая с ребенком, в прошлом году...

ФЕДОР. Это не мой ребенок.

АННА МИХАЙЛОВНА. Тоже плакала.

ФЕДОР. Дом тут у вас такой, странный. Все женщины плачут.

АННА МИХАЙЛОВНА. Вот и Алексей не женился. А были у него хорошие девушки... И нечего на дом наговаривать.

ФЕДОР. А кедр как разросся!

АННА МИХАЙЛОВНА. Федя, мне кажется, ему уж расти некуда. Он как в безвыходном положении.

ФЕДОР. Статья называется: «Жизнь в тупике ведра!»

АННА МИХАЙЛОВНА. Мучается он.

Анна Михайловна уходит к себе в комнату. Федор прислушивается, подходит к ее двери. Слышен плач.

Федор приоткрывает дверь.

ФЕДОР. Можно? Вы чего тут расквасились?

Старуха сидит на диване, ее трясет в истерике.

АННА МИХАЙЛОВНА. Я прямо не знаю, аж прямо страшно делается. Меня душит прямо. Где Алексей? Я устала от жизни такой. Я бы легла и умерла, и не могу никак. Господи, под бомбежкой была, с горы летела, может, меня смерть не берет? Меня сердце держит.

Федор подходит и обнимает ее. Старуха шмыгает носом.

ФЕДОР. Дом у вас странный все же...

АННА МИХАЙЛОВНА. Федя, заberi ты меня в Москву! Я не сварливая, как другие, я не пью. У меня пальто есть зимнее и сапоги еще. Меня страх одолевает, что меня кто-то прихлопнет! Умру и буду на полу лежать.

ФЕДОР. Куда, Михална? Сам по съемным квартирам мыкаюсь.

Обед. Звонок. Старуха спешит открывать. Входит Федор.

АННА МИХАЙЛОВНА. Ну, наконец-то! Хоть не отпускай тебя.

ФЕДОР. Собирайся! Поедешь со мной в Москву! Я видел, у тебя там чемодан стоит деревянный. В самый раз.

Старуха отшатывается, хватается за сердце.

АННА МИХАЙЛОВНА. Господи, да я же пошутила, Федор! На кого же я квартиру оставляю? Алексей вернется, а я в Москве! А он уж, небось, и ключи давно потерял... Да и ты там девушку хорошую встретишь, а я куда?

ФЕДОР. Да какую девушку — ни квартиры, ни машины!

АННА МИХАЙЛОВНА. Обязательно встретишь! Ты хороший. С тобой можно жить. Это Лешке не везло никак... ты фотографии его взял?

ФЕДОР. Я их на сайте программы «Жди меня» размещу.

АННА МИХАЙЛОВНА. Я ему письмо написала на всякий случай. Почитай, разберешь ли, а то у меня руки корявые.

ФЕДОР. Хорошо. Пойдет. Телефон ваш оставляю. Ждите звонка.

Уходит. Старуха долго машет в окно на лоджии.

Ночь. За окном кричат чайки. Старуха лежит на своем диване. На табурете рядом с ним стоит телефон. Старуха поднимает трубку и слушает. Опускает. Поднимает и слушает. Кедр грустно склонил к ней свою макушку.

Утро. В квартире пусто. Звонок в дверь. Слышен голос Ольги.

ОЛЬГА. Михална, открывай! Свои!

Тишина.

На площадке голос Ольги: «Да я не буюню! Она уже полчаса не отзывается! Вы тут как хотите, милиция, полиция, а я пошумлю. Дверь буду выносить!.. Помогай! Ломать — не строить!»

Сильные удары в дверь. Отскакивает задвижка. Отлетает цепочка. Трухлявая дверь трещит и распаивается.

ОЛЬГА. Михална!

Ольга размашисто крестится и заглядывает в комнату старухи.

Никого.

АННА МИХАЙЛОВНА. Ох! Я тут... я в ванной упала! Белье вешала и упала. Вылезти не могу.

ОЛЬГА. Ну ты дардомыга старая!

АННА МИХАЙЛОВНА. Нерасторопная. Лицо разбила!

ОЛЬГА. У тебя тут еще и чайник кипит! Ну, дардомыга! Скорую, что ли, вызывать?

АННА МИХАЙЛОВНА. Не надо! Они меня уморят за квартиру!

Ольга выносит старуху на руках из ванной и несет в комнату.

АННА МИХАЙЛОВНА. Нет! Не туда!.. Ольга!

Старуха что-то шепчет ей на ухо.

ОЛЬГА. Тьфу ты, манда, так и скажи — на унитаз!

Ольга несет старуху в туалет.

АННА МИХАЙЛОВНА. Все, уйди!

ОЛЬГА. Тьфу ты!

Старуха лежит на диване. Светит гематомой на пол-лица. За столом сидит Ольга. На столе чекушка и рюмка. Ольга, подперев рукой щеку, задумчиво смотрит на подругу.

Лето. День. В коридоре большой рюкзак. Анна Михайловна в новом халате.

Федор что-то чинит в большой комнате.

ФЕДОР. Как вы?

АННА МИХАЙЛОВНА. Как немазаная телега, так и я. Честно.

Она стоит, держась за косяк, сонно хлопает веками и тихим голосом в нос,

привычно и почти радостно, жалуется на здоровье. На лице гематома, замазанная чем-то белым.

АННА МИХАЙЛОВНА. Когда же я сдохну? Устала уже. Честно. Алексея только жалко. Федор смотрит на нее и не может сдержать смех.

ФЕДОР. Прости, Михална, что смеюсь... Просто у тебя сейчас лицо такое! Да еще намазалась. Этот, блин, твой «Комбат-Спасатель», ну не могу!

Старуха тоже смеется.

АННА МИХАЙЛОВНА. Федор, я спать пойду.

ФЕДОР. Ла-адно, спокойной ночи, Михална.

АННА МИХАЙЛОВНА. Я тебе завтра оладьи испеку.

ФЕДОР. О, здорово, спасибо.

АННА МИХАЙЛОВНА. За вкус не ручаюсь, но горячо будет.

ФЕДОР. Я знаю, вкусно будет.

Ночь. Старуха сидит на диване. Смотрит на фото сына и гладит его заскорузлыми пальцами.

Утро. Анна Михайловна нарядно и торжественно одета. Волнуясь, ходит по квартире и то и дело возвращается к кедру, гладит его, поправляет иголки.

Звонок в дверь.

АННА МИХАЙЛОВНА. Иду, иду, господи! Опять не помню, куда ключи положила...

Наконец открывает. Входят Федор и Существо, которое неузнаваемо изменилось — длинные волосы, платье.

ФЕДОР. Это я, с боевым товарищем.

СУЩЕСТВО. Здравствуйте, Анна Михайловна.

АННА МИХАЙЛОВНА. Здорово, коль не шутишь.

СУЩЕСТВО. Вы меня не узнаете?

Девушка меняется, превращаясь в прежнее дерганое Существо.

СУЩЕСТВО. Ну че, хай тебе, олдскульный человек!

АННА МИХАЙЛОВНА. О, господи! Так это ты, Татьяна?

СУЩЕСТВО. Наконец-то! Ну, обнимашки.

Обнимаются.

ФЕДОР. Да вы у меня красotka, Анна Михайловна! Зачет!

СУЩЕСТВО. Зачет! Анна Михайловна, давайте я у вас полы помою... и борщ, что ли, сварю.

АННА МИХАЙЛОВНА. Что это с тобой случилось?

СУЩЕСТВО. Что-то хорошее, беспесды.

Девушка набирает воды в ведро. Берет тряпку и швабру. Моет полы в дальней комнате. Напевает.

ФЕДОР. Вот такие вот дела. Пусть помощница у вас будет.

АННА МИХАЙЛОВНА. Пусть будет. Она хорошая.

ФЕДОР. Какая-то вы не такая сегодня.

АННА МИХАЛОВНА. Алексей, сегодня кедр высадим во дворе. Я уже и место присмотрела с лоджии.

ФЕДОР. А как же?..

АННА МИХАЙЛОВНА. Да чего ему на могиле-то делать? Что ему старые косточки ворошить? А тут он с живыми будет. Живых будет радовать. Духовитость свою против туберкулеза детям отдавать. Шишки и орешки под ноги бросать.

Появляется Существо со шваброй.

СУЩЕСТВО. Правильно. И я так шетаю!

ФЕДОР. Я и сам вижу, что он не растет уже. Я высажу, не вопрос.

АННА МИХАЙЛОВНА. Вместе посадим. Ты только вниз меня сведи.

ФЕДОР. Да сидите вы! Чего? Я сам. А вы сверху любуйтесь.

АННА МИХАЙЛОВНА. Нет, Федор, я сама хочу. Сведи меня туда.

ФЕДОР. Ну, как скажешь, олдскульный человек!

Они выходят на лестничную площадку и начинают долгий спуск по лестницам.

Наконец выходят во двор. Старуха, опираясь на Федора, еле идет.

АННА МИХАЙЛОВНА. Господи, как хорошо! Как деревья-то выросли! Как тут все...

ФЕДОР. Вы по стойте здесь. Я кедр спущу и лопату.

Старуха остается одна. Подслеповато смотрит вокруг. Любуется миром. Дышит. Слушает крики детей на футбольной площадке и многоголосую обыденную жизнь городского двора.

Появляется Федор с кедром. Ставит его возле старухи. Уходит за инструментами. Анна Михайловна, не глядя на дерево, ощупывает и ласкает руками его нежные колючки.

Федор выносит топор и лопату.

ФЕДОР. Показывай, где.

АННА МИХАЙЛОВНА. Вот тут. Давай, я начну!

Федор подает ей лопату. Старуха пытается копать.

ФЕДОР. Не-е, Михална. Тут надо топором. Как, скажи ты, на такой земле смачные фрукты растут?!

Федор рубит землю топором. Потом копает лопатой. Рубит топором. Копает.

ФЕДОР. Вот это земля!.. Вот это земля... Скалы какие-то, а не земля.

АННА МИХАЙЛОВНА. Давай теперь я немного. А ты перекури.

Федор уступает. Старуха тыкает землю.

За ними из-за угла дома подглядывает Ольга. Высунет голову и спрячет.

Старуха и Федор копают по очереди. Углубляются понемногу. Рядом, как жених, стоит тоненький кедр. Это он дома казался большим и сильным.

ФЕДОР. Наверное, достаточно? Что скажешь?

АННА МИХАЙЛОВНА. Еще немного. Надо, чтоб там хоть какая-то сырость была.

Копают. Из-за ограды площадки вылетает футбольный мяч, падает рядом со старухой и отскакивает, едва не в яму.

ФЕДОР. Э, футболисты!

МАЛЬЧИК. Дяденька, подайте мячик.

Федор бросает ему мяч.

АННА МИХАЙЛОВНА. Ну, вот и будет. Так хорошо для него.

ФЕДОР. Ну, с богом.

Он пытается вынуть кедр из заточения. Тот не поддается.

АННА МИХАЙЛОВНА. Ты топором, Федь, постучи по ведру.

Федор простукивает ведро. Кедр не поддается.

ФЕДОР. Ничего себе! Никак!

АННА МИХАЙЛОВНА. Перекури.

Старуха берет топор. Слабенько постукивает по ведру.

ФЕДОР. О, поддается, кажется.

Наконец Федор почти выкручивает кедр из ведра.

ФЕДОР. Обалдеть! Тут даже земли не осталось — он все съел! Как же он рос-то?! Ты смотри, смотри — корням вниз расти некуда было, так они вокруг самих себя обвилились! Смотри, как наvertел! Вот это сила жизни!

Анна Михайловна наклоняется, рассматривает с нежностью. Из-за ограды вылетает мяч и ударяет ее по заду. Старуха падает в кучу земли.

ФЕДОР. Так, Роналдо хреновы! Вы это уже специально!

Поднимает старуху, отряхивает ее.

ФЕДОР. Я сейчас ваш мяч топором за это!

МАЛЬЧИК. Не надо, дяденька, пожалуйста! Мы больше не будем.

Федор качает головой, грозит кулаком и швыряет им мяч.

ФЕДОР. Как ты?

АННА МИХАЙЛОВНА. А что мне сбудется? Я под бомбежкой была.

ФЕДОР. Ну что, кедр ты мой кудрявый... дождался?

АННА МИХАЙЛОВНА. Дождался! Терпел... Вместе, вместе давай. Я тоже хочу.

Федор дает старухе возможность взяться за тонкий ствол. Подносят кривое деревце к яме. Старуха кряхтит и охает.

ФЕДОР. Ну, опускаем? Командуй. Опускаем?

АННА МИХАЙЛОВНА. Ага.

Устраивают кедр, как в колыбели. Любуются.

ФЕДОР. Как же ему уютно здесь! Как просторно! Освободился. К матери родной земле, так сказать, вернулся.

Из-за угла дома выходит Ольга. Присаживается на камень, закуривает и смотрит на них.

АННА МИХАЙЛОВНА. Дай, я первая. Я руками.

Федор держит кедр за верхушку. Старуха на коленях, руками сталкивает землю в яму.

Прихлопывает ладошками. Проверяет пальцами ствол — не качается ли.

ФЕДОР. Крепко встал, крепко. Правильное ты ему место нашла. Продуманное.

Федор смотрит на старуху и не может сдержать смех.

ФЕДОР. Михална, прости, видела бы ты сейчас свое чумазое лицо!

Старуха смеется и подрагивает от смеха.

Существо выглядывает в окно.

СУЩЕСТВО. Борщ почти готов. За вкус не ручаюсь, но горячо будет!

АННА МИХАЙЛОВНА. Федя, ты иди, отнеси инструменты. Я постою, а ты потом поможешь мне.

Федор забирает ведро, лопату, топор и уходит. Старуха смотрит на кедр. Над ней, высоко в небе, парят и кричат любопытные чайки.

Голова Федора появляется в окне лоджии.

ФЕДОР. Как ты там?

Старуха машет рукой.

Федор выходит во двор. Поднимает старуху на руки и уходит с ней. Она по-девчоночьи обнимает его за шею.

К дереву подходит Ольга, смотрит на кедр. Проверяет ладонью иглы. Уходит.

Голос Федора: «В той записке, которую старуха дала мне для сайта передачи "Жди меня", было вот что: "Дорогой сынок желаю тебе всего наилучшего чтоб было хорошо и легко жить. Леша не обижайся на меня что я ругалась с тобой и так сказала за квартиру. Я не брошу Леша тебя. Береги себя я прошу я старая рука дрожит. Я жду тебя. Мама"».

Дом на высоком ялтинском обрыве. В окне четвертого этажа старуха. Она смотрит на море. Ветер треплет ее тонкие седые пряди.

Илья Фаликов

Марина Цветаева.

Твоя неласковая ласточка

ОТАВТОРА. Моя книга о Марине Цветаевой готовится к публикации в серии ЖЗЛ издательства «Молодая гвардия». Читателям «ДН» предлагаю отрывок из книги, посвященный последним пяти годам пребывания МЦ во Франции. Жизнь поэта сложно увязана со множеством других жизней и общим фоном эпохи: имена нестряют, времена мелькают. У МЦ все было непросто, в том числе и прихотливое обращение с правилами правописания, — биограф обязан неукоснительно воспроизводить подлинник. То же относится и к другим документам, приведенным в моем тексте.

...Входим в середину тридцатых, отнюдь не золотую.

Андрей Белый золотому блеску верил¹, и Борис Пастернак подготовил и провел 10 января 1935 года вечер памяти Андрея Белого, потом поучаствовал в мероприятиях по грузинской поэзии и в дискуссиях о состоянии и задачах советской литкритики, после чего появилась необходимость лечь в больницу для лечения острой и запущенной невралгии. Его не включили в делегацию на парижский антифашистский Международный конгресс писателей в защиту культуры, но накануне открытия Эренбург сообщил в Москву о том, что французская сторона требует присутствия на конгрессе Пастернака и Бабеля, известных в Европе. Ехать он резко не хотел, но за ним прислали машину, в приказном порядке одели и обули во все новое, и 21 июня они с Бабелем выехали в Париж. В Берлине он мимоходом повидался с сестрой Жозефиной, часто и беспричинно плакал, а 25 июня вышел на эстраду, представленный Андрэ Мальро:

— Перед вами один из самых больших поэтов нашего времени.

Его выступлению предшествовала овация, которой увенчалось прочтенное Мальро в переводе на французский стихотворение «Так начинают...». Ему аплодировали Андре Жид, Анри Барбюс, Олдос Хаксли, Вирджиния Вулф, Карел Чапек, Лион Фейхтвангер, Джон Пристли и Бертран Рассел. Максим Горький не приехал, сказавшись больным.

А больным был — Мур: за неделю до конгресса у Мура вырезали аппендикс. Больным был Пастернак. По возвращении на родину Пастернак до конца августа лечился в санатории — в подмосковном *Большеве*.

Пастернаковское выступление на конгрессе Николай Тихонов с помощью МЦ сшил из отрывочных фраз стенограммы — для публикации в отчете мероприятия:

¹ «Золотому блеску верил, / А умер от солнечных стрел. / Думой века измерил, / А жизнь прожить не сумел». («Друзьям», 1907)

«Поэзия останется всегда той, превыше всяких Альп прославленной высотой, которая валяется в траве, под ногами, так что надо только нагнуться, чтобы ее увидеть и подобрать с земли; она всегда будет проще того, чтобы ее можно было обсуждать в собраниях; она навсегда останется органической функцией счастья человека, переполненного блаженным даром разумной речи, и, таким образом, чем больше будет счастья на земле, тем легче будет быть художником».

В те три дня они с МЦ общались плотно, на заседаниях сидели рядом, и во время дебатов она читала ему свои стихи, а сам зал Дома Взаимности охраняла бригада прогрессивных общественников во главе с Сергеем Эфроном.

Мур лежал в больнице — в пригородном госпитале — десять дней, освободив мать для общения с Пастернаком. Дело не ограничивается конгрессом, у Пастернака есть семейное задание — надо взять, в частности, платье Зине, и, по оплошке назвав Марину Зиной, он по ней на глаз (или ощупью) определяет необходимый размер покупки, но опоминается, заметив разницу в объемах груди. Вместе с Ходасевичем на автомобиле художника Юрия Анненкова они посещают Версаль и Фонтенбло. МЦ везет Пастернака к себе в Ванв, где его встречают как родного. Сергей Яковлевич и Аля с головой уходят в его визит на все те парижские дни.

Ни Веймара, ни Савойи в Париже не произошло. Это был провал, а не встреча: не встреча. Не свидание равных, но участие в какой-то массово-непонятной акции. Его убивало ложное триумфаторство, помещение его фигуры в чуждое, не принадлежащее ему место. Конгресс продолжил дело Первого съезда советских писателей, определив ему безвоздушное место корифея. Ему нечем было дышать. Этого она не понимала, не улавливала, знать не знала и видеть не видела. Это было взаимно, со своей стороны и он был глух и слеп по отношению к ней. На ее вопрос, ехать или не ехать в СССР, он отвечал невразумительно вплоть до: «Ты полюбишь колхозы!» Она сочла его предателем Лирики.

Но МЦ надо уезжать. Уже куплены железнодорожные билеты на Мура и себя в южную сторону, к Средиземному морю, в местечко Фавьер. 28 июня они расстались с Пастернаком. Он переходит под опеку Али. Она с утра сидит у него в отеле «Мэдисон», вяжет, в номере очень жарко и очень много апельсинов. Заглядывает Сергей Яковлевич, получив впечатление, сформулированное позже: «Борис оказался невменяемым». Болезнь длится, Пастернак никуда не хочет, в обществе Эфронов изредка ходит по Парижу, по книжным магазинам и универсамам.

Год разломился на две части — до и после конгресса.

Что было до?

2 февраля совместно с Ходасевичем в зале Научного общества провели чтение о Блоке. МЦ — «Моя встреча с Блоком», Ходасевич — «Блок и его мать». Народу было много: полный зал, человек восемьдесят. Заработали с Ходасевичем ровно по 100 франков, так что МЦ не смогла даже оплатить двух месяцев Муриногo учения (160 франков) — как мечтала.

В этот блоковский день из дому ушла Аля. Ушла «на волю», играть в какой-то «студии». Ушла внезапно. Утром МЦ, готовясь к вечеру, попросила ее сходить за лекарством Муру, в ответ:

— Да, да...

И через 10 минут опять:

— Да, да...

Сидит штопает чулки, потом читает газету, просто — *не идет*. Дальше — больше. Когда МЦ ей сказала, что «так измываться надо мной в день моего выступления — позор», Аля заявила:

— Вы и так уж опозорены.

— Что?

— Дальше некуда. Вы только послушайте, что о Вас говорят.

На фразу «Вашу лживость все знают» — вклеила пощечину.

Сергей Яковлевич, взбешенный на жену, сказал дочери, чтобы она ни минуты больше не оставалась, и дал ей денег на расходы. Это был своеобразный вклад в семейную жизнь, дома он лишь ночевал, целыми днями пропадая в неведомом пространстве. Сестре Лиле он пишет в феврале:

«Все мои друзья один за другим уезжают, а у меня семья на шее. Вот думаю отправить Алю. Она замечательная рисовальщица. А с Мариной прямо зарез».

Вот она откуда, эта студия, — от Сергея Яковлевича. Очаг вражды угас, и МЦ в основном стала приводить в порядок свои послероссийские стихи. Их много, но почти нет дописанных: не успевала.

Навещала родителей Гронского, живущих врозь. В огромной и бедной скульптурной студии матери — изображения сына в разном возрасте. Отец сидел и читал письма Николая Павловича к МЦ, она сидела и читала его скромную черную клеенчатую книжку со стихами семилетней давности, посвященными ей.

Из глубины морей поднявшееся имя.
Возлюбленное мной — как церковь на дне моря,
С Тобой быть хочу во сне — на дне хранимым
В глубинных недрах Твоего простора.

Bellevue 1928 г.

Одновременно он заливал стихами некую В.Д.

МЦ полагала, что многие из этих стихов на самом деле посвящены ей. В частности, стихотворение «Встреча»:

Пусть дважды будет приговор
Над золотой Твоей главою, —
Я заключаю договор
С Твоей бессмертной душою.
В крылатости безруких плеч,
Из стран последних вдохновений, —
Зову Тебя из вихря встреч,
Зову из ветра посещений.
Так, крылья на груди крестом —
Не сломит Веры вероломность —
Приди, покинь высокий дом.
Зову тебя в мою бездомность.

Bellevue, 1928

Из февральских писем к Тесковой: «Самое странное, что тетрадь полна посвящений В.Д. (его невесте, к<отор>ая вышла замуж за другого) — посвящений 1928 г., когда он любил — только меня. Но так как буквы — другим чернилом, он очевидно посвятил ей — ряд написанных мне, а мне оставил только это — неперепосвятимое — из-за имени. (Марина: море)».

Точно так же Ахматова ревниво и безоговорочно пеклась о стихах Гумилева, по ее разумению к ней обращенных. Лестно быть Беатриче? Не только. Важен диалог поэтов, образцовый в отдаленном прошлом: Сафо — Алкей. Любовное чувство выводится из разряда земных страстей на другой уровень, вне четвертого измерения. Неважно, что Гронский — не Гумилев. МЦ нужен ее певец. С Рильке — получилось, с Пастернаком — тоже. Остальные — пожалеют.

Памяти Гронского написались четыре стихотворения, одна вещь («Оползающая глыба...») уже существовала, получился цикл «Надгробие», но вслед циклу возникло ударно-сконцентрированное восьмистишие:

Никому не отмстила и не отмщу —
 Одному не простила и не прошу
 С дня как очи раскрыла — по гроб дубов
 Ничего не спустила — и видит Бог
 Не спущу до великого спуска век...
 — Но достоин ли человек?..
 — Нет. Впустую дерусь: ни с кем.
 Одному не простила: *всем*.

26 января 1935

МЦ думает о книге переписки с Гронским 1928 года, эту переписку начала переписывать в дареную ей Верой Буниной книжку. 11 апреля в зале Географического общества она прочла доклад о поэзии Гронского «Поэт-альпинист».

За два дня до вечера МЦ онемела, у нее заболело горло — простуда. Но на сцене голос не подвел ее. Прочла — громко. «Было много стариков и старушек. Был Деникин¹, с которым Николай Павлович дружил — сначала в Савойе, потом в жизни. Слушали внимательно, но вещь местами не доходила. Аудитория была *проста*, я же говорила изнутри поэмы и *стихотворчества*. А им хотелось больше о нем... Родители отнеслись сдержанно... Я рассматривала Гронского как готового поэта и смело называла его имя с Багрицким и другими... Им это м.б. было чуждо, они сына — не узнали». <...>

Что остается у поэта в кризисе? Чаще всего — лишь высокохудожественное обслуживание своего эго. Талант уходит на сохранение слабеющей личности. Поток доказательств. Так ли было с МЦ в середине тридцатых? Похоже. А все-таки не так. Ее проза — не просто постскрипtum к ее поэзии. Ее поведение — не тайна за семью печатями: она сама все о себе рассказывает, безоглядно обращаясь не столько к современникам, сколько в будущее. Ситуация с пропавшим и вернувшимся голосом — вообще модель того, что с ней происходит в последнее десятилетие ее творчества.

Конгресс оказался подлинным водоразделом между прошлым и будущим. Потеря прежнего Пастернака была равна почти потере себя. По другому адресу Пастернаком было совсем недавно (1931) сказано:

Мы не жизнь, не душевный союз —
 Обоюдный обман обрubaем.

(«Не волнуйся, не плачь, не труди...»)

Это был нас возвышающий обман. Практически — правда. С другими у нее было проще, да и других-то оставалось раз-два и обчелся. Буниной она говорит в июне, еще до конгресса: «Вы — может быть — мой первый разумный поступок за жизнь».

Но какова все-таки ее связь с Пастернаком: ничего не зная о Гронском, он в своем импрессионистическом слове с трибуны конгресса заговорил — об *Альпах*.

А в далеком Воронеже 18 июня 1935 года Мандельштам завершил стихотворение «За Паганини длиннопалым...», об истории которого записал в своем дневнике мандельштамовский собеседник Сергей Рудаков: «Вчера (5 апреля. — *И.Ф.*) были на концерте скрипачки Бариновой (с Мандельштамом бесплатно) — у нее невероятный цветаевский темперамент, 22-летняя молодость и неартистичная живость. (Когда я это сказал, О.Э. удивился, откуда я мог так угадать действительное сходство с Цветаевой, когда я ее не видел. А ритмы-то стихов!) А вот и мое достижение. После года или более Мандельштам написал первые 4 строчки. О ней, о Бариновой, после моих разговоров —

¹ Антон Иванович Деникин, генерал-лейтенант, командующий Добровольческой армией.

Играй же на разрыв аорты
С кошачьей головой во рту,
Три чорта были — ты четвертый,
Последний чудный чорт в цвету».

До отъезда на юг МЦ выступила с чтением повести «Черт» в Географическом обществе на бульваре Сен-Жермен, 184, о чем предварительно в тот же день сообщили «Последние новости». Саму повесть опубликовали «Современные записки», № 59.

А в это время беда с Бальмонтом: начало белой горячки. Сидит в санатории «Erinau» под Парижем, со скидкой. Чудный парк, гуляет до двух ночи. Влюбился в юную *surveillante*¹ и предложил ей совместно броситься в Сену. Отказалась. Тогда он предложил ей ее сбросить, а потом — спасти, ибо — не правда ли, дорогая? — я легко проплываю два километра? Отказалась тоже — и весь день пряталась — везде искал — чуть с ума не сошел. И так далее, поэт в своем репертуаре. Письмо от него с рассказом о его подвигах МЦ показывает на улице жена Бальмонта Елена Цветковская. Он пишет ей: «Дорогая! Я безумно люблю (следует имя) — как никогда еще не любил. Пришли мне 12 пузырьков духов — *échantillons*² — фиалку, сирень, лаванду, гвоздику, а главное — розу и еще гелиотроп, что найдешь — для всех *surveillantes*, чтобы не завидовали. Я Жанне подарил *весь* свой одеколон и *всю* свою мазь для рук — у нее ручки — в трещинах! А ручка *еще* меньше, чем у (имярек — женское). Дорогая! Пришли мне побольше папирос, — сумасшедшие выкурили весь мой запас». Елену пока к нему не пускают, она убивается. Бальмонт мечтает по выздоровлении остаться там садовником.

Между тем Бальмонт собирается провести свой вечер. По этому поводу МЦ 7 мая пишет своей новой корреспондентке Ариадне Берг: «Вы, конечно, уже слышали о безумии Бальмонта. О нем (и норме) можно сказать как Segur³ о Наполеоне в России: *Sa mesure était grande, mais il l'a depasse quand même...*⁴ Он ненормален даже для поэта, даже для себя. 17-го его вечер (где, сейчас не знаю, узнаю — извещу) — будьте непременно, зову Вас не как на курьёз, а как на конец поэта. Ибо это — конец, ему на днях 70 лет. Зал будет полный, необходима хоть горстка своих, предпочитающих безумие Бальмонта — разумию всех остальных.

Вечер будет непременно, он всё забыл, а об этом — помнит. (Верней, ничего не забыл, всё вспомнил — в этом-то и безумие!)»

Ариадна Берг станет близка МЦ надолго. Они познакомились еще в прошлом году у композитора Фомы Гартмана в его парижской квартире, — Берг писала стихи по-французски, но родилась в России, в Орле, отец бельгиец, мать русская. На семь лет моложе, она ринулась помочь МЦ в публикации французского «Молодца», имея кое-какие связи во французских литературных кругах. Начало их переписки шло на французском — девять писем, потом письма обрусели. В начале июня МЦ уже пишет так: «Алю почти не вижу, заходит раз в две недели на пять минут. <...> Не можете ли Вы, в мою пользу, утянуть из своего хозяйства какую-нибудь среднего роста алюминиевую кастрюлю и нет ли у Вас лишнего алюминиевого кофейника? Я сейчас неспособна ни на франк, ибо — ведь еще примус! Купальные костюмы и халаты! Не найдется ли у Вас купального халата? Простите за вечные просьбы, но, мне почему-то — совсем не неудобно — просить у Вас. (Я вообще ничего ни у кого не прошу)».

Вечер Бальмонта состоялся 13 мая в помещении «*Musee sociale*»⁵ на улице Лас Каз, 5, но своеобразно: публика пришла, Бальмонт — не пришел. Чуть позже будет

¹ смотрительницу (фр.)

² образцы (фр.)

³ Филипп Поль Сегюр (1780—1873), генерал, историк, автор «Истории Наполеона и Великой армии в 1812 г.» (1824).

⁴ Его мера была велика, но он ее превзошел (фр.)

⁵ «Социальный музей» (фр.)

создан Бальмонтовский комитет, которому окажет содействие влиятельная Шошана Авивит, его страсть десятилетней давности. Для него собирали средства и организовывали вечера, ему посвященные.

Ему в 1935 году исполнилось не семьдесят, а шестьдесят восемь. В апреле будущего года МЦ написала «Слово о Бальмонте», приуроченное к пятидесятилетию его творчества (декабрь 1935), и прочла на благотворительном вечере, ему посвященном.

Господа, я ничего не успела сказать. Я могла бы целый вечер рассказывать вам о живом Бальмонте, любящим очевидцем которого я имела счастье быть в течение девятнадцати лет, Бальмонте — совершенно неотразимом и нигде не записанном, — у меня целая тетрадь записей о нем и целая душа, полная благодарности.

Но — закончу срочным и необходимым.

Бальмонту необходимо помочь.

Бальмонт — помимо Божьей милостью лирического поэта — пожизненный труженик.

Бальмонтом написано: 35 книг стихов, т.е. 8750 печатных страниц стихов.

20 книг прозы, т.е. 5000 страниц, — напечатано, а сколько еще в чемоданах!

Бальмонтом, со вступительными очерками и примечаниями, переведено:

Эдгар По — 5 томов — 1800 стр<аниц>

Шелли — 3 тома — 1000 стр<аниц>

Кальдерон — 4 тома — 1400 стр<аниц>

— и оставляя счет страниц, простой перечень: Уайльд, Кристоф Марло, Лопе де Вега, Тирсо де Молина, Шарль-Ван-Лерберг, Гауптман, Зудерман, Иегер «История Скандинавской Литературы» — 500 стр<аниц> (сожжена русской цензурой и не существует) — Словацкий, Врхлицкий, грузинский эпос Руставели «Носящий Барсову Шкуру» — 700 стр<аниц>, Болгарская поэзия — Славяне и Литва — Югославские народные песни и былины — Литовские поэты наших дней — Дайны: литовские народные песни, Океания (Мексика, Майя, Полинезия, Ява, Япония) — Душа Чехии — Индия: Асвагоша, Жизнь Будды, Калидала¹, Драмы. И еще многое другое.

В цифрах переводы дают больше 10000 печатных страниц. Но это лишь — напечатанное. Чемоданы Бальмонта (старые, славные, многострадальные и многославные чемоданы его) — ломаются от рукописей. И все эти рукописи проработаны до последней точки.

Тут не пятьдесят лет, как мы нынче празднуем, тут сто лет литературного труда. <...>

Вечный грех будет на эмиграции, если она не сделает для единственного великого русского поэта, оказавшегося за рубежом, — и безвозвратно оказавшегося, — если она не сделает для него всего, что можно, и больше, чем можно. <...>

Это срочнее и вечнее конгрессов и войн.

Из лечебницы Бальмонт вышел в конце 1938 года и поселился в доме для обездоленных, устроенном матерью Марией в кантоне Нуази-ле-Гран.

А что Фавьер? Море — блаженное, но после Океана — по чести сказать — скучное. Чуть плещется — никакого морского *зрелища*. Голубая неподвижность — без событий. пляж — чудесный: песчаный и дно очень долгое — мелкое. Вода — изумительного цвета. А какие вокруг горы! Сосна, лаванда, мирт, белый мрамор. Обожаемое соединение сосны, камня и суши. Вспоминается Чехия: как *один синий* день. И одна — *туманная* ночь.

МЦ сняла страшно жаркую мансарду в доме, принадлежащем баронессе Врангель, имеющей отношение не к крымскому воину, а к крымскому доктору-писателю Сергею Яковлевичу Елпатьевскому, дальнему родственнику по отцовской линии: МЦ считает Елпатьевского двоюродным братом Ивана Владимировича, а баронессу Людмилу Сергеевну, дочь доктора, своей троюродной сестрой. МЦ взволновалась по этому поводу больше, чем баронесса.

На чердаке дико душно, Мур засыпает рано, работать невозможно, коптит керосиновая лампа, МЦ томится, в письме к Тесковой ропщет: «Смотрю на нынешних двадцатилетних: себя (и все же — *не себя*!) 20 лет назад, а они на меня — не смотрят, для них я скучная (а м.б. «странная») еще молодая, но уже седая, — значит: немолодая —

¹ По-видимому, описка — имеется в виду Калидаса. — *Прим. ред.*

дама с мальчиком. А м.б. просто не видят — как предмет. Горько — вдруг сразу — выбыть из строя — живых. <...> Я давно уже выбита из колеи писания. Главное — нет стола, а если бы и был — жара на чердаке тропическая. Но еще главней: *это* (вся я) *никому не нужно*. Это, в лучшем случае, зовется "неврастения". Век меня — миновал».

Сидит на чердаке, как в раскаленной скворешне. Избыточная красота природы ей претит, МЦ предпочитает места скромные, вокруг — виллы дачников, эмигрантский поселок в сосновом лесу, соседи богатые и знатные, неподалеку — семейство князей Оболенских, ее не замечающих, это похоже на бойкот. Сидит в пропахшей луком, жаркой от примуса кухне с открытой на лестницу дверью — окна нет, стол целиком расшатан, плетеный, соломенный, стоящий только когда изо всех сил снизу подпираешь коленом, писать невозможно, иногда она выносит его в сад, а мимо на пляж или с пляжа ходят людские табуны. Пляж огромный и пустынный, с забегающими собаками. Лежание у моря бесплодно, работать на воздухе и на людях не привыкла, плавать в море скучно и холодно, Муру доктора разрешили, сняв бандаж, немножко полоскаться, но и он скучает: играть не с кем, а он в школе привык к детскому обществу. И так — каждый день, а жить они собираются здесь до 1 октября.

С доской на коленях, годной разве что для кораблекрушения, сидит на своей скворешневой лестнице, пытаюсь писать. К ней снизу приходит темными вечерами некто, молодой и безымянный, ведут беседы. Зачем приходит? Чтоб угодить в недописанную поэму.

В начале июля внезапно написала в СССР, Николаю Тихонову — с ятями и ерами (воспроизводить не будем): «У меня от нашей короткой встречи осталось чудное чувство. Я уже писала Борису: Вы мне предстали идущим навстречу — как мост, и — как мост заставляющим идти в своем направлении. (Ибо другого — нет. Нато и мост.) <...>

С Вами — свидимся.

От Б<ориса> у меня смутное чувство. Он для меня труден тем, что все, что для меня — право, для него — его, Борисин, порок, болезнь. <...>

А орфография — в порядке приверженности к своему до-семилетию: после 7 л<ет> *ничего* не полюбила.

Большинство эмиграции давно перешло на *е*. Это ей не помогло».

Сергей Яковлевич пишет ей 31 июля в Фавьер, обращаясь как прежде: «Дорогая моя Рыся». У него вопрос: «Как бы Вы отнеслись, если бы мы приехали с Алей вместе? <...>

Жду Вашего быстрого и точного ответа. Я бы жил с Вами, а Алю бы на время моего пребывания устроили бы на стороне».

Аля приехала одна. Тот некто, молодой и безымянный, тотчас перешел в ее руки. МЦ уже ничему не удивляется. Дочь неизбежно, по определению становится соперницей, разумеется счастливой. «Положение — ясное: ей двадцать лет, мне — сорок, не мне, конечно, — мне — никаких лет, но — хотя бы моим седым волосам (хотя начались они в 24 года: первые) — и факт, что ей — двадцать. А у нее — кошачий инстинкт "отбить" — лапкой — незаметно» (Ариадне Берг).

Вернулись домой в конце сентября. Итог лета, его трофеи, привезенные с собой в Ванв, — три пробковых пояса от сетей, морем выброшенных и подобранных, помогающих плавать даже не *в море*, а *над морем* — вроде хождения по водам — и целые связки эвкалипта, мирта, лаванды. И еще итог — несколько стихов: немного, и половина поэмы (о *невице* себе), а также чудный мулатский загар, вроде нашего крымского. «Люди думают, что я "помолодела", — не помолодела, а просто — вымылась и, на 40—50-градусном солнце — высушилась».

Да, есть и стихи, но они смотрят в прошлое:

Окно раскрыло створки —
Как руки. Но скрестив
Свои — взирает с форта:
На мыс — отвес — залив

Глядит — с такою силой,
Так вглубь, так сверх всего —
Что море сохранило
Навек глаза его.

26 — 27 июля 1935

Вот уж и впрямь вечный ее спутник — Наполеон, тем более что рядом с ней — ее голый, коричневый и соленый наполеонид, о котором думает гадательно и трудно. Лейтмотив всех каникул: «Ма-ама! Что-о мне де-е-е-лать?!» В конце декабря МЦ напишет Тесковой: «Мур живет разорванным между моим гуманизмом и почти что фанатизмом — отца... Очень серьезен. Ум — острый, но трезвый: *римский*. Любит и волшебное, но — как гость. <...>

Меня любит как свою вещь. И уже — понемножку — начинает ценить...»

Поэма о певице не состоялась, оборвавшись на бесперспективности сюжета: певица, поющая на втором этаже дома, влечет юношу с первого этажа — и что? Скучно. Было. Это вам не блоковская девушка, певшая в церковном хоре, и не его же «Соловиный сад». То же самое — и ностальгические стихи «Отцам», с одной стороны многожды повторяющие давнее стихотворение «Генералам двенадцатого года», с другой — весьма напоминающие поточный продукт советского производства:

Вам, в одном небывалом
Умудрившимся — *быть*,
Вам, среди шумного бала
Так умевшим — любить!

До последнего часа
Обращенным к звезде —
Уходящая раса,
Спасибо тебе!

Ну разве что кроме ее интонации и слова «раса», опозоренного нацистами. МЦ, кстати, это понятие чтילה измлада, — «германское воспитание», ничего не попишешь. В ее интеллектуальном хозяйстве было много того, что осталось в прошедшем времени. В пейзажном стихотворении фавьерской поры «Ударило в виноградник...», например, сказано:

Хвалы виноградным соком
Исполнясь, как царь Давид —
Пред Солнца Масонским Оком —
Куст служит: боготворит.

А может быть, это действительно свидетельствует о некотором влиянии на нее Сергея Яковлевича, члена масонской ложи «Гамаюн»? Остаточно-задушевные разговоры у них были, это — безусловно, от прежнего решительного «твердо не еду» она перешла к некоторым колебаниям, на которые Пастернак ответил восклицанием про любовь к колхозам. Какие-то деньги муж стал приносить, продолжительный Фавьер не мог появиться лишь на ее заработки, да и Мур учится в довольно престижной гимназии.

Но она по-прежнему стоит на своем:

Вы с этой головы, настроенной — как лира:
На самый высший лад: лирический...
— Нет, стой!
Два строя: Домострой — и Днепрострой — на выбор!
Дивясь на ответ безумный: — Лиры — строй.

25 октября 1925

(«Двух станов не боец, а — если гость случайный...»)

В Ленинграде 23 октября арестованы муж Ахматовой Николай Пунин и ее сын Лев. У Пунина при обыске нашли три книжки Мандельштама. Анна Андреевна метнулась в Москву, посетила многих писателей — Лидию Сейфуллину, Бориса Пильняка, Михаила Булгакова, Бориса Пастернака, с их помощью составила письмо к Сталину. «Я прошу Вас, Иосиф Виссарионович, вернуть мне мужа и сына, уверенная, что об этом никогда никто не пожалеет». По тому же адресу написал Пастернак. «Однажды Вы упрекнули меня в безразличии к судьбе товарища. <...> Я прошу Вас, Иосиф Виссарионович, помочь Ахматовой и освободить ее мужа и сына, отношение к которым Ахматовой является для меня категорическим залогом их честности». Кажется, оба письма в проходную Кремля отнес Пастернак. 3 ноября арестованных отпустили. На допросах, поначалу отпираясь от контртеррористической деятельности, они подписали признательные показания с примерами прегрешений друг друга. После этого на воле они не разговаривали между собой. Ахматова за эти дни резко изменилась внешне, исхудала, у нее запали глаза и возле переносицы появились непроходящие треугольники. По ходу московских хлопот у нее родились стихи:

За ландышевый май
В моей Москве кровавой
Отдам я звездных стай
Сияние и славу.

Летом из Фавьера МЦ написала Пастернаку письмо, в котором отчитала его за непосещение родителей по его дороге домой. 13 октября он ответил:

Дорогая Марина! Я жив еще, живу, хочу жить — и — надо. Ты не можешь себе представить, как тогда, и долго еще потом, мне было плохо. «Это» продолжалось около пяти месяцев. Взятое в кавычки означает: что не видав своих стариков двенадцать лет, я проехал, не повидав их; что вернувшись, я отказался поехать к Горькому, у которого гостили Роллан с Майей¹, несмотря на их настояния; что, имея твои оттиски, я не читал их; что действие какой-то силы, которой я не мог признать ни за одну из тех, что меня раньше слагали, укорачивало мой сон с регулярностью заклятья, и я ждал наступления той первой здоровой ночи, после которой мог бы возобновить знакомую и родную жизнь вслед за этой, неузнаваемой, никакой, непроглядной. <...>

Теперь я прочел твою прозу. Вся очень твоя, всегда смотришь в корень и даешь полные, запоминающиеся определения, все безошибочно, но всего замечательнее «Искусство при свете совести» и «У Старого Пимена»; отчасти и о Волошине. В этих, особенно названных двух, анализ, ненасытность анализа так сказать, вызваны природою предмета, и жар, и энергия, которые ты им посвящаешь, естественны и легко делимы.

В «Матери и музыке» такой надобности на первый взгляд меньше, или же разбор, как ты и сама замечаешь (дизеи и бемоли) идет не по существу. Но твоих образов и черточек и тут целая пропасть... <...>

Я хочу жить и боюсь что-нибудь накаркать. Давай думать, что это только перерыв в моей жизни...

Но, допустим, — а вдруг я поправлюсь и все вернется? И мне опять захочется глядеть вперед, и кого же я там, по силе и подлинности того, например, что было в Рильке, вместо тебя увижу?..

Когда же вы приедете?

Скажи, а не навязываюсь ли я тебе, — после твоего летнего письма?

Твой Б.

От нее он получил ответ, написанный в конце октября:

Дорогой Борис! Отвечаю сразу — бросив всё (полу-вслух, как когда *читаешь* письмо. Иначе начну думать, а это заводит далёко).

О тебе: право, тебя нельзя судить, как человека <...> Убей меня, я никогда не пойму, как можно проехать мимо матери на поезде, мимо 12-летнего ожидания. И мать не поймет — не

¹ Майя Кудашева, жена Романа Роллана.

жди. Здесь предел моего понимания, человеческого понимания. Я, в этом, *обратное* тебе: я *на себе* поезд повезу, чтобы повидаться (хотя, может быть, так же этого боюсь и так же мало радуюсь). И здесь уместно будет одно мое наблюдение: *все* близкие мне — их было мало — оказывались бесконечно-мягче меня, даже Рильке мне написал: Du hast recht, doch Du bist hart¹ — и это меня огорчало потому, что иной я быть не могла. Теперь, подводя итоги, вижу: моя мнимая жестокость была только — форма, контур сути, необходимая граница самозащиты — от *вашей* мягкости, Рильке, Марсель Пруст и Борис Пастернак. Ибо вы в *последнюю минуту* — отводили руку и оставляли меня, давно выбывшую из семьи людей, один на один с моей человечностью. Между нами, нечеловеками, я была *только человек*. Я знаю, что ваш род — выше, и *мой* черед, Борис, руку на сердце, сказать: — О, не вы: это я — пролетарий. — Рильке умер, не позвав ни жены, ни дочери, ни матери. А *все* — любили. Это было печение о *своей* душе. Я, когда буду умирать, о ней (себе) подумать не успею, целиком занятая: накормлены ли мои будущие провожатые, не разорились ли близкие на мой консилиум, и м.б. в *лучшем* эгоистическом случае: не растащили ли мои черновики. <...>

Моя проза: пойми, что пишу для заработка: *чтения* вслух, т.е. усиленно-членораздельного и пояснительного. Стихи — для себя, прозу — для всех (рифма — «успех»). Моя вежливость не позволяет мне стоять и читать моим «последним верным» явно непонятные вещи — за их же деньги. Т.е. есть *часть* моей тщательности (то, что ты называешь анализом) — вызвана моей сердечностью. Я — отчитываюсь. А Бунин еще называет мою прозу «прекрасной прозой, но безумно-трудной», когда она — для годовалых детей. <...>

Увидишь Тихонова — поклонись...

МЦ

Весьма назидательно, нечего сказать. Совершенно ясно: прежним отношениям — не бывать. Другие — будут.

В начале декабря Сергей Яковлевич пишет сестре очередное лирическое письмо, упирая на (не)здоровье и киноискусство. Отмечает фильмы Александра Довженко, Рене Клера и Вал-Диснея (Уолта Диснея). В Париже гостят советские ученые, видел челюскинца Шмидта, академика, из организаторов освоения Северного морского пути. «Что тебе рассказать о себе и о своих? У меня масса работы. Нет минуты свободной. Но все не то, что хотелось бы. И все потому, что я здесь, а не там. <...>

Марина много работает. Мне горько, что из-за меня она здесь. Ее место, конечно, там. Но беда в том, что у нее появилась с некоторых пор острая жизнебоязнь. И никак ее из этого состояния не вырвать. Во всяком случае через год-два перевезем ее обратно, только не в Москву, а куда-нибудь на Кавказ. Последние стихи ее очень замечательны и вообще одарена она, как дьявол.

К весне думаю устроить Алину выставку, а затем издать часть ее рисунков.

Устроить? Издать? Откуда дровишки? От «Союза возвращения», в котором, между прочим, существуют всяческие кружки, организуются художественные выставки, ставятся спектакли, а Аля организует молодежную группу при «Союзе».

Вот уже несколько лет он интересничает перед собственной сестрой, не врет, но привирает или перевирает, без задней мысли, сказывается тяга к актерству. На манер МЦ Сергей Яковлевич всё путает — названия работ Довженко и Мейерхольда, даже возраст дочери (дает ей двадцать один год вместо действительных двадцати трех). Но в уме и трезвом понимании МЦ ему не откажешь. Он честен на свой лад и очень хочет в Россию. Правда, цветаевский дар он проводит по епархии дьявола. Оговорка по Фрейду? Руку нечистого он испытал сполна. Ангельского в МЦ действительно немного. Любила-то она — «Огненного ангела» (Брюсов). К последним стихам МЦ он относит, скорей всего, «Читатели газет».

Полмесяца — с 1 по 15 ноября 1935 года — она писала эту вещь, и это сказалось на качестве — ни единого лишнего слова. Уже несколько лет она прибегает к приему, когда стихотворение завершается неким незарифмованным привеском, дополнительным хвостом. Это не всегда резонно, но в данном случае — неотразимо:

¹ Ты права, но ты жестока (нем).

Вот, други, — и куда
Сильней, чем в сих строках! —
Что думаю, когда
С рукописью в руках

Стою перед лицом
— Пустее места — нет! —
Так значит — *нелицом*
Редактора газет-

ной нечисти.

А ведь в начале года она призналась в одном из писем, что Руднев¹ оказался ее благодетелем. Но если уж Сергей Яковлевич сравнивает ее с дьяволом, то ей-то судить всяческую нечисть сам Бог велел.

Не без намека на безумного Бальмонта в ее новых «Деревьях» возникает картина коллективного суицида:

От гвалта, от мертвых лис —
На *лисах* (о смертный рис
На лицах!), от свалки потной
Деревья бросаются в окна —

Как братья-поэты — в реку!
Глядите, как собственных веток
Атлетикою — о железо
Все руки себе порезав —
Деревья, как взломщики, лезут!

27 ноября 1935

Бальмонт Бальмонтом, но вот ведь странность — у МЦ есть более поздняя запись: «Деревья бросаются в окна — на этой строке узнала о смерти Андрея Белого». Явная путаница. Она перепутала безумцев.

На самом деле — речь о себе (из августовского письма Буниной): «Есть, Вера, переутомление мозга. И я — кандидат. (Если бы видели мои черновики, Вы бы не заподозрили меня в мнительности. Я только очень сознательна и знаю свое уязвимое место.)

Поэтому — мне надо торопиться. Пока еще я — владею своим мозгом, а не он — мной, не то — им».

В новогоднюю ночь 1936 года в Брюсселе покончил собой Иван Степанов, бывший доброволец, лидер брюссельских евразийцев, оставив после себя чемодан рукописей, в том числе мемуар «Лазарет Ее Величества», а утром 1 января «Известия» под редакцией Бухарина явили свидетельство предательства Пастернаком Лирики — стихотворение «Мне по душе строптивый норов...»: о Сталине. «Лазарет Ее Величества» МЦ долго и безуспешно пыталась пробить в печать, а про Пастернака сказала: «Орфей, пожираемый зверями».

15 февраля в помещении Научного общества «Объединением писателей и поэтов» устроен литературный вечер, для участия в котором приглашено более тридцати поэтов, все парижские, вплоть до старика Мережковского, когда-то тоже писавшего стихи. А завтра — по просьбе своих — выступление на вечере хора «Союза возвращения на родину». В обоих случаях — безвозмездно. В плане отъезда она все думает, что сделала бы на ее месте Сельма Лагерлёф или Сигрид Унсет, которые для нее — образец женского мужества. Чувствует, что ее жизнь переламывается пополам.

¹ Вадим Викторович Руднев — редактор журнала «Современные записки».

Страх за рукописи — что-то с ними будет? Половину — нельзя везти. Безумная жалость к последним друзьям: книгам — тоже половину нельзя везти. Уже сейчас тоска по здешней воле, призрачному состоянию чужестранца, которое так любила, состоянию сна или шапки-невидимки.

На Брюссель она вышла через Ариадну Берг. Там жила Ольга Николаевна Вольтерс, жена брата Ариадны Берг. МЦ увлеклась невесткой новой приятельницы, предлагает достать для нее билет на доклад Керенского — докладов было три, под шапкой «Трагедия царской семьи»; гостит у нее в ее брюссельском доме, — но желанной дружбы не произошло. Зато сложились хорошие отношения с Берг. МЦ с Муром не раз навещают ее с ночевкой на вилле «La Fretillonne» в парижском предместье Гарш.

Доклады Керенского в зале «Социального музея» были таковы: 26 февраля — «Революция, царь и монархисты»; 7 марта — «Переговоры с Англией, отъезд в Тобольск, Екатеринбург»; 17 марта два первых доклада были объединены в один — «Крушение монархии и гибель царской семьи». 19 марта — Тесковой: «Последние мои сильные впечатления — два доклада Керенского о гибели Царской Семьи (всех было — три, на первый не попала). И вот: руку на сердце положу скажу: невинен. *По существу* — невинен. Это не эгоист, а эгоцентрик, всегда живущий своим данным. Так, смешной случай. На перерыве первого доклада подхожу к нему (мы лет 7–8 часто встречались в «Днях»¹, и иногда и в домах) с одним чисто фактическим вопросом (я гибель Царской Семьи хорошо знаю, и К<ерен>ского на себе, себя — на нем (NB! наши знания) проверяла) <...> (И вдруг, от всей души): — Пишите, пишите нам!! (Изумленно гляжу. Он, не замечая изумления, категорически): — Только не стихи. И не прозу. Я: — Так — что же?? — Общественное. Я: — Тогда *вы пишите* — поэмы!»

Второе сильнейшее впечатление: смерть в Ленинграде поэта Михаила Кузмина. МЦ взялась за очерк «Нездешний вечер». Кузмин был тогда — в вечер знакомства, в 1916 году — на двадцать с чем-то лет старше ее, то есть такой, как она теперь. Керенский и Кузмин тех лет — тогдашняя Россия. Руднев обещает взять очерк в «Современные записки». Очерк будет напечатан в № 61.

В марте — 16-го — Сергей Яковлевич читает в «Гамаюне» доклад «Работа советского правительства». Скорее всего, он уже посвящен в высшую ступень.

В апреле с переломом бедра попал в лечебницу князь Сергей Михайлович Волконский. Ему семьдесят шесть, но он поправился и навсегда уехал в США. 20 мая МЦ отправилась в Брюссель. Остановилась у Ольги Вольтерс. Собирались люди, кипело общение. Очень хорошо прошли два ее чтения — французское и русское. Читала — для бельгийцев — «Mon Père et son Musée»², как босоногий сын владимирского священника (не города Владимира, а деревни Талицы) голыми руками поставил посреди Москвы мраморный музей — стоять имеющий, пока Москва стоит. Для русских читала «Слово о Бальмонте» и «Нездешний вечер». На заработок с обоих вечеров имела счастье одеть Мура, и еще немножко осталось на лето.

В столице Бельгии существует «Le Journal des Poètes», издательство и периодический журнал. В нем сотрудничает Зинаида Шаховская, сестра Дмитрия Шаховского («Благонамеренный»). Они познакомились и сговорились, что МЦ подойдет ей «Письмо к Амазонке», на предмет издания книжки. МЦ побывала в гостях у Шаховской, которая ее водила смотреть на бюст Петра Великого в заброшенном овраге Королевского парка.

В Брюсселе она подумывала о переезде в этот город и высмотрела себе некое окошко в зарослях сирени и бузины, над оврагом, с видом на старую церковь — где была бы *счастлива*. Одна, без людей, без друзей, одна с новой бузиной. «Но не могу

¹ А.Ф.Керенский редактировал газету «Дни».

² Мой отец и его музей (фр).

уехать от С<ергея> Я<ковлевича>, к<отор>ый связан с Парижем. В этом всё. Нынче, 5/18 мая, исполнилось 25 лет с нашей первой встречи — в Коктебеле, у Макса...»

Возможно, до нее доходят слухи, что у Сергея Яковлевича появилась «какая-то дама». Однако он большой конспиратор.

С Ариадной Берг МЦ говорит о ее стихах. «Захватите *любую* из рукописей, ведь дело в принципе. Всё дело у Вас в заострении эпитета и избежании *общих*, напрашивающихся образов и оборотов. Но это можно показать только на примере. Кроме того — не думая об этом пишет большинство пишущих французов, это, увы, в самом языке, так что я «требую» с Вас — не как с французов». Она входит во вкус наставничества, ее посещают Александр Гингер и Анна Присманова, муж и жена, «серафическая пара» по слову Шаховской. Анна пишет угловато, предметно:

Марине Цветаевой

След истлевших древесных сил —
карандаш мой точку в ночи.
Нож с боков стеарин скосил
деревянной моей свечи.

Жизнь сказала: да будет так! —
заострила графитный взор.
Ты спустилась ко мне в кулак,
стружка, с окаменелых гор.

1934 («Карандаш»)

Чуть похоже на МЦ. В «Поэте-альпинисте» по этому поводу сказано: «...до сих пор я обычно узнавала свои ритмы, свои "методы" (приемы), (которых, кстати, у меня нет), свои "темы" (я, например, пишу о письменном столе, а одна поэтесса тут же — о карандаше)...»

Присманова и Гингер входили в группу *формистов*, полагая, на уровне деклараций, главной целью стихописания — форму. Но все декларации — лишь инструмент в литературной сутолоке, и дело не в них. В прошлом году в Париже скончался их единомышленник Борис Поплавский. Он умер во сне, приняв большую дозу героина по просьбе шапочного знакомого, — зачем? МЦ в свое время попросила его выступить на ее вечере и несильно поспорила с ним, считая его беспутным.

Русский литературный Париж в связи с этой смертью крайне взволновался. Но МЦ — вне этого круга и его страстей. Ей хватило Гронского. Присманова написала стихи о «сиянии Бориса».

Было дело, критика отмечала (В.Булич. О новых поэтах II. Журнал содружества (Выборг). 1933. №7): «М.Цветаева и Поплавский творят именно так, стихийно. В поисках новых путей в поэзии, острой новизны — они отдаются во власть потока ассоциаций, у Поплавского зрительных — образных, у Цветаевой слуховых — словесных. Они не судят, не выбирают сознательно из этого материала того, что им нужно, а делают это по слуху, наугад, вслепую. Для Поплавского образ, для Цветаевой слово — не средство, а самоцель. От этого неясность их поэзии».

Не от этого. Да и «неясность» — кому как.

В Париже отметили пятидесятилетний юбилей Ходасевича. 30 мая на литературном обеде в его честь — по подписке, в одном из парижских ресторанов — МЦ видела «весь Монпарнас» (Адамович и его ученики — поэты «Парижской ноты»), Бунина, и *милее, живее* всего были женщины: очевидно, по живучести в них души. Подарила Ходасевичу хорошую тетрадку «для последних стихов» — может быть, запишет, то есть сызнова начнет писать, а то годы — ничего нет, а жаль. Его последняя книга «Собрание

стихов» вышла в издательстве «Возрождение» много лет назад (1927). В последний раздел книги — «Европейская ночь» — отобраны сто двенадцать вещей, половина того, что он сделал за границей. Что касается лирики, МЦ там же и в те же годы написала не намного больше, приблизительно триста готовых стихотворений.

МЦ продолжает экспериментировать в переводном деле. Русские стихи перелагает на французский. Русская песня «Полюшко-поле», марш из советского кинофильма «Весёлые ребята», Пушкин.

Переводы предназначались для бельгийского антологического сборника «Похвала Пушкину», который редактировала Зинаида Шаховская, но вовремя до нее не дошли, и публикация не состоялась. Дело ограничилось чтением на дому или в гостях, а то и на природе — на лесной прогулке с кем-то из внимательных собеседников. Несколько переводов из Пушкина будут опубликованы позже.

А теперь — внимание. Важнейшая просьба:

Vanves (Seine) 65, rue J.B.Potin
23-го июня 1936 г., вторник

Дорогая Ариадна,

У меня есть для Вас — для нас с вами — один план, не знаю — подойдет ли Вам. Дело в том, что мне безумно — как редко что хотелось на свете — хочется того китайского кольца — лягушачьего — Вашего — бессмысленно и непреложно лежащего на лакированном столике. Я всё надеялась (это — между нами, я с Вами совершенно откровенна, — в этом вся ценность наших отношений, но ОТКРОВЕННОСТЬ требует СОКРОВЕННОСТИ) — итак, я всё надеялась, что Ольга Николовна, под императивом моего восторга мне его в конце концов подарит — я бы — подарила — и всю жизнь дарила — вещи и книги, когда видела, что они человеку *нужнее, свое* — чем мне — но она ничего не почувствовала, т.е. — полной его законности и даже предначертанности на моей руке (у меня руки не красивые, да и кольцо не "красивое", а — *miеux или рiе*¹, — да и не для красоты рук ношу, а ради красоты — их и для радости своей) — но она ничего не почувствовала, п.ч. она — другая, и к вещам относится не «безумно», а — трезво — итак, возвращаясь к лягушке (в деревне их зовут ЛЯГВА). Если бы Вы мне каким-нибудь способом добыли *то* кольцо (ибо Вы бы мне его — подарили — мы *одной* породы), я бы взамен дала Вам — теперь слушайте внимательно и видите мысленно: большое, в два ряда, ожерелье из темно-голубого, даже синего лаписа, состоящее из ряда овальных медальонов, соединенных лаписовыми бусами. Сейчас посчитала: медальонов — семь, в середине — самый большой (лежащий под шейную ямку), потом — параллельно — и постепенно — меньшие, но оба, против рисунка, немножко меньше, ибо я очерчивала, черточки указывают настоящий размер.² Вещь массивная, прохладная, старинная и — редкостной красоты: настолько редкостной, что я ее за десять лет Парижа надела (на один из своих вечеров) — один раз: ибо: — *овал требует овала, а у меня лицо скорей круглое, даже когда я очень худею* такая явная синева требует синих или хотя бы серых глаз, а у меня — зеленые, а иногда и желтые такая близость к лицу (первый ряд почти подходит под горло, второй лежит на верху груди) *невольно* требует красоты, а ее у меня — нету

Но вещь, даже на мне, была настолько хороша, что — все сразу поняли мои стихи, потому что их не слушали, а только на меня — смотрели (на нее!) И старый кн'язь С.Волконский — виды видывавший! все виды красоты —

— Это одна из самых прекрасных вещей, которые я видел за жизнь. — *C'est quelque chose*³.

Эта грандиозная затея завершилась успехом.

Неуспех постиг поэму «Автобус», начатую еще в апреле 1934-го, а в июне 1936-го застрявшую на месте и уже никуда не двинувшуюся. Есть великолепные места, живые ритмы, сочные краски, особенно — зелень земли, ударяющая в голову, а внутренней связи между всем этим — нет, и причина задуманной вещи совершенно не соответствует следствию, поскольку следствием остановившегося бытия, то бишь

¹ Лучшее или худшее (*фр.*).

² МЦ приводит рисунок: два овала, в одном вписаны слова «самый большой», в другом — «самый маленький».

³ Это настоящая вещь (*фр.*).

транспортного средства, оказывается другая причина, и она в... Пастернаке, уличаемом в гастрономических излишествах его метафорики, за которой — сытость.

И какое-то дерево облаком целым —
— Сновиденный, на нас устремленный обвал...
«Как цветная капуста под соусом белым!» —
Улыбнувшись, приятно мой спутник сказал.
.....
Ты, который так царственно мог бы — любимым
Быть, бессмертно-зеленым (подобным плющу!) —
Неким цветно-капустным пойдешь анонимом
По устам: за цветущее дерево — мшу.

Месье осталась в рукописи. В общем-то, за ненадобностью.

В начале июля МЦ с Муром прибыли в старинный городок Морэ-сюр-Луан, находящийся на опушке леса Фонтенбло, недалеко от места впадения реки Луан в Сену, напротив прежних герцогств Бургундии и Шампани. Людовик VII, Людовик Святой, Филипп Красивый, Карл VII, Людовик XI, Франциск I и Генрих IV — кавалькада королей в тумане веков по зеленым рощам проносилась перед глазами импрессионистов, стоящих здесь с мольбертами на пленэре, мимо их холстов. За Наполеоном летела густая стая золотых пчелок. В Морэ он останавливался в своем ежедневном марше за возвращение трона.

В день приезда, седьмого числа, Морэ встретил их грозой и ливнем. Выгрузив вещи, зашли в кафе, а когда вышли — все улицы были превращены в глубокие и бурные потоки. Пока Мур изумлялся и негодовал, МЦ быстро и молча разулась и пошла вперед — в воде выше щиколотки, держась за край домов, ибо поток — уносил. То же, конечно, пришлось сделать и Муру, но он потом ворчал:

— Все из окон на нас смеялись... Думают, что мы *всегда* ходим босиком.

Луан — речка вроде той, где МЦ купалась в Тульской губернии, пятнадцати лет, в бывшем имении Тургенева, — там, где Бежин луг. Но — там не было ни души, только пес сидел и стерег, а здесь — сплошь «души»: дачи, удильщики, барки, ни одного пустынного места.

Однако лето выдалось чрезвычайно дождливое. К дождям привыкли. Раз в неделю МЦ ходит на рынок, вместе с Муром гуляют по окрестностям, но купанья нет, несмотря на две реки. Тем не менее в самом конце июля пришлось уехать — из-за отчаянной сырости: двух рек, самого дома, небес и земли, а главное, из-за подозрения, что у Мура — ревматизм: болит то одна нога, то другая, иногда — до хромоты. Уезжать было горько. Чудный город, и чудно жилось и работалось — наперевождала много Пушкина. К слову, Тескова подослала ей в Морэ газету «*Národní listy*» (1936, № 177, 28 июня) и антологию «*Výbor z ruské lyriky*» (1936), где напечатано стихотворение МЦ «Прокрасться» («А может, лучшая победа...») в переводе на чешский Яна Ржихи. Размер — тот, но это все, о чем МЦ может судить.

У Али — ряд приглашений на лето: и в Монте-Карло, и в Бретань, и на озеро, и в деревню. МЦ грустно — за одиннадцать лет Франции ее не пригласил *никто*. Аля выбрала Лазурный берег. Нестерпимая духота. Навестила городок Грасс, где — Бунин. В горах, под пальмой, в белом от зноя дворе его домика, похожего на саклю, Аля говорит ему, что уезжает в Россию.

— Ну куда ты, дура, едешь? Ну зачем? Ах, Россия? А ты знаешь Россию? Куда тебя несет? Дура, будешь работать на макаронной фабрике...

— Почему именно на макаронной, Иван Алексеевич?!

— На ма-ка-рон-ной. Да. Потом тебя посадят...

— Меня? За что?

— А вот увидишь. Найдут за что. Косу остригут. Будешь ходить босиком и набьешь себе верблюжьи пятки!

— Я?! верблюжьи?!...

— Да. Знаешь, что надо? Знаешь? знаешь? знаешь? Выйти замуж за хорошего — только чтобы не молодой! не сопляк! — человека и... поехать с ним в Венецию, а? В Венецию.

Долго и безнадежно он говорил про Венецию — она отвечала, а он не слушал, смотрел сквозь нее. Потом встал с каменной скамейки, легко вздохнул, сказал:

— Ну что ж, Христос с тобой! — Перекрестил, поцеловал горько и сухо, блеснул глазами, улыбнулся: — Если бы мне было столько лет, сколько тебе, пешком бы пошел в Россию, не то что поехал бы, и пропади оно все пропадом!

МЦ с Муром в Ванве не задержались. Август — они в Савойе: замок д'Арсин. Для МЦ здесь все слишком приспособлено к человеческому образу жизни — есть и вода, и электричество, и — увы — мебель, хотя и не новая. В соседях сорок человек, но МЦ забралась на чердак, в никем не оцененную комнату — вроде пещеры, с крохотным оконцем, пробитым во всей толще стенки, и каменным полом из строительного камня. У Мура для его игр на свежем воздухе нашлись мальчик и девочка его лет под надзором одного пятнадцатилетнего полуюноши, МЦ пишет каждое утро, ходит на свидание к четырехглазой собаке по имени Подсэм (чешское: «Поди сюда»). Погода дивная — и заслуженная.

Но спутников, увы, для пешего ходу — нет, все ездят на автомобиле. Поэтому ходит одна — не особенно далеко, потому что у нее нет чувства направления. Рвет орехи — единственное, что здесь есть в изобилии, ибо фрукты погибли — все. Пишет немножко свое. Переводит Пушкина.

Что значит — немножко свое? К ней пришла из Швейцарии книжка Анатолия Штейгера «Неблагодарность» (Париж: Числа, 1936). Миновало четыре года с их первого знакомства — ее отзыв на его предыдущую книжку и неудавшийся подарок от него: обещанная Сигрид Унсет. На сей раз — другое: «Неблагодарность» сопровождалась исповедальным воплем. Молодой барон заболел туберкулезом и, больной, брошен любимой женщиной.

Это был случай — как по заказу, специально для МЦ, она откликнулась тут же, он ответил шестнадцатистраничным письмом, и ее уже было не удержать, засобиравшись в его санаторию (можно и наоборот — он к ней), готова влезть в долги, поддержать, помочь, спасти. — Хотите ко мне в сыновья? — И он, всем существом: — Да.

Полились письма и стихи.

Она писала не тому, кем он был. Еще в письмах, дневниках и записях десятилетней давности он размышлял:

Лучше считать себя учеником и подмастерьем, чем стоять в стороне, изображая гения и новатора. Я тоскую по гумилевской школе. Ведь из нее вышли Ахматова, Мандельштам, Георгий Иванов. Прав Адамович, спрашивая, что вышло из всех других.

...Точнее и подробнее объясните мне, отчего полезнее учиться у блистательной Марины? Кроме фонетических россыпей, полугениальных черновиков, в которых не разобраться, стихов к Блоку, Крысолова и Фортуны, я у нее ничего не вижу. Марина и Пастернак чьи-то предтечи, но Пастернака я человечески ненавижу.

...Я совсем не отрекаюсь от Блока, но я безусловно отрицаю его влияние. Ведь снег шел не только для Блока, и не только у Блока бывали такие встречи. Блоковского влияния на мне нет, а если есть вообще какие-нибудь влияния, то скорее всего Георгия Иванова, самого поэтического русского поэта.

Блокинианцы плохую услугу оказывают Блоку. Конечно, одно дело статьи Мочульского и стихи Марины Цветаевой:

И под медленным снегом стоя,
Опущусь на колени в снег,
И во имя твое святое
Поцелую вечерний снег.

или

В его заоблачных снегах —
Что в ризе ценной,
Благословенна ты в снегах!
— Благословенна...

и совсем другое вздохи кудрявых барышень: — Ах, Блок! Снежный поэт, какая прелесть!

...Как Вам, вероятно, известно, в Париже началась форменная ходасевичемания.

В руки Ходасевича передан дотоле праздный поэтический скипетр (прозаический прочно у Бунина). Мережковский объявляет его эмиграции, Зинаида Николаевна ставит между ним и Блоком знак равенства. «Флорентийские фотографии»¹ очень хороши, но нельзя забывать, что Блок все-таки есть Блок и что судьба его была судьбою целого передового класса.

...На Эйснера и «Звено»² обратило внимание. О нем есть лестная заметка Адамовича. Но когда я попробовал о нем заговорить у Мережковских, мне говорить не дали. В Париже носятся с Поплавским. Я только пожимаю плечами.

...На тему о «дружественной критике», т.е. критике, основанной на знакомстве и добрых отношениях, давно уже пишет Осоргин, а вчера на эту тему даже был доклад в «Кочевье». Гиппиус хвалит Адамовича, Адамович Ходасевича, Ходасевич Алданова, Алданов Бунина, все хвалят всех и все друг другом восхищаются. А когда Георгий Иванов решился «не похвалить» Ходасевича и обругать по достоинству, поднимается скандал и все дружно бросаются на Георгия Иванова. Уточнением служит только то, что и во французской критике дело обстоит не иначе.

В 1927 — 1928 годах он регулярно переписывается с Зинаидой Гиппиус, которая, увы, постепенно разочаровалась в нем. Он мужает быстро, обзаводится литературными связями, щеголь и даже денди, отчасти младоросс, некоторое время дружит с Сириным-Набоковым, Поплавским — все у него вперемешку, и все на фоне туберкулеза. В декабре 1935 года он пишет Зинаиде Шаховской: «...деклассированная, разночинская, полуеврейская, безнадёжная и чуть сумасшедшая наша монпарнасская среда — на которой все же тень от Петербурга, от Петербургского периода русской литературы, — мне чрезвычайно мила».

МЦ определяет его образ по-другому: «Вся Ваша исповедь — жизнь Романтика. Даже его штампованная биография. Вся Ваша жизнь — история Вашей души, с единственным, в ней *Geschehniss*’em³: Вашей душой. Это *она* создавала и направляла события. Вся Ваша жизнь — ее чистейшее авторство. <...>

Вы своим письмом пробили мою ледяную коросту, под которой сразу оказалась моя родная живая бездна — куда сразу и с головой провалились — Вы».

Ранняя зрелость Штейгера ей неведома. Возможно, для него импульсом к отправке ей своей книжки было печальное обстоятельство, о котором он сделал запись 12 марта 1936 года: «В Петербурге умер Кузмин, эта смерть для меня непоправимое несчастье, т.к. он и Ахматова для меня были, м.б., главным звеном, связывающим меня с Россией, и если бы мне суждено было бы еще вернуться в Россию, — я бы пришел в России к нему первому... Как раз в последнее время я о нем думал больше, чем когда-либо и только ждал выхода моей книжки, чтобы написать ему о моей любви и приключении. Но всегда, когда откладываешь... Зачем я не написал. М. б., ему даже было бы приятно это восторженное объяснение в любви из-за границы перед смертью, потому что в новой России его забыли и не любили. Вспоминаю его стихи:

Декабрь морозный в небе розовом,
Нетопленный темнеет дом,
И мы, как Меншиков в Березовом⁴,
Читаем Библию и ждем...»

¹ Стихотворение Ходасевича.

² Журнал «Звено».

³ Событием (нем.)

⁴ Ошибка Штейгера. У Кузмина: «И мы, как Меншиков в Березове».

На Кузмине они сходились, но МЦ отвлечена от конкретики, охвачена стихийным порывом: «Первый ответ на вид Вашего письма: удар в сердце — и ком в горле и пока я письмо (аккуратно) вскрывала — ком рос, а когда дело дошло до вида букв — глаза уже были застланы, а когда я, приказав им — или себе — подождать — прочла и дочла — я уже ничего не видела — и все плыло. И я сама плыву сейчас, вместе с глазами и буквами».

Ледяная тиара гор —
Только бренному лику — рамка.
Я сегодня плющу — пробор
Провела на граните замка.

Я сегодня сосновый стан
Обгоняла на всех дорогах.
Я сегодня взяла тюльпан —
Как ребенка за подбородок.

16 — 17 августа 1936

Цикл «Стихи сироте» — семь стихотворений. Такого взлета не было давно. Она не мудрствует лукаво в привычном словаре и системе образов, оказавшихся неотработанными. Все предыдущее — лишь площадка для того, что сотворается сейчас. Это все у нее уже было — и скалы, и плющ, и горизонт, и пещера. Было — не было. Говорится впервые в жизни:

Могла бы — взяла бы
В утробу пещеры:
В пещеру дракона,
В трущобу пантеры.

В пантерины — лапы —
— Могла бы — взяла бы.

Природы — на лоно, природы — на ложе.
Могла бы — свою же пантерину кожу
Сняла бы...
— Сдала бы трущобе — в учебу!
В кустову, в хвощёву, в ручьёву, в плющёву, —

Туда, где в дремоте, и в смуте, и в мраке,
Сплетаются ветви на вечные браки...

Туда, где в граните, и в лыке, и в млеке,
Сплетаются руки на вечные веки —
Как ветви — и реки...

В пещеру без света, в трущобу без следу.
В листве бы, в плюще бы, в плюще — как в плаще бы...

Ни белого света, ни черного хлеба:
В росе бы, в листве бы, в листве — как в родстве бы...

Чтоб в дверь — не стучалось,
В окно — не кричалось,
Чтоб впредь — не случалось,
Чтоб — ввек не кончалось!

Но мало — пещеры,
И мало — трущобы!
Могла бы — взяла бы
В пещеру — утробы.

Могла бы —
Взяла бы.

Савойя, 27 августа 1936¹

¹ Ср. «От черного хлеба и верной жены...» (1926) Э.Багрицкого. Налицо ритмическое и словарное сходство.

Стихи ему она писала вперемежку с пушкинскими переводами, в частности — с «Бесами» («Les Demons»). Может быть, ему нелегко было читать ее вердикт: «—Почему Ваши письма настолько лучше Ваших стихов? Почему в письмах Вы богатый (сильный), а в стихах — бедный. Точно Вы нарочно изгоняете из своих стихов всего себя, все свое своеобразие — хотя бы своей бедой, чтобы дать вообще-беду: бедность. Почему Вы изгоняете все богатство своей бедой и даете беду — бедную, вызывающую жалость, а не — зависть. <...> — Вам в стихах еще надо дорасти до себя-живого, который и старше и глубже и ярче и жарче того». Он посвятил ей стихи:

В сущности, это как старая повесть
«Шестидесятых годов дребедень»...
Каждую ночь просыпается совесть
И наступает расплата за день.

Мысли о младшем страдающем брате,
Мысли о нищеге жалкой суме,
О позабытом в больничной палате,
О заключенном невинно в тюрьме.

И о погибших во имя свободы,
Равенства, братства, любви и труда.
Шестидесятые вечные годы...

(«Сентиментальная ерунда»?)

Ее оценка: «Первое и резкое: убрать кавычки — отличные стихи». Наверное, в разговоре с ним ей мерещится Лермонтов, и она считает, что ему двадцать шесть лет, а на самом деле — ему идет тридцатый.

Второго сентября ей удалось съездить в Женеву. Оттуда она выслала ему теплую зеленую куртку: «Я сама хотела бы быть этой курткой: греть, знать, когда и для чего — нужна». Кроме того — свою книгу «Ремесло» с посвящением: «Анатолию Штейгеру. МЦ. Женева, 3-го сентября 1936 г.» На обороте титула: «У этой книги — своя история. Предназначалась она Даниилу Жуковскому, старшему сыну поэта Аделаиды Герцык <...> (которого я шестнадцати лет знала двухлетним, потом — не встречала) — взывавшего об этой книге, в письмах — годы. Один такой вопль до меня дошел. Переслать с оказией ее должен был Н.П.Гронский — и очевидно не смог, но и отдать не смог, так как книга эта оказалась, после его гибели, у него на полке, рядом с его Ремеслом.

Теперь она Ваша, и верю, что подержанность ее — в мечте одного — и любящих руках другого (одного — далёкого, другого — погибшего) искупит ее некоторую внешнюю — неновость.

Анатолию Штейгеру — с любовью и болью.

МЦ»

И вдруг — неожиданный вывод: «Вчера, после женевской поездки, я окончательно убедилась в полнейшей безнадежности нашего личного свидания». Выяснилось, что ее приезд ему не нужен, ибо его легкие залечены и процесса нет. Доктор хочет, чтобы он жил зиму в Берне, с родителями, он же сам решил — в Париж. Потому что в Париже — Адамович, литература и Монпарнас: сидения до трех ночи за десятой чашкой черного кофе, потому что он все равно (после той любви) — мертвый. Да и женщинами уже не интересовался вообще, а Адамович ему близок особо. Последнего Ходасевич в кругу друзей-картежников за глаза называл Содомович.

Оказалось, им не по дороге. Поблагодарила за присланный ей листочек с рильковской могилы. Они не рифмуются, в лучшем случае — это рифма диссонансная.

Тесковой: «Мне поверилось, что я кому-то — как хлеб — нужна. А оказалось — не хлеб нужен, а пепельница с окурками: не я — а Адамович и Сопр».

Штейгеру — в сильнейшем расстройстве: «Если бы Вы ехали в Париж — в Национальную библиотеку или поклониться Вандомской колонне — я бы поняла; ехали бы туда самосжигаться на том, творческом, Вашем костре — я бы приветствовала. <...> Но Вы едете к Адамовичу и К, к ничтожествам, в ничтожество, просто — в ничто, в богему, которая пустота большая, чем ничто; сгорать ни за что — ни во чью славу, ни для чьего даже тепла — как Вы можете, Вы, поэт!

От богемы меня тошнит...<...>»

В 1923-м молодой американский поэт Эрнест Хемингуэй, прожигающий жизнь во всегдашнем праздничном Париже, написал стихотворение «Монпарнас», которое не было известно МЦ, но несколько не устарело:

В квартале не бывает самоубийств среди порядочных людей — самоубийств, которые удаются.

Молодой китаец кончает с собой, и он мертв.

(Его газету продолжают опускать в ящик для писем.)

Молодой норвежец кончает с собой, и он мертв.

(Никто не знает, куда делся товарищ молодого норвежца.)

Находят мертвую натурщицу — в ее одинокой постели, совсем мертвую.

(Консьержка едва перенесла все эти хлопоты.)

Порядочных людей спасает касторовое масло, белок, мыльная вода, горчица с водой, желудочные зонды.

Каждый вечер в кафе можно встретить порядочных людей¹.

Штейгер все понимал правильно: «...в моих письмах Вы читали лишь то, что хотели читать. Вы так сильны и богаты, что людей, которых Вы встречаете, Вы пересоздаете для себя по-своему, а когда их подлинное, настоящее все же прорывается, — Вы поражаетесь ничтожеству тех, на ком только что лежал Ваш отблеск, — потому что он больше на них не лежит <...>

Вы обещали мне, что Вы мне никогда боли не сделаете, — не обвиняю Вас, что Вы не сдержали своего обещания. Вы, ведь, это обещали мне воображаемому, а не такому, каков я есть <...>

Любящий Вас и благодарный

А.Ш.»

Издаелека приходят новости. В июле произошел мятеж в Марокко. Испанские генералы Эмилио Мола и Франсиско Франко бросили вызов республиканскому правительству Испании. Премьер-министр Хосе Хираль обратился с просьбой о помощи к правительству Франции, Франко — к Адольфу Гитлеру и Бенито Муссолини. Первыми откликнулись Берлин и Рим, направившие в Марокко двадцать транспортных самолетов, двенадцать бомбардировщиков и транспортное судно «Усамо». К началу августа африканская армия мятежников была переброшена на Пиренейский полуостров. 6 августа юго-западная группировка под командованием Франко начала марш на Мадрид. Одновременно северная группировка под командованием Молы двинулась на Касерес. Началась гражданская война. 19 августа франкистами убит Федерико Гарсиа Лорка.

Начинается
Плач гитары.
Разбивается
Чаша утра.
Начинается
Плач гитары.
О, не жди от нее
Молчанья,

¹ Перевод И.Кашкина.

Не проси у нее
Молчанья!
Неустанно
Гитара плачет,
Как вода по наклонам — плачет,
Как ветра над снегами — плачет,
Не моли ее
О молчанье!
Так плачет закат о рассвете,
Так плачет стрела без цели,
Так песок раскаленный плачет
О прохладной красе камелий,
Так прощается с жизнью птица
Под угрозой змеиного жала.
О, гитара,
Бедная жертва
Пяти проворных кинжалов!

(«Гитара»)¹

В Москве — в августе — идет открытый процесс против Зиновьева и Каменева. Среди многочисленных обращений и резолюций «собраний трудящихся» с требованием высшей меры наказания, заполнивших страницы газет, в «Правде» от 21 августа опубликовано коллективное письмо литераторов под заглавием «Стереть с лица земли!». Там — и подпись Пастернака. О мере принудительности в жизни Пастернака МЦ не думает.

В двадцатых числах сентября МЦ с Муром вернулись домой из Савойи. В общем-то, лето получилось. Стихи получились слишком точные:

В мыслях об ином, инаком,
И ненайденном, как клад,
Шаг за шагом, мак за маком —
Обезглавила весь сад.

Так, когда-нибудь, в сухое
Лето, поля на краю,
Смерть рассеянной рукою
Снимет голову — мою.

5—6 сентября 1936

А что Штейгер? Их единственная встреча была прощальной, и было это 22 ноября в Ванве, он пришел к ней: разрешите мне заехать к вам вас поблагодарить. У них в разговоре был момент — она спросила:

— Вам от людей ничего не нужно?

— Ни-че-го. Разве вы не можете допустить, что мне с вами — приятно?

«Приятно» ее покорило. Он ушел, она осталась в состоянии небывалой оскорбленности: мои седые волосы, мои пролетарские руки. 30 декабря напишет краткое письмо с окончательным выяснением отношений, чтобы не переносить с собой этой язвы в новый год. Вскоре она отправит ему «Стихи сироте». В январе 1937 года она попросит вернуть ей зеленую куртку: у меня впечатление, что она не вашего цвета.

Центральный Пушкинский комитет существует с 1935 года. Его составляют люди самые разные: общественники, политики, священники, ученые, журналисты, всего человек сорок, по сути случайных, а поэтов немного — Бунин, Гиппиус, Адамович, Ходасевич, МЦ.

¹ Перевела МЦ (1941).

Ходасевич едко шутит:

В Академии наук
Заседает князь Дундук.
Почему такая честь?
Потому что ж... есть!
А в Париже тридцать шесть!!!

Он выходит из этой разношерстной структуры.

МЦ трудится по внутреннему графику, в данном случае не отличающемуся от внешнего. Ее «Мой Пушкин» больше «мой», чем «Пушкин». Потому что не исследование, не филология, а часть собственной жизни. На этом очерке завершится ее длительное и полномасштабное путешествие в свое московское детство. Да и отрочество с юностью прихвачены. А стихи — уже готовы. Она вообще готова к этому празднику.

По пути — достается... Юрию Иваску. МЦ знакомится с его трудом о ней. 25 января — чуть не в канун столетия пушкинской дуэли — она нелестно выговаривает автору статьи:

Общее впечатление, что вы думали, что в писании выяснится, и не выяснилось ничего <...> Нужно уметь читать. Прежде чем писать, нужно уметь читать. В Переулочках Вы просто ничего не поняли <...>

Эту вещь *из всех моих* (Молодца тогда еще не было) больше всего любили в России, ее понимали, т.е. от нее обмирали — все, каждый полуграмотный курсант.

Но этого Вам — не дано. <...>

Но — я должна бы это знать раньше.

Ваше увлечение Поплавским, сплошным плагиатом и подделкой. Ваше всерьез принятие Адамовича, которого просто нет (есть только в последних Новостях).

Вы настоящее от подделки не отличаете, верней — подделки от настоящего, оттого и настоящего от подделки. У Вас нет чутья на жизнь, живое, рожденное. Нет чутья на самое простое. Вы всё ищете — как это сделано. А ларчик просто открывается — *рождением*. <...>

Со Штейгером я не общаюсь, всё, что в нем есть человеческого, уходит в его короткие стихи, на остальное не хватает: сразу — донышко блестит. Хватит, м.б., на чисто-литературную переписку — о москвичах и петербуржцах. Но на это я своего рабочего времени не отдаю. Всё, если нужна — *вся*, ничего, если нужны *буквы*: мне мои буквы — самой нужны: я ведь так трудно живу. <...>

Насколько Вы одареннее (и душевно, и словесно) в письмах. (Я это же, этим летом, писала Штейгеру.) Так в чем же дело? Бумага — та, рука — та, Вы — тот...

М.б., оттого что — «литература»? (Точно это — *есть*!) <...>

Меня вести можно *только* на контрасте, т.е. на всеприсутствии: наличности *всего*. Либо брать — часть. Но не говорить, что эта часть — всё. Я — *много* поэтов, а как это во мне спелось — это уже моя *тайна*.

Можно ли снести все это? Вряд ли. Иваск — снес. Но похоже, Иваску, в сущности, перепало за... Штейгера. Возможно, Иваск это понял.

Январскую почту МЦ завершает ее письмо Андре Жиду, посредством которого она пытается пристроить свою пушкиниану: «Чтобы Вы могли сориентироваться на меня, как личность: десять лет назад я дружила с Верой, большой и веселой Верой¹, тогда только что вышедшей замуж и совершенно несчастной.

Я была и остаюсь большим другом Бориса Пастернака, посвятившего мне свою большую поэму 1905.² <...>

Я — последний друг Райнера Мариа Рильке, его последняя радость, его последняя Россия (избранная им родина)... и его последнее, самое последнее стихотворение ELEGIE fur Marina (так у МЦ; правильно «Elegia fur Marina». — *И.Ф.*)».

¹ Речь о Вере Трейл, бывшей Сувчинской.

² Не совсем так. Первоначально публикацию первых глав поэмы «Лейтенант Шмидт» предварял акrostих в честь МЦ.

Вышла однодневная газета «Пушкин», издание Комитета по устройству Дня Русской культуры во Франции, с цветаевско-пушкинскими «Бесами» — «Les Demons». МЦ чем-то недовольна, пишет Вере Буниной: «Купите от 6-го февр<ая> и увидите, что сделали с Пушкиным». 18 февраля «Последние новости» дают объявление о ее вечере в зале «Социального музея» на улице Лас Каз, 5. Программа: проза «Мой Пушкин», «Стихи к Пушкину» и переводы лирики Пушкина на французский язык. Она сильно тревожилась об этом вечере, хлопотала, обращалась к Буниной за помощью на предмет распространения билетов, и вот — 8 марта пишет композитору Фоме Гартману: «Вечер прошел из ряду вон хорошо, отлично: мы с залом были — одно, и это одно было — Пушкин». Ему же сообщает: «У меня в жизни разные важные события...»

Наряду с важными событиями — событие печальное, о чем — в письме к Буниной:

11 марта 1937 г.

Дорогая Вера,

Может быть Вы уже знаете, вчера, с 9-го на 10-ое, ночью, умер Замятин — от грудной жабы. А нынче, в четверг, мы должны были с ним встретиться у друзей, и он сказал: — Если буду здоров...<...>

(Никто не понял, почему Мой Пушкин, все, даже самые сочувствующие, поняли как присвоение, а я хотела только: у всякого — свой, *это — мой*. <...> А Руднев понял — как манию величия и прямо пишет...)

Обнимаю Вас. Сердечный привет Вашим.

М.

Приписка на полях:

Аля едет на самых днях, но уже целиком себя изъела, ни взгляда назад...

Аля уехала в СССР 15 марта 1937 года. Мартовские иды: 15 марта 44 до н. э., день убийства Юлия Цезаря. Ровно двадцать лет назад последний русский царь отрекся от престола на станции Дно.

Об отъезде Али она сообщает и чете Ходасевичей. Владислав Фелицианович четыре года назад женился на Ольге Борисовне Марголиной, которой МЦ горячо симпатизирует, в отличие от ее предшественницы — Нины Берберовой. «Я, вообще, ваша — сейчас долго объяснять — но, чтобы было коротко: мои, это *те* и я — тех, которые *ни нашим ни вашим*».

Шестого мая крупнейший в мире дирижабль «Гинденбург» был уничтожен пожаром при подходе к причальной мачте в Лейкхерсте (штат Нью-Джерси, США), завершая полет из Франкфурта (Германия). Эта катастрофа унесла тридцать шесть человеческих жизней. Взрыв был слышен на расстоянии пятнадцати миль. Но команда и шестьдесят два пассажира спаслись. Причиной пожара было использование водорода — единственного несущего газа, которым располагала Германия, поскольку США отказались поставлять Гитлеру гелий в коммерческих количествах.

В майском Париже открылась Всемирная выставка. МЦ восхищена скульптурой «Рабочий и колхозница» у входа в советский павильон, не в последнюю очередь потому, что это работа женская — автор Вера Мухина. Ну а сам павильон похож на эти фигуры — он и есть воплощение труда этих фигур. По сравнению с ним немецкий павильон — крематорий плюс сейф, по его стенам не фигуры, но идолы. Первый — жизнь, второй — смерть. МЦ видела пять павильонов, на это ушло четыре часа, причем на советский — добрых два.

Она занята срочной перебелкой рукописи «Пушкин и Пугачёв» для нового большого серьезного русского журнала «Русские записки», имеющего выходить в

Шанхае, — это эссе будет опубликовано в № 2. В ноябре по ходу японско-китайской войны японские войска захватят Шанхай.

Однако — лето. 11 июля МЦ и Мур приехали в небольшой поселок Лакано-Осеан на берегу Бискайского залива в департаменте Жиронда, административный центр (префектура) — легендарный город Бордо. Это южнее Сен-Жиля, где они жили одиннадцать лет назад. Поселок относительно нов, ему не больше ста лет. Мелководье, никакой рыбалки и рыбацких лодок, огромный пляж с огромными, в отлив, отмелями, и огромный сосновый лес: сосна привилась и высушила болота. Неподалеку пресное озеро. Там древний старик пас стадо черных коров с помощью одноглазой собаки. Вокруг сплошь песок, земли и травы не видно. Во всем стокилометровом лесу одна цементированная тропинка.

Сняли отдельный домик с одной комнатой, кухней и террасой, в пяти минутах от моря. Домик чистый и уже немолодой, всё есть, мебель деревенская и староватая. Хозяева — владельцы единственного пляжного кафе.

Из Москвы Аля письмом сообщила МЦ о смерти Сонечки Голлидэй — началась работа над «Повестью о Сонечке». «Это было женское существо, которое я больше всего на свете любила». Вышла большая повесть: 230 рукописных страниц. Пойдет в «Русских записках». Ничего другого не писала, только письма

В Москве Алины таланты оказались востребованы. Для начала в первом (август) номере просоветского журнала «Наша Родина» (бывший «Наш Союз»), издававшегося в Париже на деньги советского постпредства, опубликовано «письмо из СССР» — очерк «На Родине», почти анонимно, за подписью «Аля»: «Как я счастлива, что я здесь! И как великолепно сознание, что столько пройдено и что все — впереди! <...> На моих глазах Москва расправилась с изменой». В ночь с 11 на 12 июня расстреляны Тухачевский, Примаков, Якир, Уборевич, Эйдеман и другие лжеучастники военно-фашистского заговора в Красной Армии. Восторг Али изумил МЦ. Вскоре Аля начнет работать в выходящем на французском языке журнале «Ревю де Моску», у нее появится псевдоним Алис Феррон.

В Лакано-Осеан подъехали Лебедевы — Маргарита Николаевна с дочерью Ириной. В первое купанье чуть не утонула Ирина — коварные волны, ветер, сильное течение. Немилосердно палит южное солнце, Океан не спасает, Мур жарится на пляже, МЦ предпочитает работу в тени. 9 августа она пишет Але эпическое полотно, которое стоит рассмотреть во всем объеме:

А теперь слушай — событие:

В субботу, 7-го, сижу и пишу Сонечку и всё утро дивно пахнет сосновым костром — и я радуюсь. В 10 ? — я как раз собираю мешок с купаньем, Мур уже давно на пляже (так! — *И.Ф.*) — приходит хозяйка из кафэ и громко говорит с соседками, слышу — *oh que sa brule... Sa brule, sa brule, sa brule!* — и мысленно соглашаюсь, п<отому> что третий день пёкло пуше фавьерского. Но когда: «40 kilometres a l'heure... la brigade ne suffit pas... appel aux volontaires»² — я выхожу: оказывается с четверговой ночи, т.е. уже третьи сутки горят — ланды³, т.е. ГОРИМ — и телефонное сообщение с Lacan-Ville (километров — 10) прервано, п<отому> ч<то> сгорели провода — и столбы.

Пока что — всё так же чудесно пахнет.

Часов в пять приходят М<аргарита> Н<иколаевна> с Ирусей — на угощение: устрицы и *rose*⁴ — я как раз получила от папы деньги (доживала последние 5 фр<анков>). Сидим, я к ужасу М<аргариты> Н<иколаевны> простым ножом вскрываю устрицы (незаметно разрезаю себе дважды палец, который тут же заживает от морской воды) — *Ируся поглощает, Мур (с отвращением) подражает, rose чудное... так*, до семи. Они идут в гостиницу обедать, сговариваемся встретиться в 9 ч. на главной площади. Но когда в девять выходим — дым и гарь *такие*, что никого и ничего не видать и нечем дышать: жжет глаза и глот. Весь Lacanau — на площади — и всюду «*le feu*»⁵ — и название мест — и скорость огня. Оказывается, огонь уже в

¹ О, как жжет... Жжёт, жжёт, жжёт... (*фр.*)

² 40 километров в час... бригада не справляется... призыв добровольцев (*фр.*)

³ Landes — заболоченная низменность вдоль побережья юго-запада Франции (Бискайский залив) — 230 км.

⁴ розовое вино (*фр.*)

⁵ огонь (*фр.*)

Moutchic'e, куда мы недавно с Ирусей ходили — в 4 ? к<илометров>, — горит канал (здесь пять озер соединенных каналами), и вообще мы со всех сторон (четвертая — Океан) окружены пламенем. Небо в огромном зареве и зарницах, ни фонаря, ни звезд, тьма и гарь. Л<ебеде>вых, проискав на площади полчаса, не находим и возвращаемся домой — укладываться. Я собираю тетради, иконы, янтари, identite¹ (NB! напомнил — Мур!), Муру с<ен>-жильскую фотографию и твою последнюю, только что полученную, и собираюсь нести всё это к М<аргарите> Н<иколаевне>, ибо их вилла — на дюнах, мы же в самом лесу и будем гореть — первые. Но пока увязываю — оне — сами: полчаса искали нас на площади, как мы — их. Выходим вместе, я — с кошёлкой, идем на пляж, но и там дышать нечем, море не чувствуется, глаза плачут и глотка отравлена. Пляж тоже полон: и прилив — полный: некоторые, не разобрав в темноте, оступаются в огромные лужи прилива, смех. Наверху, за дюнами — музыка: казино продолжает работать, т.е. молодежь — танцевать. Тут я чувствую величие ничтожества. <...>

Непрерывные сирены — никто не спит — под ноги бросаются тоскующие ополоумевшие плачущие собаки — вести всё тревожнее: ветер — прямо на нас — с женщинами от гари делаются обмороки — дети шепечут. <...>

Мур мечтает все это описать в Робинзоне² (бормочет: le feu... l'appel aux volontaires... nos glorieuses troupes³) и получить премию в 50 фр<анков> — или авантюрный роман — в 5 фр<анков>.

Дышать абсолютно нечем: воздух — круглые горячие горькие клочки. Но это еще — площадь и соседство океана, когда же сворачиваем в наши лесные места — простое пёкло: уже не дым, а целый пожарный ветер: несущийся на нас сам пожар.

Но так как мне еще нужно достать китайские книги, а Мур очень устал, укладываю его пока одетого на постель, решив не спать и ждать что будет — а сама сажусь читать Дон-Кихота. (Детские колонии рядом не эвакуированы, значит — дышать *можно*: я больше всего боялась задохнуться еще до пожара.) Читаю и — пока — дышу. Мур спит. На часах — час. Вдруг — гигантская молния, такой же удар грома, всё полотно потолка — ходуном и барабанный бой по нашей весьма отзывчивой крыше: прямо как по голове! *Ливень*. — Да какой! Лил всю ночь. Утром — лужи как от прилива, что здесь немыслимо — из-за всасывающего песка. (Здесь земли — ни пяди). Ливень лил всю ночь, и мы не сторели, но выгорели целые поселки рядом — целые леса.<...>

Аля, сгорели все цикады. <...>

Пожар был — от бомбы упавшей с авиона — (*какого* — не говорят, м<ожет> б<ыть> — манёвры?) и врывшейся в землю больше чем на метр. Собиратель смолы тут же побежал на ближний телеф<онный> пункт, но было поздно: всё пылало.

Этот пожар был больше, чем пожар, — игра мировых стихий.

В Лакано-Осеан явился Сергей Яковлевич. Он все время проводит с Лебедевыми, а иногда уходит на свидание в кафе с какими-то людьми из «Союза друзей Советской родины» (бывший «Союз возвращения»), которые сюда за ним приехали. К этим людям относится и Мишель — Михаил Штангер, хозяин шато д'Арсин.

Рядом — Испания. Там — гражданская война. Там воюет команданте Луис Кордес Авер, он же Константин Родзевич. Там же — Алексей Эйсер, адъютант генерала Лукача (Матэ Залка). Сергей Яковлевич для войны слаб здоровьем, но вербовка людей в органы ОГПУ и, вопреки запрету французского правительства, в Интернациональные бригады ему вполне по силам. Через его руки прошли порядка сорока человек. Кое-кто из них там был убит не чужими, а своими, поскольку склонялись к троцкизму. Все слишком непросто. Там под бомбами и пулями изучает жизнь, не просыхая от виски, Эрнест Хемингуэй и снимает кино пугливый Дос Пассос. Там город басков Герника стал картиной Пикассо, исчезнув с лица земли. Там дорос до настоящих стихов Эренбург:

Сердце, это ли твой разгон!
Рыжий, выжженный Арагон.
Нет ни дерева, ни куста,
Только камень и духота.

¹ вид на жительство для эмигрантов (фр.)

² Журнал для юношества.

³ Огонь... призыв добровольцев... наши доблестные отряды...(фр.)

Всё отдать за один поток!
Пуля — крохотный мотылёк.
Надо выползти, добежать.
Как звала тебя в детстве мать?
Красный камень. Дым голубой.
Орудийный короткий бой.
Пулемёты. Потом тишина.
Здесь я встретил тебя, война.
Одурь полдня. Глубокий сон.
Край отчаянья, Арагон.

Сергей Эфрон не выезжает из Жиронды, вдыхая вселенскую гарь.

В начале сентября швейцарская газета «Neue Züricher Zeitung» протрубила сенсацию. Ранним утром 5 сентября житель квартала Шамбланд в городке Пюи под Лозанной, прогуливая собаку, наткнулся на безжизненное окровавленное тело мужчины плотного сложения. В теле убитого двенадцать пуль — пять пуль в груди, семь — в голове. Часы убитого стоят на отметке 9:40, в руке — клочок седых женских волос, на земле — следы волочения его тела.

Игнатий (Игнац) Станиславович Рейсс (настоящее имя Натан Маркович Порецкий) с 1931 года сотрудник Иностранного отдела ОГПУ — внешней разведки советского государства. В середине июля 1937 года он направил советскому полпредству в Париже письмо на адрес ЦК партии. Рейсс, получив приказ о возвращении в СССР, заявляет о том, что он порывает со сталинской «контрреволюцией» и «возвращается на свободу», под свободой понимая «возврат к Ленину, его учению и его делу». Есть иная версия. Рейссом как будто бы были получены большие деньги, предназначенные для оперативных целей и потраченные на разгул. С остатками денег он решил бежать. Перед побегом написал это письмо. Письмо Рейсса несколько позже попало во французские газеты.

Летом 1937 года Рейсс укрывал жену с двенадцатилетним сыном Романом в Швейцарии. Для слежки за Рейссом в Лозанну, где намечалась встреча Рейсса с его любовницей Гертрудой Шильдбах, прибыли трое — некие Кондратьев и Смиренский во главе с Эфроном. Возможно, эти трое не подозревали, что дело пахнет убийством. За год до этого Эфрон руководил слежкой за Львом Седовым — сыном Льва Троцкого, которая удачно завершилась кражей архива последнего.

Швейцарская полиция связалась с французской и попросила арестовать виновных, уже добравшихся до Парижа. Французская полиция допросила Эфрона и Смиренского и отпустила их. У власти во Франции был Народный фронт, то есть социалисты, Франция была связана военным договором с Советским Союзом. Французской полиции было бы достаточно найти убийцу Рейсса, а не раскрывать советскую шпионскую сеть.

Фонтан версий. Фантазмагория засекреченности. Сам черт ногу сломит.

Сергей Яковлевич 15 сентября пишет Але в Москву: «Пишу тебе уже из Парижа на второй день по приезде. И, конечно, уже не из дому, а в кафе». Он поздравляет дочь с двадцатипятилетием. «Будь здорова, моя родная. В твоём отъезде для меня единственно очень радостное — это мысль о встрече. Твой папа». Кроме того, в это время он влюблен в какую-то барышню двадцати четырёх-двадцати пяти лет и не знает, что делать.

Не успели МЦ с Муром вернуться из Локано-Осеан в Париж — новый шум в газетах. 22 сентября похищен царский генерал Евгений Карлович Миллер, глава Русского общевойскового союза. Миллера, при содействии своей жены, известной певицы Надежды Плевицкой, работавшей на НКВД, похитил Николай Скоблин, в прошлом славный белый генерал, в 1930 году завербованный советской разведкой. На другой день Скоблин бесследно исчез. Плевицкая была арестована и приговорена

французским судом к пятнадцати годам тюрьмы, где и скончалась через четыре года. Кроме того, Скоблин должен был похитить и Антона Ивановича Деникина, но этому якобы помешал Сергей Яковлевич, отговоривший генерала ехать туда, где его ожидала опасность.

Двадцать третьего сентября разразился лесной пожар в городке Коди, штат Вайоминг, — четырнадцать погибших и пятьдесят раненых.

Двадцать восьмого октября арестовывается Борис Пильняк. В справке на арест Пильняка сказано: «В 1933 году Пильняк стремился втянуть в свою группу Б.Пастернака. Это сближение с Пастернаком нашло свое внешнее выражение в антипартийном некрологе по поводу смерти Андрея Белого, а также в письме в «Литгазету» в защиту троцкиста Зарудина, подписанном Пастернаком и Пильняком. Установлено также, что в 1935 г. они договаривались информировать французского писателя Виктора Маргерита (подписавшего воззвание в защиту Троцкого) об угнетенном положении русских писателей, с тем чтобы эта информация была доведена до сведения французских писательских кругов. В 1936 г. Пильняк и Пастернак имели несколько законспирированных встреч с приезжавшим в СССР Андре Жидом, во время которых тенденциозно информировали Жиду о положении в СССР».

Беда к беде, время катастрофично, пожар не утихает — вслед за оконченной «Повестью о Сонечке» на свет пробилось несколько строк в попытке стать стихом:

Были огромные очи:
Очи созвездья Весы,
Разве что Нила короче
Было две черных косы
.....
Нет, не годится!
Страшно от стольких громад!
Нет, воспоем нашу девочку
На уменьшительный лад

За волосочек — по рублику!
Для довершения всего —
Губки — крушенье Республик
Зубки — крушенье всего...

Каким-то диковинным образом Сонечка Голлидей соотносится с тем, что происходит в Испании. Это похоже на то, как Маяковский не так давно (1928) обращался к любимой женщине:

В поцелуе рук ли,
 губ ли,
в дрожи тела
 близких мне
красный
 цвет
 моих республик
тоже
 должен
 пламенеть.

(«Письмо к Татьяне Яковлевой»)

Набросок МЦ не стал полноценным стихом, но следующее восьмистишие оказалось совершенным:

Жуть, что от всей моей Сонечки
Ну — не осталось ни столечка:

В землю зарыть не смогли —
Сонечку люди — сожгли!

Что же вы с пеплом содеяли?
В урну — такую — её?
Что же с горы не развеяли
Огненный пепел её?

30 сентября 1937

МЦ исполнилось сорок пять лет. На следующий день — 10 октября — новый муж Муны Булгаковой Владимир Степуржинский, будучи шофером такси, взял пассажиров: Сергея Яковлевича, МЦ и Мура. Где-то не доезжая Руана, когда машина замедлила ход, Сергей Яковлевич быстро, ни слова не говоря, выскочил из машины и исчез в придорожном лесу.

Ровно через месяц после похищения Миллера — 22 октября — шесть инспекторов производят обыск в доме на улице Де Бюси, 12, выходящей на бульвар Сен-Жермен, где «Союз возвращения» арендует семь комнат, — здесь же находится и библиотека «Союза», и комната, в которой частенько ночевал Эфрон. Пришли и к ней домой — в Ванв.

В этот же день ее допросили в парижской префектуре.

Допрос длился восемь часов кряду. Когда она стала читать вслух свои стихи, ее отпустили: «*Cette folle Russe*»¹. На следующий день об обыске поведали газеты.

В газетах не прекращается поток эфроновско-цветаевской темы. 24 октября в «Последних новостях» в заметке «Где С.Я.Эфрон?» репортер передает слова МЦ: «...мой муж, экстренно собравшись, покинул нашу квартиру в Ванве, сказав мне, что уезжает в Испанию. С тех пор никаких известий о нем я не имею. <...> 22 октября около 7 часов утра ко мне явились четыре инспектора полиции и произвели обыск, захватив в комнате мужа его бумаги и личную переписку. Затем я была приглашена в Сюрте Насьональ², где в течение многих часов меня допрашивали. Ничего нового о муже я сообщить не могла». 29 октября «Возрождение» говорит в анонимной статье: «Семейные дела также, по-видимому, сыграли роль в эволюции Эфрона. Как известно, он женат на поэтессе Марине Цветаевой. Последняя происходила из московской профессорской семьи, была правых убеждений и даже собиралась написать поэму о царской семье. Ныне, по-видимому, ее убеждения изменились, так как она об откровенном большевизме своего мужа знала прекрасно». 12 ноября «Последние новости» под шапкой «Дело Игнатия Рейсса» говорят о том, что в свое время двое лиц, обвиняемых в соучастии в убийстве Рейсса, «получили от С.Эфрона поручение следить за сыном Троцкого, и поселились с этой целью на улице Лакретель (рядом с домом Л.Седова). Летом 1937 года слежка за сыном Троцкого была оставлена и заменена слежкой за Игнатием Рейссом».

В США, в городе Ричмонд, штат Вирджиния, 25 октября умер князь Сергей Михайлович Волконский. «М.И.Цветаеву я видела в последний раз на похоронах (или это была панихида?) кн. С.М.Волконского, 31 октября 1931 года. А после службы в церкви на улице Франсуа-Жерар (Волконский был католик восточного обряда) я вышла на улицу. Цветаева стояла на тротуаре одна и смотрела на нас полными слез глазами, постаревшая, почти седая, простоволосая, сложив руки у груди. Это было вскоре после убийства Игнатия Рейса, в котором был замешан ее муж, С.Я. Эфрон. Она стояла, как зачумленная, никто к ней не подошел. И я, как все, прошла мимо нее»³.

¹ Эта полоумная русская (*фр.*)

² Главное управление государственной безопасности.

³ Н.Берберова. «Курсив мой».

Двадцать седьмого ноября ее вторично вызвала полиция и предъявила фотокопию телеграммы от 22 января, написанной по-французски и посланной Сергеем Яковлевичем из Парижа его коллегам по разведке. МЦ в его почерке усомнилась, по просьбе полиции показала несколько собственноручных писем Сергея Яковлевича и твердо заявила: «Муж уехал в Испанию, чтобы служить в рядах республиканцев, 11–12 октября этого года. С тех пор я не имею от него известий». В ноябре МЦ пишет Ариадне Берг: «Вижу пред собой Ваше строгое, открытое, смелое лицо, и говорю Вам: что бы Вы о моем муже ни слышали и ни читали дурного — не верьте, как не верит этому *ни один* (хотя бы самый «правый») из его — не только *знавших*, но — встречающих. Один такой мне недавно сказал: — Если бы С<ергей> Я<ковлевич> сейчас вошел ко мне в комнату — я бы не только обрадовался, а без малейшего сомнения сделал бы для него всё, что мог.

Обо мне же: Вы же знаете, что я никаких дел не делала (это, между прочим, знают и в сюртэ, где нас с Муром продержали с утра до вечера) — и не только по полнейшей неспособности, а из глубочайшего отвращения к политике, которую *всю* — за редчайшими исключениями — считаю *грязью*».

Под Новый год Ариадна Берг прислала ей посылку — елочку с фиалками, живую с живыми. МЦ отправила ей книгу католической поэтессы Мари Нозэль «Четки радостей». «Обнимаю Вас, благодарю за каждую отдельность («Всесильный Бог деталей — Всесильный Бог любви»¹...), за всё, за всю Вас: за то, что это — есть. И было в моей жизни». На елочке светятся настоящие, самовызолоченные, чешские шишки.

Зима 1937 — 1938 годов оказалась последней зимой в Ванве. МЦ уже знала, что это место отжито, что эта улица, обсаженная деревьями, ее каштан, Мурина бузина и неведомо чьи огороды вокруг ее дома-руины, в котором прожито без малого четыре года, — предмет прощания и будущих воспоминаний. Казалось — дома не было, а вот вышли из него муж и дочь, и оказалось: все было. Но велика сила привычки, и привязка к столу неистребима — сидит МЦ все там же, в кухне, у стола, заваленного корректурами и прочей бумагой, под тяжестью которой жила и живет. Пишет ли? Нового — ничего. Всю зиму ничего. Мур этот год учится дома. Голодных ртов нет. Едоков, собственно, трое — Мур, его учитель и ничей бродячий кот, на это хватает и средств, и времени. МЦ никуда не ходит, во всем трехмиллионном Париже — два каких-то дома, куда еще зовут или, во всяком случае, можно прийти раз в неделю, а то и реже — раз в две недели или в месяц.

В конце января МЦ делится с Ариадной Берг тяжелым впечатлением от книги воспоминаний Айседоры Дункан «Моя жизнь»: эта женщина никого не любила. «(И Есенина, конечно, не любила: это чистый роман американского любопытства + последней надежды стареющей женщины. Терпеть от человека еще не значит его жалеть.) Я вышла из этой книги — опустошенная: столько имен и стран и событий всякого рода — и *ничего* сказать».

Попутно ей вспоминается мизансцена с братом Айседоры — Раймондом, художником и танцором, с которым она «однажды встретилась у одной американки (Натали Клиффорд-Барни. — *И.Ф.*). Я сидела. Вдруг кто-то оперся локтем о мою шею, сгибая ее. Я резко дала головой и локоть слетел. Через минуту — вторично. Встаю — передо мной человек в «белой одежде» длинноволосый и т.д. — отодвигаю стул: — «Monsieur, si Vous ne pouvez pas Vous tenir debout — voila ma chaise. Mais je ne suis pas

¹ Из стихотворения Пастернака «Давай ронять слова...» (1917):

Ты спросишь, кто велит?
— Всесильный бог деталей,
Всесильный бог любви,
Ягайлов и Ядвиг.

un dossier»¹. А он глупо улыбнулся. И отошел. А я опять села. <...> Деталь: я сидела за чайным столом, а он говорил с моим визави — через стол — и вот, чтобы было удобнее, оперся локтем о мою спину. (Особенно странно — для танцора школы Айседоры.)»

Сергей Яковлевич пишет сыну из Москвы в феврале:

«Слышал, что у тебя завелась первая шляпа. Поздравляю! А я здесь хожу больше в кепке, еще парижской, той, что прислала мама.

Видел ли наш новый фильм — "Александр Невский"? Боюсь, что его запретит "ваша" гнусная цензура. А я всю эту зиму ни разу не был в кино. Вместо этого гулял по снежным полям и лесам.

Ко мне часто попадает «Нума»² и я тогда сразу переносюсь в вашу парижскую атмосферу. Представляю себе с каким гневом ты читаешь о происходящем у вас позоре!

А помнишь, как мы с тобой еще недавно ходили на демонстрации Народного Фронта?

А теперь французский пролетариат стал не только передовым классом, но и единственным представляющим и защищающим французскую нацию.

Кончаю письмо моей обычной просьбой: береги и оберегай маму. Не давай ей утомляться, заставляй ее ложиться вовремя и не давай ей много курить. Обнимаю тебя, мой родненький». Прогулки по снежным полям и лесам означают пребывание Сергея Яковлевича где-то за городом.

Сгущаются тучи над Чехословакией.

Четырнадцатимиллионная Чехословакия была на подъеме, в числе ведущих мировых экспортеров оружия, ее армия была превосходно вооружена и опиралась на мощные укрепления в Судетской области. Судетские немцы, потомки средневековых колонизаторов восточных территорий, составляли около трех миллионов (90%) населения региона. Они давно и активно требовали воссоединения с Германией, особенно после аншлюса Австрии 12–13 марта 1938 года. То же самое было в Словакии и Закарпатской Украине, где обитало 700 тысяч немцев. Судетский котел клочкотал. Судьбу страны стали решать европейские державы в порядке «политики умиротворения» Гитлера, дело ведя к отторжению судетских земель.

Ванв, 23-го мая 1938 г.

Дорогая Анна Антоновна,

Думаю о Вас непрерывно — и тоскую, и болею, и негодную — и *надеюсь* — с Вами.

Я Чехию чувствую свободным духом, над которым не властны — тела.

А в личном порядке я чувствую ее своей страной, родной страной, за все поступки которой — отвечаю и под которыми — заранее подписываюсь.

Ужасное время.

Ариадна Берг остается чуть не самой задушевной confidentкой МЦ. Абсолютно доверительно — о подготовке к отъезду (рефрен: «между нами»). Их диалог — во многом чисто женский, вплоть до длительной и подробной темы приобретения Ариадной в Бельгии пальто для МЦ (широкая спина, широкие плечи, 120 см длины и проч.), — МЦ охота въехать в Москву нарядной, ослепительной.

МЦ начинает распродавать книги, просит найти покупателя «Истории» Тьера. В апреле Ариадна навещает ее, после чего пишет ей:

8-го апреля 1938 г.

Марина дорогая

Продала брату Вашего Thiers за 150 фр<анков>! Когда хотите, он за ним приедет, страшно доволен. Прошу его любить и жаловать. Он мой друг, многим похож на меня.

¹ Если Вы не можете стоять, вот мой стул, но я Вам не опора (*фр.*)

² Газета французской компартии «Юманите».

Когда вышла от Вас, захотелось сразу вернуться, еще Вас слушать, еще Вам говорить, так много, сплошным потоком. С Вами, *только* с Вами в жизни, думаю вслух, чувствую, живу перед Вами все равно какими словами, потому что ничего не надо объяснять.

Хочется сказать Вам спасибо за то, что Вы — Вы, и что в моей жизни было это чудо — встреча с Вами. Мы увидимся еще, Марина, в это я твердо верю.<...>

Что бы ни было, где бы Вы ни находились, что бы со мной ни случилось счастье ли, горе ли, Вы во всем участвуете *активно*. И *если* будет у меня сын, конечно, он будет расти с мечтой о своей «*matgaine de reve*»¹.

Я Вас помнить буду всегда, как лучший Божий дар мне. Ваше ожерелье спало вокруг моей шеи. Ваши слова, Ваш мир, Ваш серебряный взгляд окружают меня высокой оградой от повседневности и обывательства.

Я Вас люблю, Марина, так, что, если Вам, когда бы ни было, стало жить тяжело, — вспомните это, и теплее, легче станет. Рассчитывайте на всю меня — всегда.

Ваша

Ариадна

В апреле МЦ возобновила переписку своих черновых тетрадей, которую начала еще в 1932 году и внезапно прекратила в 1933-м, не заполнив до конца второй тетради. Кое-какие рукописи она намерена оставить в Европе, но все основное — закрепить перепиской и привезти на родину. Третья тетрадь, заполненная в апреле-июне 1938-го (103 листа), начинается с выписки из черновой тетради «Егорушка»: зеленая, квадратная — начата 11 марта 1928 года, в Мёдоне, кончена 11 сентября 1928-го, в Понтайяке (Жиронда). Переписка сопровождается ремарками 1938-го. Работа непростая, утомительная, не слишком системная, с неточной хронологией, иногда — как Бог на душу положит, по настроению, анализ на грани умоисступления, кое-что требуется зашифровать, на что-то лишь намекнуть, а что-то и разъяснить, расширив.

В 1928-м МЦ была занята Гронским, и она переписывает в тетрадь 1938-го стихотворение «Лес — сплошная маслособойня...» с вариантами. Но в 1938-м ее мысли больше заняты Сергеем Яковлевичем, она фиксирует, что для Мура важно присутствие отца: «—Очень, очень жалко, что папа уехал! Я теперь с одним мамом остался!»

Ей кажется необходимым воспроизвести черновик своего письма к Вере, тогда Сувчинской, с тех пор ставшей вдовой погибшего в Испании шотландского журналиста Роберта Трейла, сотруднице советских спецслужб, проповеднице возвращения в СССР и, между прочим, многолетней любовнице Родзевича.

«— Вы конечно не ждете этого письма, как не ждала его — я.

Хотите в двух словах его содержание? Если бы я была мужчина — я бы Вас любила. Грубо? Как всякая формула. Что же мне мешает сейчас, будучи женщиной и т.д. Знаю. Сама говорила и буду говорить.

(NB! Мешала мне тогда, очевидно, полная ненужность ей женской любви. И — поэтовой любви. Нужность ей только мужской любви. <...> Но это выяснилось — год спустя. 1938 г.)».

Думая о себе как поэте — в наброске творческой автобиографии «Моя судьба» (1931), она числит в своих читателях — уже в эмиграции — «сто любящих». В 1938-м добавляет, что на ее вечера-чтения «годы подряд приходили все те же — приближительно> 80 — 100 человек. Я свой зал знала в лицо. Иные из этих *лиц*, от времени до времени исчезали: умирали. 1938 г. Ванв».

Она говорит о несвоевременности своего явления — «что бы на двадцать лет раньше», о том, что время ее «овражило» и «огромчило» и ей «часто пришлось говорить (орать) на *его* языке — *его* голосом, «несвоим голосом», к<оторо>му предпочитаю — собственный, которому — тишину».

15 июня она пишет Ариадне Берг: «Поймите, что я половину написанного не могу взять с собой, поэтому оставляемое (нужно думать — навсегда: покидаемое)

¹ «крестная мать мечты» (фр.)

должна оставить *в порядке*. Над этим и быюсь — три месяца. А нужен — год. Уже с 6 ч. сижу, но нужен — покой, его у меня *нет*, вместо него — *страх*». Ей вспоминаются собственные стихи 1918 года «Андрей Шень»:

Руки роняют тетрадь,
Щупают тонкую шею...
Время крадется как тать —
Я дописать не успею.

В том же июне, 16-го числа, Сергей Яковлевич, заботливым государством отправленный на лечение в Одессу, пишет сестре Лиле: «Первые дни здесь мне было трудно. Вероятно — реакция на дорогу — душную и жаркую до ужаса. Если бы не сопровождающая меня сестра — я бы выскочил на 2-ой остановке. Было мне худо дней шесть подряд, а потому мне все казалось не таким, каким нужно. Было два серьезных припадка по два часа каждый, с похолоданием рук и ног, со спазмами и страхом и пр<очими> прелестями. Пишу теперь об этом спокойно, потому что все это уже в прошлом и мне гораздо, гораздо лучше. Врачи настроены оч<ень> оптимистично и лечат меня вовсю. Через день я принимаю теплые морские и хвойные ванны, а в промежутках, т.е. тоже через день, мне электрофицируют сердце. Кроме того мне массируют область сердца ментоловым спиртом. Кроме того обтирают одеколоном с головы до ног, т<ак> что я благоухаю, как пармская фиалка. <...>

Живу я уединенно и тихо. На море (к<отор>ое в 3-х минутах от меня) хожу в сопровождении моего оч<ень> милого сожителя и сижу там в тени часа по два».

Очень милый сожитель, надо думать, приставлен к новому гражданину СССР из лучших побуждений. Подъезжала к отцу и Аля.

На Родину Сергей Яковлевич отправился из Гавра на пароходе «Андрей Жданов» в тот же день 10 октября, когда изящно выскользнул из автомобиля в придорожный руанский лес. Прибыл он в Ленинград, где в скором будущем хозяином станет тот же Жданов, а потом в Елабуге МЦ очень недолго проживет на улице Ворошилова, вскоре ставшей имени Жданова, и это будет последнее, что их свяжет с Ахматовой, через некоторое время столкнувшейся с этим же именем¹...

Так или иначе, после всяческих лечений Сергей Эфрон окажется в подмосковном Болшеве, где три года назад, после Парижа, проходил санаторный курс Пастернак. Сергея Яковлевича поселят на даче НКВД. Оттуда 12 октября он напишет сестре: «Дорогая Лиленька, вот я и на "своей" даче. Здесь прелестно. Все совершенно в твоём духе — сплошная "сельскость". Из окон — сосновый парк. Сейчас в стекла барабанит дождь (моя любимая обстановка — осенний дождь в стекла).

Аля все очень мило и трогательно приготовила. Она из кожи лезет, чтобы мне во всем помочь. А мне тяжко, что я таким бременем ложусь на всех и особенно на нее. <...>

Сегодня говорили с Алей о том, как ты будешь к нам зимой приезжать и восторгаться тишиной (здесь действительно тихо) и белизной и ЧИСТОТОЙ».

У МЦ другой пейзаж и другая погода. В сущности, этот пейзаж и эта погода — одни и те же в любое время года: ее отъезд. Но сначала — переезд, означающий, помимо прочего, распродажу мебели: «выбыли моя громадная кровать, зеркальный шкаф и огромный дубовый стол, и еще другое предполагается. Я — ГОЛЕЮ. Сейчас галопом переписываю стихи и поэмы за 16 лет, разбросанные по журналам и тетрадям, в отдельную книжку — и просто от стола не встаю».

От себя она уже не зависит — ее опекают, ведут.

Переезд — куда? В гостиничный номер в Исси-ле-Мулино, парижский пригород

¹ Имеется в виду Постановление Оргбюро ЦК ВКП(б) «О журналах "Звезда" и "Ленинград"» 14 августа 1946 г. и предшествующий ему доклад А.Жданова на ту же тему.

по соседству с Ванвом. Это был транзит. 11 августа она пишет Ариадне Берг: «Только что Ваше письмо и тотчас же отвечаю, — завтра уже не смогу: опять укладываться! — 15-го едем с Муром на океан — на 2–3 недели: в окрестностях Cabourg'a (Calvados) — 2 1/2 ч. езды от Парижа. <...> Посылаю Вам (в подарок) уцелевшую корректуру своей Поэмы Горы — самой моей любовной и одной из самых моих любимых и самых моих — моих вещей. <...> Мне до сих пор больно — читать. А видеть его — уже не больно, *давно* не больно. От любви уцелели только стихи. Он — молодец и сейчас дерется в Республиканской Испании». Берг ответила: «Я не прочла, — я выпила Вашу поэму».

Итак, они с Муром теперь в городке Dives-sur-Mer, почти по-русски — Див, в устье реки Див. Это рабочий поселок с одним домом во всю улицу — rue du Nord, 8 — и под разными нумерами: казенные квартиры для заводских рабочих. Они с Муром поселены в большой светлой комнате, входящей в квартиру рабочего по имени Nikita, то бишь русского, у которого жена нормандка и дети, соответственно, нормандские, ни звука по-русски. В комнате — умывальник с горячей водою, но места для хозяйства нет — и оно всё на полу: — Мур, не наступи в кофе! Мур, ты кажется наступил в картошку! — Но — полная свобода: никто не заходит и не убирает. Пятый этаж, лифта, слава Богу, нет, а был бы — пришлось бы ездить, наживая себе не порок, а *разрыв* сердца — от страха.

Море — верста ходу. Пляж — как все пляжи: слишком много народу и веселья: море на свой берег — непохоже. Мур с упоением играет с малолетним рабочим народом — и немножко отошел от своих газет. Городок гористый, прелестный. Съездили в Zoo de Vincennes¹.

Она чувствует, что по возвращению с моря ее ждет страшный неуют и в первый же день — необходимость выписаться и прописаться, ибо она сейчас не живет нигде: комнату в Исси, конечно, оставила, то есть бросила, и ничего не знает о своем ближайшем будущем. «Я давно уже не живу — потому что такая жизнь — не жизнь, а бесконечная оттяжка». Пусть будет изба, как некогда в Чехии, но не меблированные комнаты!..

По возвращении с моря они с Муром будут поселены в Париже на бульваре Пастера, в гостинице «Innova». Поистине — новая.

Пятнадцатого сентября 1938 года премьер-министр Великобритании Чемберлен прибывает на встречу с Гитлером у города Берхтесгаден, в Баварских Альпах. Фюрер сильно хочет мира, но готов и к войне, однако войны можно избежать, если Великобритания согласится на передачу Германии на основе права наций на самоопределение Судетской области. Чемберлен согласился. Чехословацкие войска подавляют путч немцев в Судетах. 18 сентября в Лондоне прошли англо-французские консультации. Стороны пришли к соглашению, что территории, на которых проживает более 50% немцев, должны отойти к Германии и что Великобритания с Францией гарантируют новые границы Чехословакии.

Paris 15-me,
32, Boulevard Pasteir,
Hotel Innova, ch<amber> 36
24-го сентября 1938 г.

Дорогая Анна Антоновна,

Нет слов, но они должны быть.

— Передо мной лежит Ваша открыточка: белые здания в черных елках — чешская Силезия. Отправлена она 19-го августа, а дошла до меня только нынче, 24-го сентября — между этими датами — всё безумие и всё преступление. <...>

Почитайте газеты — левые и сейчас единственно-праведные, под каждым словом которых о Чехии подписываюсь обеими руками — ибо я их писала, изнутри лба и совести. <...>

¹ Зоопарк в Венсене (фр).

Мне сейчас — стыдно жить.
И всем сейчас — стыдно жить.
А так как в стыде жить нельзя...
— Верьте в Россию!

30 сентября между Великобританией и Германией подписана декларация о взаимном ненападении, схожая декларация Германии и Франции подписана чуть позже. В час ночи 30 сентября в Мюнхене в резиденции фюрера «Фюрербанг» Чемберлен, Даладье, Муссолини и Гитлер подписали Мюнхенское соглашение. После этого в зал, где подписано это соглашение, допущена чехословацкая делегация, которая поначалу возмутилась основными пунктами соглашения, но, в конечном счете, под давлением Великобритании и Франции чехи подписали договор о передаче Чехословакией Германии Судет. Утром президент Бенеш без согласия Национального собрания принял к исполнению данное соглашение. СССР отодвинут от решения проблемы.

Тескова (11 октября) пишет: «Дорогая Марина, что могу написать? Связали народ по рукам и ногам, плевали на него, били, — тысячелетнюю границу его земли отрезали, искалечили то, что было родиной чешского народа за тысячу лет... Трудно понять... А привыкнуть? — едва ли...»

В ближайшие месяцы все доведено до конца. 2 ноября 1938 года Венгрия по решению Первого Венского арбитража получила южные (равнинные) районы Словакии и Подкарпатской Руси (Закарпатской Украины) с городами Ужгород, Мукачево и Берегово. 14 марта 1939 года парламент автономии Словакии принял решение о выходе Словакии из состава Чехословакии и об образовании Словацкой республики. 15 марта 1939 года объявила о независимости Подкарпатская Русь. Чехословакии не стало.

Отольются — чешский дождь,
Пражская обида.
— Вспомни, вспомни, вспомни, вождь, —
Мартовские Иды!

22 апреля 1939

С сентября 1938-го полились стихи. Потом они собрались в цикл «Стихи к Чехии», перемешавшись вне хронологии написания. Первопричина и лейтмотив — здесь:

Горы — турам поприще!
Чёрные леса,
Долы в воды смотрятся,
Горы — в небеса.

Край всего свободнее
И щедрей всего.
Эти горы — родина
Сына моего.

Между 12 и 19 ноября 1938

Стихи у нее льются потоком, точно так же письма. Туда, в Чехию, к Тесковой.

24 октября: «О, как я скучаю по Праге и зачем я оттуда уехала?! Думала — на две недели, а вышло — 13 лет. 1-го ноября будет ровно 13 лет, как мы: Аля, Мур, я — въехали в Париж. Мур был в Вашем голубом, медвежьем, вязаном костюме и таком же колпачке. Было ему — ровно — день в день — 9 месяцев. — Тринадцать лет назад». 10 ноября: «А что с Чехией? Вижу ее часто в кинематографе, к сожалению — слишком коротко, и стараюсь понять: что за стенами домов — таких старых, таких испытанных, столько выдавших — и перестоявших. А в магазинах (Uniprix), когда что-

нибудь нужно, рука неизменно тянется — к чешскому: будь то эмалированная кружка или деревянные пуговицы, т.е.: сначала понравится, а потом, на обороте: «Made in Tchécoslovaquie». Вот и сейчас пью из такой эмалир<ованной> кружки. И недавно, у знакомой выменяла кожаный кошелек, на картонную коробочку для булавок, с вытесненной надписью: Praha, Václavské nám<ěsti> Musea. Всё это, конечно, чепуха, но такую чепухой любовь — живет. Если бы я могла, у меня все бы было — чешское». 24 ноября: «Теперь, дорогая Анна Антоновна, большая просьба: 1. напишите мне, где именно, в точности, у Вас добывается радий? <...> (Здесь, в Савойе, напр<имер>, у каждой горы есть имя, кроме собирательного: у каждой вершины.) Где в точности, в какой горе добывается радий? Мне это срочно нужно для стихов. И дайте немножко ландшафт. Я помню — в Праге был франц<узский> лицей, как бы мне хотелось чешскую (природную) географию для старших классов, со всеми названиями горных пород и земных слоев — и такую же историю. Два учебника — по возможности по-французски, но если — нет, постараюсь понять и по-чешски, куплю словарь. Я помню — в разговорах Гёте с Эккерманом — целый *словарь* горных пород! а дело ведь было в Богемии. <...> Я думаю, Чехия — мое первое такое горе. Россия была слишком велика, а я — слишком молода. Горюю и о том, что я и для той Чехии была слишком молода: еще слишком была занята людьми, еще чего-то от них ждала, еще чего-то хотела, кроме — страны: кроме Рыцаря и деревьев, что в Карловом Тыну¹, глядя из окна на море вершин — еще чего-то хотела — кроме». 26 декабря: «Я страшно мерзну — и днем и ночью, и на улице и в доме: пятый этаж, отопление еле теплится, ночью сплю в вязаной (еще пражской) шапке, вспоминаю Вшеноры, нашу чудную печку, которую топила *своим*, добытым хворостом. И ранние ночи с лампой, и поздние приходы занесенного снегом, голодного С<ергея> Я<ковлевича> — и Алю с косами, такую преданную и веселую и добрую — где всё это?? Куда — ушло??»

Символизм существует безусловно. 10 ноября МЦ писала Тесковой: «Здесь, кстати, на днях пойдет пьеса Карла Чапека <...>² как Вы наверное знаете, ведется лучшей частью интеллигенции горячая кампания за присуждение ему нобелевской премии, есть подпись Joliot-Curie³ (обоих, неизменно присущая под всяким правым делом: они для меня, некий барометр правды)». 26-го декабря: «С Новым Годом, дорогая Анна Антоновна! Но каким ударом кончается — этот! Только что Мур прочел мне в газете смерть Карела Чапека. 48 лет!»

Чапек умер 25 декабря от воспаления легких. Сообщение о его смерти было напечатано в «Последних новостях» 26 декабря 1938-го. Чем не символизм.

«Стихи к Чехии» окажутся лирическим эпосом. Их много, это симфония, в них — картина эпохи. С 1915 года, когда МЦ написала первое стихотворение «Германии», произошел переворот в ее понимании отечества Гёте. Это был конец цветаевского романтизма.

Полкарты прикарманила,
Астральная душа!
Встарь — сказками туманила,
Днесь — танками пошла.

Прежняя Германия (мое безумие, моя любовь) сама себя вывернула наизнанку:

¹ Средневековый замок неподалеку от Вшенор, где жила МЦ.

² Пьеса Карела Чапека «L'Époque ou nous vivons» («Время, в которое мы живем») была сыграна 8 ноября 1938-го в театре Де-з-Ар (Париж) и с 11 ноября по 20 декабря шла каждый день.

³ Ирен и Фредерик Жолио-Кюри — ученые, лауреаты Нобелевской премии (1935).

О мания! О мумия
Величия!
Сгоришь,
Германия!
Безумие,
Безумие
Творишь!

Графика строк — интонационный столбик, как у Андрея Белого, безумца.

Но это не поэтическое безумие, а реальное, тупое, звериное, человеконенавистническое. Мир перевернулся. Ей требуется знание о радиации не без связи с Маяковским («Поэзия — та же добыча радиации»). Поэзия и Чехия («родина радиации») синонимичны.

В конечном счете:

О слёзы на глазах!
Плач гнева и любви!
О Чехия в слезах!
Испания в крови!

О черная гора,
Затмившая весь свет!
Пора — пора — пора
Творцу вернуть билет.

Отказываюсь — быть.
В Бедламе нелюдей
Отказываюсь — жить.
С волками площадей

Отказываюсь — выть.
С акулами равнин
Отказываюсь плыть —
Вниз — по течению спин.

Не надо мне ни дыр
Ушных, ни вещей глаз.
На твой безумный мир
Ответ один — отказ.

15 марта—11 мая 1939

После такого стихов не пишут.

«Стихи к Чехии» она отправила президенту Чехословакии Бенешу.

Глаза ее стали голыми как раз тогда, когда ей положено было жить вслепую. В поводырях — товарищ Сергея Яковлевича, неофициальный сотрудник советского посольства Владислав Ипполитович Покровский. МЦ называет его Дик, даже проще — «Д.». Жил он в Исси-ле-Мулино, держал ту самую комнату в гостинице, где МЦ с Муром прожили около месяца, пока их не приняла «Иннова». Он передавал ей «зарплату» мужа.

Однако ослепленность зрения с некоторых пор ей больше нужна в кино, чем в реальной действительности. МЦ, подобно Сергею Яковлевичу, делается знатоком кинематографа, ценит «французскую школу», влюбляется в «провансальскую». Ночью — то же кино: ей снится сон, в котором Сергей Яковлевич ходит в болотных сапогах из «гениального провансальского фильма» «Жена булочника» (в этих сапогах в кино учитель тащит на спине через болото кюре). Свой сон она пересказывает мужу по почте. На советские фильмы билеты приносит Дик.

Она затевает установку памятника на могиле Серезиных родителей и его брата

на Монпарнассском кладбище. Решила ставить русскую надпись, администрация кладбища согласна. Вот текст:

*Здесь покоятся Яков Эфрон
Елизавета Эфрон-Дурново
и сын их Константин*

Пришла пора примирения и с Лилей Эфрон, сестрой Сережи.

7-го февраля 1939 г., вторник

Милая Лиля,

Сердечно рада, что одобрили могилу.

Я — лежащую выбрала, потому что помню, как мой отец — для себя хотел лежачей, со свойственной ему трогательной простотой объясняя, что — стоячие памятники — непрочные, клонятся — валятся, что это — беспорядок и нарушает мир последнего сна.

— Где Вы жили в П<ариже> и в окрестностях, т.е. какие места Вам особенно-дороги? Потому что в данном квартале можно найти открытку с данной улицей.

Напишите (кроме Сэны, quai¹, общего — это я знаю) все Ваши любимые (жилые) места, и я, пока время есть, похожу по Вашему прежнему следу — и достану. Не забудьте и загородных мест.

Могилу увеличу и тоже пришлю — по 3 карточки каждого снимка, п<отому> ч<то> — думаю — Ваши сестры тоже захотят. Увеличу серия, это — мягче.

Город — безумно-хорош, и у нас уже дуновение весны.

Всего лучшего, жду по возможности скорого ответа об улицах и загородах — на это нужно время.

Разговор идет осторожный, на общекультурной дистанции. Но от него не уйти. В Мерзляковском переулке у МЦ многое уже было и будет еще очень много.

Идут невероятные сближения. В ее тетради появляется нечто удивительное.

— Себе на память — 2-го июня 1939 г., пятница

Был дом, как пещера. О, дай же мне вспомнить
Одно только имя, очнуться, понять!
Над соснами тучи редели. У дома
Никто на порог нас не вышел встречать.

Мужчины с охоты вернулись. Звенели
И перекликались протяжно рога.
Как лен были волосы над колыбелью
И ночь надвигалась, темна и долга.

Откуда виденье? О чем этот ветер?
Я в призрачном мире сбиваюсь с пути.
Безмолвие, лес, одиночество, верность...
Но слова единственного не найти.

Был дом, как пещера. И слабые, зимние,
Зеленые звезды. И снег, и покой...
Конец. Навсегда. Обрывается линия.
Поэзия, жизнь! Я прощаюсь с тобой.

*(Чужие стихи, но которые местами
могли быть и моими МЦ)*

Стихи — из сборника Георгия Адамовича «На Западе» (Париж, 1939).

¹ пристань, пирс (фр.)

Все предотъездные дни — разборка вещей, и укладка, и бешеная переписка: прощальные письма Ариадне Берг, Анне Ильиничне Андреевой, Анне Антоновне Тесковой.

12-го июня 1939 г. в еще стоящем поезде.

Дорогая Анна Антоновна! (Пишу на ладони, потому такой детский почерк.) Громадный вокзал с зелеными стеклами: страшный зеленый сад — и чего в нем не растет! — На прощание посидели с Муром, по старому обычаю, перекрестились на пустое место от иконы (сдана в хорошие руки, жила и ездила со мной с 1918 г. — ну, когда-нибудь со всем расстаетесь: совсем! А это — урок, чтобы потом — не страшно — и даже не странно — было...) Кончается жизнь 17 лет. Какая я тогда была счастливая! А самый счастливый период моей жизни — это — запомните! — Мокропсы и Вшеноры, и еще — та моя родная гора. Странно — вчера на улице встретила ее героя, кот<орого> не видела — годы, он налетел сзади и без объяснений продел руки под руки Мура и мне — пошел в середине — как ни в чем не бывало И еще встретила — таким же чудом — старого безумного поэта с женой — в гостях, где он год не был. Точно все — почуяли. Постоянно встречала — всех.<...>

— Уезжаю в Вашем ожерелье и в пальто с вашими пуговицами, а на пояс — Ваша пряжка.

Свое последнее стихотворение — в Париже — МЦ записывает 5 июня:

DOUCE FRANCE¹

Adieu, France!

Adieu, France!

Adieu, France!

Marie Stuart²

Мне Францией — нету

Нежнее страны —

На долгую память

Два перла даны.

Они на ресницах

Недвижно стоят.

Дано мне отплыть

Марии Стюарт.

От Марии Стюарт — к «Марии Ульяновой»: пароход, на борт которого они с Муром поднялись 15 июня 1939 года. МЦ еще не знает, что накануне умер Ходасевич. Не знала она и его стихотворения:

Ты умирала для меня:

Иного, памятного дня,

Иного, близкого напева

Ты в сердце оживила след.

Он промелькнул, его уж нет.

Но за минутное господство

Над озаренною душой,

За умиление, за сходство —

Будь счастлива! Господь с тобой.

20 июня 1937, Париж

Это было последнее, что он написал в рифму. Наверное, их одинаково поразил недавний фильм «Мария Шотландская» (1936, режиссер Джон Форд) с Кэтрин Хепберн в главной роли. Нина Берберова походила на Хепберн.

¹ Нежная Франция (*фр.*).

² Прощай, Франция! Мария Стюарт (*фр.*).

Итак, «Мария Ульянова». Это было в том же Гавре, и судно пошло — на Ленинград.

Это запротоколировано в записной книжке «Agenda scolaire» («Школьный ежедневник») на 1937—1938 гг. в желтой картонной обложке (15x10), вставленной в твердый коленкорковый переплет с зажимом в корешке:

Пароход Мария Ульянова — 16-го июня 1939 г. 10 ч. 15 мин. вечера (только что переставили часы на час вперед и только что село солнце — еще всё небо малиновое)

— Заноса ногу на сходни я ясно сознавала: последняя пядь французской земли.

Испанцы (весь груз, да мы с Муром) еще до отхода парохода танцевали. Одного я застала в музык<альном> салоне, где врем<енно> лежали наши вещи, за разрезанием (карандашом!) моего Ехирегу — Terre des Hommes — глава Hommes¹ изуродована. Взяла из рук. — Вы осторожнее! Испанцы легко обижаются! — Я тоже легко обижаюсь.

Пароход отошел в 7 ч. 15 мин. Единств<енный>, кроме нас, русский пассаж<ир>, пожилой, седой, здоровый, воскликнул: — Теперь уж никакая сила не остановит. — Все подняли кулаки.

Это было 12-го июня 1939 г., в понед<ельник>, в 7 ч. 15 мин. Последнее, что я сдел<ала> — купила Terre des Hommes (чудом! сама увидела, попр<еки> продавщице, которая сказала, что — нет) и напис<ала> 4 открытки.

Качало (не очень) 13-го и 14-го, я сразу легла и не вставая пролежала полных два дня и ночи, есть мне приносили, читала и много спала, лек<арство> приняла только раз — 14-го, 0,5 г.; но и до этого не тошнило, так что не знаю — лек<арство> ли, лежание ли, Мура, к<оторый> весь 1-ый день бегал и качался на носу, на 2-ой укачало, не мог есть, дала лек<арство>. Испанок укач<ало> — всех, и половину испанцев. — Они всё равно будут есть (сказала бывалая serveuse²): есть и рвать — и потом танцевать — и опять рвать.

— Вот Сев<ерное> море проедем — легче будет.

15-го, вчера, с утра — полный покой, мотор бьет как соб<ственное> сердце. События дня: около 3 ч. — слева — Швеция, справа — Дания. Швеция — красные крыши, всё новое, привет<ливое>, игрушечное. Началась она с гор, резкого профиля горы уходящего в море, потом — ровно, много мал<еньких> городков или сел.

Дания — первое впечатл<ение>: дремучая. Сероватый сказ<очный> лес, из к<оторо>го — крыши, старые. Огромная ветр<яная> мельница. Церкви. Дания — знак рав<енства> — сказка Андерсена, всё — изнутри, всё скрыто («скрыто — не забыто»)... Рос лес — и завелись дома... Потом Д<ания> явилась вт<орой> раз — Копенгаген (а м<ожет> б<ыть> путаю) изумительн<ым>, у самой воды, замком-крепостью-храмом, с зел<еной> крышей как в Чехии, с той особой зеленью — лет. Объехали его со всех боков — везде хорош, со всяк<ого> боку — лучше. Башни. Арх<итектура> — неизвестная (мне) и незабвенная. (NB! Каж<ется>, до Копенгагена.) Стояла и глядела и от всей души посылала привет Андерсену — плававшему по тем же водам. — Со стор<оны> Швеции — множ<ество> парусов: красные, зеленые, старые — не нарочные. Был один очень изящный пароходик-игрушка. Непр<естанно> переходила, приветств<уя> — то Сельму Лагерлёф, то — Андерсена. Но Дания меня схватила за сердце. Глядела пока не ушла: не ушла — пока не ушла.

— Вечером (кажд<ый> вечер) на пароходе танцы и песни. Мур блаженств<ует>, я не хожу, не хочу ему мешать и — не знаю, мне лучше одной. Женщ<ины> (исп<анки>) низколобые и с очень громк<ими> голосами. Дети (да и оне, и муж<чины>) похожи на цыган.

Нынче в 3 ч. был сплошной черный лес и — мы плыли очень далёко — мне показ<алось> стадо, пьющее из моря (!) — конечно это были дома — или какие-то постройки, я понадеялась: Норвегия! (Геогр<афии> не знаю.) Оказыв<ается> — «остров Готланд» (Ютландия) — Gott-Land, das Land Gott (Рильке) Ютландия — с виду — страшно-бледная. Города не было. Был, впрочем — один, с прав<ого> краю — горстка домов.

Я бы хот<ела> родиться в Ютландии и написать одну книгу: Ютланию.

¹ Экзюпери — Планета людей — Люди (фр.)

² подавальщица (фр.)

Нынче, между 5 ч. и 6 ч. — как и вчера в тот же час, явственно и долго — подробно — во всем разнообразии — слышала колокола. На все лады. *Очень* долго. Heine — Nordsee! — не слышал ли и он колоколов?

Странно, что в тот же час, два дня сряду. Я заметила их, когда уже долго слышала. Тогда стала — слушать.

Вчера, 15-го, дивный закат, с огромной тучей — горой. Пена волн была малиновая, а на небе, в зеленовато-голубом озере, стояли золотые письмена, я долго старалась разобрать — что написано? Потому что — было написано — *мне*. Я страшно тосковала, что Мур этого не видит. Мур прибежал, сказал: — Да, очень хоршо очень красиво) — и опять убежал.

Нынче, 16-го, опять провожала солнце, село в чистом небе, море его проглотило, и такого пылания уже не было, очевидно — туча окрашивала.

Балтийское море (если это Балтийское) дивного синего цвета: сине-серого, а не сине-зеленого — как Средиземное, цвета Оки осенью, мне оно безумно нравится, я совсем не понимаю шведа доктора Акселя (не помню) уехавшего навсегда на Капри. Любить Юг — слишком дешево, всё что позволено северянину — мечтать о нем. А так — низость измены.

(Ах, поняла! Дания — ветла, убеждена, что ветлы: что-то лохматое и мягкое и серое, вроде дыма, и из дыма — острия крыш и крылья мельниц.)

Еще одно наблюдение: горизонт не скрывает ни одной высоты: всё — каждое высшее дерево, каждая колокольня — числится. Высокому — раз есть горизонт — не укрыться. Так и нас (затертых и затолканных) когда-нибудь откроют: восстановят.

Даже так: горизонт изобличает каждую высоту. Это — точное наблюдение.

Ходила по мосту, потом стояла и — пусть смешно! не смешно — физически ощутила Наполеона, едущего на Святую Елену. Ведь — тот же мост: доски. Но тогда были — паруса, и страшнее было ехать.

Наполеон.

Святая Елена.

...Было много снов, тема — невозвратность. Куда-то — за последним чем-то — тороплюсь, добираю. Один сон — помню: за пластинкой Мориса Шевалье (моей любимой) «Donnez-moi la main, Mamzelle... Donnez-moi la main»² — с несказанной нежностью canaille³ — самой (когда-то!) надо мной властной — а пароход уже далёко: за версты. И я Муру: — В шлюпке будет качать, уж лучше — пешком (по морю) сознавая неудобство пешего хода, но предпочитая его качке (больше веря ногам, чем лодке).

Нынче, 17-го, *холод*. Нынче 17-го новая (еще не видала) sergeuse — мне: — Какой у Вас сын большой! Громадный! Прямо — рост первобытного человека — вполне серьезно, не как комплимент, а как отчет. — А Мура — и след простыл! Забегает — на секунду, еле стоит (в каюте) нога на отлете. Хорошо, что уже сейчас, что сразу показал... мое будущее.

Пароход — думал?

Переход — душ.

Всё время думаю о Моргарите Николасовне⁴, только о ней, как хотелось бы ее — сюда, ее покой и доброжелательство и всепонимание. Еду совершенно одна. Со своей душой. Это всегда два: голова и я, мысль и я, вопрос и ответ, внутренний собеседник. И — сердце и я (физическое). И — тетрадь (эта бедная, драная) — и я. Прочла в Nouvelles Littéraires⁵ — замечательно о Рае Данте. А я думала — скука. Счастлива, что у меня есть Данте — прозаический перевод avec texte en regard⁶, старый. Прочту — Парадиз.

18-го утром, воскресенье

Вчера на палубе слушала испанские и капитанские речи — карта нарисована мелом на доске: Leningrad — Moscu — и мне почему-то всё слышался: Kattegat, Kattegat... Потом испанцы танцевали, один, переодетый, кривлялся... Лучше всех была маленькая девочка, танцовавшая для себя и — с размаху — садившаяся.

Была песня Народного фронта, где я поняла: Allemanda — Italia. Тоски (у них) не было,

¹ Гейне — Северное море (нем.)

² Дайте мне ручку, мамзель, дайте мне ручку (фр.)

³ каналья, проходимец (фр.)

⁴ Лебедева М.Н.

⁵ «Новости литературы» (фр.)

⁶ с параллельным текстом оригинала (фр.)

была — радость и даже веселье. Едут в зел<еных> костюмах, один — в лакированных башмаках. Очень веселились. Я думала о чехах.<...>

19-го утр<ом>, понед<ельник>

— 9 ч. утра — Кажется, скоро Москва.

Орешник.

Таможня была бесконечная. Вытряс<ли> до дна *весь* багаж, перетрагив<ая> каждую мелочь уложенную как пробка штопором. 13 мест, из к<отор>ых 1 оч<ень> б<ольшая> корз<ина>, 2 огр<омных> мешка, 1 корз<ина> с книг<ами> — уплотненная. Мурины рисунки имели большой успех. Отбирали не спросясь, без церемоний и пояснений. (Хорошо, что так не нравятся — рукописи!) Про рук<описи> не спросили — ничего. Спросили (?) про Mme Lafarge, Mme Curie Exilee P. Bак¹. Главный таможенник был противный: холодный, без шутки, другие — с добродушием. Я шутила и безумно торопилась: вещи обратно *не* вмещались, поезд ждал. Помог низший служащий и еще — выручил другой, сказав, что последн<ий> чемодан (больш<ой>, черн<ый>) — смотрен: смотрен не был — и *все* это знали. Но поезд больше ждать не мог, хотя, отъехав 4 кил<ометра> ждал до 11 ? веч<ера> — против *tas d'or, dures*², огорчая испанцев. Мур с испанц<ами> уехал в автокаре осматр<ивать> Ленинград, я цел<ый> день просидела в вагоне, сторожа «мелочи» и читая, до одурения, Castoret — *Dix ans sous terre*³ (подземные гrotы, устье Гаронны и т.д.)

Испанцы — Мур<ины> товарищи — прелестные: ласковые, воспитанные и без всякого ф<анати>зма! отъезжая от Ленинграда, глядя на бурые от дыма здания: — у нас в Андалузии — заводы — белые, белят 2 раза в год. А другой хочет работать «la terre»⁴. Говор<ят> по франц<узски> — отлично, почти без акц<ента>, и отлично, с необыч<айным> слухом произносят по русски. Хотели не спать всю ночь, смотр<еть> в окно. Один из них жалел, что не поцеловал на прощание русскую *serveuse* — но она стояла с матросом. Другой стал смеяться, и первый: — *Embrasser — ce n'est pas un crime!*⁵ Жаль потерять их из виду. Артистизм: глядя на болотце: — *Qu'elle est belle, cette eau! Elle est presque bleue!*⁶

Веч<ером> читала Wang'a — безд<арную> кн<игу> о Китае.

Утр<ом> проснулась, подумала, что годы — считанные (пот<ом> будут — месяцы...)

— Прощай, поля!

Прощай, заря!

Прощай, моя!

Прощай, земля!

Жалко будет. Не только за себя. П<отому> ч<то> никто этого — как я — не любил.

Экзюпери, Андерсен, Рильке, Гейне, Наполеон, Морис Шевалье, Данте, многочисленные иноязычные вкрапления. Такой человек въезжает в страну победившего социализма.

¹ Мадам Лафарг, мадам Кюри Эксиль П.Бак (фр.)

² окаменевших отбросов (фр.)

³ Касторе — Десять лет под землей (фр.)

⁴ на земле (фр.)

⁵ Поцеловать — это не криминал! (фр.)

⁶ Как она красива, эта вода! Она почти голубая! (фр.)

Сейдахмет Куттыкадам

Хаос в умах и ответственность за культуру

I. Культура — не рента

Обстоятельная статья Андрея Русакова «Ответственность культуры и культурное многообразие»¹ с ее вулканической лавой обжигающих мыслей — яркий образец растерянного состояния умов интеллигенции на всем постсоветском пространстве, свойственного и мне, о чем можно судить по моему последующему описанию нынешнего состояния культуры в Казахстане.

Причин для этого много: крушение советской империи и последующее крушение демократических надежд, с ним связанное, обман либералов (точнее квазилибералов) и цинизм властей, потерянности самой интеллигенции и озлобленность народа, дикая «прихватизация», при которой кучке рвачей досталось почти все национальное богатство, а «толпе» — по несколько ваучеров, годных только для разового использования, соблазны рынка, оказавшегося дамой по вызову для примитивных «новых» русских, казахов, украинцев... горячо холодная третья мировая война и глобальный кризис всех ценностей — социальных, финансовых, моральных, эстетических, экологических... и, конечно, культурных.

И Зло, торжествующе шагающее по планете.

Когда на мыслящего, ответственного и чувствительного человека обрушиваются такие громадные проблемы, с которыми непонятно как справляться, его сознание инстинктивно ищет главного виновника. Его обнаружение ни в коем случае не помогает решению проблем, но приносит психологическое удовлетворение и примиряет с реальностью. Так на кого же возложить основную ответственность за «годы национального позора» в России (в Казахстане, в Украине, в Молдове...)? На бога? Но он, видимо, скрылся неведомо куда от позора за то, что насозидал. На власти? Но им дела нет до ответственности перед какой-то там историей и голодной неразумной толпой, которую они только во время выборов именуют народом. На козни бесчисленных врагов — явных и тайных, — разыскиваемых ультрапатриотами? Но что это может дать? Краткий нервический патриотический позыв, после которого надо опять возвращаться к своим баранам. На себя? Вы в своем уме? Что может зависеть от меня? Да ничего!

Сейдахмет Куттыкадам — известный казахстанский публицист, философ, главный редактор журнала «Мысль», автор многочисленных публикаций в казахстанских и российских периодических изданиях, а также очень популярных в Казахстане книг «Служение нации» (2009) и «Казахская драма» (2010). В 2015 году в Москве (изд. «Беловодье») вышла его книга «Дао Алтая. Исток человеческой цивилизации» (см. рецензию Льва Аннинского в «ДН» № 2, 2016).

¹ См. «Дружба народов», 2016, № 1.

Так на кого же? Ну да, конечно, на хваленую богатую культуру, которую мы так воспевали, так ею гордились, так ее возносили и так на нее молились! Почему же ты, Великая культура, не протянешь нам руку помощи в столь тяжелую минуту? В чем же твое величие и предназначение, если ты безучастно зришь на наши беды? Молчишь? Есть в тебе червоточинка, потому и молчишь!

И Русаков восклицает: «Если национальная культура воспитывает лишь агрессивных идиотов, тихих обывателей и людей, которые в решающие для страны годы могут лишь наблюдать, рефлексировать и возмущаться, то, быть может, что-то не так с этой культурой? Или — как минимум — в наших с ней отношениях?»

Далее: «...само сочетание слов "национальная культура" указывает на факт вольной или невольной ответственности культуры за историческую судьбу народа, ее создающего и ею создаваемого».

Что можно сказать по поводу всего этого? Нет, не культура ответственна за народ, а интеллигенция — за народ, а народ — за культуру, если он хочет оставаться культурным. Охлаждение отношений со своей культурой — это совокупная вина интеллигенции и народа.

Культура способна нести свет и поддерживать тепло в национальном очаге только тогда, когда ее огонь поддерживается, то есть когда каждое поколение подбрасывает свои «дрова» в этот очаг.

Думаю, не великая русская культура, особо славная величайшей своей литературой «Золотого века», виновата перед современными россиянами, а россияне виноваты в том, что перестали заботиться о ней.

Мы привыкли относиться к народу как к некоему невинному младенцу, который чист и свят и ни за что не отвечает. Но пора относиться к нему как ко взрослому, который ответствен за себя и свою культуру.

Связь между народом и доставшейся ему в наследство от предыдущих поколений культурой не проста. Принято считать, будто национальная культура — это нечто неизменное, данное в вечное пользование народу, — эдакая пожизненная духовная рента.

Но так ли это?

Какая связь между культурами Древней Эллады и нынешней Греции; Древнего Египта — и современного; Древней Сирии — и современной; Вавилона — и Ирака; Карфагена — и Туниса; Древней Нубии — и Судана?..

Только формальная!

Конечно, время меняет все, в том числе и народы. Но перемены переменам рознь. Те народы, которые берегут и поддерживают свою культуру, такие как Китай, Индия, отчасти Иран, сохраняют духовную память и остаются в значительной мере теми же народами.

Народы, в течение нескольких веков не вносившие вклада в свою исконную культуру, теряют связь с ней и не могут оставаться прежними, они становятся другими. Поэтому древние и современные греки, египтяне, сирийцы при общем названии и общей территории — это разные народы.

Связь между культурами России XIX и XXI веков еще не прервана, но связующие их нити истончаются, и если их не укрепить, разрыв возможен.

Фраза Русакова: «Политика глазами культуры — это действия центральной власти и действия против нее» — вызывает исторические реминисценции.

В России почти все исторические и культурные достижения и проблемы упираются в одну личность — Петра I, и о том, что в ней перевешивает — свет или тень, спорят до сих пор. Они так переплетены, что трудно отделить одно от другого, но условно выделим тень и повторим о ней. Разумный и безболезненный переход от одной парадигмы политико-культурного развития к другой предполагает долгую эволюцию. Первый российский император вместо эволюции избрал революцию (потому, видимо,

и был любим большевиками) и по историческим меркам в одно мгновение жестоким, силовым методом насадил в России чуждые ей тогда политику и культуру.

Проводницей политики Петра I стала в основном «новая знать», обязанная ему своим выдвижением и готовая выполнять любые его указания.

Российская «культурная душа» взывала от боли и стала рваться к своей природе, но ее варварскими политическими методами загоняли в прокрустово ложе «европеизации». В результате произошел раскол не только в религиозном, культурном и бытийном планах, но и между сознанием в «голове» государства и душой в «сердце» народа. Олицетворением государственного сознания является политика, души народа — культура. Это разделение сознания и души имело далеко идущие последствия.

Петру I и Екатерине II удалось утвердить новые политические порядки в империи. Они хотели добиться того же и в культуре, но здесь дело ограничилось в основном сбыванием бород, париками и косметикой. Сознанием легче манипулировать, чем душой — здесь силой трудно чего-то добиться.

Об этом по-своему говорит Андрей Русаков.

«В "литературноцентричную эпоху" русская культура вступила со зрелостью Пушкина и разгромом декабристов. Эта родовая травма "вшила" в нее роковое восприятие истории, комплекс общественно-политического поражения, болезненное расщепление взглядов на народ, государство и "образованный класс", резкие перепады от радикализма к верноподданничеству и/или громко декларируемой аполитичности».

Со «вступлением» все верно, но «травма», мне кажется, была нанесена раньше.

Итогом этой долгой, сложной и подспудной борьбы явилось великое чудо — Золотой век русской литературы. Да, писатели России учились технике изложения у европейцев, но это была самобытная литература, отражающая русскую душу. Подражательная никогда не бывает великой. Таким образом, русская душа явственно выразила самостийность и дистанцировалась от российской политики, то есть после этого политика, выражающая государственное сознание, и культура, олицетворяющая душу народа, пошли каждая своим путем. (Не только Гоголь и Салтыков-Щедрин в Золотой век русской литературы изображали власти предрежающие не в лучшем виде.) Дворянское сословие несло в себе оба эти начала, порой в пределах одной семьи, и это позволяло избегать антагонизма и сохранять равновесие между ними.

С установлением советской власти, когда большевики уничтожили дворянство как класс, политика и культура окончательно разделились на власть и интеллигенцию, причем культура стала служанкой политики. К чему это приводит на примере Германии точно описал Томас Манн в статье «Культура и политика»: «Политическое безволие немецкого понятия культуры, игнорирование им демократии страшно отомстило за себя: немецкий дух пал жертвой тотальной государственности, которая лишила его не только гражданской, но и нравственной свободы. Если демократия означает, что политическое и социальное следует рассматривать как часть всеобщей проблемы гуманизма, что следует охранять нравственную свободу, защищая свободу гражданскую, то противоположностью, в которую, по законам диалектики, переходит антидемократическое высокомерие духа, является та теория и та глубоко бесчеловечная практика, которая абсолютизирует один из элементов проблемы гуманизма — политику, видит в политике всеобъемлющую тотальность, не желает ничего знать, кроме идеи государства и власти, приносит в жертву этой идее человека и все человеческое и уничтожает всякую свободу. Этот процесс с неумолимой закономерностью ведет к трагическим последствиям».

Я намеренно не прерывал тяжеловесную поступь мысли немецкого гиганта, потому что она касается именно нашей темы и раскрывает ее суть, которая заключа-

ется в следующем: при отсутствии демократии культура неизбежно становится жертвой тотальной государственности, а сервизм — способом ее выживания.

Стоит ли говорить о том, что и в Казахстане, и в России мы видим подтверждение непреложной верности этого вывода.

Для того чтобы разобраться, что со всеми нами происходит, надо понять наше отношение к окружающему миру, к культуре, к оппонентам, к себе, восходящее к феномену советского человека, который сидит во всех нас и будет заметно влиять на ментальность еще нескольких поколений постсоветских людей.

Средний советский человек был неплохо образован, начитан, мог писать интересные статьи, книги и читать умные и содержательные лекции, но все это «в монологе». Он не был приучен к диалогу, полилогу, к разговору или тем более к спору, дискуссии с людьми иного мировоззрения, иной культуры — он тут же терялся и, как правило, переходил на крик.

Советский человек был выращен в идеологически стерильной (насколько это возможно) атмосфере и не имел иммунитета против чуждых влияний.

После падения «железного занавеса» и краха коммунистической идеологии в вакуум, образовавшийся на постсоветском пространстве, хлынули новые веяния и абсолютно иные ценности, среди них деморализующие и разрушительные идеи. Неподготовленные люди потеряли ориентиры, и небольшая группа искусных манипуляторов могла с ними делать все что угодно.

Герман Гессе в «Степном волке» писал: «У каждой эпохи, у каждой культуры, у каждой совокупности обычаев и традиций есть свой уклад, своя подобающая ей суровость и мягкость, своя красота и своя жестокость. Настоящим страданием, адом человеческая жизнь становится только там, где пересекаются две эпохи, две культуры, две религии».

А на постсоветском пространстве жестко столкнулись несколько эпох, несколько культур, несколько религий.

Ко всем этим сложностям добавилось и то, что теперь культуру теснят с двух сторон: политика и массовая культура. В результате кругом культурные руины.

В начале «литературоцентричной эпохи» Андрей Русаков ставит Пушкина, а в конце, представьте, — Высоцкого: «...в русской культуре есть Высоцкий — и значит наше положение далеко не безнадежно». Ироничные умы могут истолковать такую линию как нисходящую и про нашего кумира Высоцкого скажут: «Вот до чего (кого) докатилась великая русская литература!»

Я бы обозначил пределы «литературоцентричной эпохи» фигурами Пушкина и Шолохова. Призову в арбитры Габриэля Гарсиа Маркеса, который писал: «...у вас (у русских) есть прекрасные писатели: Толстой, Достоевский, из современных — Шолохов и Булгаков. Все так называемые "грехи" великого русского писателя Шолохова — явления времени, присущие многим европейским мыслителям, а ее недостижимый пик — Лев Толстой».

И еще несколько реплик.

1. Высокая культура не подавляет другие «организмы мышления, самосознания и взаимопонимания людей», а развивает их.

2. Мысль Русакова, что повальная и психологически-принудительная русификация в национальных республиках стала предпосылкой русской национальной катастрофы, верна. Хочу ее развить применительно к новым реалиям.

Русские привыкли жить в одной стране и расценили как трагедию то, что после развала СССР их народ разделился и оказался в разных государствах — бывших союзных республиках. (Эмиграция после гражданской войны была идеологической и дисперсной и не воспринималась так болезненно.) И теперь в России говорят о жизни русских в постсоветских государствах только в негативном ключе: русских затирают,

русский язык преследуют, русскую историю искажают... Никогда не услышишь ничего позитивного.

Эта медвежья услуга приводит к тому, что местные национал-патриоты начинают твердить: русские в их стране — это потенциальная «пятая колонна». А если кто-то из русских заикнется, что нашел там вторую родину и чувствует себя благополучно, в России это рассматривается как национальное предательство. России пора смириться с тем, что случилось, и менять свое отношение к этому вопросу.

Любой великий народ имеет свои диаспоры — китайцы, англичане, испанцы, французы, немцы, индусы... И их метрополии никогда не вмешиваются в дела других государств по поводу своих этнических сородичей. А эти диаспоры, впитывая новую культуру, обогащают материнскую.

Этим я и ограничусь, добавлю лишь следующее. Рассуждения Андрея Русакова интимно-национальные, они пронизаны болью за свой народ, его культуру, его будущее, они покоряют своей отчаянной откровенностью и очень близки мне.

Чем больше будет таких мыслителей, как Андрей Русаков, тем больше надежд, что русская культура воспрянет, а глядя на нее, встрепенутся и другие.

Мои фрагментарные соображения по некоторым вопросам, поставленным Русаковым, не претендуют на основательность и убедительность — это дружеский взгляд такого же «растерянного интеллигента» со стороны на онтологические проблемы российского общества. Читателям, знакомым с тем, что я пишу о казахских национальных проблемах, это должно быть очевидно. Поэтому «спор», который я затеял с Андреем Русаковым, это по существу мой спор с самим собой.

И, видимо, конца ему не будет.

II. Культура на обочине, или Дебилизация нации

Теперь о том, что случилось с Казахстаном, после того как пятнадцать союзных республик разбрелись по своим национальным квартирам.

Сетования Андрея Русакова покажутся весенним дождиком по сравнению с грозовым ливнем.

Казахстанские проблемы отличаются от российских своей «готической» спецификой и требуют прямолинейной подачи, без особых метафизических изысков, но тональность у нас с Русаковым, думаю, будет одна.

Как варварски прикончили науку

Вот уже почти четверть века Казахстан живет в суверенном режиме, и что же он обрел за это время? Пожалуй, больше проблем, чем достижений. И ответственность за все это прежде всего на самих казахам.

Над нами нависает много угроз — общее усиление напряженности в мире, терроризм, коррупция, преступность, непрофессионализм и бездарность чиновников, кризис, нищета большей части населения, но наиболее опасной, злой и коварной, с долговременными и тяжелыми историческими последствиями является неуклонная дебилизация населения. Лев Толстой говорил: «Много худого на свете, а нет хуже худого разума. Первое худо — худой разум».

Главное достояние любой страны — не природные ресурсы, не мощная промышленность и даже не финансовое благополучие, они — средства, а их целью являются знания, интеллект, дух и здоровье нации. Кстати, если вторые ослабеют, то и первые тут же пошатнутся. И наоборот. С получением независимости наши власти об этом много и высокопарно говорят, но на деле все обстоит по-другому.

Важнейший объективный показатель состояния интеллекта в стране — это наука, а она погублена прямыми действиями властей.

Вместо совершенствования и усиления Академии — символа науки, созданной огромными усилиями Каныша Сатпаева, ее разрушили до основания. Это можно сравнить с удалением переднего отдела человеческого мозга. Человек, в частности, чиновник, без него может есть, пить и веселиться (до тех пор, пока не закончатся природные ресурсы), но мыслить, творить и разумно управлять чем-либо он не может.

Естественно, это касается и всего общества. Для того чтобы окончательно добить науку, высокие звания ее творцов-ученых превратили в посмешище, причем весьма примитивным образом. Ответственнейшее дело научной аттестации, нуждающееся в строжайшем отборе, довели до абсурда, сейчас любой проходимец может стать доктором в любой сфере, лишь заплати требуемую сумму, а кучу званий академиков самых причудливых и экзотических академий можно вообще получить по бросовой цене. В этом мутном море расплодившихся лжедокторов и лжеакадемиков настоящие ученые просто затерялись. А шаманы от науки очень претенциозны и агрессивны, они безжалостно преследуют и затирают настоящих ученых.

Страну наводнили иностранные специалисты и «ученые» — интеллектуальные ландскнехты далеко не высшей пробы, зачастую уступающие нашим, которые к тому же плохо знают местные условия. Но они получают зарплату в 7—8 раз больше, чем казахстанцы, и поэтому смотрят на них свысока.

Долгое время толпы подозрительных зарубежных советников и политтехнологов сновали по коридорам власти и интересовались тем, как у нас принимаются государственные решения, как функционирует экономика, давали какие-то советы (судя по результатам, далеко не самые мудрые) и интересовались, где что есть и как это можно прихватить. (Нет худа без добра: с приходом кризиса, похоже, их немалые заработки были урезаны и количество «интеллектуальных» спецов резко сократилось.)

Самое опасное при таком подходе — это то, что мы сами вручаем свое государственное сознание, политические замыслы и производственные тайны в чужие руки. А это уже выдача важнейших государственных секретов и планов (вычислить которые при наличии исходных данных очень несложно), и как это называется, знает каждый. Нам необходимо в столь ответственном деле опираться на своих ученых, политологов, экспертов и специалистов. Таковые пока в стране есть, только надо уметь их ценить и создать им условия не хуже, чем чужакам. Надо понимать, что политическая деколонизация должна начинаться с деколонизации сознания и мысли.

Пожирающий пламень революций в образовании

Что делается в сфере образования, уму непостижимо. В любой просвещенной стране образование и воспитание — наиболее лелеемые системы, и малейшие изменения в них очень долго и тщательно продумываются.

У нас министры образования меняются через год-полтора, и каждый из них совершает свою «революцию», пытаясь отменить предшествующую систему, а затем внедрить свою. Однако никто из них до «строительства» не досидел в своем кресле. Но все они вместе крепко успели поучаствовать в основательном разрушении.

Между тем советская система образования, доставшаяся нам по наследству, была вовсе не так уж плоха, и это хорошо поняли на Западе, особенно в США. Общеизвестно: когда в октябре 1957 года Советский Союз запустил первый в мире спутник Земли, а в апреле 1961 года Юрий Гагарин стал первым космонавтом, американцы были в шоке, решили, что все дело в советской системе образования, бросились ее изучать и немало переняли. А после развала второй супердержавы представители первой, куда перебралось много советских специалистов, получили практическую возможность сравнить уровень знаний двух школ и пришли к мнению,

что если сами они сильны в узких отраслях, то советские — в широких, то есть в междисциплинарных, что очень ценно.

Прежде чем казахским разрушителям приниматься за свое ужасное дело, надо было разобраться и понять, откуда прорастают корни нашего образования. Каждая современная система образования плоть от плоти науки, культуры и истории своих стран, и даже у большевиков, которые камня на камне не оставили во многих сферах от имперского наследия России, хватило ума не обрывать преемственность науки и образования.

А исторически российские системы науки и образования базировались на немецких, кстати, позволивших Германии не только догнать ушедшие далеко вперед в свое время Францию и Великобританию, но и перегнать их.

Советские чиновники сферы образования сохранили в основном эту систему, только добавили к ней немного от скандинавской и американской моделей, ну а в гуманитарные предметы, разумеется, — изрядную долю коммунистической идеологии, в классической своей основе тоже западной.

По-существу это была западная модель образования, разумеется, пронизанная российским духом, и она, несмотря на тоталитарные тиски, в общем-то успешно работала.

Наши же горе-«реформаторы» не понимали, что с корнем вырывают цветущее западное древо, адаптированное к нашим условиям, и вместо него втыкают в землю несколько самых разных кустиков, грубо вырванных из современной европейской почвы без корней и к тому же непривычных к совершенно другому, нашему, климату. Естественно, они не могли прижиться.

Нам не надо было радикально менять сложившуюся успешную систему, а следовало убрать из нее тенденциозные идеологические напластования (в основном, из гуманитарных дисциплин) и осторожно привнести кое-какие добавления от современных финской (кстати, наследницы российской и ученицы советской систем), японской и сингапурской образовательных систем и национальный колорит (главным образом — в историю, литературу и географию).

Наша нынешняя разрушенная, неразумно усложненная и запутанная система образования стиснута к тому же множеством запретов, ее душит засилье бумаготворчества и бюрократической цензуры. Учителям, преподавателям и профессорам некогда заниматься учащимися и студентами, они почти все свое время тратят на составление бесчисленного количества бумаг, которые никому не нужны и тщательно рассматриваются в поисках ошибок только тогда, когда кого-то надо освободить от должности.

В образовании нельзя забывать притчу о лошади, которую можно привести к источнику, но нельзя заставить ее пить. О потрясающе низком уровне многих наших так называемых учебников и методических пособий много говорится, заставить школьников и студентов пить из таких источников весьма трудно, да и не полезно.

Все лучшие вузы во все времена обладали академическими свободами и были очагами вольнодумия. Они всегда находились в определенной оппозиции к действующим властям. И это нормально. Образованные и пытливые молодые люди в силу новизны и свежести взгляда тоньше видят недостатки существующего порядка. Проходит время, они взрослеют, от многих радикальных идей отказываются, но вносят в существующую систему рациональные и взвешенные изменения, а их дети в это время бунтуют против их установок, обвиняя в консерватизме, и, глядя на них, родители вспоминают свой юношеский максимализм и относятся к ним с пониманием. Американские, французские и многие другие европейские бунтари 60-х годов прошлого века спокойно вписались в существующие государственные структуры, но при этом модернизировали их. Так идет вечное обновление общества и жизни.

Казахская мудрость гласит: «Затравленный щенок не может стать волкодавом».

Каждый человек с опытом может вспомнить множество примеров, подтверждающих это, я приведу два. Отто фон Бисмарк был одним из самых отчаянных бунтарей в своей студенческой юности и доставлял много проблем прусской полиции, но именно он объединил сотни мелких немецких княжеств и создал Великую Германскую империю.

В нашей отечественной истории тархан¹ Жанибек Кошкарулы был в юности непослушным и отчаянным забиякой, но повзрослев, стал крупным полководцем и выдающимся дипломатом, сыгравшим огромную роль в освобождении Степи от врагов.

Поэтому свою молодежь мы должны воспитывать в вольном и свободном духе, с пониманием относиться к их бунтарству, осторожно и умело вводя ее в цивилизованные рамки без разнузданности и нигилизма. Иначе мы получим закомплексованных и инфантильных людей, боящихся собственной тени и не способных принимать самостоятельные решения.

О последствиях бесконечных «революций» и самодурства чиновников в образовании можно судить по их плодам. У многих молодых людей, окончивших наши школы, непрочные знания быстро выветриваются, и уже к 30 годам они не имеют представления о литературе, не помнят элементарных физических законов, не могут совершать простейшие арифметические действия в уме, их представления о географии находятся на уровне XIV века, а исторические знания состоят в основном из мифов. Не лучше обстоит дело с выпускниками вузов, большинство из них имеет слабое представление о своей профессии.

Телеящик Пандоры

В древней иранской мифологии говорится о магическом хрустальном шаре, который показывал события, происходившие где-то очень далеко. Когда появилось телевидение, люди радовались тому, что легенда превратилась в явь, и им казалось, что оно значительно расширит горизонты культуры. Но, увы, телевидение, в частности наше республиканское, стало главным орудием формирования дебилов. На всех его каналах беспрестанно визжат, вопят и пляшут, устраивают низкопробные шоу, гонят «мыльные оперы» в сотни серий, не от мелодраматических коллизий, а от уровня которых хочется горько плакать, а в промежутках между ними вещают шаманы и гадалки. Почти нет образовательных, политических, экономических, культурных и научно-популярных программ. По сравнению с нашими вульгарными и развязными телешоуменами Эллочка Людоедка — сногшибательная интеллектуалка.

И здесь имеет место пагубная практика. Российские теледеятели все худшее перенимают на Западе, а мы — у России, естественно, на порядок гаже. Неужели у наших теледеятелей не хватает своих мозгов даже на подобную низкопробную продукцию? Главной «интеллектуальной» пищей сейчас стали телесплетни, в основном вокруг многочисленных мнимых «звезд». На «капустниках», посиделках и встречах российской «богеми» по телевидению слышится постоянный смех, и невольно задаешься вопросом: над чем же они смеются? Наверное, над убожеством собственных шуток. А для нашей «богеми» — это нечто запредельно шикарное, она пытается все это повторить, но получается убожество вдвойне.

В мире были и есть великие артисты, они очень редки, особенно сейчас, и я преклоняюсь перед ними. Но в целом артисты во все времена и во всех странах не относились к самому высокому культурному сословию в обществе.

Только в XX веке с развитием средств массовой информации и индустрии развлечений, в особенности кино и телевидения, они стали превращаться в идолов. Над их потребительским образом стали работать специалисты, их научили держаться

¹ Тархан — привилегированное сословие тюркской знати (*Прим. ред.*).

на публике и ловко вставлять в свою речь заранее заготовленные реплики, но от этого их общий интеллектуальный уровень не вырос (я не имею в виду таких актеров, как Алла Демидова, они — редкое исключение). Тем не менее именно из них делают кумиов.

Артисты, конечно, нужны, но не в таком количестве и не такого профессионального качества. Сколько же у нас молодых людей хочет быть артистами! Но простите, кто их всех будет кормить, когда закончатся природные ресурсы? Обществу прежде всего нужны ученые, инженеры, аграрии, экономисты, бизнесмены, журналисты, юристы... и деятели культуры, культуры высокой, несущей духовность.

Именно умелой пропаганде этих и других важных профессий, а также демонстрации опыта успешных реформ в других странах надо уделять больше внимания.

Еще два бича нашего телевидения — это реклама и ужасы. Некоторые страны сейчас изгоняют рекламу с телевидения или выделяют ей отдельное время, а многие подумывают это сделать. Пора бы и нам задуматься.

Наши новости — это в основном репортажи о катастрофах, войнах, убийствах во всех концах света. Вся эта информация еще более подавляет и без того озабоченных собственными тяжелыми проблемами наших сограждан. Что нам дает вся эта муть? Неужели, если мы не узнаем, что где-то за тридевять земель какой-то маньяк убил десять человек, мы не сможем жить? Вы скажете: так формируются теленовости во всех странах. Но если все сошли с ума, нам что, обязательно присоединяться к ним? Телевидению следует уделять больше внимания не ужастикам, а культурным и духовным достижениям других стран и пропаганде своей культуры, обогащающей нас.

Это не значит, что мы, подобно страусу, должны зарыть голову в песок, не желая видеть проблем этого мира. Нет, о них надо рассказывать, если они касаются нашей страны и наших граждан, а обо всех остальных событиях надо сообщать (для наших фобиоманов) в особых программах и в аналитическом стиле.

Наше телевидение извращает вкусы телезрителей, приучая их к пошлым шуткам и банальностям, произносимым с важным видом, отучая их от серьезных и глубоких тем, и менять эту ситуацию будет нелегко. Многие казахстанцы поначалу не смогут понять и принять передачи, требующие напряжения и сосредоточенности ума, но у нас нет иного выхода, надо настойчиво и терпеливо вести свою линию, если мы хотим иметь образованный и культурный народ, а не бездумную толпу.

Напомню два примера из Платона о мере истинной и высокой духовности и культуры.

Первый. Платон говорил, что чем меньше человек знает, тем больше он изображает из себя всезнайку, чем больше он знает, тем яснее представляет себе, как мало он знает. И Платон иллюстрировал это рисунком. Наши знания представляют собой внутреннюю площадь малого круга, а все что за его пределами — это наше незнание. Чем меньше круг, тем меньше объем знаний. Когда у человека нулевые знания, он уверен, что нет ничего в этом мире, чего бы он не знал, а когда человек обладает огромными знаниями, он понимает, как мало ему ведомо из бесконечного космоса знаний.

Вспомним и слова Сократа: «Я знаю только то, что ничего не знаю!»

Второй. Платон считал: чем содержательнее и интереснее представление в театре, тем благоговейнее оно должно восприниматься и тем большая тишина должна царить среди зрителей. Иначе глубокое переживание и очищение души искусством, позже названное его учеником Аристотелем катарсисом, невозможно. Поэтому он был против аплодисментов, считая их признаком вульгарности. Сейчас восторги выражаются не только аплодисментами, но и визгами, воплями, мяуканьем и топотом ног. Увы, каковы времена, таковы и нравы.

Отцы и дети, деды и внуки

Вечная проблема отцов и детей обсуждается с шумерских времен, и, как правило, молодежь изображается не достойной свершений старших поколений. Но каковы сейчас отцы и деды?

Золотой телец, причем не заработанный, а украденный стал их кумиром, он разлагает, подрывает родственные, дружеские и общественные связи.

Лао-цзы говорил: если во дворцах постоянно веселятся и празднуют, значит, народ бедствует. И это воистину касается нас: в стране царит немыслимый пир во время великой чумы. Государство задыхается от громадного множества проблем: мы почти ничего не производим, мы попали в долговую кабалу к другим странам, экология в ужасном состоянии, аул умирает, старики брошены, молодежь забыта, культура гибнет и т.д. и т.п., а верхушка все поет и пляшет, проводит бесчисленные тои, фестивали, конкурсы, конференции, симпозиумы на самую широкую ногу в... рванных штиблетах.

Создается впечатление, что власть имущие в этом угаре полностью потеряли чувство реальности. Народ нищенствует, а они берутся за множество помпезных государственных проектов, в реализации которых львиная доля выделенных средств отдается иностранным специалистам. Тем самым ущемляются свои, и им прививается комплекс неполноценности. А между тем у нас много способных людей, которые могли бы ту же работу сделать не хуже, если не лучше.

Не будет большим преувеличением сказать, что западные и подражающие им восточные модернисты и постмодернисты в значительной мере выложились в своих экспериментах, и ожидать от них нового не приходится. И здесь оригинальные национальные идеи наших специалистов могли бы сказать свое слово в градостроительстве, архитектуре, дизайне, живописи, музыке... в мировом искусстве в целом. Но для этого надо дать им простор для творчества, постепенно приучать их смело воплощать свои идеи.

Одной из изощренных форм колониального закабаления была циничная кадровая политика, когда метрополия на подконтрольных территориях не подпускала к реальной власти, к фундаментальной науке, к управлению крупной промышленностью талантливых представителей коренной национальности, и даже к культурной деятельности их привлекали с осторожностью, подозревая в национальном уклонизме, а вместо них выдвигали усердных бездарей.

Казалось бы, с получением независимости от этой практики надо было уйти, но, увы, она сохранилась и продолжает по инерции свое разлагающее действие. Правда, вопреки этой тенденции в последнее время выдвинулся ряд способных чиновников высшего ранга, но этот ряд короткий, и, глядя на их подавляющее большинство, диву даешься, как эти серенькие люди, которым нельзя доверить управление даже маленьким аулом, добрались до высоких постов. И такие бездарные высшие чиновники судят о народе по своему уровню, между тем как у нас, при всех его недостатках, талантливый и грамотный народ, которому, к сожалению, не дают раскрыть свой потенциал еще с детства и юности.

Меня нередко приглашают на встречи с разными коллективами, и — особенно если это молодежная аудитория — я никогда не отказываю. И я вижу много чрезвычайно одаренных молодых людей от 16 до 23 лет. (И в других поколениях нашего народа было немало талантливых ребят, но чиновники и обыватели гасили их.) Они очень любознательны, у них горят глаза, они ищут объяснения всему, но, увы, учителя и родители в огромном большинстве своем не могут им доступно объяснить (боясь обвинений в оппозиционности при откровенном изложении фактов), что реально происходит в стране, регионе и мире.

Эти ребята самостоятельны и умны, трудолюбивы и настойчивы, многие из них сами поступают в лучшие вузы дома и за границей и, где бы ни находились, поддерживают связи друг с другом и живо интересуются событиями в своей стране. Но если их не поддержать, они увянут, как и предыдущие поколения.

В основном это дети городских интеллигентов. Увы, аул, который до того оправдывал слова Бальзака «таланты рождаются в провинции и умирают в столице», ныне редко выдвигает способных молодых людей. И это не вина заброшенного аула, а его беда, в которой виноваты власти.

Как мы потеряли аксакалов

Мы говорили о воспитании молодежи, но, как выясняется, необходимо заняться и просвещением аксакалов, которые должны быть достойны своего традиционного статуса. Это не шутка.

Года два назад в одной газете вышла статья «Стариков много, а аксакалов нет», то есть нет достойных, мудрых и уважаемых всем народом старцев — выразителей его духовных чаяний. Автор приводил много примеров суетливого, недостойного и угоднического поведения стариков перед чиновниками и верно ставил актуальный вопрос. Но ответа не предложил. Причин, почему у нас сейчас почти нет достойных аксакалов, много. Тоталитарный строй, вытравление национального самосознания, уничтожение культурной элиты — это в прошлом. А в настоящем — то, что хамовитые и аморальные рвачи захватили почти все национальное достояние, а совестливые, образованные и высококультурные люди оказались в униженном положении.

Но кроме политических и социальных причин исчезновения традиционного института аксакалов есть и поколенческие, связанные с новой эпохой, иной культурой мышления и воспитания.

В былые времена повсеместно носители народной мудрости обладали сакральным знанием, они являлись хранителями обычаев, просвещали людей, глубоко разбирались в том, как функционирует общество, и принимали прямое участие во всех его делах, пользуясь непререкаемым авторитетом. Однако такие мудрецы той поры, как Хаммурапи, Соломон, Сократ, Конфуций, Ашока, Марк Аврелий, и наши — Коркыт, аль-Фараби, Асан Кайгы, Бухар жырау — уже не могут играть былой роли в обществе, так как все сильно изменилось: время, люди, духовные и культурные ценности, материальные запросы, образ жизни и представления о мире, а самое главное — появились вездесущие СМИ.

В Новое время на место мудрецов-пастырей пришли властители дум с несколько иным механизмом воздействия на общество: они должны были обладать харизмой, иметь широкие знания, разбираться во всех сложностях современной жизни, уметь их лаконично и ясно разъяснять, быть социальными психологами и публичными людьми и умело пользоваться СМИ. И что особенно важно: они обязаны были знать коренные интересы народа и постоянно и твердо их отстаивать.

Увы, в наше оскудевшее время в мире нет таких властителей дум, как Вольтер, Гёте, Лев Толстой, Бернард Шоу, Тагор, а в рамках нашей страны — Абай. И на безрыбье появляются раки с претензиями китов.

В одночасье стариков не переделаешь в аксакалов, для этого требуется индивидуальная работа над собой продолжительностью в человеческую жизнь и постоянная потребность общества.

Интеллект — главный ресурс страны

«Если бог хочет погубить, он лишает разума», — говорили древние мудрецы. Но бог никогда не наказывает целый народ. Поэтому вдумчивых людей не покидает

ощущение, что кто-то настолько ловко манипулирует нашими властью имущими, что достигает двойного результата: лишая их разума, заставляет целенаправленно вытравливать разум из своего народа. Невольно задумываешься: а может, то, о чем упорно твердят конспирологи, не такой уж бред?

Население Земли стремительно растет, на ней становится тесно, страны с богатыми природными ресурсами и большими территориями — предмет завистливых взоров великих держав. Прямой захват чужих стран сейчас уже редко практикуется, но завоевывать их экономически и культурно считается допустимым. А что для этого требуется? Добиться того, чтобы в них дебильное правительство управляло дебильным населением, и тогда с этой страной и ее богатствами можно делать что угодно.

Однако не следует впадать в истерику и портить отношения с мировыми гигантами, обвиняя их в заговорах, надо прежде всего навести порядок в собственной «правительственной голове», а уж затем и в стране. И если мы станем умно, твердо и последовательно отстаивать свои национальные интересы, все будет с нами считаться.

Помехой на пути к этому являются отечественные последователи маркизы де Помпадур, заявлявшей: «После нас хоть потоп!» Таким наплевать на народ, главное — обеспечить своих детей и внуков на сто поколений вперед. Но несправедливо нажитые деньги несут на себе клеймо проклятия и развращают, и этой участи не избежать даже их правнукам...

Демосфен двадцать четыре века назад заметил: нельзя, занимаясь мелкими и ничтожными делами, приобрести великий и юношески смелый образ мыслей, равно как наоборот, занимаясь блестящими и прекрасными делами, нельзя иметь ничтожный и низменный образ мыслей.

Наше правительство абсолютно не уделяет внимания острейшим проблемам страны, оно только и занято постоянным переформированием министерств и пересадкой чиновников из одного кресла в другое с такой скоростью, что им не успевают менять таблички.

Ошалевшие высшие чиновники всячески изображают бурную деятельность, но ее результаты говорят сами за себя. Приведу один из последних примеров.

Правительство решило перенять опыт Ли Куан Ю. Этот покойный сингапурский патриарх, будучи премьер-министром, составил для своей администрации список примерно из двух тысяч талантливых и способных сингапурцев, работающих в разных отраслях, и лично следил за карьерным ростом лучших из лучших, так называемых «золотой и серебряной сотен». И если у кого-нибудь из них происходил сбой, он тут же выяснял причину. В случае намеренного выживания таланта его начальником Ли Куан Ю строго наказывал этого чиновника, так как считал его вредителем государства. Такая справедливая кадровая политика является одним из эффективнейших методов борьбы с бездарями и коррупционерами. Вот и наше правительство задумало провести масштабную операцию по уничтожению их огромной армии в своем составе и в низовых звеньях.

Отборные части гвардейского корпуса «А» бросаются в лобовую атаку, корпус «Б» заходит с флангов, а партизанский корпус «В» атакует с тыла. Вся правительственная и официозная пресса ярко и подробно сообщала о перипетиях этой грандиозной битвы. Но вот шум утих, пыль улеглась, дым рассеялся, и разведка донесла, что все эти отважные корпуса... перешли на сторону врага и число бездарей и коррупционеров в среде чиновников удвоилось. Читатели, конечно, догадались, что корпуса «А» и «Б» — это подобие сингапурских «золотой и серебряной сотен», а о том, насколько разные результаты они принесли здесь и там, можно судить по благосостоянию народов Казахстана и Сингапура.

Так же «успешно» идет борьба по сокращению тьмы чиновников, она напоминает битву с мифической гидрой: ей отрубают одну голову, вместо нее вырастают две.

Бесчисленным чиновникам все время повышают и без того немалую зарплату

(при том, что уровень жизни народа все стремительнее падает), и это делается для того, чтобы они меньше воровали. Но коррупция, наоборот, постоянно растет. В таких условиях надо бы вообще перестать платить зарплату чиновникам, а за занимаемые ими должности даже брать официальную плату — в зависимости от доходности места. Уверяю вас, тогда коррупция стала бы контролируемой, так как чиновники строго следили бы друг за другом, и государственный бюджет быстро бы вырос.

Говорить о демократии сейчас бесполезно, но можно же помнить об элементарной истине, что не народ существует для правительства, а правительство — для народа. И самым объективным критерием эффективности правительства является благосостояние народа. У нас же положение дел год от года хуже, и это наглядно отражается на состоянии населения.

Как известно, «в здоровом теле — здоровый дух», поэтому важнейшим фактором для страны является хорошее состояние здоровья населения, которое формируется прежде всего образом жизни, качеством питания и распространением физической культуры.

Увы, казахстанцы едят в большинстве своем завозные продукты очень плохого качества, а заниматься физической культурой им почти нигде. Последствия налицо: 80% молодежи не годится к военному призыву, у них неустойчивая психика (мы занимаем одно из первых мест в мире по суициду), и они не могут даже один раз подтянуться на турнике. Что говорить о взрослом населении, оно почти поголовно больно.

Катастрофическая ситуация с экологией — отдельная и большая тема.

Жестокая реальность нашего времени в том, что наш народ и наша страна тяжело больны целым набором тяжелых и запущенных болезней. И во всем виноваты мы сами. Это народ должен понять, пока не поздно. Лекарством от всех этих болезней являются культура и высокий интеллект нации, и их мы еще можем сохранить и укрепить. Но для этого народ должен заставить правительство сделать решение этой задачи главной своей целью.

Напомню старую, как мир, истину — только знание делает нас сильными, независимыми и свободными.

А злой дух делячества и грабежа, который овладел и нашими нуворишами, разрушает все — людей, общества и даже великие империи. Гилберт Честертон описал, почему погибла известная супердержава древности: «Карфаген пал потому, что дельцы до безумия безразличны к истинному гению. Они не верят в душу и потому в конце концов перестают верить в разум».

Сохраним же свой разум, чтобы сохранить свою страну, свой народ, свою культуру и себя.

III. Поиски утерянного здравого смысла

Андрей Русаков поднял важнейшие и сложнейшие вопросы, связанные с культурой, которые касаются не только России, но и всего постсоветского пространства.

Я по-своему пытался принять участие в его размышлениях. Но в воздухе всегда висит один и тот же русский вопрос: «Что делать, друзья?!»

Мне, скромному кочевнику-казаху, трудно предложить нечто такое, что было бы новым для наших друзей — россиян. (О том, что нужно казахстанцам, я постоянно говорю у себя на родине.) Но рискуя повториться, хочу сделать два предложения.

Первое. Провести анализ успешного выхода стран из послевоенной разрухи — Германии, Японии, Франции, Италии и прежде всего самой России; из постколониальной анархии — Сингапура, Южной Кореи и Малайзии; и эволюционный переход от плана к рынку — Китая (это только на первый взгляд запоздалая тема).

Здесь речь идет в основном о политике и экономике, но без них культура ничего не сможет сделать.

У России достаточно глубоких научных умов и опытных экспертов, способных на основании такого анализа и с учетом местных условий разработать комплекс эффективных экономических и политических программ. А как только Россия возьмет верный курс, Казахстан и другие последуют за ней.

Второе. Обществу следует отвоевать телевидение и печать, убрать оттуда насилие, тупость, содомию, рекламу и ввести образование, науку, высокое искусство и гуманизм. СМИ обязаны воспитывать людей образованных, с широким кругозором, способных понимать разные мировоззрения и смотреть на себя глазами других.

Разговоры о том, что телевидение и печать не влияют на воспитание и стиль поведения людей, — коварное лукавство.

Этот план выглядит чересчур уж простым, но если вспомнить о реформах в странах, успешно вышедших из разрухи и хаоса, они работают. И как тут не вспомнить слова Лао-цзы, сказанные двадцать семь веков назад: «То, что я говорю, настолько просто и так легко сделать, но никто этого не понимает и не может сделать». Поэтому повторение вечных и здравых истин в новой оболочке — удел интеллигенции.

Род человеческий делится на две категории: подавляющее «мудрое» большинство, которое считает людей иррациональными, неразумными, эгоистичными и жалкими поклонниками «золотого тельца», что в конце концов приведет их к апокалипсису; и наивное меньшинство, верующее в культуру, в разум человека, в его способность извлекать уроки из жизненного опыта и в возможность рационального обустройства жизни не только в отдельной стране, но и в мире.

До сих пор «мудрецы» оказывались правы, а «простаки» ошибались: даже разумные люди в интересах своих стран боролись друг с другом и старались обмануть партнеров, а всякая мразь повсеместно объединялась. В итоге разум подавлял разум, культура деградировала, а зло множилось.

В век глобальных кризисов это становится особенно опасным, так как угрожает основам существования всего человечества.

От имени «простаков» предлагаю вспомнить древнюю и наивную арийскую притчу о птице Симург — священной птице, принесшей с неба на землю побег древа жизни.

Давным-давно существовала птичья страна, и однажды в ней началась великая смута. Правители перестали заботиться о подданных, подданные перестали чтить законы, птицы забыли о морали, младшие перестали уважать старших, старшие не заботились о младших.

И тогда на птичьем курултае старая сова сказала: «Слышала я в детстве, что где-то далеко-далеко, за семью морями и семью горами, живет мудрая и вещая птица Симург, надо лететь к ней за советом».

Все птицы единогласно поддержали это предложение. Часть птиц оставили для присмотра за старыми и больными, а остальные дружно полетели в указанном совой направлении. Летели долго, но никто из тех, кто встречался в пути, не слышал ни о какой птице Симург, тогда их ряды стали редеть: вначале отстали слабые телом, а затем — слабые духом. Уже пролетели через семь морей и семь гор. Тогда объявились неверующие: мол, все это сказки, никакой такой птицы нет, — и повернули назад.

Осталось только 30 птиц, которые упорно летели вперед, несмотря ни на что. Их непреклонная воля и бесконечная вера в свою цель настолько сплотили их, что они почувствовали себя единым целым и в какой-то момент поняли, что они вместе и есть птица Симург. Свою цель они нашли в своем единстве, после чего вернулись домой и навели там порядок.

Смысл этой притчи в том, что мудрая и вещая птица Симург, сотворив жизнь на земле, поселилась в душах смелых, целеустремленных и высоких духом людей, и она до сих пор жива, надо только беспрестанно и неутомимо искать ее в своих сердцах.

Ни в Казахстане, ни в России, нигде на постсоветском пространстве, ни во всем мире никто не придет со стороны и не решит наши проблемы. Их обязаны решить мы сами — в единстве людей разума, духа и культуры!

О молчании

Три письма на одну тему

Алексей Буров

От самого творения мир зависает над пропастью и тонет в беде. И чтобы не сорвался, не потонул, Создателю приходится мир спасать, быть Спасителем. Зачем же Он устроил себе такие хлопоты? Почему не придал миру достаточной устойчивости, не поставил его целиком на твердую опору?

В мире сугубо устойчивых вещей не может быть того, что называют *усилителями*: устройств, регулярно превращающих малый сигнал на входе в большой на выходе. Устойчивость же означает, что исходно малые сигналы не превращаются в большие, так малыми и остаются. То есть усилитель требует какой-то неустойчивости, он и есть прирученная неустойчивость. Вся наша электроника работает на разнообразных усилителях, без них никакая система управления не была бы возможной. Но ведь и вторжение мысли в физический мир есть тоже своего рода усилитель: ментальное таинственным образом дает изначальное движение ничтожной группе атомов мозга, следствием чего может быть, например, полет космического зонда по сверхточной траектории за пределы Солнечной системы. Или построение сверхмощного микроскопа, усматривающего неизвестный дотоле закон природы на невообразимо малых размерах — на 19 порядков меньших нашего тела. И это возможно лишь потому, что в мире возможны громадные усилители, то есть потому, что мир Богом оставлен в точке неопределенности. Но ведь это значит, что мир поставлен в постоянную опасность, в балансирование над гибельной пропастью. Как ни странно звучит, но дети Бога могли появиться и расти лишь в силу того, что указанная опасность в достаточной мере имеется.

Но почему мы выжили? Почему нас не погубили усиленные шумы этого неустойчивого мира? Почему, наконец, мы сами себя не погубили до сих пор? У меня есть только один ответ: давший нам жизнь не допустил этого. Он нас спасает от огромного количества опасностей, по преимуществу нам неведомых. Спасает, находя для этого удивительные решения. Например, воплотившись однажды в обыкновенного, казалось бы, младенца, сына провинциального плотника...

Буров Алексей Владимирович — кандидат физико-математических наук, философ, научный сотрудник Национальной ускорительной лаборатории им. Ферми, США.

Прашкевич Геннадий Мартович — прозаик, работающий главным образом в жанре научной фантастики.

Публикации в «Дружбе народов» в соавторстве: эссе «О красоте» (2016, № 1).

Геннадий Прашкевич

Ранним сентябрьским утром 2005 года меня разбудил телефонный звонок.

Было действительно очень рано, может, часа четыре утра, такие звонки всегда вызывают тревогу, но, подняв трубку, я несколько успокоился. Звонил из Магадана мой давний и близкий друг — писатель Александр Бирюков, человек, сделавший для меня чрезвычайно много, практически удержавший меня в литературе, когда в далеком 1968 году в Южно-Сахалинске цензура запретила выход моей первой книги. Набор книги был рассыпан, я попал в так называемый черный список Госкомитета РСФСР по печати, а значит, надолго мог забыть о каких-либо публикациях. Именно Бирюков помог мне тогда выстоять, а через несколько лет именно он издал мою книгу прозы, тоже в Магадане, что исторически было справедливо. Прошли времена, когда авторов отправляли в Магадан, теперь в Магадан отправлялись рукописи.

Письма и звонки Саши Бирюкова определяли для меня многое.

Я обсуждал с Бирюковым все, что нуждается в обсуждении, жаловался на все, на что хотелось жаловаться. Он, в свою очередь, жаловался на упорство колымских властей, активно мешавших ему работать с делами советских граждан, репрессированных в тридцатые годы. «Это всем давно надоело!» Районная администрация Сусуманского района, например, попросту отмахнулась от мрачной находки при проведении вскрышных работ на одном из полигонов прииска «Мальдяк». Там из-под ножа работающего бульдозера вдруг выкатилась груда смерзшихся тел. Более того, в головах этих несчастных можно было рассмотреть отверстия, похожие на пулевые. Но местная администрация, не дождавшись специалистов, распорядилась срочно поместить найденные трупы в деревянные ящики и зарыть на местном кладбище. «Господи, Саша, — сказал я Бирюкову, — если никто не хочет знать правды, значит, и ты ничего не добьешься, по крайней мере, пока нынешнее начальство находится у власти». — «Если и так, — ответил Саша, — опускать руки нельзя. Ведь все эти трупы были когда-то живыми людьми. И все эти люди были убиты». Забегая вперед, скажу, что Саша своего добился. Он вырвал у администрации разрешение на проведение эксгумации, и обнаружилось, что почти на всех трупах имеются следы огнестрельных ранений...

Таким был Саша Бирюков, писатель и журналист Александр Бирюков.

Москвич по рождению, он уехал после учебы в МГУ в Магадан и занялся там своими исследованиями. Выходили его репортажи, выходили книги. «Колымские истории» Александра Бирюкова вообще были признаны одной из лучших книг 2004 года. К сожалению, именно 2004-го, а не 72-го, скажем, или 97-го. «Не из праздного любопытства мои коллеги и я, — писал мне Саша, — глотаем зловредную пыль архивных томов. Не из праздного любопытства расспрашиваем бывших колымских сидельцев. Кто-то должен этим заниматься. Ведь уйдет наше поколение, рожденное в тридцатые-сороковые, и останется прошлое безмолвным, немым, как эти замороженные тела. Открывая в архиве очередное следственное дело, я словно опускаюсь в ледяной колодец прошлого, и сердце мое наполняется состраданием к мученикам, среди которых были, конечно, и герои, и злодеи — были! Но все они, Гена, были, прежде всего, жертвами, и как сейчас отделить одних от других, если граница между страданием и злодейством проходила подчас (или — чаще всего) не между людьми, а в сердцах самих этих людей, через души, мучающиеся и сегодня (все еще!) над тем же, над чем мучаемся и мы. Кого из них я осужу? Кого помилую? — я, взыскующий призрачной истины. Кто дал мне на это право? И разве не искупили они уже своими страданиями, страданиями бессмертной души свой грех? Перед тем всевышним, кого один из нас назовет Богом, другой — Справедливостью?»

Таков был Саша Бирюков.

И ранним сентябрьским утром 2005 года он позвонил мне.

И на мои жалобы (болит голова, одолела усталость и все такое прочее) вдруг сказал странно и просто: а ты заведи собаку. И уточнил: большую, умную, добрую. И еще уточнил: только не самую большую. Ньюфаундленд или сенбернар, конечно, хороши, но все же обременительны. Какого-нибудь спаниеля возьми или эрдельтерьера, ни в коем случае не овчарку немецкую. Овчарки умные, но они злые. А зла вокруг нас и без овчарок хватает. Зачем под собственным боком растить зло?

Потом Саша помолчал и добавил: «Я звоню, чтобы попрощаться с тобой».

Он произнес это все тем же ровным негромким голосом. Он хорошо знал, о чем говорит. Тут особых объяснений не требовалось. «Врачи оставляют мне совсем немного, и я бы хотел тебе сказать...»

К сожалению, связь оборвалась.

Связь с Колымой никогда не отличалась надежностью.

Я знал, что Саша болен, но не думал, что дело обстоит так серьезно.

В бандероли, полученной через несколько дней, среди Сашиных книг я нашел записку. Буквально несколько слов: «Дор. тов. Гена! Как ярмарка? — (книжная московская, я как раз с нее вернулся, — Г.П.) — Как дела изд-ва? — (то есть новосибирского издательства «Свинин и сыновья», в котором вышли почти все последние работы А. Бирюкова, — Г.П.). — Посмотрел ли мою книгу? Кассету — (с новыми текстами, — Г.П.) — шлю. Накопилось много вопросов, но, наверное, нам так и не дано договорить. Пребываю в прежнем состоянии, но духом не падаю».

Борис Штерн, тоже писатель, и замечательный друг мой верный, нежный, к сожалению, как и Саша, ушедший раньше срока, оставил гораздо больше больных «вечных» вопросов. Склонный к юмору и иронии, он даже выстроил свои вопросы в определенном порядке, сначала в письме ко мне, потом в одной из своих книг. «Доколе? Кто прав? Кто виноват? Чего надо? Камо грядеши? Что же это делается, граждане? Кто там? За что боролись? Как жить? Что делать? Куда прешь? Третьим будешь? Кто крайний? Веруешь? А ты записался добровольцем? Куда ж нам плыть? Стой, кто идет? А не еврей ли ты? Зачем пришел я в этот мир? За что? Кому это выгодно? Почем пуд соли? Куда все подевалось? Кому на Руси жить хорошо? Кто написал "Тихий Дон"? Кто сочиняет анекдоты? Как нам обустроить Россию?»

А вот Поль Гоген, закончив одну из своих известных работ, ограничился всего тремя вопросами: «Кто мы? Откуда? Куда идем?»

Всего три, но разве ответы на них найдены?

Кто-то считает, что «вечных» вопросов вообще так много, что с ответом на них можно и не спешить. Кто-то считает бессмысленной, преждевременной саму постановку таких вопросов. А потом — поздно. Потом мы уходим. Один за другим. Никаких исключений. И вдруг выясняется, что мы действительно многого, может, главного не договорили. Остаются догадки, предположения...

Что в то раннее сентябрьское утро хотел сказать мне Саша?

Отец его был репрессирован, мать по своей воле отправилась из Москвы в Магадан, там Саша в 1938 году и родился. Позже мать вернулась в Москву. Окончив юридический факультет МГУ, Саша вернулся на Колыму, ставшую для него родной. Работал следователем, возглавлял газету «Магаданский комсомолец», в которой, кстати, в те годы появлялись и мои стихи. «Боже мой, — писал Бирюков, — какое удовольствие я всегда получал от твоих стихов (начиная с «Провинции»). Рано набрав высоту, ты уже *никогда* не опускался». Эти слова я привожу здесь не как комплимент близкого друга, а как типичное, как вечное отношение Саши Бирюкова ко всему тому, что казалось ему важным, нужным, интересным.

В 1971 году Саша перешел на должность собкора АПН по Северо-Востоку, много ездил по Чукотке и Колымскому краю. Уже тогда начал он по своей воле, вызывая скрытое недовольство и открытое раздражение людей начальствующих, составлять

списки погибших на Колыме, восстанавливать разорванные биографии, расследовать судьбы жертв Севвостлага — известных литераторов, ученых, политических деятелей. В.Нарбут, Д.Святополк-Мирский, О.Мандельштам, Б.Ясенский, В.Князев, В.Пальман, А.Жигулин и многие-многие другие, — и разве только они? Все попавшие под жернова истории интересовали Бирюкова, всех судьбы он считал достойными внимания. Сын торговца; служил в старой армии; из кулаков; дочь купца; служил в белофинской армии; служил в армии Керенского; кулак-подрядчик; харбинец; единоличник; жена шпиона; дочь шахтовладельца; кулак; сектант-евангелист; сын попа; бывший урядник; сын офицера-эмигранта; участник еврейских погромов; анархист; белый казак; атвендист (так значилось в документе); националист; шляпниковец с 1922 г.; член ВКП(б) с 1921 г., дважды исключался за исполнение религиозного культа; монашка; агент польской охраны; брат офицера колчаковской армии; сионист; из кустарей; имеет родственников в Польше; возил врагов народа Троцкого и Каменева, и так далее, и так далее. В книге «За нами придут корабли...» Александр Бирюков вывел из забвения более пяти тысяч имен погибших на территории Дальстроя в 30—50-х годах.

В этой книге есть какая-то своя трагическая, величественная поэтика.

Каждый что-то недоговорил. Абсолютно каждый! Но все хотели высказаться, каждый ушел из мира со своей тайной. Как теперь разобраться, кто в кипящем котле жертва, а кто мучитель? Что можем, что хотим мы открыть друг другу, почему отпущенного Природой срока нам всегда не хватает? Почему, накапливая и накапливая печальный и вместе с тем счастливый опыт, уверяя окружающих и самих себя в величии и силе человеческого разума, мы постоянно натываемся на некие невидимые заграждения, препоны, границы? Неужели главной проблемой нашего неумения получить ответ на главные («вечные») вопросы является все же не слабость нашего ума, не отпущенные нам Природой сроки жизни, а *молчание*. Великое, величественное *молчание*, в которое рано или поздно уходит все живое. Конечно, мы пытаемся докричаться до ушедших. Но нет ответа, нет ответа, мы и себя не слышим. Где вы, ушедшие, где вы, с кем мы не успели договорить? Что там, у вас? Конечно, можно считать некими намеками на возможный ответ северные сияния, дальние зарницы, весенние дожди, крик птиц, но они же на самом деле никак не утверждают нашей связи... с чем?... с кем?.. Тот погиб в честном бою, этот скончался в постели, этот пропал без вести, этот безвинно убит, главное все равно не в этом. Где они все? Почему не ответят?

Я читаю ваши письма, Алексей. «Вторжение мысли в физический мир есть тоже своего рода усилитель: ментальное таинственным образом дает изначальное движение ничтожной группе атомов мозга, следствием чего может быть, например, полет космического зонда по сверхточной траектории за пределы Солнечной системы...» Но что является таким усилителем? Куда летит запущенный зонд? Почему никто не отвечает на наши призывы ни из глубин космоса, ни из вечной тьмы? Мы же взываем, мы отчаянно молим ушедших — откликнитесь. Эдисон в свое время разрабатывал особый телефон для связи с тем миром, египтяне оставили подробные карты мертвых, но разве это нам помогает, разве кто-то хоть раз ответил на отчаянные звонки? Одиноки ли мы во Вселенной? Действительно ли уходим навсегда?

Давно в юности я побывал в соляной шахте Величко — неподалеку от Кракова.

Меня поразил подземный грот, в котором лежало темное соляное озеро. Оно было совсем прозрачным и все равно темным. Оно было плотным, как окружавшая нас тишина. Когда с кровли падала капля, она просто беззвучно растворялась в темной воде, даже круги по ней не бежали.

Молчание. Почти абсолютное.

А я живу, слышу фразы, вижу лица.

В сущности, я постоянно и без перерыва наблюдаю мир — так странно раздробленный, часто не складывающийся в единую картину. Многие годы мне

казалось, что существуют вопросы, ответ на которые сразу многое (если не все) прояснит. Кто мы? Откуда? Куда идем? Куда уходим? Писатель и ученый должны ставить именно такие вопросы в некоей пусть и призрачной надежде на ответ. Но как получить ответ, если перед нами всегда все та же стена — стена *космоса*, стена *ухода*? Конечно, физически линии горизонта нельзя достичь, но я все больше и больше начинаю подозревать, что — не только по причинам, объясненным в учебниках. Усилитель? Да, усилитель. Но какой энергией он подпитывается? Темной скрытой энергией страданий? Новыми страданиями? Снова и снова страданиями? Да, понимаю, понимаю, страдания очищают. Но разве мало в нашем мире катастроф, войн, ненависти, невежества, болезней, предательств? Что еще должно свалиться на нас, что еще должно уязвить нас так сильно, чтобы крик наш отчаянный (вопрос наш) достиг — чего?.. кого?.. или же окончательно рассеялся в темной бесконечности. Какими должны оказаться страдания, чтобы наши жалкие голоса были — чем? кем... услышаны?

Алексей Буров

Есть ряд известных определений человека, Геннадий Мартович, ответов на философский вопрос: «Кто есть человек?» Каждое из них указывает на то или иное всеобщее отличительное начало, присущее человеческому существу, только ему, и любому — от мала до велика, всех эпох и племен. Начну я, однако, не с них, не с указаний на ядро общечеловеческой тождественности, но напротив — с утверждения о глубочайшем водоразделе между людьми.

«Несомненно, радикальнее всего делить человечество на два основных типа: на тех, кто требует от себя многого и сам на себя взваливает труд и долг, и на тех, кто не требует ничего и для кого жить — это плыть по течению, оставаясь таким, каков ни на есть, не силясь перерасти себя».

Так писал Хосе Ортега-и-Гассет в «Восстании масс» — сборнике эссе, печатавшихся с 1926 года в мадридской газете, и вышедших затем отдельной книгой в 1930 году. Для начала, я бы хотел показать глубину этой разделяющей людей бездны на одном из главнейших человеческих дел — браке. Среди множества препятствий хоть мало-мальски разумному семейному союзу есть одно, абсолютно непреодолимое: отчетливая принадлежность супругов к противоположным типам Ортеги. Брак между такими людьми может быть лишь краткосрочным недоразумением, следствием временной утраты зрения, никак не более. Разница здесь подобна таковой между видами животных, которая именно невозможностью брачного союза и определяется. Биологическое сравнение может быть продолжено, и на появление высшего типа человека можно посмотреть как на шаг эволюции, подобный шагу от приматов к человеку. Если в последнем случае новизна состоит в появлении сознания, возможности растущего внутреннего мира, то в первом эта возможность возвышается до императива превосходения себя, безграничного совершенства.

Идея превосходения себя самим же собой — противоречива, выглядит как требование невозможного. В природе нет ничего, к чему такие слова можно было бы отнести. Яйцо превращается в курицу в силу закона, это яйцо задающего; какое-либо превосходение яйцом себя здесь отсутствует и может быть лишь иллюзией. Яйцо, цыпленок и курица есть последовательные фазы одной и той же сущности; в смене фаз раскрывается один и тот же биологический закон, новизны в этой смене не более чем в чередовании восходов и закатов. Природные события идут в силу закона и случая — ни то, ни другое не содержит стремления к совершенству, таковое даже и не может

быть прописано в научном каркасе знаний о природе. Эволюция жизни, понимаемая материалистически, ведет, в силу неизвестных науке факторов, ко все более совершенным формам; предполагается (верна ли эта гипотеза — не о том сейчас речь), что в конечном счете все определено фундаментальными законами и случаем. Эта же эволюция, понимаемая теистически, оказывается ведомой внешней творческой силой. Ни в материалистическом, ни в теистическом понимании эволюции нет места странной идее самосовершенствования, да еще и безграничного. Одно из двух: либо эта идея в корне ложна, есть самообман и самообольщение, либо ей отвечает такая реальность, такая сущность, которой ни в материалистической, ни в теистической картине природы и жизни места нет. Замечу во избежание недоразумений, что библейское понимание человека подчеркивает его сверхприродную свободу, в самом полном смысле — свободу как суверенную возможность мышления и действия — не в силу законов, не по случайности и даже не по высшей воле; именно такая свобода и есть то, что делает человека сувереном, образом и подобием Творца. С этим же связана евангельская заповедь безграничного духовного роста: «Будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный».

Если бы я принял, что идея безграничного самосовершенствования есть самообольщение, то тем самым та сила, что неизменно требовала от меня превзойти себя, была бы оскорблена и дискредитирована. После этого мне осталось бы лишь спокойно принять прописку в нижнем разряде человечества и плыть себе по течению, по возможности не перенапрягаясь. Стоит поставить вопрос таким образом, как становится ясно: такого варианта у меня, слава Богу, нет. До такой степени нет, что даже и мысль о нем для меня непереносима. А коли так, то единственным объяснением того сверхприродного императива движения вверх может быть лишь призыв Бога, давшего мне и сверхъестественную к тому возможность, и свободу ее разнообразных реализаций. Других вариантов понимания императива Ортеги, совместимых с полной его силой, у меня не остается.

Очень хорошо, коли так — за дело! Вперед, к новым свершениям, гигантскими шагами. Но шаги почему-то вязнут, ноги спотыкаются, глупость следует за нелепостью, одолевает сон, наваливается суета, и вместо чего-то умного в голову лезут всякая чушь, бестолковщина и желаний своевольный рой. Можно, однако, и сообразить — да ведь так и должно быть, иного и ждать нельзя. Превзойти себя своими силами — сказать такое можно, а вот понять уже нельзя; а тут еще и исполнить требуется. Речь-то идет ни много ни мало о рождении неведомого нового из ничего. Пусть о малом, но сущностном прибавлении мироздания. Об участии в сотворении мира, пусть даже и не слишком заметном для общественности. Но из ткани мира-то, с ее причинно-следственными путями, меня никто не выключал. А если и ослабил надо мной власть этой ткани, с ее законами и случаем, с ее инерцией и нарастанием хаоса, то лишь слегка. Законы и случай продолжают меня вести, бросать и плющить. Материя борет, соблазняет и клонит в сон. День за днем проваливаются в никуда, забывается все подряд, а удается до постыдного мало. Как же быть, как же хоть на йоту прибавить драгоценной свободы и силы духа?

Оставляя в стороне могучую тему аскетических и молитвенных практик, равно как и техник контроля времени, я предлагаю посмотреть на проблему со стороны Создателя. Каковы Его ресурсы в этом отношении? Постановка вопроса может показаться недопустимо дерзкой: пути Господни, как известно, неисповедимы. Кто знает, однако: не является ли этот вопрос по-своему желанным для Небес? Ведь если к идее богочеловечества отнестись со всей серьезностью, то следует, пожалуй, заключить о важности усилий человека в понимании Бога, и прежде всего в отношении Его замысла о человеке и возникающих отсюда границах и условиях для Самого Творца.

На первый взгляд, решение может показаться очевидным до банальности: почему бы не снабдить человека большей силой духа?

Хорошо, предположим, что способностей отпущено больше, но разве задача превосходения себя стала бы легче? Какие-то конкретные задачи, прежде трудные, стали бы до смешного простыми, разумеется. Но ровно поэтому они вышли бы из поля подлинных проблем выросшего человека; настоящей же задачей выросшего человека снова была бы такая, с которой неизвестно как справиться. Абсолютный масштаб способностей оказывается, с этой точки зрения, не слишком важным: каким бы он ни был, настоящая задача такова, что лишь чудом может быть исполнена. Чудо здесь — слово неслучайное. Задача, чье решение в принципе понятно сразу, ничего не прибавит; для прибавления требуется принципиальная новизна. Рождение же нового, бытия из ничто, и есть чудо в точном смысле этого слова. Не означает ли сказанное, что начальный багаж самораскрывающихся талантов должен быть выдан как раз по минимуму, дабы поучаствовал сам человек в их раскрытии и обогащении, в максимальной степени будучи своим собственным создателем? Логика императива совершенства приводит, на мой взгляд, именно к такому выводу.

Итак, каким же все-таки образом Творец может содействовать человеку в его росте, не умаляя свободы и вклада самого человека? И что тут Ему противопоказано? Не надо быть большим педагогом, чтобы знать о недопустимости чрезмерного вмешательства в детские игры, и вообще гиперопеки детей. Всякое вмешательство чревато подавлением детской инициативы. Когда в детской появляется фигура родителя, игра останавливается и может уже никогда не возобновиться. Дистанция же от Создателя до человека много более, чем дистанция от отца до ребенка. А раз так, то Создатель должен быть почти всегда и почти для всех надежно сокрыт. Только в этом случае может набирать силу человек — не подавленный сверхмощью Высшего Начальства, но растущий в свободе дарованного ему мира. Заботясь о личности каждого из нас, Творец и не дает о Себе знать, давая Себя почувствовать лишь в порядке индивидуального исключения, в свое время и меру. Божественная помощь может быть совершенно незаметной и незамеченной; думаю, чаще всего она именно такова. Она может также явиться как удачный случай, редкое везение, счастливая встреча, неожиданная замечательная мысль и, конечно же, вдохновение. Один из великих физиков прошлого столетия, Поль Дирак, размышляя на склоне дней о самом главном в своей жизни, оставил следующую дневниковую запись:

«If you are receptive and humble, mathematics will lead you by the hand. Again and again, when I have been at a loss how to proceed, I have just had to wait until I have felt the mathematics lead me by the hand. It has lead me along an unexpected path, a path where new vistas open up, a path leading to new territory, where one can set up a base of operations, from which one can survey the surroundings and plan future progress».

«Если ты восприимчив и кроток, математика поведет тебя за руку. Много раз, когда я был растерян и не знал пути, я должен был просто ждать, пока не почувствую, что математика повела меня за руку. Она вела меня по неожиданной тропе, открывавшей новые виды, тропе, ведущей к новым землям, где можно было основать новую базу, рассмотреть окрестности и планировать будущий прогресс».

Открытость Богу, восприимчивость и кротость перед Ним — именно об этих душевных качествах говорят вместе с Дираком мистики всех времен и народов.

Вдохновение может иметь и совершенно иной облик — как особая сила духа перед лицом тяжелых испытаний, опасностей природы и общественного зла. Голос Неба, услышанный человеком, может придать ему невероятную мощь. Голос Неба может быть голосом ушедших, дорогих или даже неизвестных людей — даря силу духа, громадную силу, требующуюся иногда, чтобы всего лишь не упасть. Этот голос, Геннадий Мартович, мне слышен и в строках письма вашего доброго друга Бирюкова, знавшего, что *опускать руки нельзя*, вновь и вновь погружавшегося в мрачный колодезь

прошлого и добивавшегося своего от советской власти, стремившейся предать эти колодцы забвению. Бирюков же твердо стоял на том, что эти люди были и случившееся с ними должно помнить. Знал, гнул свою линию несмотря ни на что и побеждал.

Связь с ушедшими — особый ресурс главного командования. Только как странная, неуверенная, редко и неожиданно включаемая, эта связь и может работать. В противном случае она обратилась бы в нечто вроде регулярных новостей с того света, сам факт которых обессилил бы императив совершенства. Ибо не только тайна Божества, но и тайна инобытия есть его условия. В конечном счете, дело ведь не в грехе и не в очищении от него. Эти понятия отрицательны, они ничего не говорят о позитивном содержании задачи, которая только и выявляет — что, собственно, есть грех и ради чего важно его преодолеть. В конечном счете, задача человека — в превосхождении себя, что и есть путь спасения. Как в этой жизни, так, думаю, и в следующей.

А что же ждет низший тип, спросите вы, всю эту плывущую по течению массу? Ведь они глухи к императиву Ортеги, зачем Творцу их пустое бытие? Может быть, ответ — в словах пушкинского Моцарта, и только затем они и нужны:

Когда бы все так чувствовали силу
Гармонии! Но нет: тогда б не мог
И мир существовать; никто б не стал
Заботиться о нуждах низкой жизни;
Все предались бы вольному искусству.
Нас мало избранных, счастливых праздных,
Пренебрегающих презренной пользой,
Единого прекрасного жрецов.
Не правда ль?

Моцарт, заметим, не уверен — «не правда ль?»

Но может быть прав был Ориген Адамант, убежденный в том, что, в конечном счете, спасутся все, тяжесть греха преодолеют даже те, что были когда-то последними злодеями. И кто знает, в непостижимом конце времен не вернутся ли в отчий дом даже падшие ангелы?

Андрей Турков

«В списке славы золотой»

Разговор ведет Наталья Игрунова

Андрей Турков — старейшина литкритического цеха, автор книг о Чехове, Салтыкове-Шедрине, Блоке, Левитане, Кустодиеве, Твардовском, Заболоцком, Абрамове... Жанр, в котором он работает, кто-то из коллег по цеху очень точно определил как критическое человековедение.

22 июня — 75 лет начала Великой Отечественной. Андрей Михайлович прошел войну рядовым. «Ветеран» он нетипичный — о «своей» войне публично не рассказывает (да кажется, и непублично тоже). Во всей книге воспоминаний «Что было на веку...» об этом наберется буквально пара страниц, да и то не о боях-сражениях, а о том, как менялся его взгляд на мир. «...Солдатом короткое время провел в Восточной Пруссии и Польше. А опричь того — и в переставших быть "заграницей" совсем недавно Эстонии с Литвой и на Карельском перешейке, до 1940 года принадлежавшем Финляндии»... «Что касается Пруссии и перешейка, они были тогда безлюдны: население ушло вслед за своими войсками. Первое мое впечатление на бывшей финской территории — дом на берегу озера, окруженный двойным рядом колючей проволоки, где содержались пленные, сделавшие на стенах многочисленные надписи... /.../ Я написал об увиденном в армейскую газету. Первое мое напечатанное "произведение"... О попавшем в руки новогоднем номере какого-то финского журнала: «С обложки смотрел солдат с поразившим меня трагически усталым лицом, заставившим подумать, что и "противнику" приходится солоно, а заодно — что подобное изображение наших солдат, не меньших мучеников войны, мне не встречалось»... Впечатления от короткого пребывания в Эстонии — «мрачный шум водопада в разрушенной Нарве и услышанное на одном хуторе: "Зачем вы пришли? Мы вас не звали!"» И еще чуть дальше: «Нашу часть отвели поблизости в одно литовское селение. Там все сильнее и сильнее слышалась артиллерийская канонада: немцы пытались контратаковать. В небольшой деревне ощущалась нарастающая тревога. Я с несколькими товарищами жил в доме неподалеку от костела и однажды услышал за стеной что-то необычное: длинный «монолог» мужского голоса, временами сопровождавшийся вторившими ему женскими, — это ксендз читал молитву, а паства подхватывала... И у меня впервые возникло явственное ощущение иной жизни, другой, неизведанной культуры...»

Наш разговор — о начале войны, о военном поколении и его поэтах, о самом знаменитом литературном герое тех лет — Василии Тёркине и о судьбе его автора — Александра Твардовского, о цене Победы и о памяти...

Наталья ИГРУНОВА: *Вы ведь 24-го года — из тех самых мальчиков, которые ушли на войну со школьного бала.*

Андрей ТУРКОВ: В общем, да, хотя не совсем со школьного бала, потому что я попал на войну летом 41-го года, когда мы еще кончили только 9-й класс и поехали копать противотанковые рвы на Смоленщину. Школу я кончил уже во время войны, и выпускного бала у меня не было.

Н.И.: *Как вы узнали про войну?*

А.Т.: Я накануне был в театре. В дороге страшно промок, возвращаясь. И спал без задних ног. Утром зашла домработница моих родичей, у которых я тогда жил, в мою комнату и сказала: «Андрюша, война». Оказалось, что дяде, Николаю Александровичу Краевскому, крупному патологоанатому, позвонил его учитель, профессор Давидовский: «Коля, включай радио». У них был приемник, и он поймал Гитлера. Так они узнали о войне еще до выступления Молотова. И уже сидела на кухне моя тетка, тоже врач, и писала список вещей, которые она должна взять с собой. Ей предписывалось отправиться под Барановичи. Она не доехала туда — Барановичи были взяты. Вот так я узнал про войну.

Н.И.: *И первое чувство?*

А.Т.: Сейчас уже трудно вспомнить... Но висело это в воздухе. Опровержение 14 июня, что все в порядке, как-то не успокаивало. Я в ополчение не попал, а некоторые мои однокашники попали. Попали в отступление, довольно драматичное... Так это все начиналось.

Н.И.: *А потом вернулись в школу?*

А.Т.: Да, я окончил в 42-м году школу, поступил в Литературный институт — и уже оттуда ушел в армию. Весеннюю сессию сдать не успел — отсрочку на время экзаменов не дали («таких писателей народ — под зад коленом», — сказал военком), так что сдавал их уже после войны.

Н.И.: *Вы же начитанный были молодой человек. О Первой мировой войне к сороковым годам написана большая литература. Воображаемая, представляемая война — и та, которая случилась, они сошлись, или это были совсем разные войны?*

А.Т.: Конечно, разные. Та была война позиционная, ничего похожего на то, что мы получили в 41-м, да и не только мы — французы получили раньше нас. Но все-таки трагедия войны, разрушение и стойкость в то же время людей — это было. Было и страшновато — и одновременно притягательно. Мальчишки есть мальчишки.

Н.И.: *А вообще — чужой опыт, литературный опыт в такой ситуации мог работать? Помочь, подготовить? Или это все-таки вещи умозрительные?*

А.Т.: Нет, не мог. Я думаю, что этот опыт у каждого свой.

Н.И.: *И самые важные книги о Великой Отечественной войне написаны теми, кто ее прошел.*

А.Т.: Да. Не только нашим поколением, но и теми, кто постарше.

Н.И.: *Я недавно нашла, разбирая старые газетные вырезки, интервью Вячеслава Леонидовича Кондратьева 91-го года — к 50-летию начала войны. Ему задают вопрос про подвиги, и он говорит, что народным подвигом была вся война, уже само нахождение на передовой, первый шаг на поле боя. Причем будни войны — подвиг, возможно, больший, чем когда солдат бросался с гранатой на танк, там — эмоциональный всплеск, какие-то мгновения, секунды, а будни — это «дни и ночи, кровавые и беспробудные», постоянное нечеловеческое напряжение, выдерживать которое было невероятно трудно, а освободить могли только смерть или ранение. Он говорит — люди порой сходили с ума, были случаи самоубийства, вспоминает, что и себя ловил на мысли: не лучше ли пулю в лоб, чтоб отлучиться...*

А.Т.: У Серёжи Орлова, который выбрался из пылавшего танка полуослепшим и дополз до своих по гусеничному следу и которого многие любители поэзии помнят по стихотворению «Его зарыли в шар земной», где-то мелькает такое замечательное

четверостишие: «Год мы этот город штурмом брали. / Над болотом с чёрною водой / Танки шли, горели, догорали, / Столбики вставали со звездой». Он рассказывал, что когда-то ехал на электричке через те места, где воевал, и оказалось, расстояние, которое они шли год, электричка пролетела за считанные минуты.

Н.И.: *Можно представить, что он почувствовал... И у Твардовского это тоже есть — это напряжение, сверхчеловеческое усилие и преодоление — и, может быть, самая вершина этого преодоления — поединок со смертью в «Тёркине».*

А.Т.: Конечно. Возвращаясь к тому, что Кондратьев пишет о буднях войны. Помните — отдых Тёркина, как ему вдруг подфартило, чтобы он попал на неделю в дом отдыха на войне. И как он там не может места себе найти, потому что вспоминает, что такое война. Вот он почти засыпает, «ровно, сладко дышит грудь, / Ах, как холодно в дороге, / У объезда где-нибудь, / Как прохватывает ветер, / Как луна теплом бедна, / Ах, как трудно всё на свете — / служба, жизнь, зима, война...»

Н.И.: *Вообще говоря — целая философия.*

А.Т.: Философия, да.

Н.И.: *Андрей Михайлович, а для вас это главный писатель жизни?*

А.Т.: Я всегда повторяю, что меня хлебом не корми, дай поговорить о Твардовском. Но я совсем не хочу сказать, что не ценю остальных. Если говорить о поэтах военного поколения — это Юлия Друнина, Костя Ваншенкин, Давид Самойлов, Борис Слуцкий, Юрий Левитанский, Булат Окуджава...

Н.И.: *...Межиров, Симонов, Сергей Орлов... Михаил Исаковский — не воевавший, но так точно почувствовавший боль утраты...*

А.Т.: Я прекрасно помню — хоть я еще на студенческой скамье, — у нас появляется человек из госпиталя, раненый, с палочкой еще, и читает нам стихотворение «Перед атакой». Семен Гудзенко. Это одно из сильнейших стихотворений о войне: «Разрыв! — И умирает друг. / И, значит, смерть проходит мимо. / Сейчас настанет мой черед, / за мной одним идет охота. / Будь проклят, сорок первый год / и вмёрзшая в снега пехота!»

Н.И.: *Интересно, а как это удалось опубликовать?*

А.Т.: Очень трудно проходило — строчку-проклятие всячески старались вымарать. Да что говорить об этих стихах, когда в знаменитой, сразу же пришедшейся по душе тысячам людей песне Суркова «Бьётся в тесной печурке огонь» цензоры хотели убрать «до тебя мне дойти нелегко, а до смерти четыре шага». Теперь, когда опубликована переписка Твардовского с женой, известно, как продирались через редактуру хрестоматийные сегодня главы «Тёркина». Был момент, когда секретарь ЦК ВКП(б) Щербаков, назначенный во время войны еще и начальником Главного политуправления Красной Армии, вообще сказал — хватит, безумно растянуто, главы, главы, главы, сколько можно. Однако когда пришла Победа, Твардовский получил телеграмму чуть ли не из «Правды»: шлите главу о Тёркине на Параде Победы на Красной площади. Он очень презрительно к этому отнесся, ничего не стал писать.

Н.И.: *Мне кажется, в стихах тех лет было больше правды о той войне, о человеке на войне — больше, чем в тогдашней прозе и даже чем в публицистике. Понятно, что тут были и «привходящие» причины, но тем не менее: то, к чему только в семидесятые-восьмидесятые, а кто и в девяностые, начали подступаться Василь Быков, Астафьев, тот же Кондратьев, еще во время войны, в сорок четвертом проговорил в «Балладе о расстрелянном сердце» Николай Панченко:*

Я сотни вёрст войной протопал.
С винтовкой пил.
С винтовкой спал.
Спущу курок — и пуля в штопор,
и кто-то замертво упал.
А я тряхну кудрявым чубом.
Иду, подковками звеня.

И так владею этим чудом,
что нет управы на меня.
<...> — Убей его! —
и убиваю,
хожу, подковками звеня.
Я знаю: сердцем убиваю.
Нет вовсе сердца у меня.

И дальше: «Куплю плацкарт/ и скорым — к маме,/ к какой-нибудь несчастной Мане,/ вдове, обманутой жене:/ — Подайте сердца!/ Мне хоть малость!..» Хочется цитировать подряд.

А.Т.: «— Подайте сердца инвалиду!/ Я землю спас, отвел беду. — / Я с просьбой этой, как с молитвой, / живым распятием иду»... Совершенно удивительное стихотворение, сигнал тревоги, предупреждение, голос боли... Ему цены нет.

Я еще очень люблю стихотворение человека, с которым при жизни часто спорил, — «О главном» Сергея Наровчатова. Оно вмещает в себя очень многое.

Н.И.: *«Не будет ничего тошнее, / Живи еще хоть сотню лет, / Чем эта мокрая траншея, / Чем этот серенький рассвет»?*..

А.Т.: Да, это:

...Стою в намокшей плащ-палатке,
Надвинув каску на глаза,
Ругая всласть и без оглядки
Всё то, что можно и нельзя.

Сегодня лопнуло терпенье,
Осточертел проклятый дождь, —
Пока поднимут в наступленье,
До ручки, кажется, дойдёшь.

Ведь как-никак мы в сорок пятом,
Победа — вот она! Видна!

Выходит срок служить солдатам,
А лишь окончится война,

Тогда — то, главное, случится!..
И мне, мальчишке, невдомёк,
Что ничего не приключится,
Чего б я лучше делать смог.

Что ни главнее, ни важнее
Я не увижу в сотню лет,
Чем эта мокрая траншея,
Чем этот серенький рассвет.

По-моему, одно из самых прекрасных стихотворений о войне. В нем правда о поколении — для многих война оказалась не только пиком судьбы, но самым главным переживанием в жизни.

Н.И.: *У Слуцкого много об этом — помните: «А в общем, ничего, кроме войны...»*

А.Т.: И у него же горькие строки о том, что, вернувшись с войны, мы поняли, что никому не нужны.

Н.И.: *Это «мы» — оно ведь и ваше: в своей книге «Что было на веку...» вы вспоминаете лето 1945 года — процитируем для читателей: «Госпиталь в приволжском Камышине. Постепенно выздоравливаешь, приноравливаешься к своему новому положению, и горечь увечья, температурные вспышки, невзрачность обстановки (по ночам в палату заходят крысы, могут и днем повстречаться тебе в каком-нибудь укромном уголке), — все перекрывается ощущением возвращения к жизни, да еще отныне — мирной, ее обещаниями, ее дразнящими воображение маревами будущего...» Когда же в июле вы приехали из госпиталя в Москву, ваша мама находилась в заключении. Вдобавок оказалось, что вам, как и другим студентам, пришедшим с фронта, в Литинститут придется поступать заново.*

Сразу же вспоминается повесть Елены Ржевской «Домашний очаг», написанная через 60 лет после войны, — о возвращении домой. Она вернулась с войны, а мама днем раньше вернулась из дома отдыха. Первый мамин вопрос: «Насовсем?» — и чуть ли не следом упрек: ты виновата, не вмешалась — отец с войны вернулся, но ушел из семьи. Мгновенное ощущение: «почужавшая» комната, «почужавшие» люди, впереди — испытание жизнью без войны. Эта жизнь худо-бедно текла, продолжался ее круговорот, а для вас, воевавших, она была разорвана, взорвана, и понять, каково это, трудно даже самым родным людям, даже маме.

А.Т.: И тут важно, что Ржевская — это псевдоним. Пусть она, военный переводчик, была не на самой передовой подо Ржевом — но все равнохватила достаточно. И как раз для нее это было тем самым главным жизненным переживанием.

Н.И.: *Так ведь и для Кондратьева точно так же было. И у Твардовского одно из самых мощных стихотворений — «Я убит подо Ржевом»... Андрей Михайлович, а у кого точнее всего о начале войны?*

А.Т.: Трудно вот так сразу сказать...

Н.И.: *Я всегда думаю про «Усвятские шлемоносцы» Евгения Носова. Помните, самые последние строчки — предчувствие трагедии — когда в вышине, «в недостижимом одиночестве» кружит над этими уходящими на войну такими живыми, теплыми, земными мужиками курганный орел, похожий на распростертую черную рубаху.*

А.Т.: Замечательная повесть. Замечательная. Вот это ощущение двойное: надвигавшаяся внезапно беда — и потом проскальзывающая мысль, что все равно одолеем, когда представляешь вдруг капли, сливающиеся из разных деревень в поток (это образ Носова. — Н.И.), хотя, конечно, многие из этих людей погибнут, но ощущение силы, мощи, веры удивительно точно переданы. И память о шлемоносцах и прошлом... И понимание, что все это очень дорого стоит — Носов ведь один из жесточайших писателей.

Н.И.: *Но сколько у него щемящей тоски расставания, сколько сдержанной любви — и в «Усвятских шлемоносцах», и в рассказах о войне — «Шопен, соната номер два», «Красное вино победы».*

А.Т.: В отличие от последнего романа Виктора Астафьева. У нас с вами был общий знакомый, даже можно, наверное, сказать друг, очень талантливый критик Игорь Дедков, человек более молодого поколения, чем я, так вот он последний астафьевский жестокий роман «Прокляты и убиты», его первую часть (я не помню, дожил ли он до выхода второй части) не принял, считал слишком мрачным и напоминающим «Очерки бурсы» Помяловского.

Н.И.: *Игорь Александрович по нашей просьбе взялся писать о романе Астафьева, и этот его разросшийся в серьёзное исследование отклик был впервые опубликован в «Дружбе народов». А для меня самая сильная вещь Астафьева о войне — рассказ «Ясным ли днём». Его держит интонация сочувствия: и к этому безногому фронтовику, и к пьяненькому новобранцу, и к его девочке — и такая печаль, что, когда читаешь, ком в горле.*

А.Т.: Это прекрасный рассказ, почти акварельный отголосок войны, но пронзительный.

Н.И.: *А главные — опять у нас это слово всплывает, но точнее не подберу — книги о войне для вас какие?*

А.Т.: Наверное, самая главная книга о войне для меня «Василий Тёркин» Твардовского. Он мне попал в руки в армии, в начале 43-го, где-то под Калугой — уже отдельной книжечкой, но еще неполный. Причем, когда я его впервые прочитал, воспринимающий аппарат мой еще не был способен это воспринять: «Переправа, переправа! / Берег левый, берег правый, / Снег шершавый, кромка льда... / Кому память, кому слава, / Кому тёмная вода, — / Ни приметы, ни следа...» Очень сильное впечатление осталось от стихов более поздних — «Я убит подо Ржевом», «В тот день, когда окончилась война» — и от того, что Твардовского уже тогда клевали, подхватив его же выражение «жестокая память». Дескать, из-за этой памяти отодвигается на задний план сегодняшний день.

Н.И.: *Воспользуюсь вашим наблюдением о воспринимающем аппарате. Одно из первых моих детских воспоминаний — лето, воскресенье, мы с родителями едем в лес за грибами, и папа, тогда тридцатилетний, редактор областной молодежи, держит в руках газету и восторженно читает вслух стихи. Я люблю стихи, люблю, как папа читает, меня подхватывает летящий ритм... Я, конечно, не понимаю, почему смеются и чему изумляются взрослые. Не понимаю — но запоминаю на всю жизнь как большое хорошее событие. И фамилию героя стихов запоминаю — Тёркин.*

А.Т.: Это, наверное, шестьдесят третий год?

Н.И.: *Август шестьдесят третьего, газета — «Известия», а «стихи» — поэма Твардовского «Тёркин на том свете». Ровно через двадцать лет после вашего знакомства с Тёркиным.*

А.Т.: Это действительно было событие. У Твардовского в дневнике есть запись тех дней, что появление поэмы всем представляется невероятным, исключительным и сам он готов ущипнуть себя — не сон ли?

Н.И.: *А ваша первая встреча с Твардовским — когда и какая?*

А.Т.: Как мы познакомились, честно говоря, не помню. Первое отчетливое

воспоминание: 1951 год, Твардовский уже редактор «Нового мира», в «Правде» — разнос одной из статей, напечатанных в журнале. По канону тех лет после этого полагалось обсуждение, «проработка», покаянные речи. Отвратительно выступил Катаев: он, де, как член «новомирской» редколлегии не снимает с себя вины, но, будучи молодым коммунистом, заслуживает снисхождения — и тут же выдал легкий донос: главный виновник — Твардовский, который публикацию разрешил. Твардовский, как и все до него, признал «идейную ошибку», произнес какие-то принятые формулировки. И вдруг резко вскидывает взгляд и говорит: мы не собираемся посыпать голову пеплом. Меня это поразило. Характер, человек были сразу видны.

Н.И.: *Мало кто перечитывает книжки, которые когда-то проходили на уроках литературы. Особенно стихи. Тем более, если их заставляли заучивать наизусть. «Бой идет святой и правый,/ Смертный бой не ради славы,/ Ради жизни на земле». Образ Твардовского, вынесенный из школьной программы, думаю, у всех примерно такой: автор «Василия Тёркина», мэтр советской поэзии, редактор «главного» литературного журнала, лауреат всевозможных премий — от Сталинской до Ленинской...*

А.Т.: ...этакий баловень судьбы и безоблачный поэт. На самом деле этот «счастливчик» был весь в рубцах и шрамах! Будучи совсем молодым поэтом, объявлен «кулацким подголоском», негодовали, почему это его вместе с раскулаченной семьей не выслали. В 37-м едва избежал ареста. О том, с каким трудом выходил «Тёркин», я уже сказал. Очерки «Родина и чужбина» подверглись разносной критике в печати, и публикация была прервана. Поэма «Тёркин на том свете» была под запретом девять лет, а «По праву памяти» — семнадцать, при жизни автора не публиковалась. Наконец, Твардовского дважды вынуждали покинуть журнал «Новый мир». Такой вот послужной список... По-моему, это большая фигура в литературе, замечательный поэт, совершенно недооцененный, и крупная личность, замечательный человек. Возможно, слишком строг и суров — но при этом обаяние крупной личности, ума, таланта, честности, совести... Совесть — это одна из ключевых черт его характера, совесть — одна из ключевых тем его творчества. Это явление, о котором *интересно* говорить.

Н.И.: *Причем, явление, отнюдь не законсервированное в своем времени.*

А.Т.: Безусловно. Вот мы сейчас спорим о роли Сталина в войне, о том, как к нему тогда относились солдаты. Тот же «Тёркин» так трудно пробивался в печать, потому что там нет ни Сталина, ни Ленина, и о партии не слышно. Представьте: конец августа—начало сентября 42-го года, немецкие танки у Сталинграда. Только что вышел знаменитый сталинский приказ «Ни шагу назад!», где говорилось, что армия отступает, покрыв свои знамена позором, и записана формулировка «преступление перед Родиной». И в этот момент публикуются первые главы поэмы. Они об отступлении 41-го года, но очевидно переключаются с тем, что происходит вокруг: «Шёл наш брат, худой, голодный,/ Потерявший связь и часть,/ Шёл поротно и повзводно,/ И компаний свободной,/ И один, как перст, подчас./ Шёл он, серый, бородатый./ И, цепляясь за порог,/ Заходил в любую хату,/ Словно чем-то виноватый/ Перед ней./ А что он мог!» Герой — и одновременно мученик войны. Это было неслыханно, такого солдаты тогда о себе не читали.

Н.И.: *Вдобавок сказано так просто и искренне.*

А.Т.: Абсолютно. В начале войны он написал письмо, по-моему, это письмо жене, и там такая мысль была: мы (т.е. корреспонденты) подъезжаем к тем окопчикам и ямочкам, где люди на передовой, мы наскоро их расспрашиваем, вздрагивая от далекого разрыва мины, и уезжаем, провожаемые незабываемыми взглядами этих людей. Вот эта совесть ему «Тёркина» и продиктовала. Потом — глава о переправе. Картин гибели у нас в литературе и в печати тоже практически не было. А тут «люди тёплые, живые, шли на дно, на дно, на дно»... Ахматова соизволила сказать — как записала Лидия Корнеевна Чуковская: «Тёркин»? — ну что ж, в войну бывают нужны веселенькие стишки. За «веселенькими стишками» не разглядела большого трагического поэта. Если же говорить о главе «Смерть и воин» — я вообще считаю, что такие строки в мировой поэзии — наперечет.

Еще один переключаящийся с сегодняшним днем сюжет. До войны слово «русский» было как-то не в почете. Бытовало — «советский». И вдруг «русский»

амнистируется. И не только амнистируется, а начинает выпячиваться как таран. И Твардовский в одном из писем жене замечает: ты обратила внимание на ремарку в пьесе «Русские люди» Симонова? На сцене русская печь, в углу — киот с иконами, недостает только написать — русская баба печет русские блины и русский мужик ест их, запивая русской водкой и по-русски матерясь. Абсолютно точно уловил пережим. Твардовскому, и об этом тоже есть письменное свидетельство — дневниковая запись, важно, чтобы в его поэме было *лучшее воюющих людей, национальное без нажима*. Сейчас бытует точка зрения, что патриотизм — это возвеличивание своей нации. Здравствуй! Тогда что такое шовинизм?.. А здесь такой абсолютный, я бы сказал, толстовский такт, когда он говорит, что есть чувство стыдливое, но лежащее в глубине в каждой русской душе, говорит о скрытой теплоте патриотизма. И вот эта скрытая теплота есть у Твардовского.

Я вам рассказывал, как меня пригласили на очередную конференцию о роли литературы о Великой Отечественной войне в деле воспитания и т.д.? Пригласили и, не долго думая, назвали мое выступление так: «Воспитательный потенциал поэзии Твардовского о Великой Отечественной войне в восприятии молодых людей XXI века». Я говорю: дорогие мои, это для меня вопрос — как они воспринимают. Наташ, они разговаривают так: «в плане понимания патриотизма». (*Смеется*) В том же письме Твардовского к Марии Илларионовне, о котором мы говорили, есть фраза: такое получается, когда сущность заменяют названием. Вот у нас так получается с воспитанием патриотизма. «Великая отечественная война как идейный стержень воспоминаний...» От «идейного стержня» уже нехорошо становится. А дети?! Вот тут-то и начинается то самое — «если слушать захотят». Не захотят они это слушать.

Н.И.: *А такие высокие слова типа «патриотизм» — из лексикона Твардовского?*

А.Т.: Думаю, что нет. Нет. Думаю, если полистать, а уж тем более по частотному словарю брать, вообще минимум. Навскидку я вообще не вспомню, чтобы они у него звучали. Хотя он весь на этом замешен — «Мать-земля моя родная,/ сторона моя лесная,/ край, страдающий в плену»... И опять к разговору о совестливости: «Мать-земля моя родная.../ ты прости, за что — не знаю,/ Только ты прости меня»... Это Тёркин говорит — но, конечно, не только Тёркин.

Тёркин горазд на бойкое слово, но не на гражданские декларации. Когда проносится слух о его смерти, кто-то рассказывает, если хотите, по трафарету, как это происходило, и там есть такие строчки: «Говорил насчет победы,/ Мол, вперед. Примерно так»... Такое ощущение, что он сомневается, что-то не то, что-то фальшивое. Кто-то там возражает, дополняет: «Жаль, — сказал, — что до обеда/ Я убитый, натошак». Все понимают, что, если он умер, то не с пафосными словами, не «За Родину, за Сталина!», а вот именно так, с шуткой уходя.

Твардовский справедливо гордился тем, что нет в мировой литературе другого опыта, чтобы литературное произведение рождалось, сопровождаемое потоком читательских писем. И каких! Я уж не говорю, что ему пишут: каждое появление новой главы — это для нас праздник. Проходит время, уже давно кончилась война, уже идет к концу жизнь самого Александра Трифоновича и в 69-м году, по-моему, за месяц до его снятия с редакторского поста, он получает письмо без точек и запятых. Я его почти наизусть помню. «Дорогой мой Александр Трифонович Я солдат прошел всю Отечественную Читаю ваши произведения Люблю вас как душу свою». Это четверть века спустя! Он вклеивает это в рабочую тетрадь — можно понять, с каким чувством. И ведь не единичный случай. В это же время кто-то ему пишет: как жалко, я вот вам раньше не написал, что в 45-м Тёркин нам очень помог, — и подписывается: «солдат из роты Тёркина». Вот ощущение действительно всенародной любви.

Н.И.: *То, что вы рассказываете, еще раз подтверждает, что Твардовский — вполне в традиции русской литературы — воспринимал писательство как общественное служение. Тип писателя, определявший историю нашей литературы и на глазах исчезающий, можно сказать — вымирающий. Более того — многими критиками и самими писателями объявленный изжившим себя.*

А.Т.: Я считаю, что это один из губительных перекосов. Говорят: наконец-то

литература стала заниматься своим делом. То есть только собой. Огромная ошибка. В «Новом мире» Твардовского было ведь собственно говоря две главных темы: деревня и война. В первые послевоенные годы — Казакевич и Гроссман, потом — Василь Быков. Константин Воробьев, который, как и Овечкин с «Районными буднями», обошел со своими «Убиты под Москвой» все редакции, пока не принес рукопись в «Новый мир». Получил телеграмму от Твардовского, приехал. Твардовский ему сказал — будем печатать, вы сказали несколько новых слов о войне. И Воробьев вспоминал, что он не удержался и заплакал. Твардовскому столько людей обязаны. Я уж не говорю про читателей, которые обязаны ему бесконечно.

Н.И.: *Но в постсоветское время распространилась точка зрения, что поэт в России должен быть просто поэтом, что литература должна перестать быть философией, религией, кафедрой, а решать свои цеховые, ремесленные и творческие задачи. И за очерченную площадку не высовываться.*

А.Т.: Никто не просил «высовываться» ни Короленко, ни Эмиля Золя со своим «Я обвиняю!». У нынешних литераторов есть поводы, чтобы написать своё «Я обвиняю!», но они их не используют, по-видимому, уже принципиально.

В 1954-м, в начале «оттепели» Александр Трифонович очень надеялся, что сумеет напечатать «Тёркина на том свете». Устроил встречу с теми, кто назывался скучным словом «актив» журнала. Все были в полном восторге. Один Асеев высказал опасения, что у поэмы будет трудная судьба. Впоследствии или Лакшин, или Кондратович, не помню, написал, что когда Асеев слушал поэму, бросил две реплики — сначала он пробормотал: интересно, оторвут ему за это голову или нет, а когда пошло обсуждение, сказал, что насчет того света все совершенно справедливо — я на нем уже давно живу.

Н.И.: *То есть услышал именно то, что и было написано.*

А.Т.: Абсолютно. Конечно же, напечатать не удалось, начался настоящий погром. И когда Твардовского окончательно допекли, он прямо сказал, что для него эта поэма — суд над бюрократией и аппаратчиной. (Согласитесь — тоже вполне себе современная тема.) Вот против чего и кого он выступал, еще, может быть, до конца не понимая, что они-то и определяют суть сложившейся системы. Но чем дальше, тем больше понимал. Говорил, что литература XIX века была свободней, мы подчинены своей религии — «самой передовой теории». В дневниках есть запись по поводу ленинской фразы о том, что Россия выстрадала марксизм: горько думать, что она прожила еще 45 лет (с момента произнесения этой фразы) отнюдь не единственно верной практики.

Н.И.: *Это было разочарование именно в системе?*

А.Т.: Да. Сказать, что он разочаровался в социализме, — нельзя.

Это противостояние стоило ему поста главного редактора. А вскоре появилось стихотворение, которое заканчивалось так: «Еще и впредь мне будет трудно, но чтобы страшно — никогда».

Н.И.: *Можно ли после этого сказать, что Твардовский был советский писатель?*

А.Т.: Он был абсолютно советский писатель. Это человек, которого родила революция, «дитя» комсомола, со всем его энтузиазмом, со всей наивностью, со всеми заблуждениями тех лет. «Я счастлив тем, что я оттуда, /Из той зимы,/ Из той избы./ И счастлив тем, что я не чудо /Особой, избранной судьбы», — он оттуда, из деревни 20-х годов, из деревни, которая «поднята». И тут как раз корни его разлада с отцом. Для его отца НЭП — возможность рвануться к большому достатку. А для него НЭП и вообще советская власть — это возможность рвануться к культуре. Отец их тоже приобщал к культуре. От отца у него любовь к чтению, отец им впервые читал Пушкина, подарил ему том Некрасова. Но отец не думал, что заронит такую любовь к литературе, которая оторвет от него сына. Твардовский был готов пытаться понять даже коллективизацию — я, мол, еще не дорос. И очень долго это в нем было. Хотя в 30-е годы, как я уже сказал, он ходил в «кулацких подголосках», а в 37-м действительно был просто на краю ареста.

Н.И.: *После высылки отца?*

А.Т.: Не только. У него были рьяные противники в писательской организации смоленской, который находили не ту линию даже в «Стране Муравии». Эта поэма у нас трактуется как абсолютное поощрение коллективизации: рассказ об эдаком недотепе — уже всем ясно, как необходимы колхозы, а этот последний дурак бродит один. Но Моргунок вовсе не был исключением. И поэма гораздо сложнее, она о судьбе крестьянства, о нежелании идти в колхоз. Там были строчки, которые Твардовский никогда не смог напечатать: «Дома гниют, дворы гниют, /по крышам галки гнёзда выют, /зарос хозяйский след. / Кто сам сбежал, кого свезли, / как говорят, на край земли, / где и земли-то нет». Это в черновиках осталось, но звук этот — существовал в поэме. Тем не менее в конце 30-х он еще верил, что в деревне все образуется, что есть какие-то колхозы, где живется лучше. Его называли «певец колхозной нови». А потом... Он многое понял уже на Финской войне, трагедию которой очень тяжело пережил. Сказал как-то: «На этой войне Суворова не нашлось». Бездарная война, с огромными потерями, которые мы до сих пор скрываем. После Отечественной войны «песни» как отрезало, если появляются стихи о деревне, то тоже очень трагичные. Кстати, он числил за собой долг, что не написал о послевоенной деревне. Хотя в поэме «За далью — даль» уже было видно, как у него все это болит. Твардовский видел, что происходило. Мучительно расставался с верой в Сталина. Помимо всего прочего, у него ведь были Сталинские премии, и за «Тёркина», и за «Дом у дороги», «Страну Муравию» могли разгромить, но товарищу Сталину она понравилась... Я своими ушами от него слышал: я был сталинистом, хотя и не дубовым. Он признавался, что, когда началась антикультовая полоса, сначала сопротивлялся. Это тоже характерно: он не был человеком, который — раз! — и повернулся на 180 градусов. Он хотел *сам* это все прочувствовать. Между прочим, веру в Ленина и любовь к нему он пронес до конца.

Н.И.: *Так ведь это характерные, поколенческие вещи.*

А.Т.: Безусловно. Все мы через это прошли. Восстановление ленинских норм — это именно мечта прорваться через Сталина, оппозиция Сталину. Будучи редактором «Нового мира», Твардовский читал огромное количество материалов. В статье историка Михаила Гелфтера он зацепился за фразу Маркса, где было словечко «самоизменение». И применил его к себе. Это и впрямь для него были долгие годы самоизменения. Запись в дневнике: для него, депутата Верховного Совета, каждый прием, на который приходят люди со своими бедами, — мука, потому что он почти ничего реально сделать не может. Более поздняя запись, уже после окончательного ухода из журнала: а есть ли у нас советская власть?

Н.И.: *Андрей Михайлович, а с чем он связывал надежды?*

А.Т.: Надежды?.. Огромная надежда после XX съезда. Огромная. Он считал, что своим «Новым миром», как танк, входит в прорыв, чтобы «оттепель» в настоящую весну превратилась. А потом — горькая запись последних лет: мы-то думали, что все всерьез, а это была езда с ограничителями. Он, конечно, в чем-то был наивен. Уговаривал Хрущёва отменить цензуру.

Н.И.: *Может быть, в Твардовском не было какой-то предвзятости в отношении к Хрущёву, потому что в нем — хотя бы в силу происхождения — не было снобизма.*

А.Т.: Бесспорно, они вполне могли найти общий язык. При этом для Хрущёва Твардовский — примерно как Демьян Бедный. Вот он такой полезный, да еще и милый.

Н.И.: *Я, когда готовилась к нашему разговору, вдруг поняла — он прожил-то всего шестьдесят.*

А.Т.: Да, шестьдесят один год.

Н.И.: *Умер в 1970-м. Пятнадцать лет — и перестройка. К чему он шел и к чему бы пришел?*

А.Т.: Шел к полному разочарованию в «реальном социализме» — был такой термин в те годы. Страшное разочарование — Чехословакия. «Что делать нам с тобой, моя присяга, / Где взять слова, чтоб рассказать о том, / Как в сорок пятом нас встречала Прага / И как встречает в шестьдесят восьмом», — это стихи из дневника тех дней. Рядом запись: слушал радио, пил, плакал. Он бы тяжело пережил конец советской власти, думаю я. Потому что все-таки социалистическая идея сидела в нем крепко.

И для него то, как все перевернулось, состояние нынешней деревни — это была бы уже новая катастрофа. То, что у нас деньги становятся главным. То, что слово «амбициозный» получает исключительно положительный оттенок. На другом был замешен. Слово «совок» вывело бы из себя. «Совки» лежат в безымянных могилах...

Н.И.: *В последние годы часто сетуют на отсутствие в России гражданского общества. При этом ссылаются на психологию людей, воспитанных в Советском Союзе, где, дескать, априори такового быть не могло. Но оглядываешься хотя бы на то, что называлось тогда литературно-общественной жизнью, и начинаешь понимать, что «гражданское сознание», «гражданский долг» и «гражданственный поступок» не были тогда для очень большого числа людей пустыми словами.*

А.Т.: Совершенно верно.

Н.И.: *Вспомнить, как северные реки не дали повернуть, как боролись Распутин, Залыгин, Белов, Астафьев, Бондарев — и не только они, — защищая Байкал и усадьбы Толстого и Островского от выбросов химкомбинатов, как хоронили Пастернака и того же Твардовского, сколько коллективных писем было подписано в защиту диссидентов, сколько личных писем отправлено на самый верх, чтобы своим авторитетом поддержать кого-то попавшего в беду или в опалу.*

А.Т.: Сколько таких писем Твардовский написал... Это не говоря уж о том, сколько жизни он положил, чтобы до читателей, до того самого общества дошли Виктор Некрасов, Овечкин, Солженицын, Абрамов, Василь Быков, Домбровский — то есть правда о временах сталинского террора, о войне и положении деревни...

Н.И.: *Для меня было неожиданностью, что Твардовский написал письмо в защиту Иосифа Бродского.*

А.Т.: Заметьте: будучи совсем другого типа поэтом.

Н.И.: *Да, есть коротенькая запись у Лидии Корнеевны Чуковской, как Бродский после ссылки пришел в «Новый мир» со стихами, и Твардовский их не взял, сказав — то, что вам пережито, в стихах не отразилось. Но при этом пригласил домой — поговорить.*

А.Т.: Очень на него похоже.

Н.И.: *Бродский, что тоже характерно, отказался.*

А.Т.: Ну конечно они говорили на разных языках. Бродский когда-то сказал, что наш читатель воспитан на «Жди меня», сурковской «Землянке» и на плясовой «Тёркина». Что же до стихов Бродского — Твардовский их, может быть, недостаточно оценил потому, что отзвука в этом пласте литературы у него не было. Да, у него были свои вкусовые пристрастия. И ошибки, как и у всех.

Н.И.: *А признавать ошибки он умел?*

А.Т.: Виктор Некрасов, которого Твардовский некогда открыл, писал, что видел его разного, иногда — с побелевшими от ярости глазами, но никто не умел так признавать свою неправоту. И возражал тем, кто утверждал, что Твардовский не любил поэтов — не поэтов он не любил, а бездарей, посредственностей в поэзии.

60-е годы. Он не очень-то добро относится к молодым — не в его духе. В журнале пытаются затеять дискуссию о поэзии. Твардовскому кажется, что слишком часто мелькает фамилия Евушенко. Устроил сотруднику разнос, потом взял книжку «Яблоко», прочел — парень действительно способный. И дальше что происходит. Печатают он Евушенко редко, часто ругает. Сам Евушенко где-то пишет, что плакал от его критики. Но вместе с тем Твардовский предлагает его сборник в серию «Библиотека советской поэзии».

Натыкаешься в «Рабочих тетрадах» на запись — вернулся в «огромность квартиры». Цитата, в кавычках, а потом — и без!

Н.И.: *Пастернак?*

А.Т.: Пастернак — «Мне хочется домой, в огромность/ квартиры, наводящей грусть...» Хотя при этом, когда, кажется, Костя Ваншенкин посетовал, что не был знаком с Пастернаком, Твардовский высокомерно заметил: «Не много потеряли». Во время печально знаменитой истории с «Живаго» он скрепя сердце присоединился к коммюнике предыдущей — Симонова, Кривицкого и т.д. — редакции «Нового мира», что роман не подлежит публикации, но когда Пастернак умер, пытался добиться,

чтобы его по-человечески похоронили, следы этого есть в дневниках. Но ничего не вышло, конечно. Прочитав литературные записи разговоров с Пастернаком, замечает в дневнике: какой несчастный человек, интересный человек. Все-таки при определенной жесткости в характере он был открыт.

Н.И.: *Бродский, описывая Соломону Волкову встречу с Твардовским, говорит, что он был похож на директора завода, то есть обозначает типаж большого чиновника — хоть и от литературы. Это действительно в нем чувствовалось? Какой он вообще был в общении? Цену себе знал? Прямой или с двойным дном был человек?*

А.Т.: Никакого двойного дна не было. А цену себе очень даже знал, это бесспорно.

Н.И.: *Это как поэт.*

А.Т.: Да и вообще как личность. Характер был трудный.

Н.И.: *Трудный — для подчиненных, для близких, для себя?*

А.Т.: И для себя, и для близких — тем более, что была известная русская слабость, и он это очень трагически переживал. Он мог установить дистанцию в общении. В 41-м году весной он встретился в Ялте в Доме творчества с Вениамином Каверины. Каверин оставил интересные воспоминания об этой встрече. Что он был красив, что было видно, как он безумно любит литературу и ответственно к ней относится, можно назвать его гордецом, но это потому, что он не терпит людей, которые видят в литературе способ добывания средств, этих людей от него относил как ветром. И это было.

Н.И.: *А за что его не любили?*

А.Т.: Твардовского? За гордыню. Считали, что он слишком горд. За резкость в оценках. Замечательная запись у Симонова в воспоминаниях о поре понижения оценок: когда преувеличенно хвалишь то, что похвалы недостойно, — и вдруг ловишь краем глаза укоризненный, угрюмый, печальный взгляд Твардовского. А резкости были такие. Выставляются на премию некие стихи. И Твардовский говорит на обсуждении: я такие стихи тельца могу научить писать. Представляете — простить такое?!

Н.И.: *Он был верующий человек?*

А.Т.: Вы знаете, вот как относительно Чехова до сих пор идут об этом споры, точно так же и с Твардовским. Изумленная запись Симонова где-то в дневнике, что Твардовский знает Новый Завет. Похоже на правду. Возможно, это шло из детства, от семьи. Но он никогда об этом не говорил. Звук уважения к религии — есть. Рассказывают, что он посмотрел фильм Пазолини о Христе и, хотя это фильм не его по стилю, был очень взволнован.

Н.И.: *Западная культура интересовала?*

А.Т.: А знаете, кто один из его любимых писателей? Томас Манн. Я помню, как он брал у Соломона Константиновича Апта еще не напечатанный перевод «Иосифа и его братьев». В дневниках постоянные записи, что одно из самых сильных впечатлений — та или иная статья Манна. Или вот запись в дневнике в конце жизни — стал читать «Хронику Карла IX» Мериме и ругает себя безумно, что не знал ничего этого раньше. Еще одна запись: читает Лакснеса — эта хуторская его поэзия, как я ее понимаю. Упоминает о сучках в потолке. За этим стоит какая-то поэзия воспоминаний — и все это ушло с ним. Не успел рассказать.

Н.И.: *Так вообще ведь ушла, уходит вся эта жизнь. Этого опыта уже почти ни у кого не осталось.*

А.Т.: Он все время вспоминал про их уже исчезнувший с лица земли хутор и говорил, что с этим кусочком земли связано все самое дорогое и главное. Для него это был кусок Мира. Он удивительно чувствовал природу. Опять же в дневниках — какие-то и очень сочувственные, и горькие слова, что он живет на даче и наблюдает — вот такая полоса осени, вот другая, и какое счастье все это видеть, и вдруг такая мысль: а сколько людей этого лишены. Кто бы об этом вспомнил! Простите меня, Пришвину никогда такое и в голову не приходило — восторгается сам. А этот опрокинул сразу на других.

Н.И.: *Одной поэзии ему для самореализации не хватало? Нужно было еще какое-то дело — вот, журнал.*

А.Т.: Это совершенно бесспорно. Когда уже шли последние месяцы существова-

ния его журнала, во время какого-то редакционного разговора он сказал, что считает период «Нового мира» в своей биографии столь же значительным, как период создания «Тёркина». Это важно. Потому что «Тёркин» ведь — «моя отрада, отдых мой и подвиг мой».

В первый приход в «Новый мир» он еще был не так увлечен журналом. Хотя, что значит, увлечен — не увлечен... В 52-м году Валентин Овечкин — кстати, один из тех, кто критиковал «Родину и чужбину» Твардовского и даже замахивался на «Дом у дороги» по поводу отсутствия там колхозной действительности — обошел все редакции со своими «Районными буднями» и везде получил от ворот поворот. И пришел в «Новый мир» уже в полной безнадежности, да еще попал в конце рабочего дня, и уборщица сказала ему — да ты оставь, мол, не потеряется. И он уехал в свой Курск. А через два дня получил телеграмму с вызовом — для подготовки рукописи к печати. Твардовский рассказывал потом, что взял эту рукопись, начал читать в редакции, заинтересовался, читал в машине по дороге на дачу, был так потрясен, что заплакал, на следующий день, не дожидаясь Москвы, где-то по дороге остановился и дал телеграмму автору... И ведь он пробил «Районные будни», что в ту пору было поразительно. Алексей Иванович Аджубей, бывший редактор «Известий», который, будучи зятем Хрущёва, хорошо знал политическую кухню той поры, говорил, что, если бы Сталин не умер, «Районные будни» еще бы отпрыгнулись Твардовскому не меньше, чем роман Гроссмана «За правое дело». Это был огромный прорыв.

Н.И.: *То, как Твардовский получил и читал «Один день Ивана Денисовича» Солженицына, — точная рифма к овечкинской истории, но уже из второго периода его редакторства в «Новом мире».*

А.Т.: Да, он вечером начал читать рукопись уже в постели, но понял, что так не почитаешь, оделся, читал всю ночь напролет, утром принялся звонить — где, кто этот автор (рукопись была подписана «А.Рязанский»). Как и с «Районными буднями», он затеял почти безнадежное дело. Но «Один день» был напечатан. И Твардовский совершенно прав, оценивая это как подвиг.

Н.И.: *А вообще Твардовский к людям относился осторожно, приглядывался или обольщался?*

А.Т.: И обольщался, конечно. Было. Ну вот влюбленность в Солженицына. Огромная. И потом — почувствовал, что ответ неадекватен. Что журнал для того в какой-то степени — ступенька. К сожалению, он сам для многих людей был в своей жизни ступенькой.

Н.И.: *Вы не читали переписку Василя Быкова с Твардовским в «Вопросах литературы»? Там есть поразительная вещь — когда Быков не отказался от публикации в «Новом Мире» после отставки Твардовского, тот ему этого не простил (Быков это сам почувствовал) и больше не писал ему никогда. Он-то поддержал Быкова в самый трудный для того момент — знаменитое: «Все минется, а правда останется».*

А.Т.: Печататься или не печататься в «Новом мире» после ухода Твардовского — были разные точки зрения. Для самого Твардовского это, конечно, была боль. У меня возникла личная ситуации такого рода. «Новый мир» заказал мне в этот момент статью к его 60-летию. Я согласился. Через некоторое время узнал, что Александр Трифонович огорчен этим. Я ему позвонил, мы должны были встретиться. Потом он мне позвонил с квартиры Лакшина, где они сидели, чай пили или застолье было, не знаю, спросил, не приеду ли я. У меня с Лакшиным были сложные отношения, я сказал, что не приеду, но для себя вопрос решил и писать не буду. Он сказал — ах, как хорошо, вы знаете, это будет журнал хуже «Октября». Тут уже была какая-то ревность — и в то же время что-то такое детское.

Литература — вещь жестокая. Это нам только кажется, что в XIX веке классики сидели рядом и очень друг друга любили. Но это уже другой сюжет.

Н.И.: *Очень типичный как раз сюжет.*

А.Т.: История вся на параллелях. Судьба «Нового мира» очень похожа на судьбу некрасовского «Современника» и «Отечественных записок» Салтыкова-Щедрина. Для тех это тоже было любимое детище. И Твардовский был великий поэт и один из

наших великих редакторов. Опять же — насчет параллелей. Когда закрыли постановлением четырех царских министров «Отечественные записки», Шедрин писал — такое ощущение, что у меня опечатали душу. И друзья Шедрина обсуждали в переписке, как он будет жить без журнала. Ну, тот прожил еще несколько лет, а Твардовский сторел. Была просто травля. И «деятель ленинского типа», как именовали Брежнева, не соизволил его принять и не ответил на его последнее отчаянное и в то же время высокое письмо, когда он пишет — то, что происходит с «Новым миром», будет воспринято как проявление сталинизма. Наплевать им всем на это было в высшей степени!

К сожалению, мы, русские, не ценим нашей славы. И Твардовского мы не ценим. Вот отмечали очередную годовщину Победы — Твардовский почти не звучал. Нет, выпал из обращения. Все это было так давно. Выросли новые поколения. Уже школьники рассматривают Великую Отечественную войну, как Вторую Пуническую, где-то в античном мире. Встречаешься с ними, рассказываешь, читаешь стихи — задевает. Вообще, очень похоже на то, как смотрят, сколько у ветерана на груди орденов, а нашивки за ранения не замечают.

Н.И.: *Андрей Михайлович, просто уже представления не имеют, что это такое.*

А.Т.: И со стихами то же самое происходит. Не сейчас началось. 64-й год. Звонят с телевидения: не прочитаете ли вы со своими комментариями стихотворение Твардовского «В тот день, когда окончилась война». Меня хлебом не корми, дай почитать Твардовского. Спрашиваю — а когда будете давать? Между третьим и четвертым актами трансляции оперетты «Сильва».

Н.И.: *Фантастика!*

А.Т.: Я точно так же изумляюсь. Отвечают — все уже запланировано. Начал обзванивать телевизионное начальство, поднимаясь все выше. Разводят руками. И только на самом верху согласились — да, нехорошо, давайте сделаем хотя бы после. И вот — это самое «после». Конец рабочего дня. Довольно неприспособленная еще Шаболовка. Прямой эфир. Я уже говорю, а вокруг убирают какие-то декорации. Начинаю читать стихи, и в какой-то момент чувствую — что-то произошло. Краем глаза кошусь и вижу, что люди стоят, замерев, и слушают.

Меня тут как-то попросили поговорить о войне и военной литературе с ребятами, которые участвуют в конкурсе чтецов. Их учили дикции, отработывали интонацию. А я им читал все те же «Я убит подо Ржевом», «Смерть и воин»... И что-то изменилось у них в глазах. Ну, когда девочки слезятся, понятно, но подошел мальчик и сказал: я выбирал для себя другие стихи, но возьму Твардовского. Не читают, видимо, им ничего такого... Да, это жестокая память. Это будет потрясение. Но пусть будет это потрясение. Я считаю, что только такими сильными средствами можно сегодня до них достучаться. Это ведь не просто история, это судьба каждой нашей семьи. Покопайся — и найдется солдат, который погиб или был покалечен. Почти в каждой родословной.

Н.И.: *В последние два года таким потрясением стало шествие «Бессмертного полка» в день Победы — с фотографиями воевавших родных и семейными историями.*

А.Т.: Безусловно. Для Твардовского одно из главных слов, понятий — *память*. В «Василии Тёркине» есть глава, посвященная специально этому.

Пусть тот бой не упомянут
В списке славы золотой,
День придёт — ещё повстанут
Люди в памяти живой.

Кто за гордую твердыню,
Что у Волги у реки,
Кто за тот, забытый ныне,
Населённый пункт Борки.

И в одной бессмертной книге
Будут все навек равны —
Кто за город пал великий,
Что один у всей страны;

И Россия — мать родная —
Почетъ всем отдаст сполна.
Бой иной, пора иная,
Жизнь одна и смерть одна.

Сейчас, когда почти в обиход вошло шествие «Бессмертного полка», можно сказать, что этот день пришел. И это прекрасно.

Евгений Абдуллаев

Классики и(ли) современники

Да, была такая замечательная серия — «Классики и современники». Выходила с 1977-го до самого развала Союза.

Белые демократичные корешки с логотипом «КС» заполняли полки, до которых не добиралась тисненая золотом «Библиотека классики», не говоря уже о запредельно тогда дефицитной «Всемирке».

«Классиков» в «КС» выходило много. А вот «...и современников» — почти не припомню. Даже «погуглил» сейчас на всякий случай — вдруг что забыл... Нет, ранних советских авторов печатали. Горького, Федина, Фадеева. В перестройку тиснули Булгакова, Пастернака, Цветаеву... Но все они к этому времени были классиками.

С конца 1970-х что-то происходит с классикой.

Разговор о ней приобретает какую-то болезненную заостренность.

В том же 1977-м в ЦДЛ прошла известная дискуссия «Классики и мы». Спорили до хрипоты, кого из крупных авторов предшествующих десятилетий считать классиками. Консенсуса не обрели; скорее, напротив. Обнаружились две различные иерархии. Одна у «западников», другая — у «почвенников»...

Педалирование темы «классики» — первый признак неблагополучия с «современниками». Канал для перетекания крупных современных авторов в разряд классиков сужается в угольное ушко.

В конце 70-х в секторе книги и чтения Ленинки решили определить наиболее упоминаемых литераторов в русских (и советских) журнальных рецензиях. Подсчет велся для разных периодов, начиная с 1820-х — завершая 1977-1978 годами. И если в списках авторитетных имен тридцатых — сороковых наряду с классиками на первых местах стоят современные на тот момент авторы, то в списке конца семидесятых «современники» фактически отсутствуют — все место заполняют собой «классики»¹.

За прошедшие сорок лет соотношение «классики — современники» если и изменилось, то лишь в сторону дальнейшего отдаления их друг от друга. Возникает ощущение, что места в пантеоне русской классики заняты. Современные литераторы — даже добившиеся значительной известности — хмуро слоняются вокруг запертых врат.

Сошлюсь на недавнее исследование по антропологии чтения, проведенное в Москве, Калуге и поселке городского типа Березайка в Бологовском районе Тверской области. «...Выяснилось, — делится его результатами антрополог Михаил Алексеевский, — что иерархия восприятия литературы, конечно, формируется почти исключительно в школе. Безусловно, во всех слоях населения, во всех типах населенных

¹ Рейблат А.И., Дубин Б.В. Групповая динамика и общелитературная традиция: отсылка к авторитетам в журнальных рецензиях 1820–1978 годов // Рейблат А.И. Как Пушкин вышел в гении. — М.: НЛЮ, 2001.

пунктов огромное значение в этой ценностной иерархии играет классика, причем прежде всего классическая русская литература»¹.

А вот что выяснилось относительно современной «высокой» литературы. «Парадоксально, но чтение самых последних книжных новинок Букеровской премии и еще каких-то премий, скорее, не имеет большого значения»².

Парадоксального, увы, здесь ничего нет — и для этого совершенно необязательно устраивать фокус-группы с жителями поселка городского типа Березайка. То, что почти не читают «современнику», любой литератор знает.

Поворот к консерватизму сказывается не только в каких-то указах и заявлениях. Он — прежде всего — на уровне повседневности. Классика — надежна, классика — привычна. Современная литература — всегда некий риск, даже если эти книги отмечены «какими-то премиями». А если не отмечены? Тем более — риск. И школьный учитель лучше расскажет детям побольше о Пушкине и Достоевском (на которых часов тоже не так чтобы много). А не о последних книгах, скажем, Евгения Водолазкина или Петра Аleshковского. И читатель лучше купит (то есть «проголосует» своим кровно заработанным рублем) то, что более знакомо и привычно.

Тем не менее проблема «классиков и современников» периодически поднимается. Сейчас, когда я пишу это, в Москве идет фестиваль «Книжный сдвиг». (Любопытно было бы поучаствовать, но, увы, сейчас не в Москве). 14 апреля в программе стоит дискуссия «Как современная литература становится классикой?»

Или недавнее бурное обсуждение после выхода нового учебника «Поэзия»³. Снова встал вопрос о корректности упоминания современных авторов — особенно молодых и едва ли кем-то признанных — наряду с классиками⁴.

И, наконец, книга одного из самых известных сегодня литературных критиков, Евгения Ермолина — «Последние классики»⁵. Которая и спровоцировала этот очерк — не рецензию, а что-то в жанре заметок на полях.

Итак, кто — по версии Евгения Ермолина — эти «последние классики»? Домбровский. Сёмин. Астафьев. Искандер. Владимов. Азольский. Кормер. Аксёнов.

За исключением Домбровского, Сёмина и Кормера, умерших еще «при Союзе», все остальные вполне могут быть отнесены к числу «современников».

Понятие «классики» Ермолин отдельно не рефлексировал. Для него это скорее «минус-понятие». То, что еще недавно широколиственно шумело, а потом — где-то с середины 90-х — внезапно кончилось. И если бы просто — кончилось...

«В недавнюю пору, — пишет критик, — впервые в истории России открыто и определенно прозвучал вопрос, а нужна ли вообще литература классического русского типа. Нужна ли не жанровая, не обслуживающая тот или иной заказ, а свободно-проблемная, исповедальная, экспериментальная словесность, формирующаяся в модусе не столько отражения быта, нравов или предзаданной идеологии, сколько творческого преображения бытия?»

Водораздел между «классикой» и «современницей», таким образом, проведен. Хотя он тут же вызывает вопросы. Так ли свободна была от «предзаданной идеологии»

¹ Антропология чтения в современной России. Антрополог Михаил Алексеевский о культуре чтения в СССР, востребованности электронных книг и формировании читательских предпочтений // Сайт «Постнаука.ru», 2 декабря 2015 г. (<http://postnauka.ru/video/55760>)

² Там же.

³ Азарова Н. М., Корчагин К. М., Кузьмин Д. В., Плунгян В. А. и др. Поэзия. — М.: ОГИ, 2016.

⁴ См.: «Поэзия»: учебник или манифест? // Литература.org. № 72. 3 марта 2016 г. (<http://literatura.org/1631-poeziya-uchebnik-ili-manifest.html>); Похвала учебнику. Лев Оборин об учебнике «Поэзия» // Colta.ru. 16 марта 2016 г. (<http://www.colta.ru/articles/literature/10409>)

⁵ Ермолин Е. Последние классики. Русская проза последней трети XX века: вершины, главные тексты и ландшафт. — М.: Совпадение, 2016.

классика? Да и много ли экспериментального можно найти у перечисленных критиком «последних классиков»? Тут, скорее, должен быть назван Мамлеев. Или Лимонов.

Сам перечень имен тоже провоцирует возражения. Можно ли считать, например, классиком Домбровского, первого в списке Ермолина? Недавно как раз перечитывал «Факультет ненужных вещей»... Точнее, пытался перечитывать, продираясь сквозь многословие и спотыкаясь то и дело об избыточные описания. Проза талантливого, незаурядного человека с незаурядной судьбой? Да. Гражданский поступок, документ эпохи? Безусловно. Но — классика ли?

А можно ли классиком считать Азольского? Даже снизив градус — не классиком, а просто выдающимся прозаиком? Я пожму плечами. Что касается Сёмина и Кормера — боюсь, даже в литературной среде эти имена сегодня помнят не многие.

Провоцирует и то, что не названы другие. Тоже вполне достойные — а может, и более достойные. Солженицын. Адамович. Трифонов. Войнович. Распутин. Битов. Айтматов (единственный, кстати, из современных на тот момент прозаиков, присутствовавший в списке литературных авторитетов 1977—1978 годов). Стругацкие, наконец. Сознательно называю очень разные имена; мне самому близки далеко не все.

Выбор имен в книге отчасти «спорадичен» — Ермолин включил в нее очерки о тех прозаиках, которые в виде отдельных статей выходили в толстых журналах с конца 1990-х.¹ (Странно, что критик не упоминает об этом, не указывает первопубликаций. Хотя статьи, конечно, заметно доработаны и дополнены.)

И все же — выбор Ермолина имеет свою внутреннюю логику. Да, перечень равновеликих фигур можно было бы умножать — но так ли это необходимо? Дан некий срез ушедшей уже литературы, рассмотрены вполне представительные имена. Литература шестидесятников и отчасти семидесятников. Именно в эти два десятилетия «последние классики» Ермолина написали свои самые важные вещи.

Саму эту эпоху критик не идеализирует. «Провинциализм» — таков ставимый ей жесткий диагноз. «Провинциален зачастую и типичный автор того времени, опутанный по рукам и ногам. Не столь остры, как у русского человека первой половины века или у человека Запада, его экзистенциальные драмы. Не столь экстравагантен модернистский и контркультурный прикид. Не столь интересен опыт противостояния злу. Да и само зло становится не столько зловещим, сколько смешным».

Кто был виноват? Да, разумеется, строй, «советский идеологический проект», но — не только. В очерке «Аксёнов» — самом ярком и раскрепощенно написанном — Ермолин предъявляет строгий счет самим шестидесятникам. Не оправдали. Не смогли.

«60-е вырождаются в 70-е: в конформизм, в дешевый цинизм, в нервные срывы, в ничем не оправданный быт, в пьянки как форму социального протеста и в случайный секс как возможность почувствовать себя свободным и революционным при очевидном дефиците того, что можно без затей назвать любовью».

И все же именно это провинциальное и все более конформистское время парадоксальным образом оказывается питательной почвой для «последней классики». «...В поколении 60—70-х годов на его вершинах воскресла интеллигенция как миссионерская духовная элита».

Это, пожалуй, и дает ответ на вопрос, почему названных в книге прозаиков

¹ «Месторождение совести. Заметки о Викторе Астафьеве» («Континент», 1999, № 100); «Люди бездны (О прозе Анатолия Азольского)» («Дружба народов», 2001, № 4), «Место родины. К уходу Георгия Владимова» («Континент», 2003, № 118), «Твердь» («Континент», 2004, № 120 — об Искандере), «Владимир Кормер, его время и его герои» («Континент», 2008, № 138), «Мечтатель на службе и в отставке» («Континент», 2011, № 150 — об Аксёнове), «Вкус свободы. Над страницами романа "Факультет ненужных вещей"» («Континент», 2011, № 150), «Ад где-то рядом (Виталий Сёмин. Нагрудный знак «OST»)» («Дружба народов», 2014, 11).

можно — пусть и с оговорками — причислить к классикам. Немного поясню, переведа на язык популярной социологической прозы.

Гений — понятие больше литературное, чем социальное; классик — больше социальное, чем литературное. Классик — гений, признанный интеллектуально активной частью общества, пожизненно и посмертно. Даже не обязательно — гений. Не был гением Некрасов, не был им Салтыков-Щедрин. Есенин. Однако — классики.

Главное, чтобы существовал «запрос на классика». Создает этот запрос интеллектуальная элита — или хотя бы какая-то ее часть. Но для этого она должна быть более-менее консолидированной. Классик становится символом единства — как внутри этой элиты, так и этой элиты — с остальным обществом. Что закрепляется двумя путями — через литературную критику (та самая частота упоминаний) и через школьную программу.

Последним консолидированным и интеллектуально активным поколением были шестидесятники. (Не только в Союзе, но и на Западе, скажем, во Франции.) С высоким уровнем поколенческого и сословного единства. Это чувство сословной общности (поскольку интеллигенция — прежде всего сословие) у интеллигентно-шестидесятников, безусловно, было.

В последующих поколениях дух единства все более разжижался. Он и не требовался уже в такой концентрации: эти поколения не переживали войну и репрессии; жизнь, в которую они входили, была менее катастрофичной, более «вегетарианской»... Братся за руки, «чтоб не пропасть поодиночке», становилось все менее нужным. Конец 70-х обозначил «точку невозврата». С начала же 90-х интеллигенция вообще перестала существовать как сословие. Уехала, схлынула в бизнес, вышла по возрасту на пенсию, переквалифицировалась в «интеллектуалов», «экспертов», офисных клерков. Стали распадаться и «каналы» превращения крупных писателей в классиков — литературная критика и школьное преподавание литературы. Классический «канон» школа еще держит. А на приращение его современниками ее уже не хватает. Да и главное — повторюсь — потребности нет.

В этом смысле «классики», собранные Ермолиным, — действительно, последние. «Наши авторы, — пишет критик, — завершили к исходу второй половины минувшего века великое историческое дело русской интеллигенции — могильщика тоталитаризма. Дело, которое будет придавать значительность и литературе, с ним связанной».

Нынешняя литература уже не занимается погребением тоталитаризма, у нее иные заботы. Прежняя «высокая» проза больше наставляла читателя, чем развлекала; нынешняя — больше развлекает, чем наставляет. И все же. Двери пантеона классиков закрыты, но не наглухо. Внутри тоже идет неслышная борьба, одни имена вытесняют другие. Снаружи делаются подкопы, подыскиваются ключи... Да — здесь я перехожу на мерцающий мажор — те социальные механизмы, которые обеспечивали превращение современников в классиков, сегодня не действуют. Но это не значит, что они не начнут действовать завтра. Или не произойдет еще какая-нибудь перезагрузка, в результате которой исчезнет само понятие «классик», а на его месте возникнет что-то совершенно иное.

Виктор Коркия

Неисчезающее время

Игорь Шкляревский. Золотая блесна. Книга радостей и утешений//«Знамя». 2016. № 1

Эта книга вызывающе прекрасна. Но ее истинная красота открывается не всем. Эта книга — для избранных, для тех, кто не забыл ни первородной тьмы, ни библейского света.

«Есть тайные опознавательные знаки, по ним здесь узнают своих».

Вы чувствуете, что вы — *свой*? И уверены, что ваше чувство не обманывает вас? Тогда входите без опаски, эта книга распахнута настежь. У нее нет ни начала, ни конца, и читать ее можно с любой страницы.

«Пережидая зной, я засыпал в тени под ивой. Во сне я чувствовал, что на мое колено села бабочка, и улыбался, это запах скошенного клевера перелетал ко мне через реку.

В безоблачном пространстве памяти запечатлялись облака, стрижи, круги на плесе и речная вежа, ну, попросту, метла (ее трясла вода), застрявшая баржа, груженная песком, и перевернутые в зеркале Днепра египетские пирамиды...

И мой улов, лиловые и серые бычки-подкаменщики, и образы пылающего зноя, размноженные вдалеке сараи, текущие столбы, зигзаги, змеи — вдоль картофельного поля.

Удаляясь, они приближаются...»

«Золотая блесна» завораживает своей непредсказуемостью. Видения перетекают друг в друга и смешиваются с явью. И попробуй отличи одно от другого.

«Бывает, прилетит с туманом что-то щемящее, невыразимое, только душа на вздохе всхлипывает, как растянувшийся баян, свисающий с плеча слепого баяниста...»

Что так мучительно притягивает меня в этих простых словах? В чем тайна их обаяния?..

Шкляревский говорит, что в «Слове о полку» все видно с высоты птичьего полета. Я вспомнил об этом, когда перечитывал «Золотую блесну». Угол зрения в литературе важнее точки зрения. Точка зрения — это гражданская позиция, это — *то, про что, и то, ради чего*. Но сама литература — это угол зрения: смотрю и вижу — слышу и чувствую — люблю и помню. И «Золотая блесна» — вся! — соткана из этой тончайшей материи. Из этих неуловимых душевных состояний, более чем странных в своей привольной обыденности и сиюминутности.

Наука занимается такими явлениями, которые можно повторить. А неповторимое досталось поэтам. Шкляревский всю жизнь занимается только неповторимым. И мгновение для него может быть больше вечности, а капля днепровской воды — дороже мирового океана.

Русский космос начинается со знаменитого ломоносовского:

Открылась бездна, звезд полна;
Звездам числа нет, бездне дна.

Бездонная бездна — здесь еще метафора, и звезды — умозрительно неживые. Но не пройдет и ста лет, и у Лермонтова звезда с звездой заговорит. А в «Золотой блесне» космос приблизился уже вплотную.

«Бывают вечера, когда я одинок до звезд.

Дом стоит на пологом холме, дверь открываешь прямо в небо. Оттуда тянет холодом Вселенной, и я тупею перед ней, не находя спасительного смысла своему существованию, но это я с ведром стою перед Вселенной, без меня ее нет. Микроскопическое существо с ведром воды, я признаю ее, а не она меня... И это мне в рубахе стало холодно, я закрываю дверь и оставляю за спиной пространство и его случайные возможности... Вот утешение — возможности пространства... Ведь я возник! Повеселев, я приношу из коридора вареную треску в желе, наливаю в стакан «Каберне», вдыхаю запах сыра и укропа, я чувствую спиной тепло горящих дров...

На Умбе за водой и за дровами я выхожу в открытый космос и возвращаюсь в теплый дом. Ориентир — окно, сияющее в темноте, спасающее мысль от тихого безумия, мерцания обугленных планет и завывания потоков воздуха над лесом. Однако ветер к ночи стал сильнее, этот северный ветер пригонит семгу в Умбу, этот ветер волнует меня...»

Непосредственное переживание своего бытия во Вселенной резко отличает Шкляревского от всех писателей — и прошлых, и нынешних. «...*Это я с ведром стою перед Вселенной*». Никакого умозрения, никакой отвлеченной мысли. Это не звезда с звездой говорит — это мое личное противостояние пустоте, небытию, беспредельности...

Спустимся с небес на землю. Все просто, все, можно сказать, — проще простого. «Золотая блесна» — это, по слову автора, *книга радостей и утешений*, книга о белой ночи, о северных реках, о «*нахлысте — снасти аристократов, придуманной пастухом*», о грибных дождях, о любимых книгах, о тишине в рюкзаке «*инвалида реки*» инспектора Тишина, о мужской дружбе и братской любви, о счастье одиночества и одиночестве во Вселенной...

А кроме того, «Золотая блесна» — это свидетельство о русской литературе. О том, что она жива. И что все попытки угробить ее тщетны.

«Марухин что-то ищет в чемодане, завязывает и развязывает рюкзаки и смотрит на часы.

— Ты что-то потерял?

— Не знаю, но чего-то не хватает.

— Не ищи!

— Почему?

— Ты ищешь темноту, ее не будет».

Это — белая ночь...

Помню охвативший меня восторг, когда я впервые услышал эти слова. Боже мой, как просто! Как безумно просто! Что бы мы ни искали — деньги, формулу, слово, смысл жизни, счастье — что бы мы ни искали! — мы все время *ищем темноту*. В поисках темноты проходит большая и лучшая часть жизни. И ни для кого не секрет, что поиски эти бессмысленны. Но они продолжаются и продолжаются — веками. Что это — дурная привычка? или — традиция?.. И можно ли перестать искать темноту?..

Я обязан открыть в себе себя — у меня нет иного выхода. Здравствуй, ночь, скрывающая от меня мое рождение, окутывающая благодатной тьмой незнания и бесчувствия! Что мне шумит, что мне звенит в этом неодухотворенном пространстве, в этом неодушевленном времени?

Безответные вопросы — может быть, самые важные вопросы человечества. Их принято называть риторическими, но, как их ни называй, они не исчезают, не испаряются, они ждут своего мгновения — и каждый, рано или поздно, мысленно произносит их наедине с собой.

«Взгляд человека ночью удлиняется на миллионы километров... Неужели нигде во

Вселенной нет ни души? На расстояниях уму непостижимых, в пространствах за пределами сознания... Без славы Цезаря и без его микроскопических завоеваний...»

«Белая гвардия», «белая горячка», «белые стихи», «белые пятна» — во всех этих словосочетаниях «белый» — не столько цвет, сколько символ. А «белая ночь»? Шкляревский любит, когда слова, которое изначально не являются символами, вдруг приобретают символический отблеск.

«— У вас в стихах есть поговорки, которые я раньше не встречала. Слепому ночью не темно. Тропа дорогу знает... Вы увлекаетесь фольклором?

— Я сам фольклор. И ничего ни у кого не занимаю...»

Тайна живого слова — наверно, самое таинственное из всего, что есть на свете. О Шкляревском написаны десятки статей, сотни откликов. Но его тайнопись так и осталась неразгаданной.

Магия воды и огня, магия реки и ветра, магия звездного неба, магия света и тьмы... Магия скользящей под ногами тени, магия безлюдья и безмолвия, магия живой, наполненной собственным дыханием тишины... И великая магия слова. Подавляющему большинству ее сила неведома. Но когда эта неведомая сила внезапно проявляет себя — в неожиданной метафоре или невероятном повороте мысли — многим становится не по себе. Потому что это сказано раз — и навсегда.

«В пустом купе осталось озеро, сверкающее в зеркале. И за спиной — озеро в окне. На мгновение ты как бы исчезаешь между ними в каком-то непонятном промежутке, где ты свидетель своего отсутствия...»

Чтобы ощутить, что такое время, нужно стать свидетелем своего отсутствия. Но на это способен только поэт. И пока физика не станет поэзией, тайна времени так и останется тайной.

Нобелевскую премию можно дать за открытие новой элементарной частицы или гравитационных волн, за разгадку природы черных дыр или темной материи. Но если кто-то вдруг откроет тайну бессмертия — не окажется ли эта премия унижительно мала для такого открытия?..

Эйнштейн как-то сказал, что ему неинтересно решать задачу, когда наперед известно, что у нее есть решение. Только неразрешимые задачи представляют настоящий интерес.

Только неразрешимые вопросы волнуют Шкляревского в «Золотой блесне». Они удивительно просты и понятны любому, но *любой*, как правило, не задает их себе и не пытается ими окружающих. *Любой* знает, что время — деньги, и что делу — время, а потехе — час. Это его успокаивает и убаюкивает. Он понимает, что все нормально. И *бесконечность*, которая *длиннее мысли*, его не пугает. Он просто не думает о ней, не берет ее в голову — и всё. Хотя, если вдуматься, он тоже — *свидетель своего отсутствия*. И кто читает эти слова — тоже *свидетель*. И все мы — *очевидцы*.

Мгновение ока мы присутствуем на этой земле. Но пока мы внутри этого мгновения, мы не ведаем смерти.

У «Золотой блесны» нет аналогов. Она неповторима, как мгновение ока. Подобно небу и реке, она смотрится в себя и отражается в себе. И писать о ней — значит продолжать ее.

«В эту ночь мне приснился счастливый Марухин.

Он сказал: — Игорь, мы никогда не умрем. Мы остаемся в "Золотой блесне"!»

Каждый, кто читает «Золотую блесну», входит в нее и остается в ней навсегда¹. Можно назвать это бессмертием. А можно — и не называть. Все равно мы останемся в «Золотой блесне». В *неисчезающем времени* «Книги радостей и утешений».

¹ Это почувствовал и отметил в своем замечательном послесловии Валентин Курбатов.

Владимир Шпаков

Пёстрая книга

Каждый серьезный писатель желает издать том избранного, предъявить *Urbī et Orbi* своего рода отчет за многие годы творческого труда. И неважно, отчитывается он перед читателем, перед самим собой или перед Создателем; главное — чтобы книга получилась насыщенной образами, мыслями и чувствами, чтобы она показывала автора и анфас, и в профиль, и начинающим, и зрелым, и т.п. Именно такую книгу под названием «Дневные и утренние размышления о любви» выпустила известный прозаик и сценарист Светлана Василенко. Эту объемную, тщательно выстроенную книгу можно с полным правом назвать сборником избранных произведений или, если угодно, малым собранием сочинений.

Возможно, не вся читающая публика помнит яркий дебют этого автора. И немудрено, все-таки первая половина восьмидесятых, когда многие из нынешних читателей еще на свет не родились. Дебютировала Светлана Василенко рассказом «За сайгаками», отмеченным и читателями, и критикой. Были времена, когда даже один рассказ, причем не в самом популярном журнале, мог прозвучать и если не сделать автору имя, то послужить неплохим трамплином для творческой биографии. Сейчас, увы, не добравшись до пьедестала «Букера» или «Большой книги», о трамплине и мечтать не приходится.

Но Светлане Василенко, можно сказать, повезло. Страна была еще «самой читающей», дебют не оказался гласом

вопиющего в пустыне, и уже первое опубликованное произведение показало: в русской прозе появился новый, ни на кого не похожий автор. Позже это подтвердили роман-житие «Дурочка», повесть «Шамара» и еще целый ряд произведений, которые начали печататься в самой престижной периодике и выходить в виде книг, неизменно пробуждая читательский интерес.

Уже в то время определились основные особенности прозы Василенко. Точность детали, динамизм повествования, умение выписать характер не посредством длинных описаний, а через реплику или поступок. Но главное — это нравственная зоркость автора, безошибочное приятие всего, что требует защиты, и неприятие отвратительного и злого в человеке. Так, убогая Ганна («Дурочка») проходит все круги жизненного ада, а рядом шагает автор, с нежностью и заботой относящийся к своему персонажу. Что выдает принадлежность к традиции русской литературы, где автор — всегда заступник, пусть даже его герой, на первый взгляд, не очень симпатичен, как Шамара, героиня одноименной повести. С другой стороны, Светлана Василенко как прозаик и сценарист полностью вписана в современность, и нерв времени, в котором довелось жить, чувствует очень хорошо.

Еще одна особенность определяется тем, что автор прошел школу сценаристики, поработав в том числе для кинематографа. Знакомые со сценарным искусством знают: профессиональный сценарий должен быть предельно лаконичным, максимально динамичным, лишенным всех необязательных деталей и подробностей.

Светлана Василенко. Дневные и утренние размышления о любви. — М.: Союз российских писателей, 2016.

О чем сугубые прозаики (особенно романисты) зачастую забывают и токуют в свое удовольствие, как глухари, забалтываются, не понимая, что читатель на этих страницах будет зевать.

В прозе Светланы Василенко подобной расслабленности вы не найдете. Отдельные сцены меняются быстро, они плотно пригнаны друг к другу, и между ними нет никакого зазора. Хотя — что важно — это именно проза, а никак не сценарий. Тут важен ритм, важна лексика, важно умение автора строить энергичную фразу — словом, все то, что является неотъемлемыми атрибутами искусства прозы.

Впрочем, о таких произведениях, как «Дурочка» или «Шамара», в свое время было написано и сказано немало хвалебных слов. В этой рецензии хотелось бы больше внимания уделить не столь известным произведениям, что появились позже и весьма отличаются от ранних текстов автора. Говорят, что многих поэтов «лета к суровой прозе клонят», а вот прозаиков, если судить по творчеству Светланы Василенко, время поворачивает от вымысла — к жизни. Один из разделов книги так и называется: «Обнаженная натура (рассказы из жизни)». Насколько продуктивно для прозаика *обнажить натуру*, иначе говоря, отвергнуть вымысел, умерить бег фантазии и довериться жизни? Это ведь небезопасно: жизнь зачастую хаотична, непредсказуема, а поставляемые ею истории алогичны и лишены той стройности, какую им придает рука творца.

Но, как показывают рассказы из этого раздела, прием оказался очень даже продуктивным. Возьмем, к примеру, историю о том, как альтер эго автора мучается на съемочной площадке города Николаева (рассказ «Тайный «Гамбринус»»). Героиня пытается придумать финал фильма, съемки которого заканчиваются, и едет в Одессу, где мифы и представления об этом месте рушатся, и в то же время проявляется подлинное лицо города, и неразрешимая, казалось бы, задача чудесным образом решается. Читается история на одном дыхании, там есть и смысл,

и подтекст, и своего рода мистика, и при этом никакой беллетризации тут, в общем-то, не требуется.

То же самое можно сказать об истории про синюю кофту Нины Садур («Синяя кофта»), про взаимоотношения с Андронимом Кончаловским («Парижские устрицы») или про любой другой рассказ из этого раздела. Там нередко присутствуют люди известные, что, конечно, добавляет интереса, но не является гарантией успеха. Просто автор проявил мудрость и доверился жизни, каковая, на самом деле, удивительная сюжетостроительница, главное — увидеть подаренный сюжет и составить себе труд воплотить его в виде литературного произведения.

Цикл небольших текстов под названием «Капустин Яр, или Истории одного города» также можно отнести к разряду литературы «нон-фикшн». Только здесь автор еще дальше отходит от эстетики повествования. Это может быть зарисовкой, небольшим эпизодом, выхваченным из потока жизни, просто развернутой мыслью. Но главное, что мысль или эпизод несут в себе нечто ценное и важное как для автора, так и для читателя. Наверное, каждый может вспомнить момент своей жизни, когда мир вдруг распахивается и тебя переполняет искренний восторг бытия («Бабочка»). Или ситуацию, когда кто-то из знакомых, надеясь на помощь святых заступников, выпрашивает у них что-то, а получает — нечто другое («Бог ее не так понял»). Ну и, понятно, каждого может коснуться то, что описано в маленькой заметке под названием «Волгоград. Взрыв», датированной декабрем 2014 года. Эти микро-повествования за малым исключением также написаны в последние годы, в основном в городе Капустин Яр, на родине автора. Но касаются они мира в целом, поскольку в памяти пишущего всплывает то Москва, то Приволжская провинция, то Индия, то Израиль, то босоное детство, то зрелость, когда уже появился и растет внук. Из этих мозаичных фрагментов составляется разноплановая, но очень интересная панорама жизни, которая, если приглядеться, ни в чем не уступает панораме,

предъявленной в каком-нибудь романе-эпопее.

Требуют упоминания и совсем уж необычные произведения, чей жанр обозначен как «Проза в столбик» (так называется финальный раздел книги).

Это как бы ещё не стихи,
Но как бы уже и не проза.
Между.
Это как бы ещё не слово,
Но уже не междометие.
Междуречье.

Так Светлана Василенко образно определяет жанр и эстетику, настаивая на особом статусе этих небольших текстов. Что заставило автора высказываться столь оригинальным образом? Вспомним часть статьи, где мы взяли рассуждать о том, кого и куда с годами «клонит». Если прозаик по тем или иным причинам устал от традиционных форм (почему нет? имеет полное право!), то его побег в иные стилистические вселенные может быть парадоксальным, но при этом, если автор опытный — продуманным. Светлана Ва-

силенко, как доказывают эти (да и другие, чисто прозаические) произведения, по мироощущению — поэт. Но, здраво взвешивая свои возможности в области традиционной силлаботоники, она не перебегает на чужую территорию, останавливаясь на границе. В результате получается вроде бы повествование, когда видишь детально прописанную картинку, но запоминаешь больше ритм, настроение, то есть реагируешь как на поэзию. Только не надо это путать с «верлибром» или со «свободным стихом», доверимся автору, что точно и исчерпывающе назвал книгу «Проза в столбик».

Запустение. Битое стекло.
Пластиковые бутылки —
из-под американской пепси-колы
и русского кваса —
лежат рядом,
словно западник со славянофилом,
ведущие вечный спор
о путях России.

Книга получилась пестрая, разноплановая, но при этом удивительно цельная. И объединяет ее личность автора — Светланы Василенко.

Елена Елагина

Подвиг—Бессмертие—Жертва—Забвение

В нынешние времена, когда любой текст, едва переваливший за сто страниц, претендует на гордое звание романа, семисотстраничная книга не только невольно вызывает уважение своим объемом, но попутно и подспудно — некоторый читательский страх: вдруг не осилю? В данном случае страх совершенно беспочвенный и легко рассеиваемый, стоит только от-

крыть трилогию. К тому же две первые части внимательному и следящему за новинками читателю должны быть хорошо известны. Первая, «Изгнание из рая», под названием «Исповедь еврея» была опубликована в «Новом мире» в 1994 году, после чего вышла отдельной книгой, вызвавшей эффект сродни солженицынской «Двести лет вместе». Вторая, «Изгнание из ада», в 2011 году вошла в книгу «Тень отца». И лишь спустя 21 год писатель завершил семейную сагу третьей частью

Александр Мелихов. И нет им воздаяния: Роман. — М.: Изд-во «Э», 2015.

«Изгнание из памяти». Видны ли временные и прочие «швы» у этой трехчастной книги? Отнюдь, ведь все они пронизаны не только единым сюжетом и едиными героями, но каждая часть, и вся трилогия в целом, несет на себе попытку разрешения нескольких самых жгучих и вечных вопросов, мучающих современного человека. Недаром, по мнению Дмитрия Быкова (и, надо заметить, не его одного), «Александр Мелихов прославился "романами идей" — в этом жанре сегодня отваживаются работать не многие...»

Итак, подвиг—бессмертие—жертва—забвение. Четверем этим этико-философским категориям посвящены все три части романа «И нет им воздаяния». Название, как мы понимаем, прямая цитата из Екклесиаста: «Не помнят тех, кто был прежде, и не будут помнить тех, кто еще придет. Живые знают, что умрут, а мертвые ничего не знают, и уже нет им воздаяния, потому что и память о них предана забвению». Мрачная перспектива. Но пока жив народ, пока живо государство, хранитель, по убеждению главного героя, бессмертия, живы и История, и Подвиг народный, и наши Большие Дела.

В трилогии два главных героя: отец и сын, Яков и Лев Каценеленбогены. И сын на протяжении всего повествования ведет непрерывный внутренний диалог-спор с отцом, а то и вершит суд над ним. Романтический герой-атеист требует от отца подвига, поскольку только через подвиг можно войти в Историю и Бессмертие. А всего лишь честность и порядочность, тем более — скромность, по его мнению, низводят человека из гордого аристократа духа в тусклого интеллигента, влачащего незаметное, пусть и добросовестное, существование и потому вычеркнутого из Истории. И здесь не поможет даже любовь на грани обожания окружающих и многочисленных учеников отца. Для Истории этого мало, ей, как и советской власти, как и любой религии, подавай Подвиг. А что такое подвиг? Это всегда жертва. Когда жертвуешь жизнью во имя чего-то большего, чем ты сам. В религии за это получаешь место в раю, а в идеологии — в памяти народной. И там, и там — бессмертие в величии духа. Но это, так сказать, скелет трилогии, безусловно,

несущий основную смысловую нагрузку. А что же является ее плотью? Как и в любом художественном произведении, художественная ткань, умение автора обращаться со словом. Вот об этом и постараемся поговорить подробнее.

«С русскими я еврей, с евреями — русский», — горько замечает Костя, сын Льва. Костя и вовсе, кстати, кварталон, четверть еврейской крови, но фамилия! Фамилия все та же, труднопроизносимая — Каценеленбоген. И потом, мы-то давно знаем, что быют отнюдь не по паспорту, где к тому же и пресловутой графы «национальность» уже нет. Кстати, «по закону», то, как себя ощущает Костя, так оно и есть. У евреев — всем известно — евреем считается рожденный от матери-еврейки (заметим, весьма мудрое установление, отец зачастую под вопросом, а мать — никогда), а у русских — русский от отца-русского. У Льва Каценеленбогена, как и у его сына, все наоборот: мать-то у обоих русская! Так что хочешь быть полноценным евреем — проходи гиюр, принимай иудейство. Хочешь быть полноценным русским — меняй фамилию, а то и отчество. Иначе и там, и там — не свой. А так хочется быть «своим», так хочется присоединения к большинству, стать тем самым человеком, без которого — по Платонову — народ не полный!

Неотвратимо и мощно, буквально с первых фраз первой части книги возникает философская тема единства, изгойства и чужака. Это сходу вычитают те, кому мир идей та самая вода, где они та самая рыба. Подробно, со многими обертонами эта тема звучит во всей первой части трилогии — «Изгнание из рая». Уже было сказано, что в 90-е «Исповедь еврея» на шумела и вызвала яростные споры не меньше, чем солженицынская «Двести лет вместе». Но перечитать — и через два десятилетия — отнюдь не мешает. У Солженицына оппозиция — евреи-русские, у Мелихова все сложнее и запутаннее: в казахстанских степях начала 50-х кого только нет — и казахи, и русские, и евреи, и немцы-переселенцы, и ингуши, привезенные в сталинских теплушках. И все — со своими, несмотря на весь интернационализм советского строя, когда, в самом деле, отношения между народами и на-

родностями были, несмотря на все привнесенные постперестроечные мифы, получше, чем сейчас. И как с этим со всем быть? А никто до сих пор так и не знает, что на самом деле задумал Господь — в своей долгой перспективе — смешав языки на Вавилонской башне. Ни «плавильный котел» пока не спасает, ни «мультикультурализм», ни «интернационализм». И как ни кричат политики и прочие трибуны вслед за мультяшным котом: «Ребята, давайте жить дружно!» — увы, пока не получается.

Мелихов — признанный мастер «романа идей», один из немногих в современной русской литературе. Но этим, скажем сразу, его дар отнюдь не ограничен. Любители идей свое вычитают. А что вычитают другие, любители художественности? А для них приговорен поистине пир — страницы, посвященные детству поначалу совсем маленького и постепенно растущего Льва Каценеленбогена. Думаю, не ошибусь, если поставлю детство мелиховского Льва в один ряд с «детствами» русской классики. Та самая кладка без гвоздя и раствора. Но и задохнуться в этом каменном братстве слов писатель не дает. Все оттенки мягкого юмора, умной иронии, зловещего сарказма, поэтического лиризма представлены на страницах трилогии. А о его фирменной афористичности без конца поминают критики самого разного толка.

Но вернемся к трилогии. Детство — у каждого Эдем, на какой бы земле оно ни случилось. У Льва К. оно случилось в казахстанских степях, усеянных ржавым железом, в полунищей халупе, где за перегородкой то теленок, то поросенок. И при этом оказалось совершенно волшебным, полнокровным и полноценным, доверху наполненным замечательными — на всю жизнь — впечатлениями и увлекательными приключениями, порой на грани жизни и смерти. Герой — тот самый мальчишка-непоседа, которому все интересно и который все хочет испытать на собственной шкуре. Поэтому и с конька крыши прыгает, ломая ногу, и поджигает бутылку с опасной смесью, в результате оставаясь без глаза (все подробности этого ужаса на страницах книги, как только мать вынесла!), и в драки ввязывается, стоит

услышать слово «еврей». И здесь исподволь начинает звучать еще одна горькая тема — тема отлучения от бессмертия, как его понимает главный герой-атеист, считая своего отца добровольно сдавшим позиции, сломленным в противостоянии маленького человека, не пожелавшего стать большим, с государством. И — тема аристократа духа, удовольствовавшегося всего лишь ролью тусклого, как полагает герой, интеллигента.

Во всю мощь эта тема разворачивается во второй части трилогии — «Изгнание из ада». Отец главного героя, всеми обожаемый учитель Яков (Янкеле) Каценеленбоген, накануне Большого террора попал под широкое колесо репрессий. И будучи совершенно безвинным человеком, пять лет пребывал в воркутинском лагере на лесозаготовках. Вот такой, растянутый на пять лет «Один день Ивана Денисовича». И ему еще повезло, он стойко до конца отрицал свою вину. А все обманутые посулами следователей подписанты были расстреляны. Читается эта скорбная повесть — от ареста до освобождения, когда, если бы не цепь счастливых совпадений, и замерзнуть можно было в безлюдной пустыне, — на одном дыхании. Чем достигается такой художественный накал, совершенно непонятно. Вроде всего лишь простой пересказ событий: то напарник попался неплохой, то на работу полетче поставили, то к пайке прибавка, то, напротив, начальство озверело, а оторваться от этого текста невозможно. Простота и безыскусность, которые держат и не отпускают. Повествование ведется от первого лица, отца героя, с вкраплениями комментариев сына. На самом деле — это рукопись отца, которую он, мистическим образом появившись среди живых уже в наши дни (вот оно, изгнание из ада давно умершего), передает сыну с наказом стереть память о своем погубителе, следователе Волчке. Но сын, читая написанную спокойным пером лагерную жизнь отца (езде люди, и хороших везде немало), начинает вершить над ним суд, считая его человеком сломленным, отказавшимся от бессмертия.

Здесь стоит уточнить, что такое бессмертие в понимании главного героя, атеиста советского образца, к тому же ро-

мантика. А это когда ты вписан в Историю, т.е. в память народную, когда твоим именем названы и улица, и завод, и паром. Но, погодите, бессмертие в России с ее регулярными оверкилями общественного сознания — вещь ненадежная. Сегодня твоим именем клянутся и все на свете называют, а завтра проклянут и плюнут на могилу. Однако в сознании Льва этот аспект как будто перифериен и незначителен. И тогда приходит понимание, что под бессмертием понимается скорее другое — непосредственное участие в Большом Деле. Как писал американский философ Уильям Джеймс, «величайшая польза, которую можно извлечь из жизни — потратить жизнь на дело, которое переживет нас». Вот о таком Большом Деле и мечтал наш герой-романтик с детства, проявляя недюжинные способности и напитываясь знаниями.

Но. Ни отца героя, ни его самого не подпустили к Большому Делу — вследствие не только национальной, но и социальной политики с ее отрицательной фильтрацией социальных лифтов. Оба могли стать большими учеными, быть запанибрата, как мечтал Лев, и с Космосом, и с Термоядом, а в результате отец оказался всего лишь (!) школьным учителем (но все же на грани гениальности!), а его сын вузовским преподавателем (надо думать, тоже не хуже отца). Да, Лев К. унижен своим положением, мучается им, чувствует себя в новой реальности, когда педагогическая миссия выродилась в сферу обслуживания, лакеем, обслуживающим «образовательными услугами» студентов. Но казнится ли он этим? Желает ли что-либо изменить? Вот его студенческий друг Гришка рванул в Штаты, вроде бы благоденствует и укоряет Льва за неиспользованные возможности дара ученого. Но оказывается, не все и там безоблачно. Оказывается, и там, в хваленном плавильном котле, надо быть англо-саксом, иначе ты человек второго сорта, даже с высоким, или даже с очень высоким, доходом. И там, как выясняется, не все меряется деньгами, свободным рынком и архидемократическим устройством общества, есть и другие факторы.

Третья часть трилогии — «Изгнание из памяти» — практически детективная, весь-

ма напряженная и стремительная история, хотя, если проводить литературные аналогии, — это классическая тема Гамлета: месть за отца. Гамлет цитируется напрямую в сцене в метро, где студенты актерского отделения репетируют прямо в вагоне. Вот такая явная подсказка читателю. Надо сказать, что раскавыченных цитат у Мелихова не сосчитать, но при этом даже подумать о тени постмодернизма в его текстах — смешно и абсурдно. И все цитаты к месту, и все выдают поколение автора: из послевоенного бэби-бума. Нынче молодежь разговаривает другими гэгами и мемами. Тем не менее трилогия для продвинутого читателя — увлекательный концерт-загадка и способ проверить свою эрудицию: радость узнавания на каждом шагу. Третья часть вся посвящена розыску подлеца Волчека, дабы вычеркнуть его из памяти народной навеки. Перед нами захватывающая история с построением через специалиста-генеалога (с булгаковской чертовщинкой в обличье и всей манере существования) родового древа Волчеков, с рысканием по этому древу, с судьбами многочисленных родственников Волчека, с любовью, в конце концов, в двоюродную внучку следователя-мерзавца, закончившуюся, к сожалению и разочарованию героя, ничем. А подлец Волчек, оказывается, погиб под тем же маховиком Большого террора, довольно скоро вслед за своими жертвами, и в родне почитается едва ли не героем. А как же! Ведь казнен сталинскими извергами!

Так выполнил ли герой наказ отца? И был ли смысл в этом наказе? Увидел ли герой свет в конце туннеля или так и остался с нераспутанными узлами в натруженных руках? Да, повторимся, пока жив народ, пока живо государство, хранитель, по убеждению главного героя, бессмертия, живы и История, и Подвиг народный, и наши Большие Дела. Это взгляд героя-атеиста. А человек религиозный знает, что у Бога все живы, он со своей бессмертной душой не боится забвения. Но ищет свою дорогу к Храму каждый сам, и пути у нас самые разные и порой самые парадоксальные. Стоит здесь подчеркнуть особое бесстрашие Мелихова: о чем бы он ни писал и что бы он ни писал — художественную прозу или пуб-

лицистику — он всегда в поисках Истины, какой бы неудобной и, может быть, мало-красивой она нам не показалась. На что, скажем, можно рассчитывать в глазах либеральной общественности, написав такой пассаж: «...неужели ты думаешь, что Запад мочит Сталина за то, что им твоего папу жалко? Им важно только опустить нас в глазах мира, а лучше и в наших собственных. Чтобы убить нашу гордость, а значит, и силу. Сегодня мне понятно, в чем наша исключительность — она и есть та самая the real thing, подлинность. Мы не умеем фальшивить, все делаем в искренних экстремальностях?»

Так для кого же эта семисотстраничная книга? Думается, точнее всех об этом сказал Павел Басинский: «Проза Мелихова для тех, кто ищет в литературе потаенных жизненных смыслов, мучительных загадок бытия и ради этого не боится преодолевать собственное чувство стыда. Душевный результат его прозы опрокидывает методы. Человек жалок, но именно поэтому нуждается в удвоенном, утроенном милосердии». Ну, а в том, что Александр Мелихов один из самых ярких и интересных современных прозаиков и публицистов, читатель уже давно сам убедился...

Светлана Шишкова-Шипунова

Фейсбучный дом Сергея Чупринина

Свою новую книгу Сергей Иванович Чупринин не просто написал, а построил, как строят нынче большие дома с затейливой архитектурой и многофункциональной начинкой. Ее и читаешь — как путешествуешь по огромному зданию, поднимаясь с этажа на этаж, переходя из просторных холлов в уютные кабинеты, выглядывая в широко открытые окна и заглядывая в потайные кладовые...

И строилось это причудливое сооружение из отдельных фрагментов-кирпичиков, сначала выкладывавшихся (на пробу) в Сеть, а уж оттуда, после обжига в фейсбучной печи, — в книгу, кирпичик за кирпичиком, фрагмент за фрагментом...

И чего-чего тут только нет! Вот изящная башенка из элитного списка *Научных рецензентов*. Вот вместительный флигель для *Попутного чтения*. Вот занимающие

весь цокольный этаж *Комментарии с примечаниями*, войдя в которые, не хочется выходить. Вот фундаментальный *Список рекомендованной литературы*, на котором, собственно, все сооружение и держится. А вот — *Именной указатель* обитателей с номерами их квартир-страниц. А еще — заблудившаяся в самом дальнем углу *Автобиография* и прилепившееся чуть не на крыше-обложке четверостишие Фета...

Придирчивому читателю все это нагромождение дополнительного, вспомогательного, справочного материала (той самой многофункциональной начинки) может показаться чем-то вроде архитектурных излишеств, но тут уж дело хозяйское: хочешь — рассматривай, читай; не хочешь — не смотри, пропусти и сразу входи в основное помещение текста.

Начинается, как обычная автобиографическая проза, и я тихо радуюсь, предвкушая что-то вроде семейной саги... Но скоро биография переходит в отрыв-

вочные записки — новеллы, байки, анекдоты, как сам автор беззаботно их называет, — о жизни и нравах пишущей братии, и я начинаю думать, что нечто подобное уже читано (в воспоминаниях других литгазетчиков, например). Но тут еще исповедальные кусочки вкраплены, и политическая философия рефреном проходит. И все выстраивается в мозаичное полотно, название которому — «Литературная жизнь России». Нет, такого охвата, пожалуй, не было. Каждый автор со своей колоколенки смотрел и про себя, любимого, писал, а Чупринин парит наверху, всех видит, все замечает и не столько про себя, сколько про всех других пишет. Масштабно, ничего не скажешь, и чувствуется, что в его кладовых еще много чего припасено.

Я люблю такое «лоскутное» письмо и чтение! Мне интересно здесь все — и фактура, и персонажи, и суждения, и оценки. Но, читая, ловлю себя на мысли, что все же больше всего интересна мне в этой книге... выглядывающая из каждого сюжета физиономия самого автора, который здесь — весь как на блюдечке, хотя о самом личном и сокровенном умалчивает. Но мне не столько личное любопытно, сколько... общественно-политическое, что ли.

Вот о политическом подтексте книги и пойдет дальше речь. Он есть, он всюду чувствуется, буквально просвечивает даже сквозь байки и анекдоты.

Настрой задает, конечно, история ссыльных родителей (хотя и вскользь упомянутая), а дальше — то Маркс-Энгельс-Ленин всплывут, то нелюбимый автором Путин помашет, то им же любимый Чубайс промелькнет... А то вдруг на совсем уж грубые, несвойственные этому автору словечки наткнешься — «гэбня» или «коммуняки», употребленные, кажется, скорее ритуально, как позывные «свой-чужой» для определенного круга читателей.

Таковыми же ритуальными показались мне и признания типа «ненавижу советскую власть», потому что ни общий тон повествования, ни сами истории, которые автор рассказывает, этого как-то не подтверждают. Напротив, видно, как старательно ищет он баланс и компромисс между распроклятым прошлым и непо-

нятно каким настоящим, между литературой советской и — постсоветской, между писателями близкого Чупринину либерального крыла и неблизкого крыла патриотического... Подтверждений тому много — от придуманной им когда-то фразы «Советская власть продержалась так долго, что у нее успело нарасти и кое-что хорошее» до признания, что при переиздании своих знаменитых словарей он изъясил из них сведения о былой партийности литераторов (и правильно сделал, что бы там ни писали по этому поводу в Фейсбуке).

Стремясь быть объективным, Чупринин на конкретных примерах показывает, что на самом деле отношение «Софьи Власьевны» к литературе, к писателям и вообще к интеллигенции было не таким уж однозначным. «Смотрите сами: в феврале 1970 года выдавливают Александра Твардовского из "Нового мира" — и в декабре того же года изгоняют Анатолия Никонова с должности главного редактора журнала "Молодая гвардия". Или, например, честно признает: отнюдь не все запрещенные при советской власти тексты оказались после отмены цензуры достойными опубликования...

Нужна определенная смелость, чтобы обо всех этих вещах написать. Притом что и в жизни, и в литературе Сергей Иванович Чупринин, как мне представляется, не любит острых углов, открытой конфронтации. Да, он не состоял в КПСС, не хаживал в депутаты, но и диссидентом, как сам говорит, не был. На площади у Белого Дома постоял в августе 91-го, да и домой пошел. Он — не Проханов, не Лимонов. Но и не Ерофеев, не Быков. Он — Чупринин, человек до мозга костей литературный, вся его жизнь — в литературе. Кажется, он и рад бы вообще не касаться политики, да вот приходится.

Дочитывая книгу, я думала о том, что сам автор представляет собой интересный феномен нашей культуры. Выходец из провинции (о чем он в книге неоднократно напоминает), сделавшийся редактором ведущего литературного журнала, известным критиком, председателем жюри разных премий, литературным экспертом и профессором словесности, от которого зависит теперь литературная судьба многих столичных и нестоличных авторов.

С одними он дружит, других сторонится, но о тех и других пишет, по крайней мере, с уважением, без заигрывания со «своими» и брезгливого высокомерия к «чужим». А между дружбой и литературой всегда выбирает литературу. Он даже между своей собственной жизнью и литературой выбирает литературу. И потому, взявшись писать книгу о своей жизни, пишет очередную книгу о литературе. Ну и хвала ему за это!

Книжка вышла хорошая — емкая, поучительная, занимательная, достаточно откровенная, достаточно объективная, очевидно честная и вполне толерантная.

Название ей на самом деле «Моя жизнь в литературе», и даже не так: «Моя жизнь — в литературе». Но автор — человек скромный, поэтому — «Фейсбучный роман», что тоже неплохо, если вспомнить, что фейс — лицо, а бук — книга.

Ольга Балла

Опыт прозрачности

«Человека с детства преследуют ритмические модификации, — говорится нам на самой первой странице одной из этих книг. — Человека с детства преследуют слова, метафоры, семантические ассоциации...»

Кто бы эту аннотацию ни написал, понятно, что речь об авторе.

Тем не менее Ирина Цыгальская, известная как прозаик и переводчик с латышского (с детства и всю жизнь живет в Латвии), издавшая уже пять книг, не считая множества публикаций в журналах «Даугава», «Latvju Teksti», «Дружба народов», в «Рижском альманахе», выпустила свой первый, небольшой поэтический сборник только теперь. И даже в нем две трети объема она отдает переводам латышских поэтов — от классиков до совсем молодых. Собственным поэтическим высказываниям — хотя наверняка писала стихи всегда — она оставляет в книге всего сорок страниц.

Поэтический сборник Цыгальской «Ритмы» — книга-диалог, книга-разговор — и не только во второй, переводной своей части. Первая часть — сплошь о соприкосновении человека и мира, о вечно повторяющемся (как смена времен года) и вечно неустранимом (как любовь, одиночество, детство, память, боль, счастье, утрата, усталость, тщетность усилий, смерть, бессмертие), будто бы даже помимо исторических обстоятельств — на первый взгляд может показаться монологичной: внутренняя речь о внутреннем опыте.

На самом деле она полна обращений, внутренних разговоров: с утраченным любимым¹ («Помнишь, милый, была игра»; «Я долго не знала, где ты. Теперь поняла, что ушел на свидание / с ней. Вечность. Какое красивое имя...»), с друзьями-поэтами, которые уже не услышат, — адресатами переводческих усилий (Ояру Вацетису: «Я, Ояр, как будто пишу / заново / строки, строфы твои, // вслух говорю свои ритмы / твоими словами»), с неведомыми собеседниками (с несостоявшимся ли другом? — «Не знаю / в

Ирина Цыгальская. Ритмы. — Рига: Латвийское общество русской культуры, 2014;

Рижский альманах: Поэзия. Проза. Публицистика. Обзоры. Переводы. Критика. — № 6 (11). — Рига, 2015.

¹ Муж Ирины Цыгальской — поэт Имант Аузинь умер три года назад. — *Прим. ред.*

дороге ли ты? / уже приближаешься / к цели?»; с внутренним ли голосом? — «Ах, старый колдун, замолчи. / Мне мудрость твоя надоела...»), споров с самой собой («Нет правды в том, что некому оставить. / Ну, хорошо: пускай / потомкам чингисхана / тимура, персов...»; «я не бессмертия хочу, зачем? / оно и так повсюду...»)

И да — почти помимо исторического опыта, и России, и Латвии (почти: вдруг мелькнет «латышская речь, наследница санскрита»), и страшного XX века (тоже почти: видения крови, заливающей города, казни на площади — конечно, отсюда, но без фактов, такое могло быть и при том же Чингисхане). Фактов почти нет и биографических (разве мелькнут иногда предки «из далекого / Ташкента, чей облик и во мне / остался»). Чистое вещество существования — экзистенциальные переменные да экзистенциальные константы.

Кстати говоря, здесь же есть и поэтическая рефлексия над смыслом переводческого дела, над судьбой русского слова, это ведь его «некому оставить» — а значит, и человека, им живущего, — в латышской речевой среде:

«...и я взяла стихи
и снова их преобразила,
вернула в свой язык,
своими ритмами заполонила,

но пристально следила,
чтобы мой полон не обернулся
тяжким пленом,
и речь струилась и текла,
и даже я заметить не смогла,
какая речь
и кто ее поймет, кому оставить:

наследнице санскрита?

Ну, хорошо: пускай
потомкам чингисхана,
славян, кого-нибудь еще...»

Что касается второй части, то здесь автором делается очень важная работа. Кажется, ее вполне способен выполнить только человек, живущий той же жизнью, что и переводимые им поэты, знающий эту жизнь изнутри, чувствующий ее язык как один из собственных. Кому, как не русскому латвийцу (латвийскому русско-

му?), знакомить читающих по-русски с латвийскими смыслами и ритмами?

Значение своих усилий Цыгальская обозначает словами Осипа Мандельштама — эпиграфом к переводческому разделу из его статьи «Девятнадцатый век» (1922): «Европеизировать и гуманизировать двадцатое столетие <...> — писал один из тех, кто вскоре был этим столетием погублен, — вот задача потерпевших крушение выходцев девятнадцатого века». Осознавая, «какое страшное крушение потерпели выходцы XX века», автор тем не менее настаивает на том, что наша задача — «с маниакальным упорством повторять слова Мандельштама», продолжая «европеизировать и гуманизировать» теперь уже XXI век.

В стихах, отобранных ею для переводов, Цыгальская видит «важную часть латышской поэзии конца прошлого века и начала нового тысячелетия». В обозначенный временной промежуток не укладывается разве что открывающий этот раздел Ояр Вацietис (1933—1983). Но Вацietис — поэт настолько значительный и настолько мало, по существу, прочитанный за пределами Латвии, в том числе и у нас, — что переводчица сочла важным включить в книгу стихи, написанные латышским классиком в последние три года его жизни.

Далее русского читателя ожидают сплошные открытия. Недавно умерший Имант Аузинь (1937—2013), тоже один из наиболее значительных поэтов Латвии, у нас вообще-то переводился — однако довольно давно, еще во второй половине XX века (читающим по-русски он знаком по переводам А.Кушнера — которые Цыгальская ценит весьма высоко — и рижских переводчиков Л.Ждановой, Л.Романенко, В.Андреева, Р.Добровенского). Аузиня, автора большого количества баллад, поэм, иронических стихотворений (в целом у него вышло более тридцати поэтических книг), Цыгальская представляет нам как лирика — отбирая притом именно те его стихи, «которые оказали переводу хоть и большое, но все же преодолимое сопротивление», притом написанные уже в постсоветское время.

Три женщины-поэта, скорее всего, не-

известны русскому читателю совсем: это Ингуна Янсоне (1963—2009), Анна Аузиня (р. 1975) и Инга Гайле (р. 1976). Все они выбраны переводчицей за то, что «черпают вдохновение в переживании пограничного времени». Аузиня и Гайле, при всей своей разности, объединены принадлежностью к одному поколению: они — из тех, кому в начале жизни «казалось, что с разоблачением и разрушением прежних нелепостей и зла наступило желанное освобождение», из тех, кто были в этом разочарованы и потому «воспринимают новую ложь обостренно». Отсюда в стихах обеих «социальные мотивы, которые нередко раскрываются с помощью едкой иронии, а то и сарказма». Так что мы получаем фрагмент не только поэтической, но и социальной картины сегодняшней Латвии.

Все это заставляет нас задуматься над тем, что означает сегодня быть человеком русского языка и русской культуры, живущим за пределами России — например, в одной из бывших советских республик, в той же Латвии? Какие это может означать задачи, какие создает возможности? То, что делает в русской словесности Ирина Цыгальская, представляет собой сразу несколько вариантов ответа на эти вопросы — связанных между собой. Это, конечно, разные стороны одной культурной работы. Стихи и переводы — лишь некоторые из них.

Перед нами, кажется, тот самый случай, когда родиной человека (то есть тем, что решающим образом его формирует) оказывается не только страна с ее культурой и осязаемой повседневной жизнью (в данном случае — Латвия), но еще и — не в меньшей степени, а может быть, и в большей? — язык и литература другой страны. В данном случае — русский язык и русская литература.

Опыт не то чтобы неполной принадлежности к «материковой», «матричной» русской культуре и жизни, но двойной принадлежности: и к русской, и к латышской языковым стихиям, возможность взгляда на каждую из них одновременно и извне, и изнутри — задают человеку уникальную оптику. Я бы сказала, что это — возможность объемного видения, движения в сторону общечеловечности (если

эта утопическая идея и имеет хоть какие-то шансы быть осуществленной, то более всего — на перекрестках языков и культур, в широких пограничных полосах, переходных областях, столь же разделяющих разноустроенные культурные миры, сколь и образующих связи между ними). Это — умение видеть поверх разделяющих народы барьеров и понимать их проницаемость.

Русская речь в таких ситуациях приобретает — по крайней мере, получает возможность приобрести — опыт особенной прозрачности, чуткости, пластичности.

И вот тут самое время обратить внимание на третью сторону культурной работы русских латвийцев. Помимо собственного литературного творчества и переводов, это еще и собирание опыта. Пример такой работы — издаваемый Латвийским обществом русской культуры «Рижский альманах». Ирина Цыгальская — его главный редактор (а также один из авторов и переводчиков, в данном случае — подборки стихотворений Иманта Аузиня).

Достаточно посмотреть на подзаголовок альманаха («Поэзия. Проза. Публицистика. Обзоры. Переводы. Критика») и на его содержание, чтобы стало очевидным: перед нами — не просто издание с некоторой степенью периодичности, посвященное литературной жизни некоего региона. Это путеводитель по русско-латвийской культуре и даже так: по русско-латвийскому варианту культуры общеевропейской. Речь здесь идет о взаимодействии культур, о русской литературе, где бы та ни писалась: на страницах альманаха мы встретим авторов, пишущих по-русски и живущих не только в Латвии (Елена Копытова, Лана Степанова, Анастасия Лиене Приеднице, Алексей Герасимов) и России (Сергей Морейно, Наталия Санникова, Елена Ширимова, Геннадий Акимов, Олег Бабинов, Светлана Гусева, Александр Куликов), но и в Германии (Александр Ланин), Беларуси (Ирина Валерина), Молдове (Ирина Ремизова), Киргизии (Михаил Озмитель). Интересно, что открывается альманах и вовсе переводами с польского, то есть текстами, как будто не имеющими к Латвии прямого отношения (разве что косвенное: их переводчик Сергей Морейно

не одно десятилетие плодотворно работает с латышской литературой). В данном случае это — стихотворения Збигнева Херберта и Рышарда Криницкого. В поэтическом разделе кроме переводов печатаются стихи русских авторов, снискавших приз симпатий «Рижского альманаха» на международных литературных конкурсах: «Кубок мира по русской поэзии-2014» и «4-й открытый чемпионат Балтии по русской поэзии».

Кстати, собственно художественной словесности в альманахе отведена лишь половина всего объема, и еще полтора десятка страниц — разговору (в разных форматах: «Статьи, рецензии, отклики») о недавно вышедших книгах. Прежде всего, речь здесь идет об изданиях, выходящих в Латвии, и о переводах с латышского на разные языки. Ирина Цыгальская пишет о сборнике стихотворений Леона Бриедиса в переводе Юрия Касянича, отдавшего работе со стихами латышского поэта более тридцати лет. Совсем маленький (зато иллюстрированный — обложками упоминаемых изданий) обзор «Новые и старые книги» обращает внимание читателя на книги, насколько можно понять, редкие или труднодоступные для живущих в Латвии. К редким может быть отнесен совместный сборник Яна Райниса и Аспазии «Трехцветное солнце», изданный в Риге в 2007 году и содержащий переводы из этих поэтов на украинский и грузинский языки (и, вероятно, также и латышские оригиналы). «В продаже, — пишет о книге безымянный автор обзора, — ее не было и нет. Зато ею можно полюбоваться в Музее Райниса и Аспазии в Юрмале, почитать в библиотеке...» Здесь же упомянут сборник переводов из Ояра Вацietиса, которые выполнил и снабдил послесловием Сергей Морейно (книга вышла под названием «Экслибрис» в московском издательстве «Русский Гулливер» в 2014-м), а также библиографические указатели, вышедшие в Риге в 2014 году: «Рижские издания. Из собрания библиофила» А.Ракитянского и А.Штефана и «Русская книга Латвии. 2002-2010». Анна Иванова пишет подробно о новинках, вышедших в том числе и в Москве: об уже упомянутом «Экслибрисе» Вацietиса и об антологии женской

поэзии Латвии «Девичий виноград», вышедшей в переводах Сергея Морейно в том же «Русском Гулливере»; о выпущенном «Дружбой народов» сборнике очерков «Народы перед зеркалом» о странах ближнего зарубежья (Иванову интересует, конечно, его латвийская часть); об изданном в Риге сборнике стихов живущего в Латвии русского поэта и переводчика Юрия Касянича.

Для этого раздела переводятся также тексты, написанные латышскими авторами. Так, в 6 (11) выпуске альманаха мы увидим, в переводе Анны Ивановой, рецензию литературоведа Барбалы Симсоны на роман Мариса Берзиньша «Вкус свинца» (2015), а также часть обзора латвийской поэзии 2014 года, написанного поэтом, историком литературы и критиком Карлисом Вердиньшем по-латышски для журнала «Latvju Teksti» — фрагмент, который автор посвятил «актуальной русской поэзии» своей страны, о ее переводах на латышский, о работе русскоязычных книжных издательств Латвии. Все это он рассматривает как часть общелатвийского литературного процесса (при том, что, по словам Вердиньша, «в сознании читателей» современная русская поэзия Латвии представлена, «вероятнее всего, авторами, которых можно сосчитать на пальцах одной руки»). Интересно, что Вердиньш обращает внимание и на неполную прозрачность пишущегося по-русски для носителей латышского языкового и литературного сознания. Так, о сборнике Олега Ленцова «Подымается дышит», вышедшем в рижском издательстве «Орбита», он пишет: «При чтении этой поэзии видно, что автор на разных уровнях имеет дело с явлениями, для расшифровки которых опыт латышского читателя поэзии дает очень мало или вообще ничего». В целом он замечает склонность почти всех рассмотренных им русских стихотворцев Латвии к «осознанной маргинализации, уклонению от прямого, открытого контакта с читателем» вплоть до «сомнения в существовании этого читателя» (или в том, что «твой опыт и художественные проявления кого-то могут заинтересовать»), хотя и не оставляет надежды на преодоление в будущем этой отчужденности и на то, что русская поэзия в его стране еще «раскроется во

всей своей потенциальной красе и многообразии»).

Материалы всех остальных рубрик альманаха — «Воспоминания», «In memoriam» и «Архивное» — могут быть отнесены к области исторической рефлексии, к прояснению памяти, к осмыслению русско-латвийского исторического опыта в XX веке. Мы увидим здесь воспоминания русского латыша (латышского русского? — словом, родившегося в русско-латышской семье и всю жизнь прожившего в Латвии) Эрмара Свадоста (настоящее имя — Николай Павлович Истомин, 1907—1971) — журналиста, поэта, прозаика, переводчика, мемуариста, языковеда — о его встречах с классиком латышской литературы Яном Райнисом (написанные в 1965 году по-русски); перевод фрагмента вышедшей на латышском книги воспоминаний физико-химика, профессора Латвийского университета Язепы Эйдуса (1916–2004) «Прошедшее. Ретроспектива и переоценка» — об аресте мемуариста по политическим мотивам в Риге в 1934 году и последовавшем заключении, а в приложении — «Собственноручные показания» человека, по чьему доносу Эйдус был арестован еще раз, уже в советской Риге 1953 года, и рассказ о жизни этого персонажа, который из неведомых миру гуманных соображений назван одними инициалами — П.Г. Нечасто случается читать биографию доносчика, лжеца и авантюриста, да еще иметь возможность хоть отчасти заглянуть в систему его мотивов («Я прошу мне поверить, — пишет уже в 1954 году П.Г., годом ранее совершенно осознанно сломавший человеку жизнь, — что арест и осуждение Эйдуса — вредное дело для Сов. государства и помочь мне в моем искреннем стремлении теперь исправить то, что я натворил, помогая бывшим сотрудникам МГБ угробить честного сов. человека».)

Кроме того, здесь помещены воспоминания русской рижанки Инессы Карбановой (к сожалению, в разделе «Сведения об авторах» данные о ней пропущены) о ее военном детстве, молодости и судьбе ее семьи, которая «оказалась втянутой в эту дурную цепь дурных событий дурного XX века». В разделе некрологов вспоми-

нают Яниса Сирмбардиса (1937—2015), поэта и переводчика («среди переведенных им авторов — Б.Пастернак и О.Мандельштам»), латвийских правозащитников Ивана Яхимовича (1931–2014) и Руту Озолиню (1930—2015). Архивный раздел отдан материалам людей, судьбы которых — или их потомков — оказались связаны с Латвией. Отдельное интересное чтение — извлеченные из Госархива Латвии доносы сотрудников КГБ ЛССР за 1977 год на советских туристов, имевших неосторожность нарушить «установленные правила поведения во время выезда и пребывания за границей». «Было?» — осторожно спрашивает заголовок к этой публикации. Быть-то явно было; вот как у нас теперь с этой культурной формой? Лет через сорок узнаем...

В общем, это собрание русского, русскоязычного опыта, на каком бы материале он ни был прожит, разных вариантов разговора о мире и человеке на русском языке — собрание из несколько непривычной нам, российским жителям, но тем более достойной внимания точки.

В небольшой европейской стране, получается, выполняют очень важную работу универсальности — универсализации русского языка и русской мысли. По логике вещей, работой такого рода куда естественнее было бы заниматься жителям России, ее столиц — ...так и просится на язык слово «метрополия», — и его, пожалуй, даже можно было бы принять, не таяни оно за собой совершенно ложных в данном случае ассоциаций с имперским центром, у которого, в свою очередь, есть окраины-провинции. Тут же как раз ситуация столь же интересная, сколь и оспаривающая такую модель.

Русскоговорящие латвийцы — как раз благодаря своей удаленности от общепризнанных центров одной из своих культур — оказываются на переднем, подвижном и чутком краю и рефлексии, и перерастания старого, и освоения нового. То, что центр в своей самоуверенности склонен принимать за периферию, оказывается на самом деле одним из множества возможных центров — развития и выраживания будущего.

Зыбкая связь времен

Трансформация архетипов в изобразительном искусстве Казахстана

Изобразительное искусство в Казахстане возникло сравнительно недавно, чуть менее ста лет назад. Фактически этот процесс начинался в 1920—30-е годы: организация первых художественных объединений, поиск талантливой молодежи, становление образовательной базы и открытие в Алма-Ате художественного училища, инициирование передвижных выставок — все это способствовало развитию профессионального станкового искусства в Казахстане. В это время формируется собственная профессиональная школа, вырабатываются характерные стилеобразующие принципы, отличающие изобразительное искусство Казахстана. Наконец, появляются яркие имена выдающихся мастеров.

Трепетное отношение к сохранению национальной традиции обозначило одну из ключевых тенденций современного искусства — через осмысление прошлого посредством мифологического мироощущения. Герои казахского эпоса, обряды и ритуалы, религиозные и мифологические сюжеты не теряют своей актуальности и сегодня. Различные символы далекого прошлого гармонично вписываются в пространство художественных произведений. Зыбкая связь времен не прерывается благодаря искусству.

Сюжеты петроглифов ущелья Тамгалы — всадники, солнцеголовые божества, лучники, сцены охоты — обрели особую актуальность и новое художественное прочтение. Лаконичность и емкость образа не только перекликаются с орнаментальной декоративностью, но они становятся особенно востребованы в эпоху клипового мышления. Степные каменные изваяния балбалы — воплощения духа предков-аруахов, призванных оберегать и защищать грядущие поколения, возникают в живописи как сакральные символы далекого прошлого. Духи природы, олицетворение ее сил и стихий, предстают в виде персонифицированных образов богини земли Умай и бога неба Тенгри, а также древних архетипов, ставших основой казахского орнамента.

Основные универсалии тюркского менталитета неразрывно связаны с органичным ощущением природы. Тенгрианство часто рассматривают как основу национального самосознания казахов, не утратившего своей актуальности и сегодня. В произведениях художников зачастую возникают и другие образы доисламского прошлого Казахстана — камлающие шаманы, странствующие дервиши, древние суфии, которые наполняют пространство современного искусства таинственным духом древнего Востока. Они являются зримым воплощением древнего ритуального мышления, символом вечности и вневременности, обладают лаконичностью формы и глубиной содержания и неизменно указывают на принадлежность к восточному региону.

Архетипы жизниномада порождают темы странствий, перекочевок, постоянных перемещений. Изображения колесницы, лошади, дороги, всадника — неизменные символы кочевой жизни и шире — вечного движения подобны бесконечному ходу

времени. Часто встречающиеся мотивы в художественных произведениях — казахские национальные музыкальные инструменты, такие как кобыз, домбра, — несут дополнительную смысловую нагрузку и философское наполнение. Они предстают как неотъемлемый атрибут легендарного Коркыта — певца-сказителя, повествующего о своем времени, о непреходящих человеческих ценностях.

Таинственная атмосфера древних восточных городов с многолюдными базарами, пронизанными сладкими и терпкими ароматами, наполненными услаждающими слух звуками музыки, с возвышающимися над миром куполами и минаретами мечетей наполняет произведения многих художников. В изображении размеренной спокойной повседневности маленьких аулов или в медитативной созерцательности средневековых городов прочитывается ностальгия по плавному течению жизни современного человека — жителя динамичных мегаполисов.

Видимо, эта же причина определяет актуальность и востребованность пейзажа в живописи и графике. Данный жанр отличается разнообразием технических подходов — от натуральных пленэрных зарисовок до полуабстрактных лирических композиций, выражающих определенное состояние природы. Величественное великолепие горных вершин и бескрайнее безмолвие степных просторов — неизменные источники вдохновения не одного поколения казахстанских художников. И это также одно из проявлений кочевого мировосприятия, которое немыслимо вне окружающего его природного универсума. Горы и степь нередко становятся не просто местом действия, а главными героями живописных композиций.

Нередко природные пространства населяются людьми — это национальные типы: женщины, мужчины, дети. Они предстают как неотъемлемая часть слаженного единого гармоничного природного механизма. Эта тема не только выражение потребности слияния с природой, но и одна из ключевых философских проблем, затрагивающих взаимоотношения человека и окружающего его мира, индивидуума и социума. И в этом смысле городской пейзаж — еще один востребованный и стремительно развивающийся сегодня жанр. Жизнь современного мегаполиса обостряет проблему взаимосвязи человека и природы, вследствие чего многие художественные произведения обретают прямую экологическую направленность.

Участники арт-процесса не ограничиваются вплетением в канву своих произведений мифологем далекого прошлого — они активно включают в свои произведения проявления настоящего. Фиксация образов новейшей истории — пафос рождения молодого независимого государства и его новой столицы в искусстве решается через тему преобразования городов, а также возникновения новых архитектурных объектов в свете важных событий современной истории (например, цикл произведений, посвященных международной олимпиаде «Азиада-2011»). Исторические и политические события современности, отражаясь в художественных произведениях, имеют две основные трактовки. Либо художник преисполнен оптимизма и безграничной веры в светлое будущее в изображении стремительно развивающихся городов, крупных промышленных объектов или выдающихся исторических деятелей. Либо же это остросоциальные проекты с явным критическим началом, наполненные драматизмом и стремлением изменить ситуацию.

Отдельная категория — произведения-концепты, в основе которых множество символов, неожиданно совмещающихся в контексте одного произведения. Многие явления жизни переданы через метафоричность живописных образов, например, трагичность события может выражаться через драматическую пронзительность пластики, формы, ритмов.

Живопись Казахстана на современном этапе направлена на колористические поиски и эксперименты, для которых характерны орнаментальность, декоративность, фрагментарность, мозаичность. Нередко они опираются на контраст и противопоставление — как в живописно-цветовой структуре, так и в образном построении. Но

наравне с экспериментальными поисками важно отметить полноправное существование академической и реалистической живописи.

В скульптуре авторы стремятся достичь пространственной легкости и пластической выразительности. Для данного вида искусства характерно значительное разнообразие в стилевом решении — от реалистических тенденций до абстрактных и полуабстрактных форм, а также в использовании различных материалов.

Монументальное искусство реализуется в разнообразных воплощениях — от масштабных скульптурных композиций, вписанных в городское пространство, до ярких декоративных мозаичных панно и скульптурных рельефов, размещенных в интерьере, например, недавно открывшегося алмаатинского метрополитена.

Современное декоративно-прикладное искусство — обширнейший пласт казахстанской культуры, где наиболее остро явлена неразрывная связь с древней традицией и народными духовными истоками. Удивительным образом в этих разнообразных произведениях — ювелирных изделиях, войлоке, гобеленах, резьбе по дереву, предметах оружия и многих других — синтезируются достижения многовековых навыков работы с материалом и новые технологические приемы, позволяющие достичь максимальной выразительности и своеобразия изделий. В традиционном искусстве сегодня можно говорить о выработке индивидуального авторского стиля и почерка, благодаря которому эти произведения получают широкое признание на международном уровне.

В годы независимости значительную часть крупных международных художественных проектов последних лет инициировала первая общественная организация Казахстана — Союз художников Республики Казахстан, который в 2013 году отметил свой 80-летний юбилей. С момента своего возникновения Союз художников стимулировал становление и развитие профессиональной школы изобразительного искусства в стране. Была проделана огромная работа в пропаганде, агитации и популяризации искусства, что послужило импульсом для развития художественных процессов.

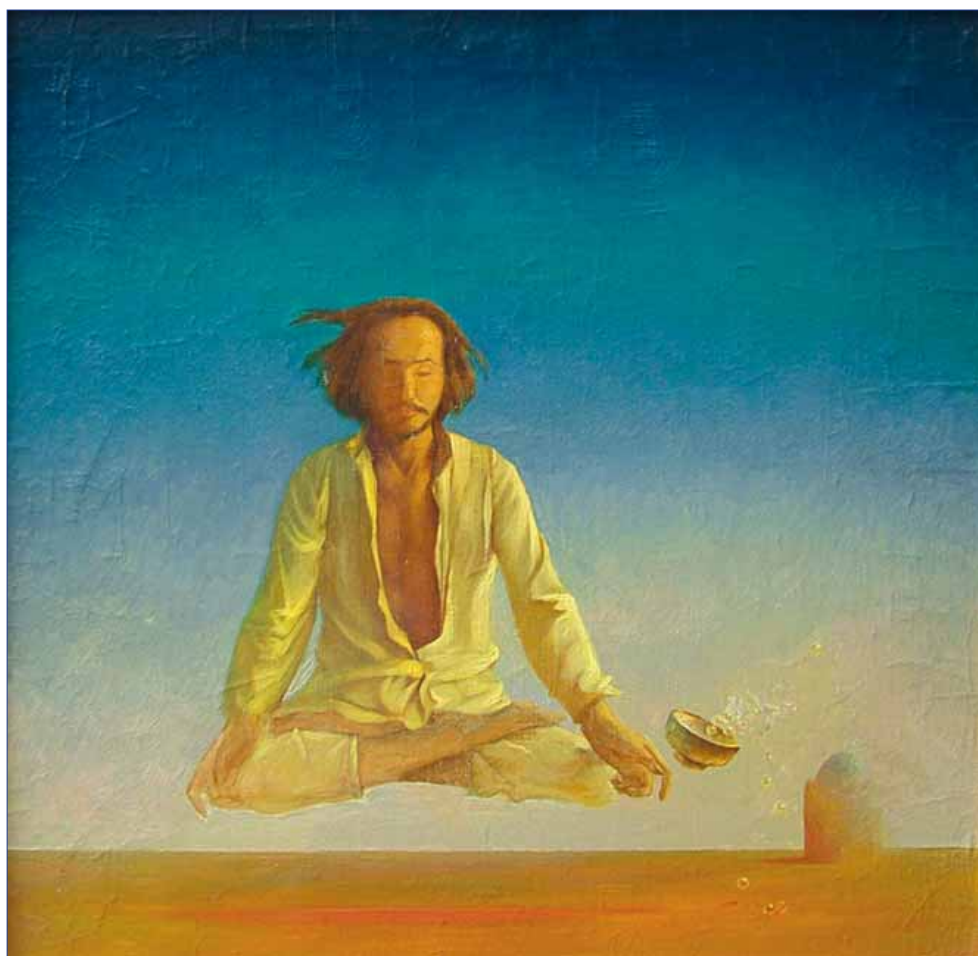
В новых исторических условиях Союз художников организует масштабные международные арт-проекты на актуальные темы, которые призваны стимулировать активность художников и наглядно демонстрируют срез и состояние искусства сегодня. Это симпозиумы, конкурсы, выставки, которые создают благоприятные условия в общем пространстве арт-коммуникации для творческого диалога художников различных творческих установок, с принципиально отличными авторскими подходами. Таким образом, объединение в рядах Союза художников энтузиастов и результат их активной деятельности можно рассматривать как новое беспрецедентное явление в культуре Евразии.

*Екатерина РЕЗНИКОВА,
кандидат искусствоведения*



Галым Каржасов

НОВОРОЖДЕННЫЙ. 2006.
Холст, масло



Гани Баянов

МЕДИТАЦИЯ С ЧАШЕЙ. 2003.
Холст, масло



Сембигали Смагулов

СОН КОЧЕВНИКА. 2005.
Холст, масло, смешанная техника



Бахытжан Досимов

КАПЧАГАЙ. 2011.
Холст, масло



Гулнар Суйнбаева

КОЛЫБЕЛЬНАЯ. 2010.
Холст, масло



Женисбек Абдраман

ТЮРКИ. 2011.
Холст, масло



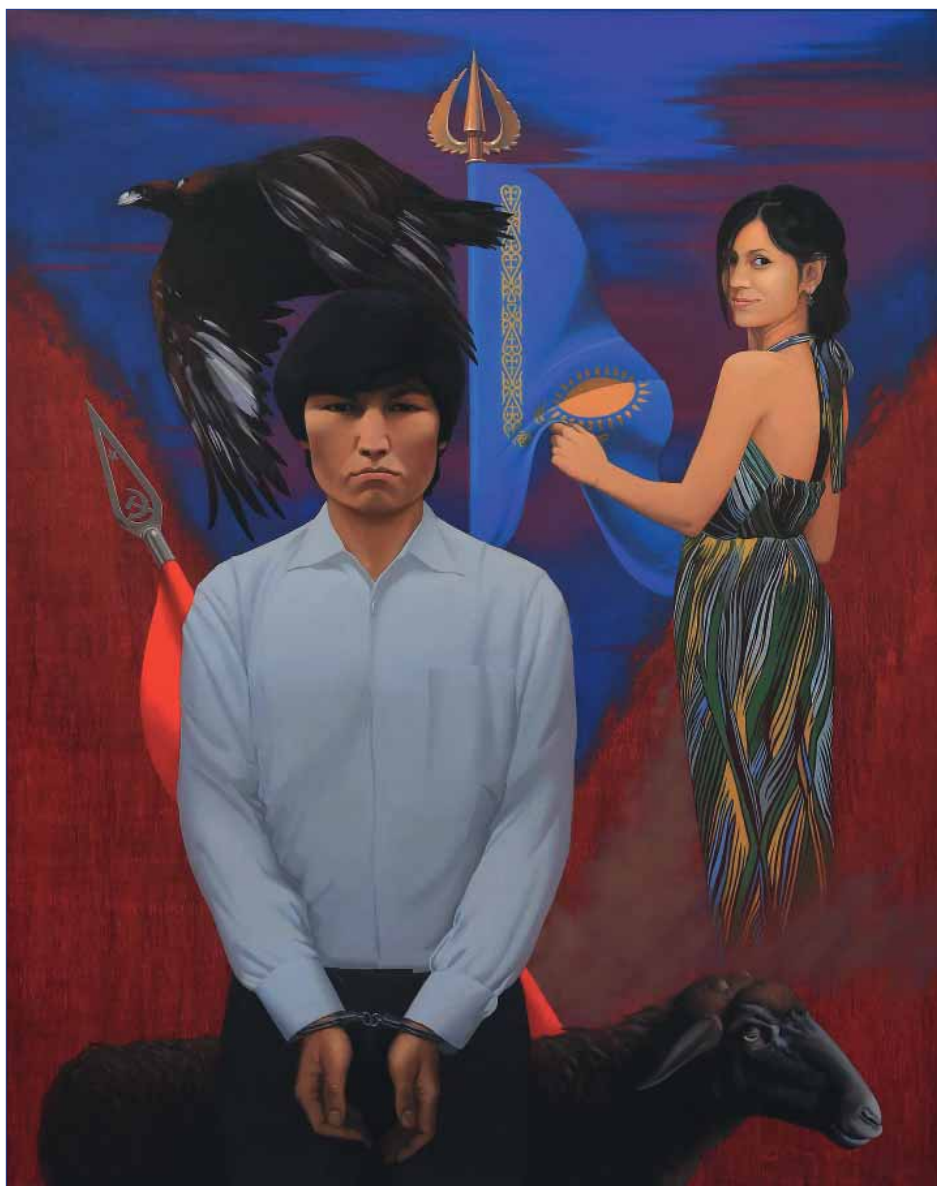
Казакбай Ажибеков

ПОСЛЫ. Центральная часть триптиха
«Великая степь». 2005.
Холст, масло



Нурбазар Кожин

ПЕРЕД СВАДЬБОЙ. 2009–2012.
Холст, масло



Умирбек Жубаниязов

ПОЖЕРТВОВАНИЕ. 2011.
Холст, масло



Адилкаир Жантасов

СКАЗКА О КАНБАК ШАЛЕ. 2012.
Холст, масло

Романтический хоррор

Из наблюдений над современной прозой

Рубрику ведет Лев Аннинский

Если сахара много, то нужно добавить слез.

Александр Гриценко

Сахара не много. Слез хватает. Слово «хоррор» переводить с английского не обязательно, теперь его и так все знают. А вот эпитет «романтический» по нынешним временам объяснять надо. Чем в сущности и занимается Александр Гриценко.

В нынешнем поколении этот писатель, я бы сказал, — самый ответственный. Если ставит вопрос, то ищет ответ. Причем ответ разумный, хотя в контексте общего постмодернистского безумия висит надо всем за какой-то сверхразумной гранью этот самый «хоррор».

О своем поколении Александр говорит так:

— Нам 25 — 30 лет, нам легче, чем нашим предшественникам, мы только сейчас начинаем фазу активной жизни, и у нас есть 15 годков, которые мы провели в новых условиях. Многие из нас и не помнят, что там было при Советах!

О том, что надумало это поколение за 15 годков постсоветской жизни, чуть позже, а сейчас — о том, что они могли если не запомнить, то хоть разузнать о той реальности, которую Гриценко отводит от себя фразой:

— О рае на небесах и коммунизме на земле здесь говорить не будем. Позже. Позже говорит:

— Идеи не рождаются ниоткуда и не уходят никуда. Уже сейчас у коммунизма есть новые последователи... Пусть это время далеко, и мы не коснемся его, но наши дети... хорошо — внуки... правнуки... смогут надеяться...

В этом усмешливом «хорошо» можно уловить то, почему сам Гриценко не хочет такого рая. Допустим, этот коммунистический рай все-таки осуществится. Как это выглядит? Собеседники прихлебывают сладкий чай (может, слишком сладкий? — Л.А.) и — смеются: «Уютный уют». Всем по потребностям. И что же?

— Непреходящее, нетленное, вечное счастье. И — скука.

Эта вот скука проклятьем накрывает воображаемый рай (то есть коммунизм, то есть уют).

— При всех удачах, деньгах и власти с каждым годом человеку будет тоскливей...

Дело, значит, не в том, что рай на земле неосуществим, а в том, что человеку

по самой его природе это осуществившееся всеобщее счастье невыносимо, противоестественно и чуждо.

Хорошо — эту мысль Гриценко я подхватываю в его интонации. — А что нам предъявлено в качестве «новых условий», которые реализовались за 15 годков, прожитых без советской власти?

В трех вариантах (в трех биографических стадиях, в трех тематических планах, в трех магических «темах») предъявляет нам эту новую реальность Гриценко-прозаик.

Первая стадия. 90-е годы. Родной город Астрахань. Непрекращающиеся кровавые драки на улицах. «Раз по морде! Упал. Ногами хип-хоп». Милиция не вмешивается. Махалово в крутом разгаре. То ли мы уроем, то ли нас уроют — это уж как фишка ляжет. Юный боец отмечает, что его противник (ровесник) упал и не двигается.

Легла фишка! «Потом узнал, что убил его. С одного удара».

Есть выход из этой «темы»?

Есть. Много лет спустя герой-победитель мучается от мысли, что тогда убил. Видит во сне глаза своей жертвы.

Вторая эпоха. Афганская война. Наши солдаты под обстрелом чеченцев, Лежат покалеченные и не знают, придет ли помощь.

А из этой «темы» есть выход?

Есть. Герой повествования видит умирающих от осколков, с оторванными руками и ногами чеченцев, они кричат:

— Аллах акбар!

Поравнялись...

Третья эпоха. Московский Литературный институт. Общежитие. Голос:

— Эй, Саша, Витя! Вставайте! Тут около вашей двери труп в коридоре!

А из этой «темы» есть выход?

Есть. Труп лежит, и шут с ним. Но тут один из героев выясняет, что заразился СПИДОМ. Вот это шок! Их тут четверо: Саша, Витя и еще две девочки. Привычный перекрестный секс. Теперь надо выяснять, кто кого заразил, и думать, как жить дальше. То ли к свингерам податься, то ли продолжать свою групповуху.

Так все-таки: есть какой-то выход из ситуаций этой новейшей реальности? Или хотя бы понимание, откуда она и что она такое?

Да это же вовсе не реальность! Это что-то, пародирующее реальность. Что-то помимо нее, вне ее.

«Что-то»... Ключевое слово в размышлениях о происходящем.

Что-то темное, вошедшее в жизнь непонятно откуда. Может, из книг. Или по воле потусторонних сил. Или из своего же бреда. Человек боится увидеть то, что сам придумал. Какое-то тайное ядро, вокруг которого крутятся все наши поступки и желанья. «Тема»...

Результат: неодолимый, повальный, владеющий всеми страх. Не перед чем-то конкретным. Вообще — перед бытием. Ощущение подступающей беды. Интуитивное чувство опасности. Безотчетный ужас... а если вспомнить английский оригинал этого слова: *horror*.

Так все-таки: откуда это?

Докапываясь до причин, Гриценко (уже не столько как прозаик, сколько как публицист и критик) ищет ответ на путях отставленного марксизма.

Ответ: «так было всегда». Законы истории! История человечества привела к концепциям одержимого Девятнадцатого века. «Чудо прогресса и цивилизации» выстраивалось годами и веками. А что, если дело не в идеях тех или иных мудрецов и правителей, а в состоянии народов, которые готовы идти за такими мудрецами и правителями, даже и сажая их себе на шею? (Чем не марксизм? — Л.А.). И зависит все от природы человека, изначальной и неисправимой? (Это уже не марксизм, а нынешнее поветрие умов, ужасающихся этой природе — Л.А.).

Так, может, и евразийская наша жуть, где в перерывах между нашествиями и войнами меняются сторонами бунты, бессмысленные и беспощадные, с диктатурами, не бессмысленными, но еще более беспощадными? Какая уж тут демократия! Какая свобода! «Нашим людям свобода не нужна. Не потому что не готовы, а потому, что не нужна и никогда не понадобится... Так устроена душа наших людей, сердце, тело...»

Пробуя «на вкус» эти концепции (и отшатываясь от них), Гриценко чувствует, что нутро леденеет. Не душа, а нутро. Душа же пятится, пытаясь спастись от таких железных закономерностей. Тут нет выхода, а если есть выход — то в тот самый фатальный ужас, из которого уж точно нет выхода. Хоррор!

Но если избавиться от тех железных доктрин (социальных, классовых и т.п.), которые привели человечество к самоубийственным мировым войнам, то что поставить на их место? Как переосмыслить и обновить саму почву исторических перемен в жизни человечества?

Тут беллетрист оборачивается, чтобы помочь публицисту. А что, если дело не в природных законах бытия, а в том, что люди слушают не те сказки? И верят в абсурдные, несбыточные идеи? А что, если предложить людям сказку более ясную и незатейливую? И отойти от постылой, уже совершившейся истории?

Наполеон прошел по нашей земле огнем и мечом? А если прозреть в этой жути такую «тему», что никуда он не прошел, а мы его вовремя угробили? Пьер Безухов угробил... Это в корне изменило бы опостылевший ход исторических событий. «Смотрите, Лев Николаевич...»

Лев Николаевич с ироническим попустительством смотрит, как три читателя-доброхота переписывают «Войну и мир», а Гриценко выстраивает гипотезу: что было бы, если бы удалось угробить французского императора, пока тот еще не взял Москву?

Если дело в том, что жизнь человека и история человечества зависят не от железных природных закономерностей, а от того, какую сказку люди привыкли доверчиво слушать (в какую «тему» влезли), тогда надо сменить тему и рассказать людям другую сказку — это спасет их от жуткой реальности, в которой горит синим пламенем наша родная столица.

Что было бы с Россией, если бы Пьеру Безухову удалось прикончить Бонапарта в сентябре 1812 года?

С помощью Александра Гриценко прослеживаем вероятностный ход событий:

«Русские войска не пошли в Европу... Париж взяли англичане. Декабрьского восстания не случилось, и, по сути, не было никаких декабристов — Северное и Южное общества не пошли дальше пустопорожних разговоров о том,

как бы им упромыслить общество полного благоденствия. Рылеев тихо спился. Пушкин не написал своих лучших стихов...»

Рылеевым, допустим, можно пожертвовать. Но без Пушкина... нет, невозможно! Конец эксперимента! Пусть будет Пушкин, а уж с ним весь ужас нашей истории.

И нечем утешиться?

Нет, почему же... Парижские кафейки переименуются в «бистро».

А у нас что от этого изменится?

Да ничего, — соглашается Гриценко. — Но пусть аморфное обретет форму.

Что это за «аморфное» такое в его неустанных выкладках?

Тихий и пронизывающий ответ: это родина по имени Россия.

Я замираю. Это и мое, сокровенное.

Так все-таки: можно ли найти выход из ловушки, в которой бьется страна? Тему, тему переуслышать?

Гриценко вслушивается. Не в романах и пьесах, где все заглушает хоррор, а в критических статьях и журналистских заметках — тут он предстает как проницательный аналитик и великодушный полемист.

Если вчитаться в те суждения о России, которые можно найти в его статьях (или в статьях его оппонентов, с которыми он постоянно спорит, но иногда цитирует с сочувствием), — то ответы на проклятые русские вопросы и выходы из родных безысходных ситуаций будут все-таки видны.

Топтать наши святыни — это цинизм, кощунство и подлость. Не топтать и унижать надо государство и народ, не рыть яму, из которой не будет выхода, — а растить государство так, как растят дерево.

Дерево не «строят», оно растет само.

Как это «само»?

А так: государство — не дом, а дерево: тут не каменщик, тут садовник нужен.

А остальные соотечественники что будут делать? Валяться под деревом?

Не под деревом, а под забором, — поправят меня знатоки народной души.

Отвечаю словами Александра Гриценко:

«Большинство людей в России работают — на заводах, в школах и больницах, а не валяются под забором».

Да и забор еще надо построить...

Итак, что перед нами? Романтическая картина?

Конечно. А хоррор где? Хоррор при нас. Но и романтика таится на дне душ — прадедами вынесенная когда-то из французских, немецких, английских, польских и других мироконцепций Просвещения. Сбереженная Горьким от слащавости. Вошедшая в доктрину социалистического реализма, который как раз и требовал «революционной романтики».

Ну, и что с этим делать?

Революционность — оставить тем, для которых сахара слишком много в грядущем светлом будущем, пусть они своими слезами расплатятся за «скуку» благосостояния.

Слез всегда больше, чем сахара? Это придется стерпеть. Это наш вариант романтики. Мы его не отдадим. Иначе — сплошной хоррор.

В этом я абсолютно солидарен с Александром Гриценко.

Summary

Zair ASIM. Book of the Days

«Sometimes to express a thought more adequately one should forget about it and then the thought will express itself on its own». One may agree or disagree it, but the author probably knows better. Moreover that the subject of this long short story is the painful bearing of the book.

Poetry

Significant in scope both geographical and poetical are the co-ordinates of this issue's publications: from the West — the new translations of the classics of the Lettish poetry Janis RAINIS and ASPAZIJA performed by Olga PETERSON; from the East — meditative lyrics by Aiguerim TADGI (Kazakhstan); from the South — piercing and warm poems by Stanislav LIVINSKIJ (Stavropol region) who fixes like in the «selfies» our multi-faced times; and from Moscow — Galina KLIMOVA's works including poems about Armenia and translations from modern Armenian poets.

Gennadij PRASHKEVICH, Alexej BUROV. About the Silence

A writer and a scientist are meditating together over the eternal questions of being.

Seidakhmet KUTTIKADAM. Chaos in the Brains and Responsibility for the Culture

In response to Andrej Rusakov's article about modern Russian culture (see «ДН», № 1, 2016) the well-known Kazakhstan publicist and philosopher is reflecting upon the fortunes of Kazakh culture, today's problems of his motherhood in general and better ways to solve them.

Ilya FALIKOV. Marina Tzvetaya: Your Cold Swallow

«The poet's life is linked with many other lives and with the general background of the epoch in a very complicated manner: names make gaudy and times are flashing...» In this issue we present a passage from the new book by Ilya Falikov about Marina Tzvetaya dedicated to the last five years of her life in France.

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!

Журнал «Дружба народов»

можно выписывать с любого месяца во всех отделениях Почты России.

Подписной индекс в каталоге «ГАЗЕТЫ. ЖУРНАЛЫ» — **70250**

Подписной индекс в зеленом каталоге «ПРЕССА РОССИИ» — **91826**

Также можно оформить подписку *online* на сайте журнала

druzbanarodov.com

на его странице в Живом журнале

<http://druzba-narodov.livejournal.com/>

и в Журнальном зале

<http://magazines.russ.ru/druzha/site/podp/>

Мобильная версия «ДН» для устройств на iOS доступна в App Store и на

<https://itunes.apple.com/ru/app/druzba-narodov/id893172883?mt=8>

Технический редактор Наталья Кузнецова

Верстка Елены Жирновой



ИЗДАНИЕ ОСУЩЕСТВЛЕНО ПРИ ПОДДЕРЖКЕ
МЕЖГОСУДАРСТВЕННОГО ФОНДА ГУМАНИТАРНОГО
СОТРУДНИЧЕСТВА ГОСУДАРСТВ-УЧАСТНИКОВ СНГ
И ФОНДА «РУССКИЙ МИР»